РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

СКАЗКИ

●

ИСТОРИИ

ПЕРЕВОД С ДАТСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1973

Вступительная статья
К. Паустовского

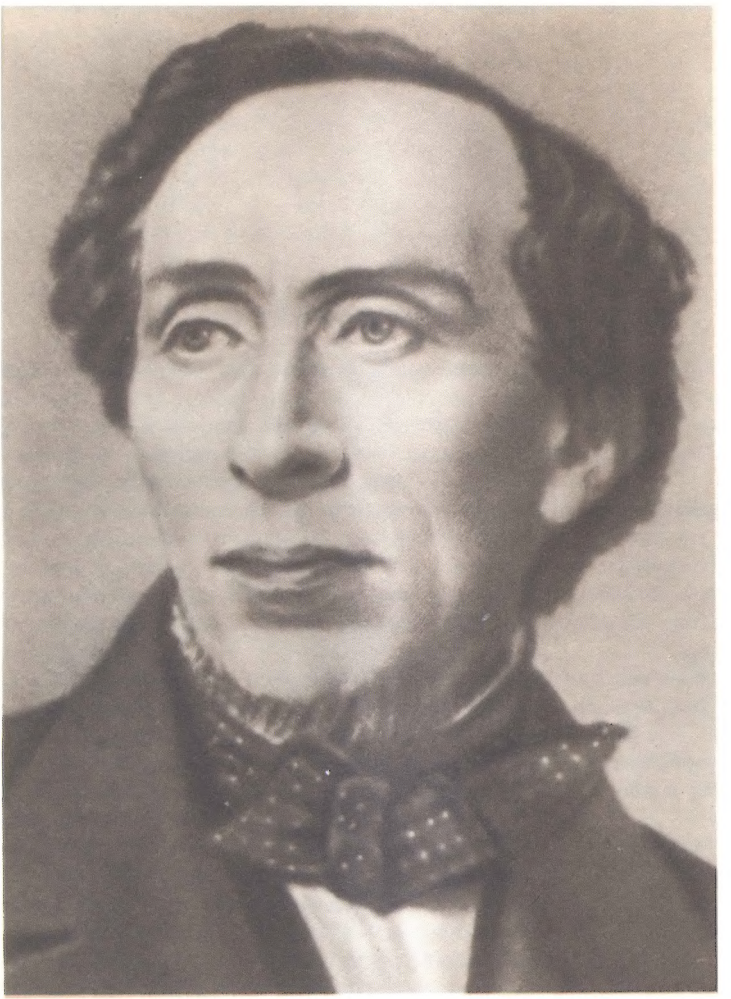
Составление и примечания
Л. Брауде

И(Дат)
А 65

Иллюстрации
В. Пивоварова

А $\frac{0734\text{-}177}{028(01)73}$ Подп. изд.

© Издательство «Художественная литература», 1973 г.



ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК

Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Кристианом Андерсеном.

Случилось это в зимний вечер 31 декабря 1899 года,— всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века.

Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.

Я должен сказать, что этот случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву». Просто это мне, должно быть, привиделось.

В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался этой елке.

Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода.

Но, как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, но могли вот-вот зажечься. И от этого «вот-вот», от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи: коньки «снегурки», витые свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. Непонятно почему, но от этих вещей сильно пахло клейстером и скипидаром.

Я знал со слов взрослых, что вечер 31 декабря 1899 года был совершенно особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще сто лет. А это, конечно, почти никому не удастся.

Я спросил у отца, что значит «особенный вечер». Отец объяснил мне, что этот вечер называется так потому, что он не похож на все остальные.

Действительно, зимний вечер в последний день 1899 года был непохож на все остальные. Снег падал медленно и важно, и хлопья его были такие большие, что казалось, с неба слетают на город легкие белые розы. И по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов.

Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли, и в комнате началось такое веселое потрескиванье свечей, будто вокруг лопались сухие стручки акации.

Около елки лежала толстая книга — подарок от мамы. Это были сказки Ханса Кристиана Андерсена.

Я сел под елкой и раскрыл книгу. В ней было много разноцветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы увидеть картинки, еще липкие от краски.

Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором, как лепестки цветов, отражались розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья.

Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку.

Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом — сказку о снежной королеве. Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.

Потом я задремал под елкой от усталости и жáра свечей и сквозь эту дремоту увидел самого Андерсена. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном.

Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые.

Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня светлой вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. Тогда я уже знал пушкинские слова: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — и был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями и, встречаясь, хлопали, наверное, друг друга по плечу и смеялись.

Биографию Андерсена я узнал значительно позже. С тех пор она всегда представлялась мне в виде интересных картин, похожих на рисунки к его рассказам.

Андерсен всю свою жизнь умел радоваться, хотя детство его не давало для этого никаких оснований. Родился он в 1805 году, во время наполеоновских войн, в старом датском городе Оденсе, в семье сапожника.

Оденсе лежит в одной из котловин среди низких холмов на острове Фюн. В котловинах на этом острове почти всегда застаивался туман, а на вершинах холмов цвел вереск и уныло шумели сосны.

Если хорошенько подумать, на что был похож Оденсе, то, пожалуй, можно сказать, что он больше всего напоминал игрушечный город, вырезанный из почернелого дуба.

Недаром Оденсе славился своими резчиками по дереву. Один из них, средневековый мастер Клаус Берг, вырезал из черного дерева огромный алтарь для собора в Оденсе. Алтарь этот, величественный и грозный, наводил оторопь не только на детвору, но даже на взрослых.

Но датские резчики делали не только алтари и статуи святых,— они предпочитали вырезать из больших кусков дерева те фигуры, что, по морскому обычаю, украшали форштевни парусных кораблей. То были грубые, но выразительные статуи мадонн, морского бога Нептуна, нереид, дельфинов и изогнувшихся морских коньков. Эти статуи раскрашивали золотом, охрой и кобальтом, причем клали краску так густо, что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить.

По существу эти резчики корабельных статуй были поэтами моря и своего ремесла. Не зря же из семьи такого резчика вышел один из величайших скульпторов XIX века, друг Андерсена, датчанин Бертель Торвальдсен.

Маленький Андерсен видел замысловатые работы резчиков не только на кораблях, но и на домах Оденсе. Должно быть, он знал в Оденсе тот старый-престарый дом, где год постройки был вырезан на деревянном толстом щите в рамке из тюльпанов и роз. Там же было вырезано целое стихотворение, и дети выучивали его наизусть. Он даже описал этот дом в одной из своих сказок.

А у отца Андерсена, как у всех башмачников, висела над дверью деревянная вывеска с изображением орла с парой голов — в знак того, что башмачники всегда шьют только парную обувь.

Дед Андерсена тоже был резчиком по дереву. В старости он занимался тем, что вырезал всякие причудливые игрушки — людей с птичьими головами или коров с крыльями — и раздаривал эти фигурки соседским мальчишкам. Дети радовались, а родители, как водится, считали старого резчика слабоумным и дружно насмехались над ним.

Андерсен вырос в бедности. Единственной гордостью семьи Андерсенов была необыкновенная чистота в их доме, ящик с землей, где густо разрастался лук, и несколько вазонов на окнах: в них цвели тюльпаны. Их запах сливался с дребезжащим перезвоном колоколов, стуком отцовского сапожного молотка, лихой дробью барабанщиков около казармы, свистом

флейты бродячего музыканта и хриплыми песнями матросов, выводивших по каналу неуклюжие барки в соседний фиорд.

По праздникам матросы устраивали борьбу на узкой доске, перекинутой с борта одного корабля на другой. Побежденный падал в воду под хохот зрителей.

Во всем этом небогатом разнообразии людей, небольших событий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, он находил повод для того, чтобы выдумывать невероятные истории.

Пока он был еще слишком мал, чтобы решиться рассказывать эти истории взрослым. Решимость пришла позже. Тогда оказалось, что эти истории называются сказками, дают людям повод для размышления и приносят им много радости.

В доме у Андерсенов у мальчика был только один благодарный слушатель — старый кот по имени Карл. Но у Карла был крупный недостаток: кот часто засыпал, не дослушав до конца интересную сказку. Кошачьи годы, как говорится, брали свое. Но мальчик не сердился на старого кота: он все ему прощал за то, что Карл никогда не позволял себе сомневаться в существовании колдуний, хитреца Клумпе-Думпе, догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек с бриллиантовыми коронами на голове.

Первые сказки мальчик услышал от отца и старух из соседней богадельни. Весь день эти старухи пряли, сгорбившись, серую шерсть и бормотали свои нехитрые рассказы. Мальчик переделывал эти рассказы по-своему, украшая их, как бы расцвечивая свежими красками, и в неузнаваемом виде снова рассказывал их, но уже от себя, богаделкам. А те только ахали и шептались между собой, что маленький Кристиан слишком умен и потому не заживется на свете.

Прежде чем рассказывать дальше, надо остановиться на том свойстве Андерсена, о котором я уже вскользь говорил: на его умении радоваться всему интересному и хорошему, что попадается на каждой тропинке и на каждом шагу.

Пожалуй, неправильно называть это свойство умением. Гораздо вернее назвать его талантом, редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих глаз.

Мы ходим по земле, но часто ли нам приходит в голову желание нагнуться и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у нас под ногами. А если бы мы нагнулись или — даже больше — легли бы на землю и начали рассматривать ее, то на каждой пяди мы бы нашли много любопытных и прекрасных вещей.

Разве не прекрасен сухой мох, рассыпающий из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу, или цветок подорожника, похожий на сиреневый пышный султан? Или обломок перламутровой ракушки, такой крошечный, что из него нельзя сделать даже карманное зеркальце для куклы, но достаточно большой, чтобы бесконечно переливаться и блестеть таким же множеством опаловых красок, каким горит на вечерней заре небо над Балтикой?

Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком, и каждое летучее семечко липы? Из него обязательно вырастет могучее дерево, и однажды тень от его листвы стремительно рванется от порывистого ветра и разбудит девушку, уснувшую в саду. И она медленно откроет глаза, полные свежей синевы и восхищения перед зрелищем поздней весны.

Да мало ли что увидишь у себя под ногами! Обо всем этом можно написать поэмы, рассказы и сказки,— такие сказки, что люди будут только качать головами от удивления и говорить друг другу: «Откуда только взялся такой благословенный дар у этого долговязого сына башмачника из Оденсе? Должно быть, он все-таки колдун!»

Но детей вводит в волшебный мир сказки не только народная поэзия, но и театр. Спектакль дети почти всегда принимают как сказку.

Яркие декорации, свет масляных ламп, бряцанье рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы принцесс с синими ресницами, рыжебородые злодеи, сжимающие рукоятки зазубренных мечей, пляски девушек в воздушных нарядах — все это никак не походит на действительность и, конечно, может происходить только в сказке.

В Оденсе был свой театр. Там маленький Кристиан впервые увидел пьесу с романтическим названием «Дунайская дева». Он был ошеломлен этим спектаклем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою жизнь, до самой смерти.

Но на театр не было денег. И мальчик заменил подлинные спектакли воображаемыми. Он подружился с городским расклейщиком афиш Петером, начал помогать ему, а за это Петер дарил Кристиану по одной афише каждого нового спектакля.

Кристиан приносил афишу домой, забивался в угол и, прочитав название пьесы и имена действующих лиц, тут же выдумывал свою захватывающую дух пьесу, под тем же названием, которое стояло на афише.

Выдумывание это длилось по нескольку дней. Так создавался тайный репертуар детского воображаемого театра, где мальчик был автором и актером, музыкантом и художником, осветителем и певцом.

Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно и беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что мечтал. Это обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте: он одолел ее позже, чем все мальчики его возраста.

Больше всего времени Кристиан проводил на старой мельнице на реке Оденсе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная обильными брызгами и потоками воды. Зеленые бороды тяжелой тины свешивались с ее дырявых лотков. У берегов запруды плавали в ряске ленивые рыбы.

Кто-то рассказал мальчику, что прямо под мельницей, на другом конце земного шара, находится Китай и что китайцы довольно легко могут прокопать подземный ход в Оденсе и внезапно появиться на улицах заплесневе-

лого датского городка в красных атласных халатах, расшитых золотыми драконами, и с изящными веерами в руках.

Мальчик долго ждал этого чуда, но оно почему-то не произошло.

Кроме мельницы, еще одно место в Оденсе привлекало маленького Кристиана. На берегу канала была расположена усадьба старого отставного моряка. В своем саду моряк установил несколько маленьких деревянных пушек и рядом с ними — высокого, тоже деревянного, солдата.

Когда по каналу проходил корабль, пушки стреляли холостыми зарядами, а солдат палил в небо из деревянного ружья. Так старый моряк салютовал своим счастливым товарищам — капитанам, еще не ушедшим на пенсию.

Несколько лет спустя Андерсен попал в эту усадьбу уже студентом. Моряка не было в живых. Юного поэта встретил среди цветочных клумб рой красивых и задорных девушек — внучек старого капитана.

Впервые тогда Андерсен почувствовал любовь к одной из этих девушек,— любовь, к сожалению, безответную и туманную. Такими же были все увлечения женщинами, случавшиеся в его беспокойной жизни.

Кристиан мечтал обо всем, что только могло прийти ему в голову. Родители же мечтали сделать из мальчика хорошего портного. Мать учила его кроить и шить. Но мальчик если что-либо и шил, то только пестрые платья из шелковых лоскутков для своих театральных кукол (у него уже был свой собственный домашний театр), а вместо кройки он научился виртуозно вырезать из бумаги замысловатые узоры и маленьких танцовщиц, делающих пируэты. Этим искусством он поражал всех даже в годы своей старости.

Уменье делать прочные швы впоследствии пригодилось Андерсену. Он так перемарывал рукописи, что на них не оставалось места для поправок,— тогда Андерсен выписывал эти поправки на отдельных листках и тщательно вшивал их нитками в рукопись: ставил на ней заплатки.

Когда Андерсену исполнилось четырнадцать лет, умер его отец. Вспоминая об этом, Андерсен говорил, что всю ночь над умершим пел сверчок, в то время как мальчик всю ночь проплакал.

Так под песню запечного сверчка ушел из жизни застенчивый башмачник, ничем не замечательный, кроме того, что он подарил миру своего сына — сказочника и поэта.

Вскоре после смерти отца Кристиан отпросился у матери и на жалкие сбереженные гроши уехал из Оденсе в столицу Копенгаген — завоевывать счастье, хотя он сам еще толком не знал, в чем оно заключается.

В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал рассказывать свои первые прелестные сказки.

С раннего детства его память была полна разных волшебных историй, но они лежали под спудом. Юноша Андерсен считал себя кем угодно — певцом, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и драматургом, но только

не сказочником. Несмотря на это, отдаленный голос сказки давно слышался то в одном, то в другом из его произведений, как звук чуть затронутой и тотчас же отпущенной струны.

Не помню, кто из писателей сказал, что сказки делаются из того же вещества, из которого состоят сны.

Во сне частности нашей реальной жизни свободно и причудливо соединяются во множестве комбинаций, как разноцветные стеклышки в калейдоскопе.

Ту работу, которую проводит во сне сумеречное сознание,— во время бодрствования совершает наше безграничное воображение. Отсюда, очевидно, и возникла мысль о сходстве снов и сказок.

Свободное воображение ловит в окружающей нас жизни сотни частностей и соединяет их в стройный и мудрый рассказ. Нет ничего, чем пренебрег бы сказочник,— будь то горлышко пивной бутылки, капля росы на пере, потерянном иволгой, или заржавленный уличный фонарь. Любая мысль — самая могучая и великолепная — может быть выражена при дружеском содействии этих незаметных и скромных вещей.

Что толкнуло Андерсена в область сказки?

Сам он говорил, что легче всего писал сказки, оставаясь наедине с природой, «слушая ее голос», особенно в то время, когда он отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным туманом и дремлющих под слабым мерцанием звезд. Далекий рокот моря, долетавший в чащу этих лесов, придавал им таинственность.

Но мы также знаем, что многие свои сказки Андерсен писал среди зимы, в разгар детских елочных праздников, и придавал им нарядную и простую форму, свойственную елочным украшениям.

Что говорить! Приморская зима, ковры снегов, треск огня в печах и сияние зимней ночи — все это располагает к сказке.

А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай в Копенгагене.

Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много — несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, много раз уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик.

Мать мальчика, молодая женщина, сидела у окна и вышивала.

В это время в глубине пустынной улицы со стороны Старого порта, где усыпительно и монотонно покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном. Он быстро шел несколько скачущей, неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой.

Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза.

Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука.

Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он чуть нараспев читал стихи:

Я сохранил тебя в своей груди,
О роза нежная моих воспоминаний...

Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику:

— Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь.

Мальчик посмотрел исподлобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в руку Андерсену и тотчас убежал.

Это был неслыханно щедрый подарок, и Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с веточкой мяты — как драгоценный орден, потом вынул платок и слегка прижал его к глазам,— очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности.

А женщина, подняв голову от вышивания, подумала: как хорошо и вместе с тем трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот, говорят, что даже ради молодой певицы Иенни Линд, в которую он был влюблен,— все звали ее «ослепительной Иенни»,— Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок...

А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к мачте рыбачьей шхуны эолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании.

Андерсен считал свою жизнь прекрасной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства. Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия,— и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не думать о житейских невзгодах! Что они стоят по сравнению с этой благодатной, душистой, ослепляющей весной!

Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность совсем не была милостива к нему.

Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.

Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он «бедный родственник» в датской литературе и что ему — сыну сапожника и бедняка — следует знать свое место среди господ советников и профессоров.

Андерсен говорил, что за свою жизнь он выпил не одну чашу горечи. Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что?

За то, что в нем текла «мужицкая кровь», что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинным поэтом «божьей милостью», был беден — и, наконец, за то, что он не умел жить.

Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском обществе Дании. Андерсен был просто неудобен в этом обществе — этот чудак, этот, по словам философа Кьеркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и навсегда забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.

«Все хорошее во мне топтали в грязь»,— говорил о себе Андерсен. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, но не из злости, а ради пустой забавы.

Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам тихое сияние шиповника и слышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан венками.

Андерсен часто страдал, страдал жестоко, и можно только преклониться перед мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности видеть поэзию всюду, где она есть.

Он страдал, но он не покорялся. Он часто негодовал. Он гордился своей кровной близостью к беднякам — крестьянам и рабочим. В «Союзе рабочих» он первый из датских писателей начал читать рабочим свои удивительные сказки.

Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле.

Когда умер скульптор Торвальдсен, сын бедняка, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всех будет напыщенно шествовать датская знать.

Андерсен написал кантату на смерть Торвальдсена. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Копенгагена. Дети шли цепью по сторонам похоронной процессии и пели кантату Андерсена, начинавшуюся словами:

Дорогу дайте к гробу беднякам,—
Из их среды почивший вышел сам...

Андерсен писал о своем друге поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова относятся к самому Андерсену. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков.

Были у Андерсена целые годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие области искусства сродни его таланту.

«Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале,— говорил о себе под старость Андерсен,— так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе».

Он толком не знал своей силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя: «Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве».

Эти слова открыли Андерсену самого себя.

И вот — на двадцать третьем году жизни — первая подлинно андерсеновская книга «Прогулка на остров Амагер». В этой книге Андерсен решил, наконец, выпустить в мир «пестрый рой своих фантазий».

Первый легкий трепет восхищения перед неведомым до тех пор поэтом прошел по Дании. Будущее становилось ясным.

На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе.

Беспрерывные поездки Андерсена можно с полным правом назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам: потому что, где бы Андерсен ни был, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками.

Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполнял его ощущением свежести и собственной силы.

И в этом длительном светлом волнении, в постоянной смене стран, городов, народов и попутчиков, в волнах «дорожной поэзии», в удивительных встречах и не менее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена.

Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его торопливое перо на оловянных чернильницах в гостиницах Рима и Парижа, Афин и Константинополя, Лондона и Амстердама!

Я сознательно упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ о его путешествиях, чтобы объяснить это выражение.

Андерсен писал быстро, хотя потом долго и придирчиво правил свои рукописи.

Писал он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистейшим образцом импровизатора. Бесчисленные мысли и образы роились у него во время работы. Нужно было спешить, чтобы записать их, пока они еще не ускользнули из памяти, не погасли и не скрылись из глаз. Нужно было обладать необыкновенной зоркостью, чтобы ловить на лету и закреплять те картины, что вспыхивали и мгновенно гасли, как ветвистый узор молнии на грозовом небе.

Импровизация — это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин. Она возможна лишь при огромном запасе наблюдений и великолепной памяти.

Свою повесть об Италии Андерсен написал как импровизатор. Поэтому он и назвал ее этим словом — «Импровизатор». И, может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсена к Гейне объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации.

Но вернемся к путешествиям Кристиана Андерсена.

Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка. В то время в Каттегате появились первые пароходы — «Дания» и «Каледония». Они вызвали целый ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей.

Когда пароходы, надымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам и оскорблениям. Шкиперы посылали им в рупор самые отборные проклятья. Их обзывали «трубочистами», «дымовозами», «копчеными хвостами» и «вонючими лоханками». Эта жестокая морская распря очень забавляла Андерсена.

Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались «настоящие путешествия» Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке.

Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рашель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена (сказочник втайне побаивался детей), Гейне сказал:

— Не пугайтесь. Это не наши дети. Мы их занимаем у соседей.

Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал свой очередной роман, то громко ссорясь с его героями, то покатываясь от хохота.

Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои вещи. Листа Андерсен называл «духом бури над струнами».

В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они пристально посмотрели друг другу в глаза. Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса.

Потом Андерсен был в гостях у Диккенса, в его маленьком доме на взморье. Во дворе заунывно играл шарманщик-итальянец, за окном в сумерках блестел огонь маяка; мимо дома проплывали, выходя из Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф,— то дымили лондонские заводы и доки.

— У нас полон дом детей,— сказал Диккенс, хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек, сыновей и дочерей Диккенса, вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки.

Но чаще всего и больше всего Андерсен бывал в Италии.

Рим стал для него, как и для многих писателей и художников, второй родиной.

Однажды, по пути в Италию, Андерсен проезжал в дилижансе через Швейцарию.

Была весенняя ночь, полная крупных звезд. В дилижанс село несколько деревенских девушек. Было так темно, что пассажиры не могли рассмотреть друг друга. Но, несмотря на это, между ними начался шутливый разговор. Да, было так темно, что Андерсен заметил только, как поблескивали влажные зубы девушек.

Он начал рассказывать девушкам о них самих. Он говорил о них, как о прекрасных сказочных принцессах. Он увлекся. Он восхвалял их зеленые загадочные глаза, душистые косы, рдеющие губы и тяжелые ресницы.

Каждая девушка была по-своему прелестна в описании Андерсена и по-своему счастлива.

Девушки смущенно смеялись, но, несмотря на темноту, Андерсен заметил, как у некоторых из них блестели на глазах слезы,— то были слезы благодарности доброму и странному попутчику.

Одна из девушек попросила Андерсена, чтобы он описал им самого себя.

Андерсен был некрасив. Он знал это. Но сейчас он изобразил себя стройным, бледным и обаятельным молодым человеком, с душой, трепещущей от ожидания любви.

Наконец дилижанс остановился в глухом городке, куда ехали девушки. Ночь стала еще темнее. Девушки расстались с Андерсеном, причем каждая горячо и нежно поцеловала на прощанье удивительного незнакомца.

Дилижанс тронулся. Лес шумел за его окнами. Фыркали лошади, и низкие, уже итальянские, созвездия пылали над головой. Андерсен был счастлив так, как, может быть, еще никогда не был счастлив в жизни. Он благословлял дорожные неожиданности, мимолетные и милые встречи.

Италия покорила Андерсена. Он полюбил в ней все: каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, «отцветающий лотос» — Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце.

Умер Андерсен в 1875 году.

Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом.

Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен. Вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным

ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ — и детских и взрослых.

Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что короли считали за честь пожать его сухощавую руку.

Он был народным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены только в сознании народа и нигде больше.

Поэзия насыщает сердце народа подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух Дании. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там.

Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки, над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз.

К. ПАУСТОВСКИЙ

1955

СКАЗКИ
ИСТОРИИ

РЕДАКЦИЯ ПЕРЕВОДОВ Л. ЛУНГИНОЙ

ОГНИВО

Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку; он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма — уж такая безобразная: нижняя губа свисала у нее до самой груди.

— Здорово, служивый! — сказала она.— Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно.

— Спасибо, старая ведьма! — сказал солдат.

— Видишь вон то старое дерево? — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку.— Оно внутри пустое. Заберись наверх, увидишь дупло, влезь в него и спускайся до самого низа. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса, ты мне крикни, и я тебя вытащу.

— Зачем мне туда лезть? — спросил солдат.

— За деньгами! — сказала ведьма.— Знай, что из дупла ты попадешь в большой подземный ход; в нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Перед тобой будут три двери, ты можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату; посреди компаты увидишь большой сундук, а на нем собаку: глаза у нее, словно чайные чашки! Но ты не бойся! Я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу, а сам живо подбеги и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег вволю. В этом сундуке одни медяки; захочешь серебра — ступай в комнату рядом: там сидит собака с глазами, как мельничные колеса! Но ты не пугайся: сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золота, сколько сможешь унести; пойди только в третью комнату. У собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза — каждый с Круглую башню. Вот это

собака так собака! Да ты ее не бойся: посади на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота, сколько хочешь!

— Оно бы недурно! — сказал солдат.— Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно?

— Я не возьму с тебя ни полушки! — сказала ведьма.— Только принеси мне старое огниво, его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз.

— Ну, обвязывай меня веревкой! — приказал солдат.

— Готово! — сказала ведьма.— А вот и мой синий клечтатый передник!

Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большой галерее, где горели сотни ламп.

Он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата.

— Вот так молодец! — сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег, потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса!

— Чего на меня уставилась? Глаза заболят! — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медяки и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Фу-ты, пропасть! У этой собаки глаза были ни дать ни взять две Круглые башни и вертелись, точно колеса.

— Мое почтение! — сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал.

Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! На все хватило бы! Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные монеты и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то у него завелись денежки! Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал:

— Тащи меня, старая ведьма!

— Огниво взял? — спросила ведьма.

— Ах черт, чуть не забыл! — сказал солдат, вернулся и взял огниво.

Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.

— Зачем тебе это огниво? — спросил солдат.

— Не твое дело! — ответила ведьма.— Получил деньги, и хватит с тебя! Ну, отдай огниво!

— Как бы не так! — сказал солдат.— Сейчас говори, зачем тебе оно, не то вытащу саблю да отрублю тебе голову.

— Не скажу! — уперлась ведьма.

Солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город.

Это был прекрасный город; солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда — ведь он стал богачом!

Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги, но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином, и ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут, в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.

— Как бы ее увидать? — спросил солдат.

— Этого никак нельзя! — сказали ему.— Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а короли этого не любят.

«Вот бы на нее поглядеть!» — подумал солдат.

Да кто бы ему позволил?!

Теперь-то он зажил весело: ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и раздавал деньги бедным. И хорошо делал: он ведь по себе знал, каково сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей; все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил да тратил свое золото, а вновь-то взять было неоткуда, и осталось у него в конце концов всего-навсего две денежки! Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их; никто из друзей больше не навещал его,— уж очень высоко было к нему подниматься!

Раз как-то, вечером, сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не было денег даже на свечку; он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами, точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.

— Что угодно, господин? — пролаяла она.

— Вот так история! — сказал солдат.— Огниво-то, выходит, прелюбопытная вещица: я могу получить все, что захочу! Эй ты, добудь мне деньжонок! — сказал он собаке. Раз — ее уж и след простыл, два — она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью! Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню раз — является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами; ударишь два — является та, которая сидела на серебре; ударишь три — прибегает собака, что сидела на золоте.

Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же снова узнали его и ужасно полюбили.

И однажды он подумал: «Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят, а что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво?» И он ударил по кремню раз — в тот же миг перед ним стояла собака с глазами, точно чайные чашки.

— Теперь, правда, уже ночь,— сказал солдат.— Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на одну минуточку!

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша; всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса, и солдат не утерпел и поцеловал ее,— он ведь был настоящий солдат.

Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата: будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

— Вот так история! — сказала королева.

И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину — она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое.

А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть, но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их найти!» — взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и спокойно отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидела этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это

было ловко придумано: теперь фрейлина не могла отыскать нужные ворота — повсюду белели кресты.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью.

— Вот куда! — сказал король, увидев первые ворота с крестом.

— Нет, вот куда, муженек! — возразила королева, заметив крест на других воротах.

— Да и здесь крест, и здесь! — зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться.

Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки целую штуку шелковой материи, сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса.

Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату; солдат так полюбил принцессу, что даже готов был стать принцем, лишь бы ему жениться на ней.

Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму.

Ух, до чего же там было темно и скучно! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Невесело было услышать это, а огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе.

Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал глядеть сквозь железную решетку на улицу: народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата; били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике. Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко.

— Эй ты, куда торопишься? — крикнул мальчику солдат.— Без меня ведь дело не обойдется! А вот, если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монеты. Только живо!

Мальчишка был не прочь получить четыре монеты, он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем!

За городом построили огромную виселицу, вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета.

Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал, что, прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку,— это ведь будет последняя его трубочка на этом свете!

Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три — и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как Круглая башня.

— А ну, помогите мне избавиться от петли! — приказал солдат.

И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: хватали того за ноги, того за нос да швыряли кверху на несколько сажен, и все падали и разбивались вдребезги!

— Не надо! — закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:

— Служивый, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!

Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали «ура». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.

МАЛЕНЬКИЙ КЛАУС И БОЛЬШОЙ КЛАУС

В одной деревне жили два человека: и того и другого звали Клаус, но у одного было четыре лошади, а у другого только одна; так вот, чтобы различить их, и стали звать того, у которого было четыре лошади, Большой Клаус, а того, у которого одна, Маленький Клаус. Послушаем-ка теперь, что с ними случилось; ведь это целая история!

Всю неделю, как есть, должен был Маленький Клаус пахать на своей лошадке поле Большого Клауса. В награду тот давал ему всех своих четырех, но только раз в неделю, по воскресеньям. Ух ты, как звонко щелкал тогда кнутом Маленький Клаус над всей пятеркой,— в этот день ведь все лошадки были будто его собственные. Солнце сияло, колокола звонили к обедне, люди были такие нарядные и шли с молитвенниками в руках в церковь послу-

шать проповедь священника. Все они видели, что Маленький Клаус пашет на пяти лошадях, и он был очень доволен, пощелкивал кнутом да покрикивал:

— Эх вы, мои лошадушки!

— Не смей так говорить! — сказал ему как-то раз Большой Клаус.— У тебя ведь всего одна лошадь!

Но вот опять кто-нибудь проходил мимо, и Маленький Клаус забывал, что ему нельзя так говорить, и опять покрикивал:

— Ну вы, мои лошадушки!

— Перестань сейчас же! — сказал ему наконец Большой Клаус.— Если ты скажешь это еще хоть раз, я возьму да хвачу твою лошадь по лбу. Ей тогда сразу конец придет!

— Не буду больше! — сказал Маленький Клаус.— Право же, не буду!

Да вдруг опять кто-то прошел мимо и поздоровался с ним, а он от радости, что пашет так важно на пяти лошадях, опять щелкнул кнутом и закричал:

— Ну вы, мои лошадушки!

— Вот я тебе понукаю твоих лошадушек! — сказал Большой Клаус.

Взял он обух, которым вколачивают в поле колья для привязи лошадей, и так хватил лошадь Маленького Клауса по лбу, что убил ее наповал.

— Эх, нет у меня теперь ни одной лошади! — проговорил Маленький Клаус и заплакал.

Потом он снял с лошади шкуру, высушил ее хорошенько на ветру, положил в мешок, взвалил мешок на спину и пошел в город продавать шкуру.

Идти пришлось очень далеко, через большой темный лес, а тут еще непогода разыгралась, и Маленький Клаус заблудился. Едва выбрался он на дорогу, как совсем стемнело, а до города было еще далеко, да и домой назад не близко; засветло ни за что не добраться ни туда, ни сюда.

При дороге стоял большой крестьянский двор; ставни в доме были уже закрыты, но сквозь щели светился огонь.

«Тут уж я, верно, найду себе приют на ночь»,— подумал Маленький Клаус и постучался.

Хозяйка отперла, узнала, что ему надо, и велела идти своей дорогой: мужа ее не было дома, а без него она не могла принимать гостей.

— Ну, тогда я переночую на дворе! — сказал Маленький Клаус, и хозяйка захлопнула дверь.

Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом — сарайчик с плоской соломенной крышей.

— Вон там я и улягусь! — сказал Маленький Клаус, увидев эту крышу.— Чудесная постель! Надеюсь, аист не слетит и не схватит меня за ногу!

Это он сказал потому, что на крыше дома в гнезде стоял живой аист.

Маленький Клаус влез на сарайчик, растянулся на соломе и принялся ворочаться с боку на бок, стараясь улечься поудобнее. Ставни закрывали только нижнюю половину окон, и ему видна была вся горница.

А в горнице был накрыт большой стол; чего-чего только на нем не было: и вино, и жаркое, и чудеснейшая рыба; за столом сидели хозяйка и пономарь,— больше никого.

Хозяйка наливала гостю вино, а он уплетал рыбу,— он был большой до нее охотник.

«Как бы мне к ним присоседиться?» — подумал Маленький Клаус и, вытянув шею, заглянул в окно. Боже, какой дивный пирог он увидал! Вот так пир!

Но тут он услыхал, что кто-то подъезжает к воротам, это вернулся домой хозяйкин муж. Он был очень добрый человек, но у него была странная болезнь: он терпеть не мог пономарей. Стоило ему встретить пономаря — и его охватывало бешенство. Поэтому пономарь и пришел в гости к его жене в то время, когда мужа не было дома, а добрая женщина постаралась угостить его на славу. Оба они очень испугались, услышав, что хозяин вернулся, и хозяйка попросила гостя поскорее влезть в большой пустой сундук, который стоял в углу. Пономарь послушался,— он ведь знал, что бедняга хозяин терпеть не может пономарей,— а хозяйка проворно убрала все угощение в печку: если бы муж увидал все это, он, конечно, спросил бы, кого она вздумала угощать.

— Ах! — громко вздохнул Маленький Клаус на крыше, глядя, как она прятала кушанье и вино.

— Кто там? — спросил крестьянин и вскинул глаза на Маленького Клауса.— Чего ж ты лежишь тут? Пойдем-ка лучше в горницу!

Маленький Клаус объяснил, что он заблудился и попросился ночевать.

— Ладно,— сказал крестьянин,— ночуй. Только сперва нам с тобой надо подкрепиться с дороги.

Жена приняла их обоих очень ласково, накрыла на стол и вынула из печки большой горшок каши.

Крестьянин проголодался и ел с аппетитом, а у Маленького Клауса из головы не шли жаркое, рыба и пирог, которые были спрятаны в печке.

Под столом, у ног Маленького Клауса, лежал мешок с лошадиной шкурой, с той самой, которую он нес продавать. Каша не лезла ему в горло, и вот он придавил мешок ногой; сухая шкура громко заскрипела.

— Тсс! — сказал Маленький Клаус, а сам опять наступил на мешок, и шкура заскрипела еще громче.

— Что там у тебя? — спросил хозяин.

— Да это все мой колдун! — сказал маленький Клаус.— Говорит, что не стоит нам есть кашу,— он уже наколдовал для нас полную печку всякой всячины: там и жаркое, и рыба, и пирог!

— Вот так штука! — вскричал крестьянин, мигом открыл печку и увидал там чудесные кушанья. Мы-то знаем, что их спрятала туда его жена, а он поверил, что это все колдун наколдовал!

Жена не посмела сказать ни слова и живо поставила все на стол, а муж с гостем принялись уплетать и жаркое, и рыбу, и пирог. Но вот Маленький Клаус опять наступил на мешок, и шкура заскрипела.

— А что он сейчас сказал? — спросил крестьянин.

— Да говорит, что наколдовал нам еще три бутылки вина, они тоже в печке,— ответил Маленький Клаус.

Пришлось хозяйке вытащить и вино. Крестьянин выпил стаканчик, другой, и ему стало так весело! Да, такого колдуна, как у Маленького Клауса, он не прочь бы заполучить!

— А может он вызвать черта? — спросил крестьянин.— Вот на кого бы я посмотрел, раз уж у нас пошло веселье!

— Может,— сказал Маленький Клаус,— мой колдун может сделать все, чего я захочу. Правда? — спросил он у мешка, а сам наступил на него, и шкура заскрипела.

— Слышишь? Он отвечает «да». Только черт очень уж безобразный, не стоит и смотреть на него!

— Ну, я его ни капельки не боюсь. А каков он на вид?

— Да вылитый пономарь!

— Тьфу! — сплюнул крестьянин.— Экая мерзость! Надо тебе сказать, что я видеть не могу пономарей! Но все равно, я ведь знаю, что это черт, и мне будет не так противно! К тому же я сейчас набрался храбрости, это очень кстати! Только пусть он не подходит слишком близко!

— Ладно, я сейчас скажу колдуну! — проговорил Маленький Клаус, наступил на мешок и прислушался.

— Ну что?

— Он велит тебе пойти и открыть вон тот сундук в углу: там притаился черт. Только придерживай крышку, а то он выскочит.

— А ты помоги придержать! — сказал крестьянин и пошел к сундуку, куда жена спрятала пономаря.

Пономарь был ни жив ни мертв от страха. Крестьянин приоткрыл крышку и заглянул в сундук.

— Тьфу! Видел, видел! — закричал он и отскочил прочь.— Точь-в-точь наш пономарь! Вот гадость-то!

Это надо было запить, и они пили до поздней ночи.

— А колдуна своего ты мне продай! — сказал крестьянин.— Проси, сколько хочешь, хоть целую мерку денег!

— Нет, не могу! — сказал Маленький Клаус.— Подумай, сколько мне от него пользы!

— Продай! Мне страсть как хочется его получить! — сказал крестьянин и принялся упрашивать Маленького Клауса.

— Ну ладно,— согласился наконец Маленький Клаус,— пусть будет по-твоему! Ты со мной ласково обошелся, пустил меня ночевать, так бери моего колдуна за мерку денег, только насыпай пополнее!

— Хорошо! — сказал крестьянин.— Но ты должен взять и сундук, я и часу не хочу держать его у себя в доме. Почем знать, может, черт все еще там сидит.

Маленький Клаус отдал крестьянину свой мешок с высушенной шкурой и получил за него полную мерку денег, да еще большую тачку, чтобы было на чем везти деньги и сундук.

— Прощай! — сказал Маленький Клаус и покатил тачку с деньгами и с сундуком, в котором все еще сидел пономарь.

По ту сторону леса протекала большая глубокая река, такая быстрая, что едва можно было справиться с течением. Через реку был перекинут новый мост. Маленький Клаус встал посредине моста и сказал нарочно как можно громче, чтобы пономарь услышал:

— К чему мне этот дурацкий сундук? Он такой тяжелый, точно набит камнями! Я только измучусь с ним! Брошу-ка его в реку: приплывет он ко мне домой сам — ладно, а не приплывет — и не надо!

Потом он взялся за сундук одною рукою и слегка приподнял его, точно собираясь столкнуть в воду.

— Постой! — закричал из сундука пономарь.— Выпусти сначала меня!

— Ай! — вскрикнул Маленький Клаус, притворяясь, что испугался.— Он все еще тут! В воду его скорее! Пусть тонет!

— Нет, нет! Это не черт, это я! — кричал пономарь.— Выпусти меня, я тебе дам целую мерку денег!

— Вот это другое дело! — сказал Маленький Клаус и открыл сундук.

Пономарь мигом выскочил оттуда и столкнул пустой сун-

дук в воду. Потом они пошли к пономарю, и Маленький Клаус получил еще целую мерку денег. Теперь тачка была полна деньгами.

— А ведь лошадка принесла мне недурной барыш! — сказал себе Маленький Клаус, когда пришел домой и высыпал на пол кучу денег.— То-то Большой Клаус разозлится, когда узнает, как я разбогател от своей единственной лошади! Только пусть не ждет, чтобы я сказал ему всю правду!

И он послал к Большому Клаусу мальчика попросить мерку, которою мерят зерно.

«На что она ему понадобилась?» — подумал Большой Клаус и слегка смазал дно меры дегтем,— авось, к нему что-нибудь да пристанет. Так оно и вышло: получив мерку назад, Большой Клаус увидел, что ко дну прилипли три новеньких серебряных монетки.

— Вот так штука! — сказал Большой Клаус и сейчас же побежал к Маленькому Клаусу.

— Откуда у тебя столько денег?

— Я продал вчера вечером шкуру своей лошади.

— С барышом продал! — сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил всех своих четырех лошадей, снял с них шкуры и отправился в город продавать.

— Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! — кричал он, обходя улицу за улицей.

Все сапожники и кожевники сбежались к нему и стали спрашивать, сколько он просит за шкуры.

— Мерку денег за штуку! — отвечал Большой Клаус.

— Да ты в уме? — возмутились покупатели.— У нас столько денег не водится, чтобы их мерками мерить!

— Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! — кричал он опять и всем, кто спрашивал, почем у него шкуры, отвечал: — Мерку денег за штуку!

— Да он нас дурачить вздумал! — закричали сапожники и кожевники, похватали кто ремни, кто кожаные передники и принялись хлестать ими Большого Клауса.

— «Шкуры! Шкуры!» — передразнивали они его.— Мы с тебя самого сейчас шкуру сдерем! Вон из города!

И Большой Клаус давай бог ноги! Сроду его так не колотили!

— Ну,— сказал он, добравшись до дому,— поплатится же мне за это Маленький Клаус! Убью его!

А у Маленького Клауса как раз умерла старая бабушка: она не очень-то ладила с ним, была злая и жадная, но он все-таки очень жалел ее и положил на ночь в свою теплую постель — авось

отогреется и оживет,— а сам уселся в углу на стуле: ему не впервой было так ночевать.

Ночью дверь отворилась, и вошел Большой Клаус с топором в руках. Он знал, где стоит кровать Маленького Клауса, подошел к ней и ударил по голове мертвую бабушку, а думал, что это Маленький Клаус.

— Вот тебе! Не будешь вперед меня дурачить! — сказал Большой Клаус и пошел домой.

— Ну и злодей! — сказал Маленький Клаус.— Это он меня хотел убить! Хорошо, что бабушка-то была мертвая, а то бы ей не поздоровилось!

Потом он одел бабушку в праздничное платье, попросил у соседа лошадь, запряг ее в тележку, хорошенько усадил старуху на заднюю скамейку, чтобы она не свалилась, когда поедут, и покатил с ней через лес. Когда солнышко встало, они подъехали к большому постоялому двору. Маленький Клаус остановился и пошел спросить себе чего-нибудь закусить.

У хозяина постоялого двора было много-много денег, и сам он был человек очень добрый, но такой горячий, точно весь был начинен перцем и табаком.

— Здравствуй! — сказал он Маленькому Клаусу.— Чего это ты нынче спозаранку расфрантился?

— Да вот,— отвечал Маленький Клаус,— надо с бабушкой в город съездить; она там, в тележке, осталась — ни за что не хочет вылезать. Пожалуйста, отнесите ей туда стаканчик меду. Только говорите с ней погромче, она глуховата!

— Ладно! — согласился хозяин, взял большой стакан меду и понес старухе, а та сидела в тележке прямая, как палка.

— Вот, внучек прислал вам стаканчик медку! — сказал хозяин, подойдя к тележке, но старуха не ответила ни слова и даже не шевельнулась.

— Слышите? — закричал хозяин во все горло.— Ваш внук посылает вам стакан меду!

Еще раз прокричал он то же самое и еще раз, а она все не шевелилась; тогда он рассердился и запустил ей стаканом прямо в лицо, так что мед потек у нее по носу, а сама она опрокинулась навзничь. Маленький Клаус ведь не привязал ее, а просто прислонил к спинке скамейки.

— Что ты наделал? — завопил Маленький Клаус, выскочил из дверей и схватил хозяина за ворот.— Ты мою бабушку убил! Погляди, какая у нее дыра во лбу!

— Вот беда-то! — заохал хозяин, всплеснув руками.— И все из-за моей горячности! Маленький Клаус, друг ты мой, я тебе целую мерку денег дам и бабушку твою похороню, как свою соб-

«Дюймовочка»

ственную, только молчи об этом, не то мне отрубят голову, а ведь это ужасно неприятно!

И вот Маленький Клаус получил целую мерку денег, а хозяин схоронил его старую бабушку, точно свою собственную.

Маленький Клаус вернулся домой опять с целой кучей денег и сейчас же послал к Большому Клаусу мальчика попросить мерку.

— Как так? — удивился Большой Клаус.— Разве я не убил его? Надо посмотреть самому!

И он сам понес мерку Маленькому Клаусу.

— Откуда это у тебя такая куча денег? — спросил он и глаза вытаращил от удивления.

— Ты убил-то не меня, а мою бабушку,— сказал Маленький Клаус,— и я ее продал за мерку денег!

— С барышом продал! — сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку, потом положил ее в тележку, приехал с ней в город к аптекарю и предложил ему купить мертвое тело.

— Чье оно, и где вы его взяли? — спросил аптекарь.

— Это моя бабушка! — ответил Большой Клаус.— Я убил ее, чтобы продать за мерку денег!

— Господи помилуй! — воскликнул аптекарь.— Вы сами не знаете, что говорите! Смотрите, ведь это может стоить вам головы!

И он растолковал Большому Клаусу, что́ он такое наделал, какой он дурной человек и как его за это накажут. Большой Клаус перепугался, опрометью выскочил из аптеки, сел в тележку, хлестнул лошадей и помчался домой. Аптекарь и весь народ подумали, что он сумасшедший, и потому не задержали его.

— Поплатишься же ты мне за это, поплатишься, Маленький Клаус! — сказал Большой Клаус, выехав на дорогу, и, как только добрался до дому, взял большущий мешок, пошел к Маленькому Клаусу и сказал:

— Ты опять одурачил меня? Сперва я убил своих лошадей, а теперь и бабушку! Все это по твоей милости! Но уж больше ты не будешь меня дурачить!

Он схватил Маленького Клауса и засунул в мешок, а мешок завязал, вскинул на спину и крикнул:

— Пойду утоплю тебя!

До реки было не близко, и Большому Клаусу становилось тяжеленько тащить Маленького. Дорога шла мимо церкви: оттуда слышались звуки органа, да и молящиеся красиво пели хором. Большой Клаус поставил мешок с Маленьким Клаусом у самых церковных ворот и подумал, что не худо было бы зайти в церковь, прослушать псалом, а потом уж идти дальше. Маленький Клаус

не мог вылезти из мешка сам, а весь народ был в церкви. И вот Большой Клаус зашел в церковь.

— Ох, ох! — вздыхал Маленький Клаус, ворочаясь в мешке, но, как он ни старался, развязать мешок ему не удавалось. В это самое время мимо проходил старый, седой как лунь пастух с большой клюкой в руках; он гнал перед собой целое стадо. Коровы и быки наскочили на мешок с Маленьким Клаусом и повалили его.

— О-ох! — вздохнул Маленький Клаус.— Такой я молодой еще, а уж должен отправляться в царство небесное!

— А я, несчастный, такой старый, дряхлый и все не могу попасть туда! — сказал пастух.

— Так развяжи мешок,— закричал Маленький Клаус.— Полезай на мое место — живо попадешь туда!

— С удовольствием! — сказал пастух и развязал мешок, а Маленький Клаус мигом выскочил на волю.

— Теперь тебе смотреть за стадом! — сказал старик и влез в мешок.

Маленький Клаус завязал его и погнал стадо дальше.

Немного погодя вышел из церкви Большой Клаус, взвалил мешок на спину, и ему сразу показалось, что мешок стал гораздо легче,— Маленький Клаус весил ведь чуть не вдвое больше против старого пастуха.

«Ишь как теперь легко стало! А все оттого, что я прослушал псалом!» — подумал Большой Клаус, дошел до широкой и глубокой реки, бросил туда мешок с пастухом и, полагая, что там сидит Маленький Клаус, закричал:

— Ну вот, вперед не будешь меня дурачить!

После этого он отправился домой, но у самого перепутья встретил... Маленького Клауса с целым стадом!

— Вот тебе раз! — вскричал Большой Клаус.— Разве я не утопил тебя?

— Конечно, утопил! — сказал Маленький Клаус.— Полчаса тому назад ты бросил меня в реку!

— Так откуда же ты взял такое прекрасное стадо? — спросил Большой Клаус.

— А это водяное стадо! — ответил Маленький Клаус.— Я расскажу тебе целую историю. Спасибо тебе, что ты утопил меня, теперь я разбогател, как видишь! А страшно мне было в мешке! Ветер так и засвистел в ушах, когда ты бросил меня в холодную воду! Я сразу пошел ко дну, но не ушибся,— там внизу растет такая нежная, мягкая трава, на нее я и упал. Мешок сейчас же развязался, и прелестнейшая девушка в белом как снег платье, с венком из зелени на мокрых волосах, протянула мне руку и ска-

зала: «А,..это ты, Маленький Клаус? Ну вот, прежде всего бери себе это стадо, а в миле отсюда на дороге пасется другое, побольше,— ступай, я тебе его тоже дарю».

Тут я увидел, что река была для водяных жителей все равно что дорога: они ездили и ходили по дну от самого озера и до того места, где реке конец. Ах, как там было хорошо! Какие цветы, какая свежая трава! А рыбки шныряли мимо моих ушей точь-в-точь как у нас здесь птицы! Что за красивые люди попадались мне навстречу и какие чудесные стада паслись у изгородей и канав!

— Почему же ты так скоро вернулся? — спросил Большой Клаус.— Уж меня бы не выманили оттуда, если там так хорошо!

— Я ведь это неспроста сделал! — сказал Маленький Клаус.— Я же тебе сказал, что водяная девушка велела мне отправиться за другим стадом, которое пасется на дороге всего в одной версте оттуда! Дорогой она называет реку — другой дороги они ведь там не знают,— а река так петляет, что мне пришлось бы сделать здоровый крюк. Вот я и решил выбраться на сушу да пойти прямиком к тому месту, где ждет меня стадо; так я выиграю почти полмили!

— Экий счастливец! — сказал Большой Клаус.— А как ты думаешь, получу я стадо, если спущусь на дно?

— Конечно! — сказал Маленький Клаус.— Только я не могу тащить тебя в мешке до реки, ты больно тяжелый. А вот, коли хочешь, дойди сам да влезь в мешок, а я с удовольствием тебя сброшу в воду!

— Спасибо! — сказал Большой Клаус.— Но если я не получу там стада, я тебя изобью, так и знай!

— Ну-ну, не будь таким злым! — сказал Маленький Клаус, и они пошли к реке.

Когда стадо увидело воду, оно так и бросилось к реке: скоту очень хотелось пить.

— Погляди, как мои коровушки торопятся! — сказал Маленький Клаус.— Ишь, как соскучились по воде: домой, на дно, знать, захотелось!

— Но ты сперва помоги мне, не то я тебя изобью! — сказал Большой Клаус и влез в мешок, который лежал на спине у одного из быков.— Да положи мне в мешок камень, а то я, пожалуй, не пойду ко дну!

— Пойдешь! — сказал Маленький Клаус, но все-таки положил в мешок камень, крепко завязал мешок и столкнул его в воду. Бултых! И Большой Клаус пошел прямо ко дну.

— Ох, боюсь, не найдет он там ни коров, ни быков! — сказал Маленький Клаус и погнал свое стадо домой.

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Жил-был принц, и хотелось ему взять за себя принцессу, но только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесс-то — хоть отбавляй, да вот настоящие ли они? До этого он никак добраться не мог; так и вернулся домой ни с чем и загоревал,— уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу.

Раз вечером разыгралась непогода: молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил как из ведра; ужас что такое!

Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять.

У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса!

«Ну, уж это мы узнаем!» — подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину; поверх горошины постлала двадцать тюфяков, а еще сверху двадцать пуховиков.

На эту постель и уложили принцессу на ночь.

Утром ее спросили, как она почивала.

— Ах, очень дурно! — сказала принцесса.— Я почти глаз не сомкнула! Бог знает что у меня была за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках! Просто беда!

Тут-то все и увидали, что она была настоящею принцессой! Она почувствовала горошину через сорок тюфяков и пуховиков,— такою деликатною особой могла быть только настоящая принцесса.

И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу! А горошину отправили в кунсткамеру; там она и лежит, если только никто ее не украл.

Вот история так история!

ЦВЕТЫ МАЛЕНЬКОЙ ИДЫ

— Бедные мои цветочки совсем завяли! — сказала маленькая Ида.— Вчера вечером они были такие красивые, а теперь повесили головки! Отчего это? — спросила она студента, сидевшего на диване.

Она очень любила этого студента,— он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезывать презабавные фигурки: сердечки

с крошечными танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой забавник был этот студент!

— Что с ними случилось? — спросила она опять и показала ему свой завядший букет.

— Знаешь что? — сказал студент.— Цветы были почью на балу, вот и повесили теперь головки!

— Да ведь цветы не танцуют! — сказала маленькая Ида.

— Танцуют! — отвечал студент.— По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают — просто чудо!

— А детям нельзя прийти к ним на бал?

— Отчего же,— сказал студент,— ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.

— А где танцуют самые красивые цветы? — спросила Ида.

— Ты ведь бывала за городом, там, где большой дворец, в котором летом живет король и где такой чудесный сад с цветами? Помнишь лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы!

— Я вчера была там с мамой,— сказала маленькая Ида,— но на деревьях нет больше листьев, и во всем саду нет ни одного цветка! Куда они все девались? Их столько было летом!

— Они все во дворце! — сказал студент.— Надо тебе сказать, что, как только король и придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые розы садятся на трон — это король с королевой. Красные петушьи гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются — это камер-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Гиацинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями — голубыми фиалками, а тюльпаны и большие желтые лилии — это пожилые дамы, они наблюдают за танцами и вообще за порядком.

— А цветочкам не попадет за то, что они танцуют в королевском дворце? — спросила маленькая Ида.

— Да ведь никто же не знает об этом! — сказал студент.— Правда, ночью заглянет иной раз во дворец старик смотритель с большою связкою ключей в руках, но цветы, как только заслышат звяканье ключей, тотчас присмиреют, спрячутся за длинные занавески, которые висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда одним глазом. «Тут что-то пахнет цветами!» — бормочет старик смотритель, а видеть ничего не видит.

— Вот забавно! — сказала маленькая Ида и даже в ладоши захлопала.— И я тоже не могу их увидеть?

— Можешь,— сказал студент.— Стоит тебе только, как опять пойдешь туда, заглянуть в окошки. Вот я сегодня видел там длинную желтую лилию; она лежала и потягивалась на диване — воображала себя придворной дамой.

— А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда? Ведь это далеко!

— Не бойся,— сказал студент,— они умеют летать, когда захотят! Ты видела красивых красных, желтых и белых бабочек, похожих на цветы? Они ведь и были прежде цветами, только прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками, точно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо, за то и получили позволение летать не только ночью; другие должны днем сидеть смирно на своих стебельках, а они летают, и лепестки их стали наконец настоящими крылышками. Ты сама не раз ими любовалась. А впрочем, может быть, цветы из Ботанического сада и не бывают в королевском дворце! Может быть, они даже и не знают, что там идет по ночам такое веселье. Вот что я скажу тебе: то-то удивится потом профессор ботаники — ты ведь его знаешь, он живет тут рядом! — когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце. Твой цветок расскажет об этом остальным, и они все убегут. Профессор придет в сад, а там ни единого цветочка, и он в толк не возьмет, куда они девались!

— Да как же цветок расскажет другим? У цветов нет языка!

— Конечно, нет,— сказал студент,— зато они умеют объясняться знаками! Ты сама видела, как они качаются и шевелят своими зелеными листочками, чуть подует ветерок. Это у них так мило выходит — точно они разговаривают!

— А профессор понимает их знаки?— спросила маленькая Ида.

— Как же! Раз утром он пришел в свой сад и видит, что большая крапива делает листочками знаки прелестной красной гвоздике; этим она хотела сказать гвоздике: «Ты так мила, я очень тебя люблю!» Профессору это не понравилось, и он сейчас же ударил крапиву по листьям — листья у крапивы все равно, что пальцы,— да обжегся! С тех пор и не смеет ее трогать.

— Вот забавно! — сказала Ида и засмеялась.

— Ну можно ли забивать ребенку голову такими бреднями? — сказал скучный советник, который тоже пришел в гости и сидел на диване.

Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезывал затейливые, забавные фигурки, вроде человека на виселице и с сердцем в руках — его повесили за то, что он воровал сердца,— или старой ведьмы на помеле, с мужем на носу. Все это очень не нравилось советнику, и он всегда повторял:

— Ну можно ли забивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Но Иду очень позабавил рассказ студента о цветах, и она думала об этом целый день.

«Значит, цветочки повесили головки потому, что устали после бала!» И маленькая Ида пошла к своему столику, где стояли все ее игрушки; ящик столика тоже битком был набит разным добром. Кукла Софи лежала в своей кроватке и спала, но Ида сказала ей:

— Тебе придется встать, Софи, и полежать эту ночь в ящике: бедные цветы больны, их надо уложить в твою постельку,— может быть, они выздоровеют!

И она вынула куклу из кровати. Софи посмотрела на Иду очень недовольно и не сказала ни слова,— она рассердилась за то, что ей не дают спать в ее постели.

Ида уложила цветы, укрыла их хорошенько одеялом и велела им лежать смирно, за это она обещала напоить их чаем, и тогда они встанут завтра утром совсем здоровыми! Потом она задернула полог, чтобы солнце не светило цветам в глаза.

Рассказ студента не шел у нее из головы, и, укладываясь спать, Ида не могла удержаться, чтобы не заглянуть за гардины, задернутые на ночь; на окошках стояли чудесные мамины цветы — тюльпаны и гиацинты, и маленькая Ида шепнула им:

— Я знаю, что у вас ночью будет бал!

Цветы стояли как ни в чем не бывало и даже не шелохнулись, ну да маленькая Ида что знала, то знала.

В постели Ида долго еще думала о том же и все представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют! «Неужели и мои цветы были на балу во дворце?» — подумала она и заснула.

Но посреди ночи маленькая Ида вдруг проснулась; она видела во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что тот забивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и папа с мамой крепко спали.

— Хотелось бы мне знать: спят ли мои цветы в постельке? — сказала маленькая Ида про себя и приподнялась с подушки, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой были ее игрушки и цветы; потом она прислушалась,— ей показалось, что в той комнате играют на фортепьяно, но очень тихо и нежно; такой музыки она никогда еще не слыхала.

— Это, верно, цветы танцуют! — сказала Ида.— Господи, как бы мне хотелось посмотреть!

Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить папу с мамой.

— Хоть бы цветы вошли сюда! — сказала она.

Но цветы не входили, а музыка все продолжалась, такая тихая, нежная, просто чудо! Тогда Идочка не выдержала, потихоньку вылезла из кроватки, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в соседнюю комнату. Что за прелесть была там!

В той комнате не горело ночника, а было все-таки светло, как днем, от месяца, глядевшего из окошка прямо на пол, где в два ряда стояли тюльпаны и гиацинты; на окнах не осталось ни единого цветка — одни горшочки с землей. Цветы очень мило танцевали: они то становились в круг, то, взявшись за длинные зеленые листочки, точно за руки, кружились парами. На фортепьяно играла большая желтая лилия — это, наверное, ее маленькая Ида видела летом! Она хорошо помнила, как студент сказал: «Ах, как она похожа на фрекен Лину!» Все посмеялись тогда над ним, но теперь Иде и в самом деле показалось, будто длинная желтая лилия похожа на Лину; она и на рояле играла так же, как Лина: поворачивала свое продолговатое лицо то в одну сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Никто не заметил Иды.

Вдруг маленькая Ида увидала, что большой голубой крокус вскочил прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кроватке и отдернул полог; там лежали больные цветы, но они живо поднялись и кивнули головками, в знак того, что они тоже хотят танцевать. Старый Курилка со сломанной нижней губой встал и поклонился прекрасным цветам; они совсем не были похожи на больных — спрыгнули со стола и принялись веселиться вместе со всеми.

В эту минуту что-то стукнуло, как будто что-то упало на пол. Ида посмотрела в ту сторону — это была масленичная верба: она тоже спрыгнула со стола к цветам, считая, что она им сродни. Верба тоже была мила; ее украшали бумажные цветы, а на верхушке сидела восковая куколка в широкополой черной шляпе, точь-в-точь такой, как у советника. Верба прыгала посреди цветов и громко топала своими тремя красными деревянными ходульками,— она танцевала мазурку, а другим цветам этот танец не удавался, потому что они были слишком легки и не могли топать.

Но вот восковая куколка на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала:

— Ну можно ли забивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Теперь кукла была вылитый советник, в черной широкополой шляпе, такая же желтая и сердитая! Но бумажные цветы ударили ее по тонким ножкам, и она опять съежилась в маленькую

восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха.

Верба продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею, все равно — вытягивался ли он во всю длину или оставался маленькою восковою куколкой в черной широкополой шляпе. Наконец все цветы, особенно те, что лежали в кукольной кровати, стали просить за него, и верба оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике, где лежала кукла Софи и другие игрушки. Курилка побежал по краю стола, лег на живот и приотворил ящик. Софи встала и удивленно огляделась.

— Да у вас, оказывается, бал! — проговорила она.— Что же это мне не сказали?

— Хочешь танцевать со мной? — спросил Курилка.

— Хорош кавалер! — сказала Софи и повернулась к нему спиной; потом уселась на ящик и стала ждать — авось ее пригласит кто-нибудь из цветов, но никто и не думал ее приглашать. Она громко кашлянула, но и тут никто не подошел к ней. Курилка плясал один, и очень недурно!

Видя, что цветы и не глядят на нее, Софи вдруг свалилась с ящика на пол, да с таким шумом, что все сбежались к ней и стали спрашивать, не ушиблась ли она? Все разговаривали с нею очень ласково, особенно те цветы, которые только что спали в ее кроватке; Софи нисколько не ушиблась, и цветы маленькой Иды стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели с собой в лунный кружок на полу и принялись танцевать с ней, а другие цветы кружились вокруг них. Теперь Софи была очень довольна и сказала цветочкам, что охотно уступает им свою кроватку,— ей хорошо и в ящике!

— Спасибо! — сказали цветы.— Но мы не можем жить так долго! Утром мы совсем умрем! Скажи только маленькой Иде, чтобы она схоронила нас в саду, где зарыта канарейка; летом мы опять вырастем и будем еще красивее!

— Нет, вы не должны умирать! — сказала Софи и поцеловала цветы. В это время дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа цветов. Ида никак не могла понять, откуда они взялись,— должно быть, из королевского дворца. Впереди шли две прелестные розы с маленькими золотыми коронами на головах — это были король с королевой. За ними, раскланиваясь во все стороны, шли чудесные левкои и гвоздики. Музыканты — крупные маки и пионы — дули в шелуху от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они танце-

вали — и голубые фиалки, и оранжевые ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались, что просто загляденье!

Наконец все пожелали друг другу спокойной ночи, а маленькая Ида тихонько пробралась в свою кроватку, и ей всю ночь снились цветы и все, что она видела.

Утром она встала и побежала к своему столику посмотреть, там ли ее цветочки.

Она отдернула полог — да, они лежали в кроватке, но совсем, совсем завяли! Софи тоже лежала на своем месте в ящике и выглядела очень сонной.

— А ты помнишь, что тебе надо передать мне? — спросила ее Ида.

Но Софи глупо смотрела на нее и не раскрывала рта.

— Какая же ты нехорошая! — сказала Ида.— А они еще танцевали с тобой!

Потом она взяла картонную коробочку с нарисованною на крышке хорошенькою птичкой, открыла коробочку и положила туда мертвые цветы.

— Вот вам и гробик! — сказала она.— А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы на будущее лето вы выросли еще красивее!

Йонас и Адольф, норвежские кузены, были бойкие мальчуганы; отец подарил им по новому луку, и они пришли показать их Иде. Она рассказала им про бедные умершие цветы и позволила помочь их похоронить. Мальчики шли впереди с луками на плечах; за ними маленькая Ида с мертвыми цветами в коробке. Вырыли в саду могилу. Ида поцеловала цветы и опустила коробку в яму, а Йонас с Адольфом выстрелили над могилкой из луков,— ни ружей, ни пушек у них ведь не было.

ДЮЙМОВОЧКА

Жила-была женщина; очень ей хотелось иметь ребенка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей:

— Мне так хочется иметь ребеночка; не скажешь ли ты, где мне его достать?

— Отчего же! — сказала колдунья.— Вот тебе ячменное зерно; это не простое зерно, не из тех, что крестьяне сеют в поле или бросают курам; посади-ка его в цветочный горшок — увидишь, что будет!

— Спасибо! — сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов; потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и тут же из него вырос большой чудесный цветок, очень похожий на тюльпан, но лепестки его были еще плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

— Какой славный цветок! — сказала женщина и поцеловала красивые — красные с желтыми прожилками — лепестки.

Что-то щелкнуло, и цветок распустился. Это оказался настоящий тюльпан, но в самой чашечке на зеленом стульчике сидела крошечная девочка. Она была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, вот ее и прозвали Дюймовочкой.

Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха служила ей колыбелькою, голубые фиалки — матрацем, а лепесток розы — одеяльцем; в эту колыбельку ее укладывали на ночь, а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а по краям тарелки положила венок из цветов; длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем Дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую; вместо весел у нее были два белых конских волоса. Все это было прелесть как мило! Дюймовочка умела и петь, такого нежного, красивого голоска никто еще не слыхивал!

Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло вскочила большущая жаба, мокрая, безобразная! Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепестком Дюймовочка.

— Вот и жена моему сынку! — сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Там протекала большая, широкая река; у самого берега было топко и вязко; здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном. У! Какой он был тоже гадкий, противный! Точь-в-точь мамаша.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог он сказать, когда увидал прелестную крошку в ореховой скорлупе.

— Тише ты! А то она проснется, да убежит от нас,— сказала старуха жаба.— Она ведь легче лебединого пуха! Высадим-ка ее посредине реки на широкий лист кувшинки — это ведь целый остров для такой крошки, оттуда она не сбежит, а мы пока приберем там, внизу, наше гнездышко. Вам ведь в нем жить да поживать.

В реке росло множество кувшинок; их широкие зеленые листья плавали на поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега; к этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой.

Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала, и горько заплакала: со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу!

А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала свое жилье тростником и желтыми кувшинками — надо же было приукрасить все для молодой невестки! Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела Дюймовочка, чтобы взять прежде всего ее хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:

— Вот мой сынок, твой будущий муж! Вы славно заживете с ним у нас в тине.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог сказать сынок.

Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одинешенька на зеленом листе и горько-горько плакала,— ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно, видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. А как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому! Рыбки столпились внизу, у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами; листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше... Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку!

Дюймовочка плыла мимо красивых берегов, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели:

— Какая хорошенькая девочка!

А листок все плыл да плыл, и вот Дюймовочка попала за границу.

Прелестный белый мотылек долго порхал вокруг нее и наконец уселся на листок — уж очень ему понравилась Дюймовочка! А она ужасно радовалась: гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво! Солнце так и горело золотом на воде! Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее.

Мимо летел майский жук, увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево, а зеленый листок поплыл дальше, и с ним мотылек — он ведь был привязан к листку поясом.

Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево! Особенно ей жаль было хорошенького мотылечка, которого она привязала к листку: ему придется теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало.

Он уселся с крошкой на самый большой зеленый лист, покормил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука.

Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни шевелили усиками и говорили:

— У нее только две ножки! Жалко смотреть!

— У нее нет усиков!

— Какая у нее тонкая талия! Фи! Она совсем как человек! Как некрасиво! — сказали в один голос все жуки женского пола.

Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принес ее, она тоже сначала очень понравилась, но когда все вокруг стали говорить, что она безобразна, и он не захотел больше держать ее у себя — пусть идет, куда знает. Он снова обхватил ее, слетел с дерева и посадил на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная: даже майские жуки не захотели оставить ее у себя! А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием: нежная, ласковая, точно лепесток розы.

Целое лето прожила Дюймовочка одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист — там дождик не мог достать ее. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так миновали лето и осень; но вот дело пошло к зиме, длинной холодной зиме. Певуньи птички разлетелись, кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка погибала от холода: платьице ее разорвалось, а она была такая маленькая, нежная — замерзай, да и все тут! Пошел снег, и каждая снежинка была для нее то же, что для нас целая лопата снега; мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм! Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала как лист.

Возле леса, куда она попала, лежало большое поле; хлеб давно был убран, одни голые, сухие стебельки торчали из мерзлой земли; для Дюймовочки это был целый лес. Ух! Как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши; дверью служила маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: все амбары были битком набиты хлебными зернами; кухня и кладовая ломились от припасов! Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зерна — она два дня ничего не ела!

— Ах ты, бедняжка! — сказала полевая мышь: она была, в сущности, добрая старуха.— Ступай сюда, погрейся да поешь со мною!

Девочка понравилась мыши, и мышь сказала:

— Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки — я до них большая охотница.

И Дюймовочка стала делать все, что приказывала ей мышь, и зажила отлично.

— К нам скоро придет гость,— сказала как-то полевая мышь.— Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет еще куда лучше меня: у него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубке. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж! Ты бы зажила на славу! Беда только, что он слеп и не может видеть тебя; но ты расскажи ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.

Но девочка пропустила все это мимо ушей: ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа — ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубку, был очень богат и учен; по словам полевой мыши, помещение у него было раз в двадцать просторнее, чем у нее, но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветов и отзывался о них очень дурно — он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две песенки: «Майский жук, лети, лети» и «Бродит по лугам монах», да так мило, что крот прямо-таки в нее влюбился. Но он не сказал ни слова — он был такой степенный и солидный господин.

Крот недавно прорыл под землей длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица, с перьями, с клювом; она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и была зарыта в землю как раз там, где крот прорыл свою галерею.

Крот взял в рот гнилушку — в темноте это ведь все равно, что свечка,— и пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробился дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка; хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу, лапки и головка спрятаны в перышки; бедная птичка, верно, умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль ее, она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки, но крот толкнул птичку своей короткой лапой и сказал:

— Небось не свистит больше! Вот горькая участь родиться пичужкой! Слава богу, что моим детям нечего бояться этого! Ведь птичка только и умеет что чирикать — поневоле замерзнешь зимой!

— Да, да, правда ваша, умные слова приятно слышать,— сказала полевая мышь.— Какой прок от этого чириканья! Что оно приносит птице? Холод и голод зимой? Много, нечего сказать!

Дюймовочка не вымолвила ни слова, но, когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. «Может быть, та самая, что так чудесно распевала летом! — подумала девочка.— Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка!»

Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой хороший ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку; потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле.

— Прощай, миленькая птичка,— сказала Дюймовочка.— Прощай! Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зеленые, а солнышко так славно грело!

И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась — внутри что-то стучало. Это забилось сердечко птицы: она не умерла, а только окоченела от холода, теперь же согрелась и ожила.

Осенью ласточки улетают в теплые края, а если какая-нибудь запоздает, то от холода она окоченеет, упадет замертво на землю, и ее засыплет холодным снегом.

Девочка вся задрожала от испуга — птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном,— но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегала принесла листок мяты, которым укрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им голову птички.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уже ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках,— другого фонаря у нее не было.

— Благодарю тебя, милая крошка! — сказала больная ласточка.— Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко.

— Ах,— сказала девочка,— теперь так холодно, идет снег! Останься лучше в своей теплой постельке, я буду ухаживать за тобой.

И Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крыло о терновый куст и потому не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края, как упала на землю и... Да больше она уж ничего не помнила и как попала сюда — не знала.

Всю зиму прожила тут ласточка, и Дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом — они ведь совсем не любили птичек.

Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и Дюймовочка открыла ей дыру, которую проделал крот.

Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней,— пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес! Но Дюймовочка не захотела бросить полевую мышь — она ведь знала, что старуха очень огорчится.

— Нет, нельзя! — сказала девочка ласточке.

— Прощай, прощай, милая добрая крошка! — сказала ласточка и вылетела на солнышко.

Дюймовочка посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы навернулись на глазах,— уж очень полюбилась ей бедная птичка.

— Кви-вить, кви-вить! — прощебетала птичка и скрылась в зеленом лесу.

Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так все заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом.

— Летом тебе придется готовить себе приданое! — сказала ей полевая мышь.

Оказалось, что скучный сосед в бархатной шубе посватался за девочку.

— Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чем нуждаться не будешь!

И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха мышь наняла четырех пауков для тканья, и они работали день и ночь.

Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и все только и болтал о том, что вот скоро лету будет конец, солнце перестанет так палить землю,— а то она прямо как камень стала,— и тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада: ей не нравился скучный крот. Каждое утро на восходе солнышка и каждый вечер на закате Дюймовочка выходила на порог мышиной норки; иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло, как хорошо там, на воле!» — думала девочка и вспоминала о ласточке; ей

очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно: должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зеленом лесу!

К осени Дюймовочка приготовила все свое приданое.

— Через месяц твоя свадьба! — сказала девочке полевая мышь.

Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

— Пустяки! — сказала старуха мышь.— Только не капризничай, а то я укушу тебя — видишь, какие у меня острые белые зубы? У тебя будет чудеснейший муж. У самой королевы нет такой бархатной шубки, как у него! Да и в кухне и в погребе у него не пусто! Благодари бога за такого мужа!

Наступил день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей придется идти за ним в его нору, жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не выходить на солнце,— крот ведь терпеть его не мог! А бедной крошке было так тяжело навсегда распроститься с красным солнышком! У полевой мыши она все-таки могла хоть изредка любоваться на него.

И Дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула к солнцу руки:

— Прощай, ясное солнышко, прощай!

Потом она обняла ручонками маленький красный цветочек, который рос тут, и сказала ему:

— Кланяйся от меня милой ласточке, если увидишь ее!

— Кви-вить, кви-вить! — вдруг раздалось над ее головой.

Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась, а девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглянет солнышко.

— Скоро придет холодная зима,— сказала ласточка,— и я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Ты можешь сесть ко мне на спину — только привяжи себя покрепче поясом,— и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, далеко за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме.

— Да, да, я полечу с тобой! — сказала Дюймовочка, села птичке на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и крепко привязала себя поясом к самому большому перу.

Ласточка взвилась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Там было страсть как холодно; Дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и только головку высунула, чтобы любоваться всеми красотами, которые встречались в пути.

Но вот и теплые края! Тут солнце сияло уже гораздо ярче, небо стояло выше, а около канав и изгородей рос зеленый и черный виноград. В лесах зрели лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше и дальше, и чем дальше, тем было все лучше. На берегу красивого голубого озера, посреди зеленых кудрявых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнезда. В одном из них и жила ласточка, которая летела с Дюймовочкой.

— Вот мой дом! — сказала ласточка.— А ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок, я тебя посажу в него, и ты чудесно заживешь!

— Как я рада! — воскликнула крошка и захлопала в ладоши.

Внизу лежали большие куски мрамора,— это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска, а между ними росли крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво! В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла золотая корона, за плечами развевались блестящие крылышки, а сам он был не больше Дюймовочки.

Это был эльф. В каждом цветке живет эльф, мальчик или девочка, а тот, который сидел рядом с Дюймовочкой, был сам король эльфов.

— Ах, как он хорош! — шепнула Дюймовочка ласточке.

Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему просто чудовищем. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку,— он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки! И он снял свою золотую корону, надел ее Дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут и хочет ли она быть его женой, королевой эльфов и царицей цветов? Вот это муж так муж! Не то что сын жабы или крот в бархатной шубе! И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы — мальчики и девочки — такие хорошенькие, что просто прелесть! Все они поднесли Дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с

цветка на цветок! Вот-то была радость! А ласточка сидела наверху, в своем гнездышке, и пела им, как только умела. Но самой ей было очень грустно: она крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней.

— Тебя больше не будут звать Дюймовочкой! — сказал эльф.— Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая! Мы будем звать тебя Майей!

— Прощай, прощай! — прощебетала ласточка и опять полетела из теплых краев далеко, далеко — в Данию. Там у нее было маленькое гнездо, как раз над окном человека, который умеет рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое «кви-вить», а от него и мы узнали эту историю.

РУСАЛОЧКА

В открытом море вода такая синяя, как васильки, и прозрачная, как чистое стекло,— но зато и глубоко там! Так глубоко, что ни одной цепи не хватит, чтобы якорь достал до дна, а чтобы измерить эту глубину, пришлось бы громоздить друг на друга невесть сколько колоколен. Вот там-то и живут русалки.

Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок; нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы большие и маленькие — точь-в-точь как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив; это очень красиво: ведь в каждой раковине лежит такая сияющая жемчужина, что она одна украсила бы корону любой королевы.

Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать, женщина умная, но очень гордая своим родом: она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего шесть. Вообще же она была особа, достойная всяческих похвал, прежде всего потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все шесть принцесс были прехорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост.

День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна

вплывали рыбки, как у нас, бывает, влетают ласточки; рыбки не боялись маленьких принцесс, ели из их рук и позволяли себя гладить.

Возле дворца был большой сад; там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями; плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Вместо земли там был мелкий, голубоватый, как серное пламя, песок, и потому там на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск,— казалось, будто витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна видно было солнце; оно казалось пурпурным цветком, из чашечки которого лился свет.

У каждой принцессы был в саду свой уголок; тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка: такая тихая, задумчивая... Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась; ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень,— вершина и корни точно играли и целовались друг с другом!

Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут,— не то что тут, в море! — что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее: они ведь сроду не видывали птиц.

— Когда вам исполнится пятнадцать лет,— говорила бабушка,— вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться пятнадцать лет, но другим сестрам — а они были погодки — приходилось еще ждать, и дольше всех — самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день,— рассказов бабушки им было мало, им хотелось знать обо всем поподробнее.

Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок! Она видела сквозь воду месяц и звезды; они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей; они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки.

Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря.

Сколько было рассказов, когда она вернулась назад! Но больше всего, по ее словам, ей понравилось лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом: там, точно сотни звезд, горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище.

Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра! Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... да тут у нее уж и слов не хватало! Пурпуровые и фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая лебедей; русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря.

Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса; она была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидала зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы; солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде; она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка

перепугалась и уплыла назад в море; это была собака, но русалка ведь никогда еще не видала собак.

И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста!

Четвертая сестра не была такой смелой; она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего: куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода да небо, опрокинутое, точно огромный стеклянный купол; вдали, как морские чайки, проносились большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты.

Потом пришла очередь предпоследней сестры; ее день рождения был зимой, и поэтому она увидала то, чего не видели другие: море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы — ни дать ни взять жемчужчины, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми! Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую, ветер развевал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море.

Каждая из сестер была в восторге от того, что видела наверху в первый раз,— все было для них ново и поэтому нравилось; но, получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро пресытились этими прогулками и через месяц стали говорить, что у них дома, на дне, лучше.

Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность; у всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле, и вот, когда начиналась буря и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно; но моряки не могли разобрать слов; им казалось, что это просто шумят волны; да им все равно и не удалось бы увидать на дне никаких чудес — если корабль погибал, люди тонули и опускались ко дворцу морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, когда сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать, но русалки не умеют плакать, и от этого ей было еще тяжелей.

— Ах, когда же мне будет пятнадцать лет? — говорила она.— Я знаю, что очень полюблю и тот мир, и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

— Ну вот, вырастили и тебя! — сказала бабушка, вдовствующая королева.— Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер!

И она надела русалочке на голову венок из белых лилий,— каждый лепесток был половинкой жемчужины — потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала восьми устрицам прицепиться к ее хвосту.

— Ой, как больно! — воскликнула русалочка.

— Ради красоты и потерпеть не грех! — сказала старуха.

Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок,— красные цветы из ее садика шли ей куда больше,— но она не посмела!

— Прощайте! — сказала она и легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность.

Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды; воздух был мягок и свеж, а море — как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом,— не было ведь ни малейшего ветерка; на вантах и реях сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков; казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет; в тот день праздновалось его рождение, оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвились сотни ракет, и стало светло как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову, и ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи; большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было разглядеть каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи.

Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль стал набирать скорость, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, волны все нарастали, облака сгустились, и где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря! Матросы принялись убирать паруса; огромный корабль страшно качало, ветер так и кидал его из стороны в сторону, вокруг корабля вздымались высокие валы, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля, но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на гребни. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль стонал и скрипел, толстые доски трещали, волны перекатывались через палубу; гротмачта переломилась, как тростинка, корабль опрокинулся набок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность; ей и самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи; но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей; каждый спасался, как мог. Русалочка отыскала глазами принца и, когда корабль пошел ко дну, увидела, что принц погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть! И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они в любую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами; но вот наконец она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю; руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись; он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно.

К утру непогода стихла; от корабля не осталось и щепки; солнце опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску, но глаза его все еще не открывались.

Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб; ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду; она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие

в небо горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а над ней высилась то ли церковь, то ли монастырь — она не знала толком, что это. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания — высокие пальмы. У входа в тихую, но глубокую бухту стоял утес, возле которого море намыло мелкий белый песок; вот сюда-то и приплыла русалочка и положила принца на берег, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце.

В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за большие камни, которые торчали из воды, покрыла себе волосы и грудь морскою пеной — теперь никто не различил бы в этой пене ее лица — и стала ждать: не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но тут же собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.

И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала.

Часто и вечером и утром приплывала она с тому месту, где оставила принца, видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали, видела, как стаял снег на высоких горах, но принца так больше и не видала и возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за цветами она больше не ухаживала; они росли, как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно.

Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер; за ней узнали секрет и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок, ну, а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них, оказывается, знала, кто этот принц, видела праздник на корабле и даже могла сказать, где находится его королевство.

— Поплыли вместе, сестрица! — сказали русалочке сестры и рука об руку поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только! Посреди самой просторной залы журчал большой фонтан; струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она; она же заплывала и в узкий канал, который проходил как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развевающимися флагами,— русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развевающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями.

Не раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу; они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носило по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней, она ему и присниться не могла!

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко, ее и глазом не охватить! Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

— Если люди не тонут,— спрашивала русалочка,— то они живут вечно, не умирают, как мы?

— Ну что ты! — отвечала старуха.— Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, но, когда нам при-

ходит конец, нас не хоронят среди близких, у нас нет даже могил, мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем; мы — как тростник: вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь! У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах; она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам! Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда!

— А почему у нас нет бессмертной души? — грустно спросила русалочка.— Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо.

— Вздор! Нечего и думать об этом! — сказала старуха.— Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

— Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнца! Неужели я никак не могу обрести бессмертную душу?

— Можешь,— сказала бабушка,— если кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, если отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным; они ничего не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки — ноги, как они их называют.

Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

— Будем жить — не тужить! — сказала старуха.— Повеселимся вволю свои триста лет — это срок немалый, тем слаще будет отдых после смерти! Сегодня вечером у нас во дворце бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены — и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром.

Посреди залы вода струилась широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных,

нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять начала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца и, пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла — только бы быть с ним и обрести бессмертную душу! Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме; я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой; тут не росли ни цветы, ни даже трава — кругом только голый серый песок; вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами; дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил; это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные-полурастения, похожие на стоголовых змей, торчащих прямо из песка; ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими сочленениями, от корня до самой верхушки, они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка испуганно приостановилась, сердечко ее забилось от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся пальцы. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие,

жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, поздреватой, как губка, груди.

— Знаю, знаю, зачем ты пришла! — сказала русалочке морская ведьма.— Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе — тебе же на беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу!

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и растянулись на песке.

— Ну ладно, ты пришла в самое время! — продолжала ведьма.— Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидят, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную, скользящую походку — ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни, что ты будешь ступать как по лезвию ножа и изранишь свои ножки в кровь. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе.

— Да! — сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.

— Помни,— сказала ведьма,— что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя так, что забудет ради тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской!

— Пусть! — сказала русалочка и побледнела как смерть.

— А еще ты должна мне заплатить за помощь,— сказала ведьма.— И я недешево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.

— Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне? — спросила русалочка.

— Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся; высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток!

— Хорошо! — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

— Чистота — превыше всего! — сказала она и обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, и скоро стали подыматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов, на вид он казался прозрачнейшей ключевой водой!

— Бери! — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток; потом отрезала ей язык, и русалочка стала немая — не могла больше ни петь, ни говорить!

— Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад,— сказала ведьма,— брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!

Но русалочке не пришлось этого делать — полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда,— ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на синюю поверхность моря.

Солнце еще не вставало, когда она увидала перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом; она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами; она потупилась и увидала, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами: говорить

ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду: каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам; но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, как пузырек воздуха; принц и все окружающие только дивились ее чудной, скользящей походке.

Русалочку разодели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей; русалочке стало очень грустно: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него!»

Потом рабыни начали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц, он назвал русалочку своим маленьким найденышем, и русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались их плеч; они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетавших в чужие страны.

Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, окунала свои пылавшие огнем ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню; она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове; они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только, как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе она ведь не могла обрести бессмертной души и должна была, в день его женитьбы на другой, превратиться в морскую пену.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.

— Да, я люблю тебя! — говорил принц.— У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! — думала русалочка.— Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь ему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня! — И русалочка глубоко-глубоко вздыхала, плакать она не могла.— Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плаванье. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом деле, чтобы увидеть принцессу; с ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась — она ведь лучше всех знала мысли принца.

— Я должен ехать! — говорил он ей.— Мне надо посмотреть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда не полюблю ее! Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!

И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову к ней на грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души.

«Новое платье короля»

— Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? — говорил он, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля.

И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы, а она только улыбалась, слушая его рассказы,— она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала глядеть в прозрачные волны; и ей показалось, что она видит отцовский дворец; старуха бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры; они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили в колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было,— она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она.

Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа у нее была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.

— Это ты! — воскликнул принц.— Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою зардевшуюся невесту.

— Ах, я так счастлив! — сказал он русалочке.— То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!

Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли: его свадьба ведь убьет ее, превратит в морскую пену!

Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. В алтарях в драгоценных сосудах курились благовония. Священники кадили ладаном, жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки,

глаза не видели блестящей церемонии, она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизнью.

В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, на палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; там новобрачные должны были провести эту тихую, прохладную ночь.

Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море.

Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге: никогда еще она не танцевала так чудесно! Ее нежные ножки болели, словно их резали ножами, но она не чувствовала этой боли — сердцу ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь эту ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души! Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце; принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями; наконец рука об руку удалились они в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, только рулевой стоял у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные, роскошные волосы не развевались больше по ветру — они были обрезаны.

— Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! А она дала нам вот этот нож — видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты снова станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеши! Или он, или ты — один из вас должен умереть до восхода солнца! Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все

свои седые волосы, а нам остригла волосы своими ножницами ведьма! Убей принца и вернись к нам! Торопись, видишь, на небе показалась красная полоска? Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены — она одна была у него в голове! — нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута — и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью, в том месте, где он упал. В последний раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти: она видела ясное солнце и сотни каких-то прозрачных, чудных созданий, реявших над ней, а сквозь них просвечивали белые паруса корабля и розовые облака в небе; голоса их звучали как музыка, но такая нежная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же как человеческие глаза не различали их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и незримые. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.

— К кому я иду? — спросила она, поднимаясь в воздух, и ее голос звучал такою дивною музыкой, какой не в силах передать земные звуки.

— К дочерям воздуха! — ответили ей воздушные создания.— У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду. Пройдет триста лет, во время которых мы будем посильно творить добро, и мы получим в награду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство, доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести ее через триста лет!

И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидала, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая, поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими дочерьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

— Через триста лет мы войдем в божье царство!

— Может быть, и раньше! — прошептала одна из дочерей воздуха.— Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети, и если находим там доброе, послушное дитя, которое радует своих родителей и заслуживает их любовь, мы улыбаемся.

Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате, и если мы радуемся, глядя на него, наш трехсотлетний срок сокращается на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания лишний день!

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ

Много лет назад жил-был на свете король: он так любил наряжаться, что тратил на новые платья все свои деньги, а парады, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог там показаться в новом наряде. На каждый час дня у него было особое платье, и как про других королей говорят: «Король в совете», так про него говорили: «Король в гардеробной».

В столице этого короля жилось очень весело; почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явилось двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут соткать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя: кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством — становиться невидимой для всякого человека, который сидит не на своем месте или непроходимо глуп.

«Да, вот это будет платье! — подумал король.— Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее соткут для меня такую ткань».

И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело.

Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Нимало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку

и чистейшего золота, все это клали себе в карман и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи.

«Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело!» — думал король. Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но... все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой! А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего.

«Пошлю-ка я к ним своего честного старого министра,— подумал король.— Уж он-то рассмотрит ткань: он умен и как никто другой подходит к своей должности».

И вот старик министр вошел в залу, где за пустыми станками сидели обманщики.

«Господи помилуй! — подумал министр, тараща глаза.— Да ведь я ничего не вижу!»

Только он не сказал этого вслух.

Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр как ни пялил глаза, все-таки ничего не видел. Да и видеть было нечего.

«Ах ты, господи! — думал он.— Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал! Упаси господь, кто-нибудь узнает!.. А может, я не гожусь для своей должности?.. Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани!»

— Что ж вы ничего не скажете нам? — спросил один из ткачей.

— О, это премило! — ответил старик министр, глядя сквозь очки.— Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!

— Рады стараться! — сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетания красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал.

Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота; но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут.

Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же самое, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел во все глаза, а все равно ничего, кроме пустых станков, не высмотрел.

— Ну, как вам нравится? — спросили его обманщики, показывая ткань и восхваляя узоры, которых и в помине не было.

«Я не глуп,— думал сановник.— Значит, я не на своем месте? Вот тебе раз! Однако нельзя и виду подавать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь красивым рисунком и сочетанием красок.

— Премило, премило! — доложил он королю.

Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани.

Наконец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка.

С целою свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим, не покладая рук, на пустых станках.

— Magnifique! [1] Не правда ли? — вскричали уже побывавшие здесь сановники.— Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок... а краски!

И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань.

«Что за ерунда! — подумал король.— Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!»

— О да, очень, очень мило! — сказал в конце концов король.— Вполне заслуживает моего одобрения!

И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки,— он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам; и тем не менее все в один голос повторяли: «Очень, очень мило!» — и советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии.

— Magnifique! Чудесно! Excellent! [2] — только и слышалось со всех сторон; все были в таком восторге! Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей.

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше шестнадцати свечей,— всем было ясно, что они очень старались кончить к сроку новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроят ее большими ножницами и потом шьют иголками без ниток.

Наконец они объявили:

— Готово!

---

[1] Чудесно! *(франц.)*

[2] Превосходно! *(франц.)*

Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то, приговаривая:

— Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле! Но в этом-то вся и прелесть!

— Да, да! — говорили придворные, хотя они ничего не видели — но ведь и видеть-то было нечего.

— А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом! — сказали королю обманщики.— Мы оденем вас!

Король разделся догола, и обманщики принялись наряжать его: они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и наконец прикрепляют что-то на плечах и на талии,— это они надевали на него королевскую мантию! А король поворачивался перед зеркалом во все стороны.

— Боже, как идет! Как чудно сидит! — шептали в свите.— Какой узор, какие краски! Роскошное платье!

— Балдахин ждет! — доложил обер-церемониймейстер.

— Я готов! — сказал король.— Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд.

Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки,— они не смели и виду подать, что ничего не видят.

И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, толпившиеся, чтобы на него посмотреть, говорили:

— Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!

Ни единый человек не сказал, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов.

— Да ведь король-то голый! — закричал вдруг какой-то маленький мальчик.

— Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

— Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он голый! — закричал наконец весь народ.

И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца!

И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.

РОМАШКА

Вот послушайте-ка!

За городом, у дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеною деревянною решеткой.

Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели на клумбах перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем — желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно-белых мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом-то деле был всего только понедельник; пока все дети смирно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников, наша ромашка тоже смирно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы, училась познавать благость божью. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его громких, красивых песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу все! — думала она.— Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!»

В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки — им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавы. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка! Слава богу, что я расту так близко — увижу все, налюбуюсь вдоволь!» Вдруг раздалось «квир-квир-вит!», и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а прямехонько в траву, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая славная мягкая травка! Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!»

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно-белые лепестки-отливали серебром.

Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась в синее небо. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы — они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть! Хорошо еще, что они не умели говорить — досталось бы от них ромашке! Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепестки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко.

Утром цветок опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка пела, но как грустно! Бедняжка попалась в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце — она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепестки; ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им тут было нужно.

— Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка! — сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

— Давай вырвем цветок! — сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику!

— Нет, пусть лучше останется! — сказал первый из мальчиков.— Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку.

Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

— Тут нет воды! — жаловался жаворонок.— Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни глоточка воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Здесь такая духота! Ах, я умру, не видать мне больше ни красного солнышка, ни свежей зелени, ни всего божьего мира!

Чтобы хоть немного освежиться, жаворонок глубоко вонзил клюв во влажный прохладный дерн, увидал ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал:

— И ты завянешь здесь, бедный цветок! Тебя да этот клочок зеленого дерна — вот что они дали мне взамен всего мира! Каждая травинка должна быть для меня теперь зеленым деревом, каждый твой лепесток — благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

«Ах, чем бы мне утешить его!» — думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву.

Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала:

— Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок, и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как накануне: она была совсем больна и стояла, грустно повесив головку.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю ее украсили цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку — его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, дали ей умереть от жажды в клетке, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о ней, хотя она больше всех любила бедную птичку и всем сердцем желала ее утешить.

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери — старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир — ну, прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки,— она была танцовщицей,— а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик ее и не увидел, и подумал, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот бы мне такую жену! — подумал он.— Да она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал. Оловянные солдатики принялись стучать в стенки коробки — они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Не тронулись с места только танцовщица и оловянный солдатик: она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз.

Пробило двенадцать. Щелк! — табакерка раскрылась.

Там не было табаку, а сидел маленький черный тролль; табакерка-то была с фокусом!

— Эй ты, оловянный солдатик,— сказал тролль,— чего глядишь, куда не надо!

Оловянный солдатик будто и не слыхал.

— Ну постой же! Вот настанет утро!..— сказал тролль.

Утро настало, дети проснулись и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг — по милости ли тролля или от сквозняка — окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа,— прямо в ушах засвистело! — и с маху врезался в щель между камнями мостовой. Так он и стоял на голове, простирая к небу свою единственную ногу.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но, сколько ни старались, найти солдатика не могли; несколько раз они чуть не наступили на него и все-таки не заметили. Закричи он им: «Я тут!» — они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице: он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; он шел все сильнее, сильнее, наконец хлынул ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

— Гляди! — сказал один.— Вон оловянный солдатик! Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канаву. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Ну и ну! Огромные волны ходили по канавке! Течение так и несло,— не мудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, и оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко и не изменился в лице: ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Лодку понесло под длинные мостки: стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несет? — думал он.— Да, это все штуки гадкого тролля! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица — по мне, будь хоть вдвое темнее!»

В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса.

— Паспорт есть? — спросила она.— Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и еще крепче сжимал ружье. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

— Держи, держи его! Он не внес пошлины, не показал паспорта!

Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика вода из канавки устремлялась в большой канал! Это было для солдатика так же опасно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.

Солдатика уносило течением все дальше, остановиться было нельзя. Его лодка скользнула вниз; но бедняга держался по-прежнему стойко и даже глазом не моргнул, а лодка завертелась волчком, наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик погружался все глубже, только голова еще торчала наружу, но вот исчезла и она! Тут он подумал о своей красавице: не видать ему больше прелестной танцовщицы. В ушах у него звучало:

Вперед стремись, о воин,
И смерть спокойно встреть!

Бумага совсем размокла, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба.

Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да еще страх как тесно! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал, вытянувшись во всю длину, крепко прижимая к себе ружье.

Рыба металась туда и сюда, выделывала самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распорола ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол, и — чего-чего не бывает на свете! — он оказался в той же самой комнате, увидал тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с прелестной маленькой танцовщицей! Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не обмолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это все тролль подстроил! Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем: ему было ужасно жарко, от огня или от любви — он и сам не знал. Краска с него совсем слезла, он весь полинял; кто знает, отчего — от дороги или от горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко,

с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом и — конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выгребала из печки золу и нашла маленькое оловянное сердечко; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.

ДИКИЕ ЛЕБЕДИ

Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У него было одиннадцать сыновей и одна дочка, Элиза. Одиннадцать братьев-принцев уже ходили в школу; на груди у каждого красовалась звезда, а сбоку гремела сабля; писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать, хоть по книжке, хоть наизусть — все равно. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы! Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго!

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила бедных детей. Им пришлось испытать это в первый же день: во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости, но мачеха вместо разных пирожных и печеных яблок — их-то уж они всегда получали вдоволь, дала им чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню каким-то крестьянам, а прошло еще немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.

— Убирайтесь-ка подобру-поздорову на все четыре стороны! — сказала злая королева.— Обернитесь большими немыми птицами и улетайте прочь! Позаботьтесь о себе сами!

Но она не могла сделать им такого зла, как бы ей хотелось,— они превратились в одиннадцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись кружить над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их; так им и пришлось улететь ни

с чем. Высоко-высоко взвились они к самым облакам и полетели в большой, темный лес, что тянулся до самого моря.

Бедняжечка Элиза стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком — других игрушек у нее не было; она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев; когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» — розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтырь, а ветер переворачивал листы, спрашивая у книги: «Есть ли кто набожнее тебя?» — книга отвечала: «Элиза набожнее!» И розы и псалтырь говорили сущую правду.

Но вот Элизе минуло пятнадцать лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

И вот рано утром королева пошла в мраморную купальню, убранную чудными коврами и мягкими подушками, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:

— Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню; пусть она сделается такою же тупой и ленивой, как ты! А ты сядь ей на лоб! — сказала она другой.— Пусть Элиза станет такой же безобразной, как ты, и отец не узнает ее! Ты же ляг ей на сердце! — шепнула королева третьей жабе.— Пусть она будет злонравной и пусть мучается от этого!

Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь; но Элиза даже не заметила этого, и, как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы; но они все равно стали цветами — девушка была так набожна и невинна, что колдовство не имело над ней власти.

Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было узнать прелестную Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек, но кто стал бы слушать бедных тварей!

Заплакала Элиза и вспомнила о своих одиннадцати братьях; тайком ушла она из дворца и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истосковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет.

Недолго пробыла она в лесу, как уже настала ночь, и Элиза совсем сбилась с дороги; тогда она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пень. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали, точно зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем.

Всю ночь снились Элизе братья: все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нулики, как бывало прежде,— нет, они описывали все, что видели и пережили. Все картинки в книжке были живые: птицы распевали, а люди сходили со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями; но стоило ей захотеть перевернуть лист,— они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко; она даже не могла хорошенько видеть его за густою листвой деревьев, но отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве; от зелени шел чудный запах, а птички, казалось, готовы были сесть Элизе на плечи. Невдалеке слышалось журчание источника; оказалось, что тут бежало несколько больших ручьев, вливавшихся в пруд с чудным песчаным дном. Пруд был окружен живой изгородью, но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная; не шевели ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья и кусты нарисованы на дне, до того ясно отражались они в зеркале вод.

Увидев свое лицо, Элиза совсем перепугалась, такое оно было черное и гадкое; но вот она зачерпнула горстью воды, потерла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась совсем и вошла в прохладную воду. Такой прелестной принцессы не сыскать было во всем свете!

Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику, напилась воды прямо из пригоршни и потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что бог не покинет ее: это он ведь повелел

расти диким лесным яблокам, чтобы напитать ими голодных; он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в самую чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршанье каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни единой птички не залетало в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь густую чащу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены; никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой.

Ночью стало еще темнее; во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись и на нее глянул добрыми очами сам господь бог; маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук.

Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву.

Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой ягод; старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут, по лесу, одиннадцать принцев.

— Нет,— сказала старушка,— но вчера я видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым сперва не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и они все же добивались своего.

Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в море.

И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море, но на всем его просторе не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем,— вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все предметы, которые выбрасывало море, будь они из стекла, из железа или из камня — тоже носили следы этой шлифовки, а между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала: «Волны неустанно катятся одна за другой и в конце концов шлифуют самые твердые вещи. Буду же и я трудиться неустанно! Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем сухих водорослях лежали одиннадцать белых лебединых перьев; Элиза собрала и связала их в пучок; на перьях еще блестели капли — росы или слез, кто знает? Пустынно было на берегу, но Элиза не чувствовала этого: море ведь было так переменчиво: за несколько часов тут можно было увидеть больше, чем в целый год где-нибудь на берегах пресных внутренних озер. Если на небо надвигалась большая черная туча и ветер крепчал, море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть!» — начинало бурлить, волноваться и покрывалось белыми барашками. Если же облака были розоватого цвета, а ветер спал,—море было похоже на лепесток розы; иногда оно становилось зеленым, иногда белым; но какая бы тишь ни стояла в воздухе и как бы спокойно ни было само море, у берега постоянно было заметно легкое волнение,— вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка.

Когда солнце было близко к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах; лебедей было одиннадцать, и летели они один за другим, вытянувшись длинною белою лентой. Элиза взобралась на верх обрыва и спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями.

В ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вдруг спало, и на берегу очутились одиннадцать красавцев принцев, Элизиных братьев! Элиза громко вскрикнула; она сразу узнала их, несмотря на то, что они сильно изменились, сердце подсказало ей, что это они! Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха.

— Мы, братья,— сказал самый старший,— заколдованы в диких лебедей и летаем весь день-деньской, от восхода до самого заката, когда же солнце садится, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю: случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем мы не тут; далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна, приходится перелетать через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли провести ночь. Только в самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как и можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим бога и за такое пристанище: не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины — и теперь-то для

этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину; мы можем оставаться здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились и где живет наш отец, и колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными; тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, и здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка! Два дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны улететь за море, в чудную, но не родную нам страну! Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки!

— Как бы мне освободить вас от чар? — спросила братьев сестра.

Так они проговорили почти всю ночь и задремали только на несколько часов.

Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев; лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

— Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь! — сказал младший брат.— Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Мои руки достаточно сильны, чтобы пронести тебя через лес,— неужели же мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море?

— Да, возьмите меня с собой! — сказала Элиза.

Всю ночь провели они за плетеньем сетки из гибкого лозняка и тростника; сетка вышла большая и прочная; в нее положили Элизу; превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвились с милой, спавшей еще крепким сном сестрицей к облакам. Солнце светило ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над головой Элизы, осеняя ее своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву, так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев; их набрал и положил ей самый младший из братьев, и она благодарно улыбнулась ему,— она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающею на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако — настоящая гора! — и на нем Элиза увидала движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина! Таких ей еще не приходилось видеть! Но по мере того как солнце подымалось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные тени мало-помалу исчезли.

Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного; теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода; Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце,— одинокого морского утеса все еще не было видно. Ей показалось, что лебеди как-то часто машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее! Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут! И она от всего сердца стала молиться богу, но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу; молния сверкала за молнией.

Одним своим краем солнце почти уже касалось воды; сердце Элизы затрепетало; лебеди вдруг стремительно полетели вниз, и девушка подумала было, что все они падают; но нет, они опять летели вперед. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда Элиза вдруг увидала под собой утес, величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало; теперь оно казалось только небольшою блестящею звездочкой; но вот лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку; все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг; небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество.

На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо; с восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, точно несметные стаи лебедей, белая пена.

Когда солнце поднялось выше, Элиза увидала перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с массами блестящего льда на скалах; между скалами возвышался огромный замок, украшенный многоярусной колоннадой; внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не та ли это страна, куда они летят, но ле-

беди покачали головами: она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок фата-морганы; туда не смеет проникнуть ни единая человеческая душа. Элиза опять устремила свой взор вниз, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, и из них образовались двадцать одинаковых величественных церквей с высокими колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были уже совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей; Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Да, перед глазами у нее возникали вечно сменяющиеся картины! Но вот наконец показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались красивые голубые горы, поросшие кедровыми лесами, виднелись города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами,— так увили ее нежно-зеленые ползучие растения.

— Посмотрим, что приснится тебе тут ночью! — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню.

— Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар! — сказала она,— эта мысль не выходила у нее из головы.

Элиза стала усердно молиться богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку фата-морганы и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах.

— Твоих братьев можно спасти,— сказала она.— Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки шлифует камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы; у воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться; заметь же ее! Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов; потом разомнешь ее ногами, ссучишь из полученного волокна крепкие нити, затем сплетешь из них одиннадцать рубашек-панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей; тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках! Помни же все это!

И фея коснулась ее руки жгучею крапивой; Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль: только бы удалось ей спасти милых братьев! Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно.

С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал; слезы его падали ей на руки, и там, куда падала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихала боль.

Ночь Элиза провела за работой; она не знала покоя и думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна-одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка-панцирь была уже готова, и девушка принялась за следующую.

Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов; Элиза испугалась; звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пучок и села на него.

В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья; они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники; самый красивый из них был король той страны; он подошел к Элизе,— никогда еще не встречал он такой красавицы!

— Как ты попала сюда, прелестное дитя? — спросил он, но Элиза только покачала головой; она ведь не смела говорить: от ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидал, как она страдает.

— Пойдем со мной! — сказал он.— Здесь тебе нельзя оставаться! Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце! — И он посадил ее на седло перед собой; Элиза плакала и ломала руки, но король сказал: — Я ведь хочу тебе счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня!

И повез ее через горы, а охотники скакали следом.

К вечеру показалась великолепная столица короля, с церквами и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были изукрашены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что, плакала и тосковала; безучастно отдалась она в распоряжение прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки.

Богатые уборы так шли к ней, она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой, хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля.

Король, однако, не стал его слушать, подал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои, она же оставалась по-прежнему грустною и печальною. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу; на полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь; все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников.

— Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище! — сказал король.— Тут и работа твоя; может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом!

Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась, и прежний румянец вновь окрасил ее щеки; она подумала о спасении братьев и поцеловала королю руку, а он прижал ее к груди и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой.

Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля, и свадьба состоялась. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону; с досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно, но она даже не обратила на это внимания: что значила для нее телесная боль, если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям! Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетело из них — она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев,— зато в глазах светилась горячая любовь к доброму красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О! Если бы она могла довериться ему, высказать ему свои страдания, но — увы! — она должна была мол-

чать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку-панцирь за другой, но когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно.

Она знала, что такую крапиву можно найти на кладбище, но ведь она должна была рвать ее сама; как же быть?

«О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающею мое сердце! — думала Элиза.— Я должна решиться! Господь не оставит меня!»

Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы; они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо них, и они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее — архиепископ; теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву; итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ.

Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал; злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели сказать: «Неправда, Элиза невинна!» Но архиепископ перетолковывал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы покатились по щекам короля, сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит, на самом же деле сон бежал от него. И вот он увидел, что Элиза встала и выскользнула из спальни; в следующие ночи повторилось то же самое; он следил за ней и видел, как она скрывалась в своей потаенной комнатке.

Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее; Элиза замечала это, но не понимала причины; сердце ее ныло от страха и жалости к братьям; на королевский пурпур катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть на месте королевы! Но скоро-скоро конец ее работе; недоставало всего одной рубашки, и тут у Элизы опять не хватило волокна. Еще раз, последний раз, нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах; но решимость ее спасти братьев была непоколебима, как и вера в бога.

Элиза отправилась в путь, но король с архиепископом следили за ней и видели, как она скрылась за кладбищенскою оградой: подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король повернул назад; между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди!

— Пусть судит ее народ! — сказал он.

И народ присудил — сжечь королеву на костре.

Из великолепных королевских покоев Элизу перевели в мрачное, сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врывался ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку набранной ею на кладбище крапивы; эта жгучая связка должна была служить Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие рубашки-панцири — постелью и коврами; но дороже этого ей ничего не было. И она с молитвой на устах вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни насмехавшихся над нею уличных мальчишек; ни одна живая душа не обратилась к ней со словом утешения и сочувствия.

Вечером у решетки раздался шум лебединых крыл — это отыскал сестру самый младший из братьев, и она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь; зато работа ее подходила к концу, и братья были тут!

Архиепископ пришел провести с нею ее последние часы,— так обещал он королю,— но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти; в эту ночь ей ведь нужно было сплести последнюю рубашку, иначе пропали бы задаром все ее страдания, и слезы, и бессонные ночи! Архиепископ ушел, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиза знала, что она невинна, и продолжала работать.

Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своею веселою песенкой.

На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились одиннадцать братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя: король еще спал и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать; явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и братьев не стало — над дворцом взвились одиннадцать диких лебедей.

Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на нее накинули плащ из грубой мешковины; ее чудные длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки,

губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы; десять рубашек-панцирей лежали у ее ног совсем готовые, одиннадцатую она плела. Толпа глумилась над нею.

— Посмотрите на ведьму! Ишь, бормочет! Небось не молитвенник у нее в руках — нет, все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее да разорвем в клочки.

И они теснились вокруг нее, норовя вырвать из ее рук работу, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила.

— Это знамение небесное! Она невинна,— шептали многие, но не смели сказать этого вслух.

Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей одиннадцать рубашек, и... перед ней встали одиннадцать красавцев принцев, только у самого младшего не хватало одной руки, вместо нее было лебединое крыло: Элиза не успела докончить последней рубашки, в ней недоставало одного рукава.

— Теперь я могу говорить! — сказала она.— Я невинна!

И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой, но она без чувств упала в объятия братьев — так обессилела она от неустанного напряжения, страха и боли.

— Да, она невинна! — сказал самый старший брат и рассказал все, как было; и пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от множества роз,— это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительно-белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и на счастье!

Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, какого не видал еще ни один король!

СУНДУК-САМОЛЕТ

Жил-был купец, такой богач, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулок в придачу; этого, однако, он не делал,— он знал, куда девать деньги, и уж если расходовал скиллинг, то наживал целый далер. Вот какой это был купец! Но вдруг он умер, и все денежки достались его сыну.

Весело зажил сын купца: каждую ночь ходил на маскарад, змеев пускал из кредитных бумажек, а круги по воде — вместо камешков золотыми монетами. Не мудрено, что денежки прошли у него между пальцев и под конец из всего наследства осталось только четыре скиллинга, а из платья — старый халат да пара туфель-шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели — им ведь тоже неловко было теперь показаться с ним на улице; но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук и велел сказать: укладывайся! Что ж, отлично; одно горе — нечего ему было укладывать; он взял да и сел в сундук сам!

А сундук-то был не простой. Стоило нажать на замок — и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! — сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко, под самыми облаками,— только дно потрескивало! Купеческий сын поэтому побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги; ну и прыжок пришлось бы тогда совершить ему! Боже упаси! Но он благополучно прилетел в Турцию, зарыл свой сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город,— тут ему нечего было стесняться своего наряда: в Турции все ведь ходят в халатах и туфлях. На улице встретилась ему кормилица с ребенком, и он сказал ей:

— Послушай-ка, турецкая мамка! Что это за большой дворец стоит у самого города, почему окна там так высоко от земли?

— Тут живет принцесса! — сказала кормилица.— Ей предсказано, что она будет несчастной по милости своего жениха; вот к ней никто и не смеет явиться без короля с королевой.

— Спасибо! — сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно.

Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось.

Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки: о ее глазах — это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки-мысли; о ее белом лбе — это была снежная гора, а в недрах ее, в роскошных покоях, хранятся дивные картины; рассказал он и об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток.

Да, чудесные были сказки! А потом он посватался за принцессу, и она тут же согласилась.

— Но вы должны прийти сюда в субботу! — сказала она ему.— Я пригласила на чашку чая короля с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога,

но вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше — мои родители очень любят сказки. Только мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша — веселое, чтобы можно было посмеяться.

— Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки! — сказал купеческий сын.

Принцесса подарила ему на прощанье саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему и недоставало. С тем они и расстались.

Сейчас же полетел он на базар, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку; надо ведь было сочинить ее к субботе, а это не так-то просто, как кажется.

Но вот сказка была готова, и настала суббота.

Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая. Купеческого сына приняли как нельзя лучше.

— Ну-ка, расскажите нам сказку! — сказала королева.— Только что-нибудь серьезное, поучительное.

— Но чтобы и посмеяться можно было! — прибавил король.

— Хорошо! — отвечал купеческий сын и стал рассказывать. Слушайте же хорошенько!

«Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением: глава их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.

— Да, хорошо нам жилось, когда мы были молоды-зелены (мы ведь тогда и в самом деле были зеленые!),— говорили они.— Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай — роса, в ясную погоду день-деньской светило на нас солнышко, а птички рассказывали нам свои сказки! Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье: лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю и на летнюю одежду. Но вот явились раз дровосеки, и начались великие перемены! Погибла и вся наша семья! Глава семьи — ствол получил после того место грот-мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если б захотел; ветви же разбрелись кто куда, а нам вот выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы!

— Ну, со мной все было по-другому! — сказал котелок, рядом с которым лежали спички.— С самого моего появления на свет меня каждый день начищают до блеска и испытывают огнем. Без меня им никак не обойтись, и, говоря по правде, я занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство — это вот ле-

жать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которое бывает иногда во дворе; новости же нам приносит корзинка для провизии; она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур острый язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе! На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок! Да, чересчур легкомысленна она — скажу я вам!

— Уж больно ты разболтался! — сказало вдруг огниво, и сталь так ударила по кремню, что посыпались искры.— Не устроить ли нам лучше вечеринку?

— Конечно, конечно. Поговорим о том, кто из нас всех знатнее! — сказали спички.

— Нет, я не люблю говорить о самой себе,— сказала глиняная миска.— Будем просто вести беседу! Я начну и расскажу вам кое-что из жизни, что всем знакомо и понятно, а это ведь приятнее всего. Так вот: на берегу родного моря, под тенью буков...

— Чудесное начало! — сказали тарелки.— Вот это будет история как раз нам по вкусу!

— Там в одной мирной семье провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели.

— Как вы интересно рассказываете! — сказала метелка.— В вашем рассказе так и слышна женщина, чувствуется какая-то особая чистоплотность!

— Да, да! — сказало ведро и от удовольствия даже подпрыгнуло, плеснув на пол воду.

Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала.

Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску; она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: «Если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра!»

— Теперь мы попляшем! — сказали угольные щипцы и пустились в пляс. И боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу! Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула!

— А нас увенчают? — спросили щипцы, и их тоже увенчали.

«Все это одна чернь!» — думали спички.

Теперь была очередь за самоваром: он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри у него кипит,— он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ.

На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка; в нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что слишком глубоко было обмакнуто в чернильницу, но именно этим оно и гордилось!

— Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо! — сказало оно.— За окном висит в клетке соловей — пусть он споет! Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем.

— По-моему, это в высшей степени неприлично — слушать какую-то пришлую птицу! — сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара.— Разве это патриотично? Пусть нас рассудит корзинка для провизии!

— Я просто из себя выхожу! — сказала корзинка.— Вы не поверите, до чего я выхожу из себя! Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всеми! Тогда дело пошло бы совсем иначе!

— Давайте шуметь! — закричали все.

Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и — все присмирели, никто ни гугу; но не было ни единого горшка, который бы не кичился втайне своей знатностью и не воображал, что он все умеет. «Уж если бы я взялся за дело, пошло бы веселье!» — думал про себя каждый.

Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже ты мой, как они зафыркали, загораясь!

«Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны! — думали они.— Какой от нас блеск, сколько света!»

Тут они и сгорели».

— Чудесная сказка! — сказала королева.— Я точно сама посидела на кухне вместе со спичками! Да, ты достоин руки нашей дочери.

— Конечно! — сказал король.— Свадьба будет в понедельник!

Теперь они уже говорили ему ты — он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи.

Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе устроили иллюминацию, а в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «ура» и свистели в пальцы; великолепие было несказанное.

«Надо же и мне устроить что-нибудь!» — подумал купеческий сын; он накупил ракет, хлопушек и прочего, положил все это в свой сундук и взвился в воздух.

Пиф, паф! Шш-пшш! Вот так трескотня пошла, вот так шипенье!

Турки подпрыгивали так, что туфли летели через головы; никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог.

Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне!» И не мудрено, что ему захотелось узнать это.

Ну и рассказов же ходило по городу! К кому он ни обращался, всякий, как он заметил, рассказывал о виденном по-своему, но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.

— Я видел самого турецкого бога! — говорил один.— Глаза у него что твои звезды, а борода что пена морская!

— Он летел в огненном плаще! — рассказывал другой.— А из складок выглядывали прелестнейшие ангелочки.

Да, много чудес рассказали ему, а на другой день должна была состояться и свадьба.

Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук, да куда же он девался? Сгорел! Купеческий сын заронил в него искру от фейерверка, сундук тлел, тлел, да и вспыхнул; теперь от него оставалась одна зола. Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте.

А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его, да ждет и до сих пор! Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках!

АИСТЫ

На крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы,— они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу, папаша-аист; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах без дела. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен.

«Вот почет, так почет! — думал он.— У гнезда моей жены стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. Вот это почет!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играли ребятишки; увидав аиста, самый озорной из мальчуганов запел, путая слова, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:

Аист, аист белый,
Что стоишь день целый,
Словно часовой,
На ноге одной?
Или деток хочешь
Уберечь своих?
Попусту хлопочешь,—
Мы изловим их!
Одного повесим,
В пруд швырнем другого,
Третьего заколем,
Младшего ж живого
На костер мы бросим
И тебя не спросим!

— Послушай-ка, что поют мальчики! — запищали птенцы.— Они говорят, что нас повесят и утопят!

— Не нужно обращать на них внимания! — сказала им мать.— Только не слушайте, ничего и не будет!

Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов; только один из мальчиков, его звали Петер, не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных. А мать утешала птенцов.

— Не обращайте внимания! — говорила она.— Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на одной-то ноге!

— А нам страшно! — сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головки в гнездо.

На другой день ребятишки опять высыпали на улицу, увидали аистов и опять запели:

Одного повесим,
В пруд швырнем другого...

— Так нас повесят и утопят? — опять спросили птенцы.

— Да нет же, нет! — отвечала мать.— А вот скоро мы начнем ученье! Вам нужно выучиться летать! Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам. Они будут приседать перед нами в воде и петь: «ква-ква-ква!» А мы съедим их — то-то будет веселье!

— А потом? — спросили птенцы.

— Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует! Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом! Так уж старайтесь изо всех сил, когда ученье начнется!

— Так нас все-таки заколют, как сказали мальчики! Слушайка, они опять поют!

— Слушайте меня, а не их! — сказала мать.— После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные

«Стойкий оловянный солдатик»

леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их упираются прямо в облака, а называют их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может! Есть там еще река, когда она разливается, весь берег покрывается илом! Ходишь себе по илу и уплетаешь лягушек!

— О! — сказали птенцы.

— Да! Вот прелесть! Там день-деньской только и делаешь, что ешь. А в то время, как нам там будет так хорошо, здесь на деревьях не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут и будут падать на землю белыми крошками!

Она хотела рассказать им про снег, да не умела объяснить хорошенько.

— А эти нехорошие мальчики тоже застынут? — спросили птенцы.

— Нет, совсем они не застынут, но мерзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате и носу не посмеют высунуть на улицу! А вы-то будете летать в чужих краях, где цветут цветы и ярко светит теплое солнышко.

Прошло немного времени, птенцы подросли, они могли уже вставать в гнезде и озираться кругом. Папаша-аист каждый день приносил им славных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными штуками! Доставал головою свой хвост, щелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории.

— Ну, пора теперь и за ученье приняться! — сказала им в один прекрасный день мать, и всем четверым птенцам пришлось вылезть из гнезда на крышу. Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями и все-таки чуть-чуть не свалились!

— Смотрите на меня! — сказала мать.— Голову вот так, ноги так! Раз-два! Раз-два! Вот что поможет вам пробить себе дорогу в жизни! — И она сделала несколько взмахов крыльями. Птенцы неуклюже подпрыгнули и — бац! — все так и растянулись! Они были еще тяжелы на подъем.

— Я не хочу учиться! — сказал один птенец и забрался назад в гнездо.— Я вовсе не хочу лететь в теплые края!

— Ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой, я сейчас позову их!

— Ай, нет, нет! — сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу.

На третий день они уже кос-как летали и вообразили, что могут даже держаться в воздухе на распластанных крыльях. «Незачем все время махать ими,— говорили они.— Можно и отдохнуть». Так и сделали, но... сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями.

В это время на улице собрались мальчики и запели:

Аист, аист белый!

— Можно нам слетать и выклевать им глаза? — спросили птенцы.

— Нет, не надо! — сказала мать.— Слушайте лучше меня, это куда важнее! Раз-два-три! Теперь полетим направо; раз-два-три! Теперь налево, вокруг трубы! Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволю вам завтра отправиться со мной на болото. Там соберется много других милых семейств с детьми,— вот и покажите себя! Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше, так гораздо красивее и внушительнее!

— Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим мальчикам? — спросили птенцы.

— Пусть себе кричат, что хотят! Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листика, ни сладкого яблочка!

— А мы все-таки отомстим! — шепнули птенцы друг другу и продолжали ученье.

Задорнее всех ребятишек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку об аистах. Ему было не больше шести лет, хотя птенцы-то и думали, что ему лет сто,— он был ведь куда больше их отца с матерью, а что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей! И вот вся месть птенцов должна была обрушиться на одного мальчика, который был зачинщиком и самым неугомонным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты, и чем больше подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше, чем перед самым их отлетом в теплые края.

— Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах! Если дело пойдет плохо и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчики ведь будут правы. Вот увидим!

— Увидим! — сказали птенцы и усердно принялись за упражнения. С каждым днем дело шло все лучше, и наконец они стали летать так легко и красиво, что просто любо!

Настала осень; аисты начали приготовляться к отлету на зиму в теплые края. Вот так маневры пошли! Аисты летали взад и впе-

ред над лесами и озерами: им надо было испытать себя — предстояло ведь огромное путешествие! Наши птенцы отличились и получили на испытании не по нулю с хвостом, а по двенадцати с лягушкой и ужом! Лучше этого балла для них и быть не могло: лягушек и ужей можно ведь быстро съесть, что они и сделали.

— Теперь будем мстить! — сказали они.

— Хорошо! — сказала мать.— Вот что я придумала — это будет лучше всего. Я знаю, где тот пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока аист не возьмет их и не отнесет к папе с мамой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудные сны, каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям — крошечного братца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем к тем детям, которые не дразнили аистов; нехорошие же насмешники не получат ничего!

— А тому злому, который первый начал дразнить нас, ему что будет? — спросили молодые аисты.

— В пруду лежит один мертвый ребенок, он заспался до смерти; его-то мы и отнесем злому мальчику. Пусть поплачет, увидав, что мы принесли ему мертвого братца. А вот тому доброму мальчику,— надеюсь, вы не забыли его,— который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем зараз и братца и сестрицу. Его зовут Петер, будем же и мы в честь его зваться Петерами!

Сказано — сделано, и вот всех аистов зовут с тех пор Петерами.

ОЛЕ-ЛУКОЙЕ

Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. Вот мастер-то рассказывать!

Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он тихо-тихо подымается по лестнице; потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует — и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно,— у Оле-Лукойе нет ведь злого умысла; он хочет только, чтобы дети угомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета — он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он развертывает над нехорошими детьми; ну, они и спят всю ночь как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне!

А теперь послушайте, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки! Это будет целых семь сказок,— в неделе ведь семь дней.

ПОНЕДЕЛЬНИК

— Ну вот,— сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель,— теперь украсим комнату!

И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку; комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом (если бы только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях висели пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара.

— Что там такое? — сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.

Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка; он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара; просто ужас брал, слушая ее! На каждой ее странице в начале каждой строки стояли чудесные большие и маленькие буквы,— это была пропись; возле шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять.

— Вот как надо держаться! — говорила пропись.— Вот так, с легким наклоном вправо!

— Ах, мы бы и рады,— отвечали буквы Яльмара,— да не можем! Мы такие плохонькие!

— Так вас надо немного подтянуть! — сказал Оле-Лукойе.

— Ай, нет, нет! — закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.

— Ну, теперь нам не до сказок! — сказал Оле-Лукойе.— Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как и прежде.

ВТОРНИК

Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебною спринцовкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою; все, кроме плевательницы; эта молчала и сердилась про себя на их суетность: говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, за лес, в далекое море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красною и белою краской, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах с сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что нашептали им бабочки.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели «Бум! Бум!»; всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка.

Да, вот это было плаванье!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные двор-

цы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка,— такого редко купишь у торговки. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю: Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками,— вот что значит настоящие-то принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидал ее; она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:

Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидать вновь хоть раз!
Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить,
И в щечки, и в лоб целовала,
Так как мне тебя не любить!
Люблю тебя, ангел ты мой дорогой!
Да будет вовеки господь бог с тобой!

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, и старые ивы кивали, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал сказку.

СРЕДА

А дождь все лил да лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с подоконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

— Хочешь прокатиться, Яльмар? — спросил Оле.— Побываешь ночью в чужих землях, а к утру — опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви,— кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинною вереницей, друг за другом. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что

крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже, вот он взмахнул ими еще раза два, но... напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и — бах! — упал прямо на палубу.

Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

— Ишь какой! — сказали куры.

А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали: «Дур-рак! Дур-рак!»

И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

— Ну не дурак ли он?

— Конечно, дурак! — сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке.

— Какие у вас чудесные тонкие ноги! — сказал индейский петух.— Почем аршин?

— Кряк! Кряк! Кряк! — закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слыхал.

— Могли бы и вы посмеяться с нами! — сказал аисту индейский петух.— Очень остроумно было сказано! Да куда, это, верно, слишком тонко для него. Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем забавлять себя сами!

И курицы кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу,— он уже успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы закудахтали, утки закрякали, индейский же петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.

— Завтра из вас сварят суп! — сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке.

Славное путешествие проделали они ночью с Оле-Лукойе!

ЧЕТВЕРГ

— Знаешь что? — сказал Оле-Лукойе.— Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! — И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка.— Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут

они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!

— А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар.

— Уж положись на меня! — сказал Оле-Лукойе.— Ты у меня сделаешься маленьким.

И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною всего с пальчик.

— Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир ведь так красит, ты же идешь в гости!

— Ну хорошо! — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика.

— Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка.— Я буду иметь честь отвезти вас.

— Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, фрёкен! — сказал Яльмар, и вот они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.

— Ведь чудный запах? — спросила мышка-возница.— Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы,— мышки-кавалеры, посередине же, на выеденной корке сыра, восседали сами жених с невестой и все время целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом; другого угощенья и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши сказали, что свадьба была великолепная и что время они провели очень приятно.

Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика.

— Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе! — сказал Оле-Лукойе.— Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле,— говорят они мне,— мы не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! — добавляют они с глубоким вздохом.— Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньги!

— Что будем делать сегодня ночью? — спросил Яльмар.

— Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня ее день рождения и потому готовится много подарков!

— Знаю, знаю! — сказал Яльмар.— Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!

— Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вот вся мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал карандаш:

Затянем песенку дружней,
Как ветер пусть несется!
Хотя чета наша, ей-ей,
Ничем не отзовется.
Из лайки оба и торчат
На палках без движенья,
Зато роскошен их наряд —
Глазам на загляденье!
Итак, прославим песней их:
Ура невеста и жених!

Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они были сыты своей любовью.

— Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? — спросил молодой.

На совет пригласили опытную путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.

— Там нет зато нашей кудрявой капусты! — сказала курица.— Однажды я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно! Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

— Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды! — сказала ласточка.— К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

— Ну, к этому можно привыкнуть! — сказала курица.

— А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!

— То-то и хорошо для капусты! — сказала курица.— Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Какая жарища была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет таких ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самою лучшею в мире! Такой недостоин и жить в ней! — Тут курица заплакала.— Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

— Да, курица — особа вполне достойная! — сказала кукла Берта.— Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам — то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

СУББОТА

— А сегодня будешь рассказывать? — спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.

— Сегодня некогда! — ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик.— Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.

— Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! — продолжал Оле.— Завтра ведь праздник, воскресенье! Мне надо пойти на колокольню — посмотреть, вычистили ли церковные

карлики все колокола, не то они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле — посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам, иначе они плохо будут держаться и посыплются с неба одна за другой!

— Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! — сказал вдруг висевший на стене старый портрет.— Я прадедушка Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же светила, как наша Земля, тем-то они и хороши!

— Спасибо тебе, прадедушка! — отвечал Оле-Лукойе.— Спасибо! Ты — глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; римляне и греки звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими и с малыми! Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

— Ну уж, нельзя и высказать своего мнения! — сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

— Добрый вечер! — сказал Оле-Лукойе.

Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

— А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иголкой.

— Ну, хорошенького понемножку! — сказал Оле-Лукойе.— Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, но он ни к кому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. Он знает только две: одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать — как!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

— Сейчас увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! Кафтан на нем весь вышит се-

ребром, что твой гусарский мундир; за плечами развевается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала всегда спрашивал:

— Какие у тебя отметки за поведение?

— Хорошие! — отвечали все.

— Покажи-ка! — говорил он.

Приходилось показывать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие,— позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли — они сразу крепко прирастали к седлу.

— Но ведь Смерть — чудеснейший Оле-Лукойе! — сказал Яльмар.— И я ничуть не боюсь его!

— Да и нечего бояться! — сказал Оле.— Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки!

— Вот это поучительно! — пробормотал прадедушкин портрет.— Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение!

Он был очень доволен.

Вот тебе и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.

СВИНОПАС

Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться все-таки было можно, а жениться-то принцу хотелось.

Разумеется, с его стороны было несколько смело спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот, поди знай, что взбредет в голову императорской дочке!

Послушаем же, как было дело.

На могиле у отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, вдыхая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза и соловей предназначены были

в дар принцессе; их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней.

Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости; других занятий у нее не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши.

— Ах, если бы тут была маленькая киска! — сказала она.

Но из ларца вынули прелестную розу.

— Ах, как это мило сделано! — сказали все фрейлины.

— Больше чем мило! — сказал император.— Это прямо-таки недурно!

Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

— Фи, папа! — сказала она.— Она не искусственная, а настоящая!

— Фи! — повторили все придворные.— Настоящая!

— Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! — возразил император.

И вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было сейчас же найти какого-нибудь недостатка.

— Superbe! Charmant! [1] — сказали фрейлины; все они болтали по-французски, одна хуже другой.

— Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы! — сказал один старый придворный.— Да, тот же тон, та же манера!

— Да! — сказал император и заплакал, как ребенок.

— Надеюсь, что птица не настоящая? — спросила принцесса.

— Настоящая! — ответили ей доставившие подарки послы.

— Так пусть она летит! — сказала принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому.

Но принц не унывал: он вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался во дворец.

— Здравствуйте, император! — сказал он.— Не найдется ли у вас для меня какого-нибудь местечка?

— Много вас тут ходит! — ответил император.— Впрочем, постой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!

И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую, крошечную каморку рядом со свиными закутками. Деньденьской просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

---

[1] Бесподобно! Прелестно! *(франц.)*

Занимательнее же всего было то, что, держа руку над подымавшимся из горшочка паром, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек был не чета какой-нибудь розе!

Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услыхала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла: она тоже умела наигрывать на фортепиано «Ах, мой милый Августин». Только эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем.

— Ах, ведь и я это играю! — сказала она.— Так свинопас-то у нас образованный! Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент.

Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор.

— Что возьмешь за горшочек? — спросила она.

— Десять принцессиных поцелуев! — отвечал свинопас.

— Как можно! — сказала фрейлина.

— А дешевле нельзя! — отвечал свинопас.

— Ну, что он сказал? — спросила принцесса.

— Право, и передать нельзя! — отвечала фрейлина.— Это ужасно!

— Так шепни мне на ухо!

И фрейлина шепнула принцессе.

— Вот невежа! — сказала принцесса и пошла было, но... бубенчики зазвенели так мило:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

— Послушай! — сказала принцесса фрейлине.— Пойди спроси, не возьмет ли он десять поцелуев моих фрейлин?

— Нет, спасибо! — ответил свинопас.— Десять поцелуев принцессы, или горшочек останется у меня.

— Как это скучно! — сказала принцесса.— Ну, придется вам стать вокруг, чтобы никто нас не увидал!

Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки; свинопас получил десять принцессиных поцелуев, а принцесса — горшочек.

Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до сапожниковой, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши.

— Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

— Еще бы! — подтвердила обер-гофмейстерина.

— Да, но держите язык за зубами, я ведь императорская дочка!

— Помилуйте! — сказали все.

А свинопас (то есть принц, но для них-то он был ведь свинопасом) даром времени не терял и смастерил трещотку; когда ее начинали вертеть, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете.

— Но это superbe! — сказала принцесса, проходя мимо.— Вот так попурри! Лучше этого я ничего не слыхала! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану!

— Он требует сто принцессиных поцелуев! — доложила фрейлина, побывав у свинопаса.

— Да что он, в уме? — сказала принцесса и пошла своею дорогой, но сделала два шага и остановилась.

— Надо поощрять искусство! — сказала она.— Я ведь императорская дочь! Скажите ему, что я дам ему по-вчерашнему десять поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин!

— Ну, нам это вовсе не по вкусу! — сказали фрейлины.

— Пустяки! — сказала принцесса.— Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу.

— Сто принцессиных поцелуев! — повторил он.— А нет — каждый останется при своем.

— Становитесь вокруг! — скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас принялся ее целовать.

— Что это за сборище у свиных закуток? — спросил, выйдя на балкон, император, протер глаза и надел очки.— Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задники своих домашних туфель. Туфлями служили ему стоптанные башмаки. Вы бы только поглядели, как он быстро зашлепал в них!

Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев,— надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной и свинопас не получил ни больше, ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.

— Это еще что за штуки! — сказал он, увидав целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй.— Вон! — закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу и свинопаса.

Принцесса стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и лил на них.

— Ах, я несчастная! — плакала принцесса.— Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе, и так он был хорош собой, что принцесса сделала реверанс.

— Теперь я только презираю тебя! — сказал он.— Ты не захотела выйти за честного принца! Ты не оценила соловья и розу, а свинопаса целовала за игрушки! Поделом же тебе!

И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось только стоять да петь:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

I. НАЧАЛО

Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой королевской площади. В одном доме собралось большое общество — иногда ведь приходится все-таки принимать гостей; зато, глядишь, и сам дождешься когда-нибудь приглашения. Гости разбились на две большие группы: одна немедленно засела за ломберные столы, другая же образовала кружок вокруг хозяйки, которая предложила «придумать что-нибудь поинтереснее», и беседа потекла сама собой. Между прочим, речь зашла про средние века, и многие находили, что в те времена жилось гораздо лучше, чем теперь. Да, да! Советник юстиции Кнап отстаивал это мнение так рьяно, что хозяйка тут же с ним согласилась, и они вдвоем накинулись на бедного Эрстеда, который доказывал в своей статье в «Альманахе», что наша эпоха кое в чем все-таки выше средневековья. Советник утверждал, что времена короля Ганса были лучшей и счастливейшей порой в истории человечества.

Пока ведется этот жаркий спор, который прервался лишь на мгновенье, когда принесли вечернюю газету (впрочем, читать в ней было решительно нечего), пройдем в переднюю, где гости оставили свои пальто, палки, зонтики и калоши. Сюда только что вошли две женщины: молодая и старая. На первый взгляд их можно было принять за горничных, проводивших сюда своих старых барынь, но, приглядевшись повнимательнее, вы бы заметили, что эти женщины ничуть не похожи на служанок: слишком уж мягки и

нежны были у них руки, слишком величавы осанка и все движения, а платье отличалось каким-то особо смелым покроем. Вы, конечно, уже догадались, что это были феи. Младшая была если и не самой феей Счастья, то, уж наверно, камеристкой одной из ее многочисленных камер-фрейлин и занималась тем, что приносила людям разные мелкие дары Счастья. Старшая казалась гораздо более серьезной — она была феей Печали и всегда управлялась со своими делами сама, не перепоручая их никому: так, по крайней мере, она знала, что все наверняка будет сделано как следует.

Стоя в передней, они рассказывали друг другу, где побывали за день. Камеристка камер-фрейлины Счастья сегодня выполнила всего лишь несколько маловажных поручений: спасла от ливня чью-то новую шляпу, передала одному почтенному человеку поклон от высокопоставленного ничтожества и все в том же духе. Но зато в запасе у нее осталось нечто совершенно необыкновенное.

— Нужно тебе сказать,— закончила она,— что у меня сегодня день рождения, и в честь этого события мне дали пару калош, с тем чтобы я отнесла их людям. Эти калоши обладают одним замечательным свойством: того, кто их наденет, они могут мгновенно перенести в любое место или в любую эпоху — куда он только пожелает,— и он, таким образом, сразу обретет счастье.

— Ты так думаешь? — отозвалась фея Печали.— Знай же: он будет самым несчастным человеком на земле и благословит ту минуту, когда наконец избавится от твоих калош.

— Ну, это мы еще посмотрим! — проговорила камеристка Счастья.— А пока что я поставлю их у дверей. Авось кто-нибудь их наденет по ошибке вместо своих и станет счастливым.

Вот какой между ними произошел разговор.

II. ЧТО ПРОИЗОШЛО С СОВЕТНИКОМ ЮСТИЦИИ

Было уже поздно. Советник юстиции Кнап собирался домой, все еще размышляя о временах короля Ганса. И надо же было так случиться, чтобы вместо своих калош он надел калоши Счастья. Как только он вышел в них на улицу, волшебная сила калош немедленно перенесла его во времена короля Ганса, и ноги его тотчас же утонули в непролазной грязи, потому что при короле Гансе улиц не мостили.

— Ну и грязища! Просто ужас что такое! — пробормотал советник.— И к тому же ни один фонарь не горит.

Луна еще не взошла, стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На углу перед изображением мадонны висела лам-

пада, но она чуть теплилась, так что советник заметил картину, лишь поравнявшись с нею, и только тогда разглядел божью матерь с младенцем на руках.

«Здесь, наверно, была мастерская художника,— решил он,— а вывеску позабыли убрать».

Тут мимо него прошло несколько человек в средневековых костюмах.

«Чего это они так вырядились? — подумал советник.— Должно быть, с маскарада идут».

Но внезапно послышался барабанный бой и свист дудок, замелькали факелы, и взорам советника представилось удивительное зрелище! Навстречу ему по улице двигалась странная процессия: впереди шли барабанщики, искусно выбивая дробь палочками, а за ними шагали стражники с луками и арбалетами. По-видимому, то была свита, сопровождавшая какое-то важное духовное лицо. Изумленный советник спросил, что это за шествие и кто этот сановник.

— Епископ Зеландский! — послышалось в ответ.

— Господи помилуй! Что еще такое приключилось с епископом? — вздохнул советник Кнап, грустно покачивая головой.— Нет, вряд ли это епископ.

Размышляя обо всех этих чудесах и не глядя по сторонам, советник медленно шел по Восточной улице, пока наконец не добрался до площади Высокого моста. Однако моста, ведущего к Дворцовой площади, на месте не оказалось,— бедный советник едва разглядел в кромешной тьме какую-то речонку и в конце концов заметил лодку, в которой сидело двое парней.

— Прикажете переправить вас на остров? — спросили они.

— На остров? — переспросил советник, не зная еще, что он теперь живет во время средневековья.— Мне нужно попасть в Христианову гавань, на Малую торговую улицу.

Парни вытаращили на него глаза.

— Скажите мне хотя бы, где мост? — продолжал советник.— Ну что за безобразие! Фонари не горят, а грязь такая, что кажется, будто по болоту бродишь!

Но чем больше он говорил с перевозчиками, тем меньше мог что-либо взять в толк.

— Не понимаю я вашей борнхольмской тарабарщины! — рассердился он наконец и повернулся к ним спиной.

Но моста он все-таки не нашел; каменный парапет набережной исчез тоже. «Что делается! Вот безобразие!» — думал он. Да, никогда еще действительность не казалась ему такой жалкой и мерзкой, как в этот вечер. «Нет, лучше взять извозчика,— решил он.— Но, господи, куда же они все запропастились? Как назло, ни

одного! Вернусь-ка я на Новую королевскую площадь — там, наверное, стоят экипажи, а то мне вовек не добраться до Христиановой гавани!»

Он снова вернулся на Восточную улицу и успел уже пройти ее почти всю, когда взошла луна.

«Господи, что это здесь понастроили такое?» — изумился советник, увидев перед собой Восточные городские ворота, которые в те далекие времена стояли в конце Восточной улицы.

Наконец он отыскал калитку и вышел на теперешнюю Новую королевскую площадь, которая в те времена была просто большим лугом. На лугу там и сям торчали кусты, и он был пересечен не то широким каналом, не то рекой. На противоположном берегу расположились жалкие домишки голландских шкиперов, отчего место это называлось Голландской высотой.

— Боже мой! Или это мираж, фата-моргана, или я... господи... пьян? — застонал советник юстиции.— Что же это такое? Что же это такое?

И советник опять повернул назад, подумав, что заболел. Шагая по улице, он теперь внимательнее приглядывался к домам и заметил, что все они старинной постройки и многие крыты соломой.

— Да, конечно, я заболел,— вздыхал он,— а ведь всего-то стаканчик пунша выпил, но мне и это повредило. И надо же додуматься — угощать гостей пуншем и горячей лососиной! Нет, я непременно поговорю об этом с агентшей. Вернуться разве к ним и рассказать, какая со мной приключилась беда? Нет, неудобно. Да они уж, пожалуй, давно спать улеглись.

Он стал искать дом других своих знакомых, но его тоже не оказалось на месте.

— Нет, это просто бред какой-то! Не узнаю Восточной улицы. Ни одного магазина! Все только старые, жалкие лачуги — можно подумать, что я попал в Роскилле или Рингстед. Да, плохо мое дело! Ну что уж тут стесняться, вернусь к агенту! Но, черт возьми, как мне найти его дом? Я больше не узнаю его. Ага, здесь, кажется, еще не спят!.. Ах, я совсем расхворался, совсем расхворался.

Он наткнулся на полуоткрытую дверь, из-за которой лился свет. Это был один из тех старинных трактиров, которые походили на теперешние наши пивные. Общая комната напоминала голштинскую харчевню. В ней сидело несколько завсегдатаев — шкипера, копенгагенские бюргеры и еще какие-то люди, с виду ученые. Попивая пиво из кружек, они вели какой-то жаркий спор и не обратили ни малейшего внимания на нового посетителя.

— Простите,— сказал советник подошедшей к нему хозяйке,— мне вдруг стало дурно. Вы не достанете мне извозчика? Я живу в Христиановой гавани.

Хозяйка посмотрела на него и грустно покачала головой, потом что-то сказала по-немецки. Советник подумал, что она плохо понимает по-датски, и повторил свою просьбу на немецком языке. Хозяйка уже заметила, что посетитель одет как-то странно, а теперь, услышав немецкую речь, окончательно убедилась в том, что перед ней иностранец. Решив, что он плохо себя чувствует, она принесла ему кружку солоноватой колодезной воды.

Советник оперся головой на руку, глубоко вздохнул и задумался: куда же все-таки он попал?

— Это вечерний выпуск «Дня»? — спросил он, просто чтобы сказать что-нибудь, увидев, как хозяйка убирает большой лист бумаги.

Она его не поняла, но все-таки протянула ему лист: это была старинная гравюра, изображавшая странное свечение неба, которое однажды наблюдали в Кёльне.

— Антикварная картина! — сказал советник, увидев гравюру, и сразу оживился.— Где вы достали эту редкость? Очень, очень интересно, хотя и сплошная выдумка. На самом деле это было просто северное сияние, как объясняют теперь ученые; и, вероятно, подобные явления вызываются электричеством.

Те, что сидели близко и слышали его слова, посмотрели на него с уважением; один человек даже встал, почтительно снял шляпу и сказал с самым серьезным видом:

— Вы, очевидно, крупный ученый, мосье?

— О нет,— ответил советник,— просто я могу поговорить о том о сем, как и всякий другой.

— Modestia [1] — прекраснейшая добродетель,— изрек его собеседник.— Впрочем, о сути вашего высказывания mihi secus videtur [2], хотя и охотно воздержусь пока высказывать мое собственное judicium [3].

— Осмелюсь спросить, с кем имею удовольствие беседовать? — осведомился советник.

— Я бакалавр богословия,— ответил тот.

Эти слова все объяснили советнику — незнакомец был одет в соответствии со своим ученым званием. «Должно быть, это какой-то старый сельский учитель,— подумал он,— человек не от мира сего, каких еще можно встретить в отдаленных уголках Ютландии».

---

[1] Скромность *(лат.)*.

[2] Я другого мнения *(лат.)*.

[3] Суждение *(лат.)*.

— Здесь, конечно, не locus docendi [1],— говорил богослов,— но я все-таки очень прошу вас продолжать свою речь. Вы, конечно, весьма начитаны в древней литературе?

— О да! Вы правы, я частенько почитываю древних авторов, то есть все их хорошие произведения; но очень люблю и новейшую литературу, только не «Обыкновенные истории»; их хватает и в жизни.

— Обыкновенные истории? — переспросил богослов.

— Да, я говорю об этих новых романах, которых столько теперь выходит.

— О, они очень остроумны и пользуются успехом при дворе,— улыбнулся бакалавр.— Король особенно любит романы об Ифвенте и Гаудиане, в которых рассказывается о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, и даже изволил шутить по этому поводу со своими приближенными [2].

— Этих романов я еще не читал,— сказал советник юстиции.— Должно быть, это Хейберг что-нибудь новое выпустил?

— Нет, что вы, не Хейберг, а Готфред фон Гемен,— ответил бакалавр.

— Так вот кто автор! — воскликнул советник.— Какое древнее имя! Ведь это наш первый датский книгопечатник, не так ли?

— Да, он наш первопечатник! — подтвердил богослов.

Таким образом, пока что все шло прекрасно. Когда один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей здесь несколько лет назад, а именно в 1484 году, советник подумал, что речь идет о недавней эпидемии холеры, и разговор благополучно продолжался. А после как было не вспомнить окончившуюся совсем недавно пиратскую войну 1490 года, когда английские каперы захватили стоящие на рейде датские корабли. Тут советник, вспомнив о событиях 1801 года, охотно присоединил свой голос к общим нападкам на англичан. Но дальше разговор что-то перестал клеиться и все чаще прерывался гробовой тишиной. Добрый бакалавр был очень уж невежественный: самые простые суждения советника казались ему чем-то необычайно смелым и фантастичным. Собеседники смотрели друг на друга со все возрастающим недоумением, и, когда наконец окончательно перестали понимать один

[1] Место ученых бесед *(лат.)*.

[2] Знаменитый датский писатель Хольберг рассказывает в своей «Истории Датского государства», что, прочитав роман о рыцарях Круглого стола, король Ганс однажды сказал в шутку своему приближенному Отто Руду, которого очень любил: «Эти господа Ифвент и Гаудиан, о которых говорится в этой книге, были замечательные рыцари. Таких теперь больше не встретишь». На что Отто Руд ответил: «Если бы теперь встречались такие короли, как король Артур, то, наверное, нашлось бы немало таких рыцарей, как Ифвент и Гаудиан».

другого, бакалавр, пытаясь поправить дело, заговорил по-латыни, но это мало помогло.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросила хозяйка, потянув советника за рукав.

Тут он опомнился и в изумлении воззрился на своих собеседников, потому что за разговором совсем забыл, что с ним происходит.

«Господи, где я?» — подумал он, и при одной мысли об этом у него закружилась голова.

— Давайте пить кларет, мед и бременское пиво! — закричал один из гостей.— И вы с нами!

Вошли две девушки, одна из них была в двухцветном чепчике; они подливали гостям вино и низко приседали. У советника даже мурашки забегали по спине.

— Что же это такое? Что это такое? — шептал он, но вынужден был пить вместе со всеми. Собутыльники так на него насели, что бедный советник пришел в совершеннейшее смятение, и когда кто-то сказал, что он, должно быть, пьян, ничуть в этом не усомнился и только попросил, чтобы ему наняли извозчика. Но все решили, что он говорит по-московитски. Никогда в жизни советник не попадал в такую грубую и неотесанную компанию. «Можно подумать,— говорил он себе,— что мы вернулись ко временам язычества. Нет, это ужаснейшая минута в моей жизни!»

Тут ему пришло в голову: а что, если залезть под стол, подползти к двери и улизнуть? Но когда он был уже почти у цели, гуляки заметили, куда он ползет, и схватили его за ноги. К счастью, калоши свалились у него с ног, а с ними рассеялось и волшебство.

При ярком свете фонаря советник отчетливо увидел большой дом, стоявший прямо перед ним. Он узнал и этот дом, и все соседние, узнал и Восточную улицу. Сам он лежал на тротуаре, упираясь ногами в чьи-то ворота, а рядом сидел ночной сторож, спавший крепким сном.

— Господи! Значит, я заснул прямо на улице, вот тебе и на! — сказал советник.— Да, вот и Восточная улица... Как здесь светло и красиво! Но кто бы мог подумать, что один стакан пунша подействует на меня так сильно!

Спустя две минуты советник уже ехал на извозчике в Христианову гавань. Всю дорогу он вспоминал пережитые им ужасы и от всего сердца благословлял счастливую действительность и свой век, который, несмотря на все его пороки и недостатки, все-таки был лучше того, в котором ему только что довелось побывать. И надо сказать, что на этот раз советник юстиции мыслил вполне разумно.

III. ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТОРОЖА

— Гм, кто-то оставил здесь свои калоши! — сказал сторож.— Это, наверно, лейтенант, что живет наверху. Вот ведь какой, бросил их у самых ворот!

Честный сторож, конечно, хотел было немедленно позвонить и отдать калоши их законному владельцу, тем более что у лейтенанта еще горел свет, но побоялся разбудить соседей.

— Ну и тепло, должно быть, ходить в таких калошах! — сказал сторож.— А кожа до чего мягкая!

Калоши пришлись ему как раз впору.

— И ведь как странно устроен мир,— продолжал он.— Взять хотя бы этого лейтенанта: мог бы сейчас преспокойно спать в теплой постели,— так нет же, всю ночь шагает взад и вперед по комнате. Вот кому счастье! Нет у него ни жены, ни детей, ни тревог, ни забот; каждый вечер по гостям разъезжает. Хорошо бы мне поменяться с ним местами: я тогда стал бы самым счастливым человеком на земле!

Не успел он это подумать, как волшебной силой калош мгновенно перевоплотился в того офицера, что жил наверху. Теперь он стоял посреди комнаты, держа в руках листок розовой бумаги со стихами, которые написал сам лейтенант. Да и к кому иной раз не является поэтическое вдохновение! Вот тогда-то мысли и выливаются в стихи. На розовом листке было написано следующее:

Будь я богат

«Будь я богат,— мальчишкой я мечтал,—
Я непременно б офицером стал,
Носил бы форму, саблю и плюмаж!»
Но оказалось, что мечты — мираж.
Шли годы — эполеты я надел,
Но, к сожаленью, бедность — мой удел.

Веселым мальчиком, в вечерний час,
Когда, ты помнишь, я бывал у вас,
Тебя я детской сказкой забавлял,
Что составляло весь мой капитал.
Ты удивлялась, милое дитя,
И целовала губы мне шутя.

Будь я богат, я б и сейчас мечтал
О той, что безвозвратно потерял...
Она теперь красива и умна,
Но до сих пор сума моя бедна,
А сказки не заменят капитал,
Которого всевышний мне не дал.

Будь я богат, я б горечи не знал
И на бумаге скорбь не изливал,
Но в эти строки душу я вложил
И посвятил их той, которую любил.
В стихи мои вложил я пыл любви!
Бедняк я. Бог тебя благослови!

Да, влюбленные вечно пишут подобные стихи, но люди благоразумные их все-таки не печатают. Чин лейтенанта, любовь и бедность — вот злополучный треугольник, или, вернее, треугольная половина игральной кости, брошенной на счастье и расколовшейся. Так думал и лейтенант, опустив голову на подоконник и тяжко вздыхая:

«Бедняк сторож и тот счастливей, чем я. Он не знает моих мучений. У него есть домашний очаг, а жена и дети делят с ним и радость и горе. Ах, как бы мне хотелось быть на его месте, ведь он гораздо счастливей меня!»

И в тот же миг ночной сторож снова стал ночным сторожем: ведь офицером он сделался лишь благодаря калошам, но, как мы видели, не стал от этого счастливее и захотел вернуться в свое прежнее состояние. Итак, ночной сторож опять сделался ночным сторожем.

«Какой скверный сон мне приснился! — сказал он.— А впрочем, довольно забавный. Приснилось мне, что я стал тем самым лейтенантом, который живет у нас наверху,— и до чего же скучно он живет! Как мне не хватало жены и ребятишек: кто-кто, а они всегда готовы зацеловать меня до смерти».

Ночной сторож сидел на прежнем месте и кивал в такт своим мыслям. Сон никак не выходил у него из головы, а на ногах все еще были надеты калоши счастья. По небу покатилась звезда.

«Ишь как покатилась,— сказал себе сторож.— Ну ничего, их там еще много осталось. А хорошо бы увидеть поближе все эти небесные штуковины. Особенно луну: она не то что звезда, меж пальцев не проскользнет. Студент, которому моя жена белье стирает, говорит, что после смерти мы будем перелетать с одной звезды на другую. Это, конечно, вранье, а все же как было бы интересно этак попутешествовать! Эх, если б только мне удалось допрыгнуть до неба, а тело пусть бы лежало здесь, на ступеньках».

Есть вещи, о которых вообще нужно говорить очень осторожно, особенно если на ногах у тебя калоши счастья! Вот послушайте, что произошло со сторожем.

Мы с вами наверняка ездили на поезде или на пароходе, которые шли на всех парах. Но по сравнению со скоростью света их скорость все равно что скорость ленивца или улитки. Свет бежит

в девятнадцать миллионов раз быстрее самого лучшего скорохода, но не быстрее электричества. Смерть — это электрический удар в сердце, и на крыльях электричества освобожденная душа улетает из тела. Солнечный луч пробегает двадцать миллионов миль всего за восемь минут с секундами, но душа еще быстрее, чем свет, покрывает огромные пространства, разделяющие звезды.

Для нашей души пролететь расстояние между двумя небесными светилами так же просто, как нам самим дойти до соседнего дома. Но электрический удар в сердце может стоить нам жизни, если на ногах у нас нет таких калош счастья, какие были у сторожа.

В несколько секунд ночной сторож пролетел пространство в пятьдесят две тысячи миль, отделяющее землю от луны, которая, как известно, состоит из вещества гораздо более легкого, чем наша земля, и она примерно такая же мягкая, как только что выпавший снег.

Сторож очутился на одной из тех бесчисленных лунных кольцевых гор, которые известны нам по большим лунным картам доктора Мэдлера. Ведь ты тоже видел их, не правда ли?

В горе образовался кратер, стенки которого почти отвесно обрывались вниз на целую датскую милю, а на самом дне кратера находился город. Город этот напоминал яичный белок, выпущенный в стакан воды,— такими прозрачными и легкими казались его башни, купола и парусообразные балконы, слабо колыхавшиеся в разреженном воздухе луны. А над головой сторожа величественно плыл огромный огненно-красный шар — наша земля.

На луне было множество живых существ, которых мы бы назвали людьми, если б они не так сильно отличались от нас и по своей внешности, и по языку. Трудно было ожидать, чтобы душа сторожа понимала этот язык,— однако она прекрасно его понимала.

Да, да, можете удивляться, сколько хотите, но душа сторожа сразу научилась языку жителей луны. Чаще всего они спорили о нашей земле. Они очень и очень сомневались в том, что на земле есть жизнь, ибо воздух там, говорили они, слишком плотный, и разумное лунное создание не могло бы им дышать. Они утверждали далее, что жизнь возможна только на луне — единственной планете, где уже давным-давно зародилась жизнь.

Но вернемся на Восточную улицу и посмотрим, что сталось с телом сторожа.

Безжизненное, оно по-прежнему сидело на ступеньках; палка с шипами на конце,— у нас ее прозвали «утренней звездой»,— выпала из рук, а глаза уставились на луну, по которой сейчас путешествовала душа сторожа.

— Эй, сторож, который час? — спросил какой-то прохожий; не дождавшись ответа, он слегка щелкнул сторожа по носу. Тело потеряло равновесие и во всю длину растянулось на тротуаре.

Решив, что сторож умер, прохожий пришел в ужас, а мертвый так и остался мертвым. Об этом сообщили куда следует, и утром тело отвезли в больницу.

Вот заварилась бы каша, если бы душа вернулась и, как и следовало ожидать, принялась искать свое тело там, где рассталась с ним, то есть на Восточной улице. Обнаружив пропажу, она скорей всего сразу же кинулась бы в полицию, в адресный стол, оттуда в бюро по розыску вещей, чтобы дать объявление о пропаже в газете, и лишь в последнюю очередь отправилась бы в больницу. Впрочем, о душе беспокоиться нечего — когда она действует самостоятельно, все идет прекрасно, и лишь тело мешает ей и заставляет ее делать глупости.

Так вот, когда сторожа доставили в больницу и внесли в мертвецкую, с него первым долгом, конечно, сняли калоши, и душе волей-неволей пришлось прервать свое путешествие и возвратиться в тело. Она сразу же отыскала его, и сторож немедленно ожил. Потом он уверял, что это была самая бредовая ночь в его жизни. Он даже за две марки не согласился бы вновь пережить такие ужасы. Впрочем, теперь все это позади.

Сторожа выписали в тот же день, а калоши остались в больнице.

IV. «ГОЛОВОЛОМКА». ДЕКЛАМАЦИЯ. СОВЕРШЕННО НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Каждый житель Копенгагена много раз видел главный вход в городскую Фредериксбергскую больницу, но так как эту историю, возможно, будут читать не только копенгагенцы, нам придется дать кое-какие разъяснения.

Дело в том, что больницу отделяет от улицы довольно высокая решетка из толстых железных прутьев. Прутья эти расставлены так редко, что многие практиканты, если только они худощавы, ухитряются протиснуться между ними, когда в неурочный час хотят выбраться в город. Трудней всего им просунуть голову, так что и в этом случае, как, впрочем, нередко бывает в жизни, большеголовым приходилось туго... Ну, для вступления этого хватит.

В тот вечер в больнице как раз дежурил один молодой медик, о котором хоть и можно было сказать, что «голова у него большая», но... лишь в самом прямом смысле слова. Шел проливной дождь; однако, невзирая на непогоду и дежурство, медик все-таки решил сбегать в город по каким-то неотложным делам,— хотя бы

на четверть часика. «Незачем,— думал он,— связываться с привратником, если можно легко пролезть сквозь решетку». В вестибюле все еще валялись калоши, забытые сторожем. В такой ливень они были очень кстати, и медик надел их, не догадываясь, что это калоши счастья. Теперь осталось только протиснуться между железными прутьями, чего ему еще ни разу не приходилось делать.

— Господи, только бы просунуть голову,— промолвил он.

И в тот же миг голова его, хотя и очень большая, благополучно проскочила между прутьями,— не без помощи калош, разумеется.

Теперь дело было за туловищем, но ему никак не удавалось пролезть.

— Ух, какой я толстый! — сказал студент.— А я-то думал, что голову просунуть всего труднее будет. Нет, не пролезть мне!

Он хотел было сразу же втянуть голову обратно, но не тут-то было: она застряла безнадежно, он мог лишь крутить ею сколько угодно и без всякого толка. Сначала медик просто рассердился, но вскоре настроение его испортилось вконец; калоши поставили его прямо-таки в жуткое положение.

К несчастью, он никак не догадывался, что надо пожелать освободиться, и сколько ни вертел головой, она не пролезала обратно. Дождь все лил и лил, и на улице не было ни души. До звонка к дворнику все равно никак было не дотянуться, а сам освободиться он не мог. Он боялся, что, чего доброго, придется простоять так до утра: ведь только утром можно будет послать за кузнецом, чтобы он перепилил решетку. И вряд ли удастся перепилить ее быстро, а на шум сбегутся школьники, все окрестные жители,— да, да, сбегутся и будут глазеть на медика, который скорчился, как преступник у позорного столба; глазеть, как в прошлом году на огромную агаву, когда она расцвела.

— Ой, кровь так и приливает к голове. Нет, я так с ума сойду! Да, да, сойду с ума! Ох, только бы мне освободиться!

Давно уже нужно было медику сказать это: в ту же минуту голова его свободно прошла между прутьями, и он стремглав кинулся назад, совершенно обезумев от страха, в который повергли его калоши счастья.

Но если вы думаете, что этим дело и кончилось, то глубоко ошибаетесь. Нет, самое худшее еще впереди.

Прошла ночь, наступил следующий день, а за калошами все никто не являлся.

Вечером в маленьком театре, расположенном на улице Каннике, давали представление. Зрительный зал был полон. В числе других артистов один чтец продекламировал стихотворение под названием «Бабушкины очки»:

У бабушки моей был дар такой,
Что раньше бы сожгли ее живой.
Ведь ей известно все и даже боле:
Грядущее узнать — в ее то было воле,
В сороковые проникала взором,
Но просьба рассказать всегда кончалась спором.
«Скажи мне, говорю, грядущий год
Какие нам событья принесет?
И что произойдет в искусстве, в государстве?»
Но бабушка, искусная в коварстве,
Молчит упрямо, и в ответ ни слова.
И разбранить меня подчас готова.
Но как ей устоять, где взять ей сил?
Ведь я ее любимцем был.

«По-твоему пусть будет в этот раз,—
Сказала бабушка и мне тотчас
Очки свои дала.— Иди-ка ты туда,
Где собирается народ всегда,
Надень очки, поближе подойди
И на толпу людскую погляди.
В колоду карт вдруг обратятся люди.
По картам ты поймешь, что было и что будет».

Сказав спасибо, я ушел проворно.
Но где найти толпу? На площади, бесспорно.
На площади? Но не люблю я стужи.
На улице? Там всюду грязь да лужи.
А не в театре ли? Что ж, мысль на славу!
Вот где я встречу целую ораву.
И наконец я здесь! Мне стоит лишь очки достать,
И стану я оракулу под стать.
А вы сидите тихо по местам:
Ведь картами казаться надо вам,
Чтоб будущее было видно ясно.
Молчанье ваше — знак, что вы согласны.
Сейчас судьбу я расспрошу, и не напрасно,
Для пользы собственной и для народа.
Итак, что скажет карт живых колода.
(Надевает очки.)
Что вижу я! Ну и потеха!
Вы, право, лопнули б от смеха,
Когда увидели бы всех тузов бубновых,
И нежных дам, и королей суровых!
Все пики, трефы здесь чернее снов дурных.
Посмотрим же как следует на них.
Та дама пик известна знаньем света —
И вот влюбилась вдруг в бубнового валета.
А эти карты что нам предвещают?
Для дома много денег обещают
И гостя из далекой стороны,
А впрочем, гости вряд ли нам нужны.
Беседу вы хотели бы начать
С сословий? Лучше помолчать!

А вам я дам один благой совет:
Вы хлеб не отбивайте у газет.
Иль о театрах? Закулисных треньях?
Ну нет! С дирекцией не порчу отношенья.
О будущем моем? Но ведь известно:
Плохое знать совсем не интересно.
Я знаю все — какой в том прок:
Узнаете и вы, когда наступит срок!
Что, что? Кто всех счастливей среди вас?
Ага! Счастливца я найду сейчас...
Его свободно можно б отличить,
Да остальных пришлось бы огорчить!
Кто дольше проживет? Ах, он? Прекрасно!
Но говорить на сей сюжет опасно.
Сказать? Сказать? Сказать иль нет?
Нет, не скажу — вот мой ответ!
Боюсь, что оскорбить могу я вас,
Уж лучше мысли ваши я прочту сейчас,
Всю силу волшебства призвав тотчас.
Угодно вам узнать? Скажу себе в укор:
Вам кажется, что я, с каких уж пор,
Болтаю перед вами вздор.
Тогда молчу, вы правы, без сомненья,
Теперь я сам хочу услышать ваше мненье.

Декламировал чтец превосходно, в зале загремели аплодисменты.

Среди публики находился и наш злосчастный медик. Он, казалось, уже забыл свои злоключения, пережитые прошлой ночью. Отправляясь в театр, он опять надел калоши,— их пока еще никто не востребовал, а на улице была слякоть, так что они могли сослужить ему хорошую службу. И сослужили!

Стихи произвели большое впечатление на нашего медика. Ему очень понравилась их идея, и он подумал, что хорошо бы раздобыть такие очки. Немного навострившись, можно было бы научиться читать в сердцах людей, а это гораздо интереснее, чем заглядывать в будущий год,— ведь он все равно наступит рано или поздно, а вот в душу к человеку иначе не заглянешь.

«Взять бы, скажем, зрителей первого ряда,— думал медик,— и посмотреть, что делается у них в сердце,— должен же быть туда вход, вроде как в магазин. Чего бы я там не насмотрелся, надо полагать! У этой вот дамы в сердце, наверное, помещается целый галантерейный магазин. А у этой он уже опустел, только надо бы его как следует помыть да почистить. Но можно набрести и на солидные магазины. Ах,— вздохнул медик,— знаю я один такой магазин, но, увы, приказчик для него уже нашелся, и это единственный его недостаток. А во многие другие, наверное, зазывали бы: «Заходите, пожалуйста, к нам, милости просим!» Да, вот зайти бы туда в виде крошечной мысли, прогуляться бы по сердцам!»

Сказано — сделано! Только пожелай — вот все, что надо калошам счастья. Медик вдруг весь как-то съежился, стал совсем крохотным и начал свое необыкновенное путешествие по сердцам зрителей первого ряда.

Первое сердце, в которое он попал, принадлежало одной даме, но бедняга медик сначала подумал, что очутился в ортопедическом институте, где врачи лечат больных, удаляя различные опухоли и выправляя уродства. В комнате, куда вошел наш медик, были развешаны многочисленные гипсовые слепки с этих уродливых частей тела. Вся разница только в том, что в настоящем институте слепки снимаются, как только больной туда поступает, а в этом сердце они изготовлялись тогда, когда из него выписывался здоровый человек.

Среди прочих в сердце этой дамы хранились слепки, снятые с физических и нравственных уродств всех ее подруг.

Медик быстро перекочевал в другое женское сердце,— и на этот раз ему показалось, что он вступил в светлый обширный храм. Над алтарем парил белый голубь — олицетворение невинности. Медик хотел было преклонить колена, но ему нужно было спешить дальше, в следующее сердце, и только в ушах его еще долго звучала музыка органа. Он даже почувствовал, что стал еще лучше и чище, чем был раньше, и достоин теперь войти в следующее святилище, оказавшееся жалкой каморкой, где лежала больная мать. Но в открытые настежь окна лились теплые солнечные лучи, чудесные розы, расцветшие в ящичке под окном, качали головками, кивая больной, две небесно-голубые птички пели песенку о детских радостях, а больная мать просила счастья для своей дочери.

Потом наш медик на четвереньках переполз в мясную лавку; она была завалена мясом,— и куда бы он ни сунулся, всюду натыкался на туши. Это было сердце одного богатого, всеми уважаемого человека,— его имя, наверно, можно найти в городском справочнике.

Оттуда медик перекочевал в сердце его супруги. Оно представляло собой старую, полуразвалившуюся голубятню. Портрет мужа был водружен на ней вместо флюгера; к ней была также приделана входная дверь, которая то открывалась, то закрывалась — в зависимости от того, куда поворачивался супруг.

Потом медик попал в комнату с зеркальными стенами, такую же, как во дворце Розенборг, но здесь зеркала были увеличительные, они все увеличивали во много раз. Посреди комнаты восседало на троне маленькое «я» обладателя этого сердца и восхищалось своим собственным величием.

Оттуда медик перебрался в другое сердце, и ему показалось, что он попал в узкий игольник, набитый острыми иголками. Он

было решил, что это сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся: оно принадлежало награжденному множеством орденов молодому военному, о котором говорили, что он «человек с сердцем и умом».

Наконец бедный медик выбрался из последнего сердца и, совершенно ошалев, еще долго никак не мог собраться с мыслями. Во всем он винил свою разыгравшуюся фантазию.

«Бог знает что такое! — вздохнул он.— Нет, я определенно схожу с ума. И какая дикая здесь жара! Кровь так и приливает к голове.— Тут он вспомнил о своих вчерашних злоключениях у больничной ограды.— Вот когда я заболел! — подумал он.— Нужно вовремя взяться за лечение. Говорят, что в таких случаях всего полезнее русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке́».

И он действительно очутился в бане на самом верхнем полке, но лежал там совсем одетый, в сапогах и калошах, а с потолка на лицо ему капала горячая вода.

— Ой! — закричал медик и побежал скорее принять душ.

Банщик тоже закричал: он испугался, увидев в бане одетого человека.

Наш медик, не растерявшись, шепнул ему:

— Не бойся, это я на пари,— но, вернувшись домой, первым делом поставил себе один большой пластырь из шпанских мушек на шею, а другой на спину, чтобы вытянуть дурь из головы.

Наутро вся спина у него набухла кровью — вот и все, чем его облагодетельствовали калоши счастья.

V. ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПИСАРЯ

Наш знакомый сторож между тем вспомнил про калоши, которые нашел на улице, а потом оставил в больнице, и забрал их оттуда. Но ни лейтенант, ни соседи не признали этих калош своими, и сторож отнес их в полицию.

— Да они как две капли воды похожи на мои! — сказал один из полицейских писарей, поставив находку рядом со своими калошами и внимательно ее рассматривая.— Тут и опытный глаз сапожника не отличил бы одну пару от другой.

— Господин писарь,— обратился к нему полицейский, вошедший с какими-то бумагами.

Писарь поговорил с ним, а когда опять взглянул на обе пары калош, то уж и сам перестал понимать, которая из них его пара — та, что стоит справа, или та, что слева.

«Мои, должно быть, вот эти, мокрые»,— подумал он и ошибся: это были как раз калоши счастья. Что ж, полиция тоже иногда ошибается.

Писарь надел калоши и, сунув одни бумаги в карман, а другие — под мышку (ему нужно было кое-что перечитать и переписать дома), вышел на улицу. День был воскресный, стояла чудесная погода, и полицейский писарь подумал, что неплохо было бы прогуляться по Фредериксбергу.

Молодой человек отличался редким прилежанием и усидчивостью, так что пожелаем ему приятной прогулки после многих часов работы в душной канцелярии.

Сначала он шел, ни о чем не думая, и калошам поэтому все не представлялось удобного случая проявить свою чудодейственную силу.

Но вот он повстречал в одной аллее своего знакомого, молодого поэта, и тот сказал, что завтра отправляется путешествовать на все лето.

— Эх, вот вы опять уезжаете, а мы остаемся,— сказал писарь.— Счастливые вы люди, летаете себе, где хотите и куда хотите, а у нас цепи на ногах.

— Да, но ими вы прикованы к хлебному дереву,— возразил поэт.— Вам нет нужды заботиться о завтрашнем дне, а когда вы состаритесь, получите пенсию.

— Так-то так, но вам все-таки живется гораздо привольнее,— сказал писарь.— Писать стихи — что может быть лучше! Публика носит вас на руках, и вы сами себе господа. А вот попробовали бы вы посидеть в суде, как мы сидим, да повозиться с этими скучнейшими делами!

Поэт покачал головой, писарь тоже покачал головой, и они разошлись в разные стороны, оставшись каждый при своем мнении.

«Удивительный народ эти поэты,— думал молодой чиновник.— Хотелось бы поближе познакомиться с такими натурами, как он, и самому стать поэтом. Будь я на их месте, я бы в своих стихах не стал хныкать. Ах, какой сегодня чудесный весенний день, сколько в нем красоты, свежести, поэзии! Какой необыкновенно прозрачный воздух! Какие причудливые облака! А трава и листья так сладостно благоухают! Давно уже я так остро не ощущал этого, как сейчас».

Вы, конечно, заметили, что он уже стал поэтом. Но внешне совсем не изменился,— нелепо думать, что поэт не такой же человек, как все прочие. Среди простых людей часто встречаются натуры гораздо более поэтические, чем многие прославленные поэты. Только у поэтов гораздо лучше развита память, и все идеи, образы, впечатления хранятся в ней до тех пор, пока не найдут своего поэтического выражения на бумаге. Когда простой человек становится поэтически одаренной натурой, происходит своего рода превращение,— и такое именно превращение произошло с писарем.

«Оле-Лукойе»

«Снежная королева»

«Какое восхитительное благоухание! — думал он.— Оно напоминает мне фиалки у тетушки Лоны. Да, я был тогда еще совсем маленьким. Господи, и как это я ни разу не вспомнил о ней раньше! Добрая старая тетушка! Она жила как раз за Биржей. Всегда, даже в самую лютую стужу, на окнах у нее зеленели в банках какие-нибудь веточки или росточки, фиалки наполняли комнату ароматом; а я прикладывал нагретые медяки к обледенелым стеклам, чтобы можно было смотреть на улицу. Какой вид открывался из этих окон! На канале стояли вмерзшие в лед корабли, огромные стаи ворон составляли весь их экипаж. Но с наступлением весны суда преображались. С песнями и криками «ура» матросы обкалывали лед; корабли смолили, оснащали всем необходимым, и они наконец уплывали в заморские страны. Они-то уплывают, а я вот остаюсь здесь; и так будет всегда; всегда я буду сидеть в полицейской канцелярии и смотреть, как другие получают заграничные паспорта. Да, таков мой удел!» — и он глубоко-глубоко вздохнул, но потом вдруг опомнился: «Что это такое со мной делается сегодня? Раньше мне ничего подобного и в голову не приходило. Верно, это весенний воздух так на меня действует. А сердце сжимается от какого-то сладостного волнения».

Он полез в карман за своими бумагами. «Возьмусь за них, буду думать о чем-нибудь другом»,— решил он и пробежал глазами первый попавшийся под руку лист бумаги. «Фру Зигбрит», оригинальная трагедия в пяти действиях»,— прочитал он. «Что такое? Странно, почерк мой! Неужели это я написал трагедию? А это еще что? «Интрига на валу, или Большой праздник; водевиль». Но откуда все это у меня? Наверное, кто-нибудь подсунул. Да тут еще письмо...»

Письмо прислала дирекция одного театра; она не очень вежливо извещала автора, что обе его пьесы никуда не годятся.

— Гм,— произнес писарь, усаживаясь на скамейку.

В голову его вдруг хлынуло множество мыслей, а сердце исполнилось неизъяснимой нежности... к чему — он и сам не знал. Машинально он сорвал цветок и залюбовался им. Это была простая маленькая маргаритка, но она в течение одной минуты сообщила ему о себе больше, чем можно узнать, выслушав несколько лекций по ботанике. Она рассказала ему предание о своем рождении, рассказала о том, как могуч солнечный свет,— ведь это благодаря ему распустились и стали благоухать ее нежные лепестки. А поэт в это время думал о суровой жизненной борьбе, пробуждающей в человеке еще неведомые ему силы и чувства. Воздух и свет — возлюбленные маргаритки, но свет — ее главный покровитель, перед ним она благоговеет; а когда он уходит вечером, она засыпает в объятиях воздуха.

— Свет одарил меня красотой! — сказала маргаритка.

— А воздух дает тебе жизнь! — шепнул ей поэт.

Неподалеку стоял мальчуган и хлопал палкой по воде в грязной канавке — брызги разлетались в разные стороны. И писарь задумался вдруг о тех миллионах живых, невидимых простым глазом существ, которые взлетают вместе с водяными каплями на огромную, по сравнению с их собственными размерами, высоту,— вот как если бы мы, например, очутились над облаками. Размышляя об этом, а также о своем превращении, наш писарь улыбнулся: «Я просто сплю и вижу сон. Но какой это все-таки удивительный сон! Оказывается, можно грезить наяву, сознавая, что это тебе только снится. Хорошо бы вспомнить обо всем этом завтра утром, когда я проснусь. Какое странное состояние! Сейчас я все вижу так четко, так ясно, чувствую себя таким бодрым и сильным — и в то же время хорошо знаю, что если утром попытаюсь что-нибудь припомнить, в голову мне полезет только чепуха. Сколько раз это бывало со мной! Все эти чудесные вещи похожи на золото гномов: ночью, когда его получаешь, оно блестит и сверкает, а днем превращается в кучу щебня и увядших листьев».

Вконец расстроенный, писарь грустно вздыхал, поглядывая на птичек, которые весело распевали свои песенки, перепархивая с ветки на ветку.

«И им живется лучше, чем мне. Уметь летать — какая чудесная способность! Счастлив тот, кто ею одарен. Если бы только я мог превратиться в птичку, я бы стал вот таким маленьким жаворонком!»

И в ту же минуту рукава и фалды его сюртука превратились в крылья и обросли перьями, а вместо калош появились коготки. Он сразу заметил все эти превращения и улыбнулся. «Ну, теперь я вижу, что это сон. Но таких дурацких снов мне еще не приходилось видеть»,— подумал он, взлетел на зеленую ветку и запел.

Однако в его пении уже не было поэзии, так как он перестал быть поэтом: калоши, как и все, кто хочет чего-нибудь добиться, выполняли только одно дело зараз. Захотел писарь стать поэтом — стал, захотел превратиться в птичку — превратился, но зато утратил свои прежние свойства.

«Забавно, нечего сказать! — подумал он.— Днем я сижу в полицейской канцелярии, занимаясь важнейшими делами, а ночью мне снится, что я жаворонком летаю по Фредериксбергскому парку. Да об этом, черт возьми, можно написать целую народную комедию!»

И он слетел на траву, завертел головкой и принялся весело клевать гибкие травинки, казавшиеся ему теперь огромными африканскими пальмами.

Внезапно вокруг него стало темно, как ночью; ему почудилось, будто на него набросили какое-то гигантское одеяло! На самом же деле это мальчик из слободки накрыл его своей шапкой. Мальчик запустил руку под шапку и схватил писаря за спинку и крылья; тот сначала запищал от страха, потом вдруг возмутился:

— Ах ты, негодный щенок! Как ты смеешь! Я полицейский писарь!

Но мальчишка услышал только жалобное «пи-и, пи-и-и». Он щелкнул птичку по клюву и пошел с нею дальше, на горку.

По дороге он встретил двух школьников; оба они были в высшем классе — по своему положению в обществе, и в низшем — по умственному развитию и успехам в науках. Они купили жаворонка за восемь скиллингов. Таким образом полицейский писарь вернулся в город и оказался в одной квартире на Готской улице.

— Черт побери, хорошо, что это сон,— сказал писарь,— а не то я бы здорово рассердился! Сначала я стал поэтом, потом — жаворонком. И ведь это моя поэтическая натура внушила мне желание превратиться в такую малютку. Однако невеселая это жизнь, особенно когда попадешь в лапы к подобным сорванцам. Хотел бы я узнать, чем все это кончится?

Мальчики принесли его в красиво обставленную комнату, где их встретила толстая улыбающаяся женщина. Она ничуть не обрадовалась «простой полевой птичке», как она назвала жаворонка, тем не менее разрешила мальчикам оставить его и посадить в клетку на подоконнике.

— Быть может, он немного развлечет попочку! — добавила она и с улыбкой взглянула на большого зеленого попугая, который важно покачивался на кольце в роскошной металлической клетке.— Сегодня у попочки день рождения,— сказала она, глупо улыбаясь,— и полевая птичка хочет его поздравить.

Попугай, ничего на это не ответив, все так же важно раскачивался взад и вперед. В это время громко запела красивая канарейка, которую сюда привезли прошлым летом из теплой и благоухающей родной страны.

— Ишь, крикунья! — сказала хозяйка и набросила на клетку белый носовой платок.

— Пи-пи! Какая ужасная метель! — вздохнула канарейка и умолкла.

Писаря, которого хозяйка называла «полевой птичкой», посадили в маленькую клетку, рядом с клеткой канарейки и по соседству с попугаем. Попугай мог внятно выговаривать только одну фразу, нередко звучавшую очень комично: «Нет, будем людьми!», а все остальное получалось у него столь же невразумительным,

как щебет канарейки. Впрочем, писарь, превратившись в птичку, отлично понимал своих новых знакомых.

— Я порхала над зеленой пальмой и цветущим миндальным деревом,— пела канарейка,— вместе с братьями и сестрами я летала над чудесными цветами и зеркальной гладью озер, и нам приветливо кивали отражения прибрежных растений. Я видела стаи красивых попугаев, которые рассказывали множество чудеснейших историй.

— Это дикие птицы,— отозвался попугай,— не получившие никакого образования. Нет, будем людьми! Что же ты не смеешься, глупая птица? Если этой остроте смеется и сама хозяйка, и ее гости, так почему бы не посмеяться и тебе? Не ценить хороших острот — это очень большой порок, должен вам сказать. Нет, будем людьми!

— А ты помнишь красивых девушек, что плясали под сенью цветущих деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный сок диких растений?

— Конечно, помню,— отвечал попугай,— но здесь мне гораздо лучше! Меня прекрасно кормят и всячески ублажают. Я знаю, что я умен, и с меня довольно. Нет, будем людьми! У тебя, что называется, поэтическая натура, а я сведущ в науках и остроумен. В тебе есть эта самая гениальность, но не хватает рассудительности. Ты метишь слишком высоко, поэтому люди тебя осаживают. Со мной они так поступать не станут, потому что я обошелся им дорого. Я внушаю уважение уже одним своим клювом, а болтовней своей могу кого угодно поставить на место. Нет, будем людьми!

— О моя теплая, цветущая родина,— пела канарейка,— я буду петь о твоих темно-зеленых деревьях, чьи ветви целуют прозрачные воды тихих заливов, о светлой радости моих братьев и сестер, о вечнозеленых хранителях влаги в пустыне — кактусах.

— Перестань хныкать! — проговорил попугай.— Скажи лучше что-нибудь смешное. Смех — это знак высшей степени духовного развития. Вот разве могут, к примеру, смеяться собака или лошадь? Нет, они могут только плакать, а способностью смеяться одарен лишь человек. Ха-ха-ха! — расхохотался попочка и окончательно сразил собеседников своим «нет, будем людьми!».

— И ты, маленькая серая датская птичка,— сказала канарейка жаворонку,— ты тоже стала пленницей. В твоих лесах, наверное, холодно, но зато в них ты свободна. Лети же отсюда! Смотри, они забыли запереть твою клетку! Форточка открыта, лети же — скорей, скорей!

Писарь так и сделал, вылетел из клетки и уселся возле нее. В этот миг дверь в соседнюю комнату открылась, и на пороге появилась кошка, гибкая, страшная, с зелеными горящими глазами.

Кошка уже совсем было приготовилась к прыжку, но капарейка заметалась в клетке, а попугай захлопал крыльями и закричал: «Нет, будем людьми!» Писарь похолодел от ужаса и, вылетев в окно, полетел над домами и улицами. Летел, летел, наконец устал,— и вот увидел дом, который показался ему знакомым. Одно окно в доме было открыто. Писарь влетел в комнату и уселся на стол. К своему изумлению, он увидел, что это его собственная комната.

«Нет, будем людьми!» — машинально повторил он излюбленную фразу попугая и в ту же минуту вновь стал полицейским писарем, только зачем-то усевшимся на стол.

— Господи помилуй,— сказал писарь,— как это я попал на стол, да еще заснул? И какой дикий сон мне приснился. Какая чепуха!

VI. ЛУЧШЕЕ, ЧТО СДЕЛАЛИ КАЛОШИ

На другой день рано утром, когда писарь еще лежал в постели, в дверь постучали, и вошел его сосед, снимавший комнату на том же этаже,— молодой студент-богослов.

— Одолжи мне, пожалуйста, свои калоши,— сказал он.— Хоть в саду и сыро, да больно уж ярко светит солнышко. Хочу туда сойти выкурить трубочку.

Он надел калоши и вышел в сад, в котором росло только два дерева — слива и груша; впрочем, даже столь скудная растительность в Копенгагене большая редкость.

Студент прохаживался взад и вперед по дорожке. Время было раннее, всего шесть часов утра. На улице заиграл рожок почтового дилижанса.

— О, путешествовать, путешествовать! — вырвалось у него.— Что может быть лучше! Это предел всех моих мечтаний. Если бы они осуществились, я бы тогда, наверное, угомонился и перестал метаться. Как хочется уехать подальше отсюда, увидеть волшебную Швейцарию, поездить по Италии!

Хорошо еще, что калоши счастья выполняли желания немедленно, а то бы студент, пожалуй, забрался слишком далеко и для себя самого, и для нас с вами. В тот же миг он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в почтовый дилижанс вместе с восемью другими пассажирами. Голова у него трещала, шею ломило, ноги затекли и болели, потому что сапоги жали немилосердно. Он не спал и не бодрствовал, но был в состоянии какого-то мучительного оцепенения. В правом кармане у него лежал аккредитив, в левом — паспорт, а в кожаном мешочке на груди было зашито несколько золотых. Стоило нашему путешественнику клюнуть носом, как ему тут же начинало мерещиться, что он уже потерял какое-нибудь

из этих своих сокровищ, и тогда его бросало в дрожь, а рука его судорожно описывала треугольник — справа налево и на грудь,— чтобы проверить, все ли цело. В сетке над головами пассажиров болтались зонтики, палки, шляпы, и все это мешало студенту наслаждаться прекрасным горным пейзажем. Но он все смотрел, смотрел и не мог насмотреться, а в сердце его звучали строки стихотворения, которое написал, хотя и не стал печатать, один известный нам швейцарский поэт:

Прекрасный край! Передо мной
Монблан белеет вдалеке.
Здесь был бы, право, рай земной,
Будь больше денег в кошельке.

Природа здесь была мрачная, суровая и величественная. Хвойные леса, покрывавшие заоблачные горные вершины, издали казались просто зарослями вереска. Пошел снег, подул резкий, холодный ветер.

— Ух! — вздохнул студент.— Если бы мы уже были по ту сторону Альп! Там теперь наступило лето, и я наконец получил бы по аккредитиву свои деньги. Я так за них боюсь, что все эти альпийские красоты перестали меня пленять. Ах, если б я уже был там!

И он немедленно очутился в самом сердце Италии, где-то на дороге между Флоренцией и Римом. Последние лучи солнца озаряли лежащее между двумя темно-синими холмами Тразименское озеро, превращая его воды в расплавленное золото. Там, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, теперь виноградные лозы мирно обвивали друг друга своими зелеными плетями. У дороги, под сенью благоухающих лавров, прелестные полуголые ребятишки пасли стадо черных как смоль свиней. Да, если бы описать эту картину как следует, все бы только и твердили: «Ах, восхитительная Италия!» Но, как ни странно, ни богослов, ни его спутники этого не думали. Тысячи ядовитых мух и комаров тучами носились в воздухе; напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками, насекомые все равно кусали и жалили их. В карете не было человека, у которого не распухло бы все лицо, искусанное в кровь. У лошадей был еще более несчастный вид: бедных животных сплошь облепили огромные рои насекомых, так что кучер время от времени слезал с козел и отгонял от лошадей их мучителей, но уже спустя мгновение налетали новые полчища. Скоро зашло солнце, и путешественников охватил пронизывающий холод — правда, ненадолго, но все равно это было не слишком приятно. Зато вершины гор и облака окрасились в непередаваемо красивые зеленые тона, отливающие блеском последних солнечных лучей. Эта игра красок не поддается описанию, ее нужно видеть. Зрелище изумительное, все с этим согласились, но в желудке у

каждого было пусто, тело устало, душа жаждала приюта на ночь, а где его найти? Теперь все эти вопросы занимали путешественников гораздо больше, чем красоты природы.

Дорога проходила через оливковую рощу, и казалось, что едешь где-нибудь на родине, между родными узловатыми ивами. Вскоре карета остановилась у одинокой гостиницы. У ворот ее сидело множество нищих-калек, и самый бодрый из них казался «достигшим зрелости старшим сыном голода». Одни калеки были слепые; у других высохли ноги — эти ползали на руках; у третьих на изуродованных руках не было пальцев. Словно сама нищета тянулась к путникам из этой кучи тряпья и лохмотьев. «Eccelenza, miserabili!» [1] — хрипели они, показывая свои уродливые конечности. Путешественников встретила хозяйка гостиницы, босая, нечесаная, в грязной кофте. Двери в комнатах держались на веревках, под потолком порхали летучие мыши, кирпичный пол был весь в выбоинах, а вонь стояла такая, что хоть топор вешай...

— Лучше уж пусть она накроет нам стол в конюшне,— сказал кто-то из путешественников.— Там, по крайней мере, знаешь, чем дышишь.

Открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха, но тут в комнату протянулись высохшие руки и послышалось извечное нытье: «Eccelenza, miserabili!»

Стены комнаты были сплошь исписаны, и половина надписей ругательски ругала «прекрасную Италию».

Принесли обед: водянистый суп с перцем и прогорклым оливковым маслом, потом приправленный таким же маслом салат и, наконец, несвежие яйца и жареные петушиные гребешки — в качестве украшения пиршества; даже вино казалось не вином, а какой-то микстурой.

На ночь дверь забаррикадировали чемоданами, и одному путешественнику поручили стоять на часах, а остальные уснули. Часовым оказался студент-богослов. Ну и духота была в комнате! Жара нестерпимая, комары,— а тут еще «miserabili», которые стонали во сне, мешая уснуть.

— Да, путешествовать, конечно, было бы не плохо,— вздохнул студент,— не будь у нас тела. Пусть бы оно лежало себе да отдыхало, а дух летал бы где ему угодно. А то, куда бы я ни приехал, всюду тоска гложет мне сердце. Хотелось бы чего-то большего, чем мгновенная радость бытия. Да, да, большего, высшего, наивысшего! Но где оно? В чем? Что это такое? Нет, я же знаю, к чему стремлюсь, чего хочу. Я хочу прийти к конечной и счастливейшей цели земного бытия, самой счастливой из всех!

---

[1] Господин, помогите несчастным! *(итал.)*

И только он произнес последние слова, как очутился у себя дома. На окнах висели длинные белые занавески, посреди комнаты на полу стоял черный гроб, а в нем смертным сном спал богослов. Его желание исполнилось: тело его отдыхало, а душа странствовала. «Никого нельзя назвать счастливым раньше, чем он умрет»,— сказал Солон; и теперь его слова снова подтвердились.

Каждый умерший — это сфинкс, неразрешимая загадка. И этот «сфинкс» в черном гробу уже не мог ответить нам на тот вопрос, какой он сам себе задавал за два дня до смерти.

О злая смерть! Ты всюду сеешь страх,
Твой след — одни могилы да моленья.
Так что ж, и мысль повергнута во прах?
А я ничтожная добыча тленья?

Что стонов хор для мира суеты!
Ты одиноким весь свой век прожил,
И жребий твой был тяжелей плиты,
Что на твою могилу кто-то положил.

В комнате появились две женщины. Мы их знаем: то были фея Печали и вестница Счастья, и они склонились над умершим.

— Ну,— спросила Печаль,— много счастья принесли человечеству твои калоши?

— Что ж, тому, кто лежит здесь, они, по крайней мере, дали вечное блаженство! — ответила фея Счастья.

— О нет,— сказала Печаль.— Он сам ушел из мира раньше своего срока. Он еще не настолько окреп духовно, чтобы овладеть теми сокровищами, которыми должен был овладеть по самому своему предназначению. Ну, я окажу ему благодеяние! — И она стащила калоши со студента.

Смертный сон прервался. Мертвец воскрес и встал. Фея Печали исчезла, а с ней и калоши. Должно быть, она решила, что теперь они должны принадлежать ей.

БРОНЗОВЫЙ КАБАН

Быль

Во Флоренции неподалеку от пьяцца дель Грандука есть переулочек под названием, если не запамятовал, Порта-Росса. Там перед овощным ларьком стоит бронзовый кабан отличной работы. Из пасти струится свежая, чистая вода. А сам он от старости позеленел дочерна, только морда блестит, как полированная. Это за нее держались сотни ребятишек и лаццарони, подставлявших рты,

чтобы напиться. Любо глядеть, как пригожий полуобнаженный мальчуган обнимает искусно отлитого зверя, прикладывая свежие губки к его пасти!

Всякий приезжий без труда отыщет во Флоренции это место: достаточно спросить про бронзового кабана у любого нищего, и тот укажет дорогу.

Стояла зима, на горах лежал снег. Давно стемнело, но светила луна, а в Италии лунная ночь не темней тусклого северного зимнего дня. Она даже светлей, потому что воздух светится и ободряет нас, тогда как на севере холодное свинцовое небо нас давит к земле, к холодной сырой земле, которая, придет черед, придавит когда-нибудь крышку нашего гроба.

В саду герцогского дворца, под сенью пиний, где зимой цветут розы, целый день сидел маленький оборванец, которого можно было бы счесть воплощением Италии — красивый, веселый и, однако же, несчастный. Он был голоден и хотел пить, но ему не подали ни гроша, а когда стемнело и сад пора было запирать, сторож его выгнал. Долго стоял он, призадумавшись, на перекинутом через Арно великолепном мраморном мосту дель Тринита и глядел на звезды, сверкавшие в воде.

Он подошел к бронзовому кабану, нагнулся к нему, обхватил его шею руками, приложил губы к морде и стал жадно тянуть свежую воду. Поблизости валялись листья салата и несколько каштанов, они составили его ужин. На улице не было ни души, мальчик был совсем один; он залез бронзовому кабану на спину, склонил маленькую курчавую головку на голову зверя и сам не заметил, как заснул.

В полночь бронзовый кабан пошевелился; мальчик отчетливо услыхал:

— Держись крепче, малыш, теперь я побегу! — и кабан помчался вскачь. Это была необычайная прогулка. Сперва они попали на пьяцца дель Грандука, и бронзовая лошадь под герцогом громко заржала, пестрые гербы на здании синьории стали как бы прозрачными, а Микеланджелов Давид взмахнул пращой; удивительная пробудилась жизнь! Бронзовые группы «Персей» и «Похищение сабинянок» ожили: над пустынной площадью раздались крики ужаса.

Под аркой близ дворца Уффици, где в карнавальную ночь веселится знать, бронзовый кабан остановился.

— Держись крепко! — сказал зверь.— Держись как можно крепче! Тут ступеньки! — Малыш не вымолвил ни слова, он и дрожал от страха, и ликовал.

Они вступили в большую галерею, малыш хорошо знал это здание — он и прежде там бывал; на стенах висели картины, тут же

стояли бюсты и статуи, освещенные, словно был день; но самое чудесное открылось ему, когда распахнулись двери в соседнюю залу; конечно, малыш помнил все это великолепие, но нынешней ночью на всем здесь лежал какой-то особый блеск.

Здесь стояла прекрасная обнаженная женщина, так хороша могла быть лишь природа, запечатленная в мраморе великим художником; статуя ожила, дельфины прыгали у ее ног, бессмертие сияло в очах. Мир называет ее Венерой Медицейской. По обе стороны от нее стояли прекрасные обнаженные мужи: один точил меч — он звался «Точильщик», двое других были «Борющиеся гладиаторы»; и меч точился, и гладиаторы боролись во имя богини красоты.

Мальчика едва не ослепил этот блеск, стены сверкали всеми красками, и все тут было жизнь и движение. Он увидел еще одну Венеру, земную Венеру, плотскую и горячую, какой она осталась в сердце Тициана. Это тоже была прекрасная женщина; ее дивное обнаженное тело покоилось на мягких подушках, грудь вздымалась, пышные локоны ниспадали на округлые плечи, а темные глаза горели пламенем страсти. Но изображения не отваживались выйти из рам. И богиня красоты, и гладиаторы, и точильщик также оставались на местах: их зачаровало величие, излучаемое мадонной, Иисусом и Иоанном. Священные изображения не были уже изображениями, это были сами святые.

Какой блеск и какая красота ожидали его в каждой зале! Малыш увидел все, бронзовый кабан шаг за шагом обошел всю эту роскошь и великолепие. Впечатления сменялись, но лишь одна картина прочно запечатлелась в его душе — на ней были изображены радостные, счастливые дети, малыш уже однажды видел их днем.

Многие, разумеется, прошли бы мимо, не обратив на картину внимания, а в ней между тем заключено поэтическое сокровище: она изображает Христа, сходящего в ад; но вокруг него мы видим отнюдь не осужденных на вечные муки, а язычников. Принадлежит картина кисти флорентинца Анджело Бронзино; всего лучше воплотилась там уверенность детей, что они идут на небеса: двое малышей уже обнимаются, один протягивает другому, стоящему ниже, руку и указывает на себя, словно бы говоря: «Я буду на небесах». Взрослые же пребывают в сомнении, уповают на бога и смиренно склоняют головы перед Христом.

На этой картине взор мальчика задержался дольше, нежели на остальных, и бронзовый кабан тихо ждал; раздался вздох; из картины он вырвался или из груди зверя? Мальчик протянул руки к веселым детям, но зверь, пробежав через вестибюль, понес его прочь.

— Спасибо тебе, чудный зверь! — сказал мальчик и погладил бронзового кабана, который — топ-топ — сбегал с ним по ступеням.

— Тебе спасибо! — сказал бронзовый кабан.— Я помог тебе, а ты мне: я ведь могу тронуться с места, только если на спине у меня сидит невинное дитя. А тогда, поверь, я могу пройти и под лучами лампады, зажженной пред ликом мадонны. Я могу пронести тебя, куда захочешь, лишь бы не в церковь. Но и туда я могу заглянуть с улицы, если ты со мной. Не слезай же с меня; ведь если ты слезешь, я сразу окажусь мертвым, как днем, когда ты видишь меня в Порта-Росса.

— Я останусь с тобой, милый зверь! — сказал малыш, и они понеслись по улицам Флоренции к площади перед церковью Санта-Кроче.

Двустворчатые двери распахнулись, свечи горели пред алтарем, озаряя церковь и пустую площадь.

Удивительный свет исходил от надгробия в левом приделе, точно тысячи звезд лучились над ним. Могилу украшал щит с гербом: красная, словно горящая в огне, лестница на голубом поле; это могила Галилея, памятник скромен, но красная лестница на голубом поле исполнена глубокого смысла, она могла бы стать гербом самого искусства, всегда пролагающего свои пути по пылающей лестнице, однако же — на небеса. Все провозвестники духа, подобно пророку Илье, восходят на небеса.

Направо от прохода словно бы ожили статуи на богатых саркофагах. Тут стоял Микеланджело, там — Данте с лавровым венком на челе, Алфьери, Макиавелли, здесь бок о бок покоились великие мужи, гордость Италии[1]. Эта прекрасная церковь много красивее мраморного флорентинского собора, хоть и не столь велика.

Мраморные одеяния, казалось, шевелились, огромные статуи поднимали, казалось, головы и под пение и музыку взирали на лучистый алтарь, где одетые в белое мальчики машут золотыми кадильницами; пряный аромат проникал из церкви на пустую площадь.

Мальчик простер руки к свету, но бронзовый кабан тотчас же побежал прочь, и малыш еще крепче обнял зверя; ветер засвистел в ушах, петли церковных дверей заскрипели, точно двери захлопнулись, но в этот миг сознание оставило ребенка; он ощутил леденящий холод и раскрыл глаза.

[1] Против гробницы Галилея расположена гробница Микеланджело, его надгробие состоит из бюста и трех фигур — Скульптуры, Живописи и Архитектуры; поблизости гробница Данте (прах его покоится в Равенне), над гробницей изображение Италии, указывающей на гигантскую статую Данте. Поэзия рыдает о том, кого утратила. В нескольких шагах — гробница Алфьери, украшенная лаврами, лирой и масками. Над его гробом плачет Италия. Макиавелли завершает этот ряд прославленных титанов.

Сияло утро, мальчик наполовину сполз со спины бронзового кабана, стоящего, как и положено, в Порта-Росса.

Страх и ужас охватили ребенка при мысли о той, кого он называл матерью, пославшей его вчера раздобыть денег; ничего он не достал, и хотелось есть и пить. Еще раз обнял он бронзового кабана за шею, поцеловал в морду, кивнул ему и свернул в самую узкую улочку, по которой и осел едва пройдет с поклажей. Огромные, обитые железом двери были полурастворены, он поднялся по каменной лестнице с грязными стенами, с канатом вместо перил и вошел в открытую, увешанную тряпьем галерею; отсюда шла лестница во двор, где от колодца во все этажи тянулась толстая железная проволока, по которой, под скрип колеса, одно за другим проплывали по воздуху ведра с водой, и вода плескалась на землю. Опять мальчик поднимался по развалившейся каменной лестнице, вдруг двое матросов — это были русские — весело сбежали вниз, едва не сшибив малыша. Они возвращались с ночного кутежа. Их провожала немолодая, но еще ладная женщина с пышными черными волосами.

— Что принес? — спросила она мальчика.

— Не сердись! — взмолился он.— Мне не подали ничего, ровно ничего,— и схватил мать за подол, словно хотел его поцеловать.

Они вошли в комнату. Не станем ее описывать, скажем только, что там стоял глиняный горшок с ручками, полный пылающих углей, то, что здесь называют марито; она взяла марито в руки, погрела пальцы и толкнула мальчика локтем.

— Ну, денежки-то у тебя есть? — спросила она.

Мальчик заплакал, она пихнула его ногой, он громко заревел.

— Заткнись, не то башку твою горластую размозжу! — И она подняла горшок с углями, который держала в руках; ребенок, завопив, прижался к земле. Тут вошла соседка, тоже держа марито в руках:

— Феличита, что ты делаешь с ребенком?

— Ребенок мой! — отрезала Феличита.— Захочу — его убью, а заодно и тебя, Джанина.— И она замахнулась горшком; соседка, защищаясь, подняла свой, и горшки так сильно стукнулись друг о друга, что черепки, уголь и зола полетели по комнате; но мальчик уже выскользнул за дверь и побежал через двор на улицу. Бедный ребенок так бежал, что едва не задохся; у церкви Санта-Кроче, огромные двери которой растворились перед ним минувшей почью, он остановился и вошел в храм. Здесь все сияло, он преклонил колена перед первой могилой справа — это была могила Микеланджело — и громко зарыдал. Люди входили и выходили, служ-

ба окончилась, никто мальчугана не замечал; один только почтенный старик остановился, поглядел на него и пошел себе дальше, как все остальные.

Голод и жажда совсем истомили малыша; обессиленный и больной, он залез в угол между степой и надгробием и заснул. Был вечер, когда кто-то его растолкал; он вскочил, перед ним стоял прежний старик.

— Ты болен? Где ты живешь? Ты провел тут целый день? — выспрашивал старик у малыша. Мальчик отвечал, и старик повел его к себе, в небольшой домик на одной из соседних улиц. Они вошли в перчаточную мастерскую; там сидела женщина и усердно шила. Маленькая белая болонка, остриженная до того коротко, что видна была розовая кожа, вскочила на стол и стала прыгать перед мальчиком.

— Невинные души узнают друг друга! — сказала женщина и погладила собаку и ребенка. Добрые люди накормили его, напоили и сказали, что он может у них переночевать, а завтра папаша Джузеппе поговорит с его матерью. Его уложили на бедную, жесткую постель, но для него, не раз ночевавшего на камнях мостовой, это была королевская роскошь; он мирно спал, и ему снились прекрасные картины и бронзовый кабан.

Утром папаша Джузеппе ушел; бедный мальчик этому не радовался, он понимал, что теперь его отведут обратно к матери; мальчик целовал резвую собачку, а хозяйка кивала им обоим.

С чем же папаша Джузеппе вернулся? Он долго разговаривал с женой, и она кивала головой и гладила ребенка.

— Он славный мальчик,— сказала она,— он сможет стать отличным перчаточником вроде тебя,— пальцы у него тонкие, гибкие. Мадонна назначила ему быть перчаточником.

Мальчик остался в доме, и хозяйка учила его шить; его хорошо кормили, у него была постель; он повеселел и стал даже дразнить Белиссиму — так звали собачку; хозяйка грозила ему пальцем, сердилась и бранилась, мальчик расстраивался и огорченный сидел в своей комнате. Там сушились шкурки; выходила комната на улицу; перед окном торчали толстые железные прутья. Однажды ребенок не мог заснуть — думал о бронзовом кабане, и вдруг с улицы донеслось — топ-топ. Это наверняка был он! Мальчик подскочил к окну, но ничего не увидел, кабан уже убежал.

— Помоги синьору донести ящик с красками! — сказала хозяйка мальчику утром, когда из дома вышел их молодой сосед, художник, тащивший ящик и огромный свернутый холст. Мальчик взял ящик и пошел за живописцем, они направились в галерею и поднялись по лестнице, которая с той ночи, как он скакал на бронзовом кабане, была хорошо ему знакома. Он помнил и статуи, и

картины, и прекрасную мраморную Венеру, и писанную красками; он опять увидел матерь божью, Иисуса и Иоанна.

Они остановились перед картиной Бронзино, где Христос нисходит в ад и дети вокруг него улыбаются в сладостном ожидании царства небесного; бедное дитя тоже улыбнулось, ибо здесь оно чувствовало себя словно на небесах.

— Ступай-ка домой,— сказал живописец; он успел установить мольберт, а мальчик все не уходил.

— Позвольте поглядеть, как вы пишете,— попросил мальчик,— мне хочется увидеть, как вы перенесете картину на этот белый холст.

— Но я еще не пишу,— сказал молодой человек и взял кусок угля; рука его быстро двигалась, глаз схватывал всю картину, и хотя на холсте появились лишь легкие штрихи, Христос уже парил, точь-в-точь как на картине в красках.

— Ну, ступай же! — сказал живописец, и мальчик молча пошел домой, сел за стол и принялся обучаться перчаточному делу.

Но мысли его целый день кружились вокруг картины, и потому он колол себе пальцы, не справлялся с работой и даже не дразнил Белиссиму. Вечером, пока не заперли входную дверь, он выбрался из дому; было холодно, но ясное небо усыпали звезды, прекрасные и яркие, он пошел по улицам, уже совсем притихшим, и вскоре стоял перед бронзовым кабаном; он склонился к нему, поцеловал и залез ему на спину.

— Милый зверь! — сказал он.— Я по тебе соскучился. Мы должны этой ночью совершить прогулку.

Бронзовый кабан не шелохнулся, свежий ключ бил из его пасти. Мальчик сидел на звере верхом, вдруг кто-то дернул его за одежду, он оглянулся — это была Белиссима, маленькая голенькая Белиссима. Собака выскочила из дома и побежала за мальчиком, а он и не заметил. Белиссима лаяла, словно хотела сказать: «Смотри, я тоже здесь! А ты зачем сюда залез?» И огненный дракон не напугал бы мальчика так, как эта собачонка. Белиссима на улице, и притом раздетая, как говорила в таких случаях хозяйка! Что же будет? Зимой собака выходила на улицу лишь одетая в овечью попонку, по ней скроенную и специально сшитую. Мех подвязывали на шее красной лентой с бантами и бубенцами, так же подвязывали его и на животе. Когда собачка в зимнюю пору шла рядом с хозяйкой в таком наряде, она была похожа на ягненочка. Белиссима раздета! Что же теперь будет? Тут уж не до фантазий; мальчик поцеловал бронзового кабана и взял Белиссиму на руки; она тряслась от холода, и ребенок побежал со всех ног.

— Что это у тебя? — закричали двое полицейских; когда они попались навстречу, Белиссима залаяла.

— У кого ты стащил собачку? — спросили они и отобрали ее.

— Отдайте мне собаку, отдайте! — молил мальчик.

— Если ты ее не стащил, скажешь дома, чтобы зашли за собакой в участок.— Они назвали адрес, ушли и унесли Белиссиму.

Вот это была беда! Мальчик не знал, броситься ли ему в Арно или пойти домой и повиниться; конечно, думал он, его изобьют до смерти. «Ну и пускай, я буду только рад, я умру и попаду на небо, к Иисусу и к мадонне». И он отправился домой, главным образом затем, чтобы его избили до смерти.

Дверь заперта, до колотушки ему не достать, на улице никого; мальчик поднял камень и стал стучать.

— Кто там? — спросили из-за двери.

— Это я! — сказал он.— Белиссима пропала. Отоприте и убейте меня!

Все перепугались, в особенности хозяйка, за бедную Белиссиму. Хозяйка взглянула на стену, где обычно висела собачья одежда: маленькая попонка была на месте.

— Белиссима в участке! — громко закричала она.— Ах ты, скверный мальчишка! Как же ты ее выманил? Она ведь замерзнет! Нежное существо в руках у грубых солдат!

Пришлось папаше Джузеппе сейчас же идти в участок. Хозяйка причитала, а ребенок плакал, сбежались все жильцы, вышел и художник; он посадил мальчика к себе на колени, стал расспрашивать и по его сбивчивому рассказу восстановил историю с бронзовым кабаном и галереей; она была довольно малопонятна. Художник утешил мальчика и стал уговаривать старуху, но та успокоилась не прежде, чем хозяин вернулся с Белиссимой, побывавшей в руках солдат. Тут-то уж все обрадовались, а художник приласкал мальчика и дал ему пачку картинок.

О, среди них были чудесные вещицы, забавные головки. Но лучше всех, как живой, был бронзовый кабан. Ничего прекрасней и быть не могло. Два-три штриха, и он возник на бумаге, и даже вместе с домом, стоявшим на заднем плане.

«Вот бы уметь рисовать, и весь мир стал бы моим».

На следующий день, едва мальчик оказался один, он схватил карандаш и попытался нарисовать на чистой стороне картинки бронзового кабана; ему посчастливилось — что-то, правда, вышло криво, что-то выше, что-то ниже, одна нога толще, другая тоньше, и все-таки узнать было можно, и мальчик остался доволен. Карандаш еще шел не так, как надо, он это видел, и на другой день рядом со вчерашним появился еще один бронзовый кабан, который был в сто раз лучше; третий был уже настолько хорош, что узнать его мог всякий.

Но с шитьем перчаток дело пошло худо, и доставка заказов

двигалась медленно, бронзовый кабан открыл мальчику, что все можно запечатлеть на бумаге, а город Флоренция — это целый альбом, начни только листать. На пьяцца дель Тринита стоит стройная колонна, и на самом ее верху — богиня Правосудия с завязанными глазами держит в руках весы. Скоро и она оказалась на бумаге, и перенес ее туда маленький ученик перчаточника. Собрание рисунков росло, но входили в него покамест лишь неодушевленные предметы; однажды перед мальчиком запрыгала Белиссима.

— Стой смирно,— сказал он,— тогда ты выйдешь красивой и попадешь в мое собрание картин!

Но Белиссима не желала стоять смирно, пришлось ее привязать; уже были привязаны и голова и хвост, а она лаяла и скакала; нужно было потуже натянуть веревки; тут вошла синьора.

— Безбожник! Бедняжка! — Она и вымолвить ничего больше не смогла, оттолкнула мальчика, пихнула его ногой, выгнала из своего дома — ведь это же неблагодарный бездельник, безбожное создание! И она, рыдая, целовала свою маленькую полузадушенную Белиссиму.

В эту пору по лестнице подымался художник, и... здесь поворотная точка всей истории.

В 1834 году во Флоренции в Академии художеств состоялась выставка. Две висевшие рядом картины привлекли множество зрителей. На меньшей был изображен веселый мальчуган, он сидел и рисовал белую, стриженую собачку, но натурщица не желала смирно стоять и была поэтому привязана за голову и хвост; картина дышала жизнью и правдой, что всех и привлекало. Говорили, будто художника ребенком подобрал на улице старый перчаточник, который его и воспитал, а рисовать он выучился сам. Некий прославленный ныне живописец открыл в нем талант, когда малыша, привязавшего любимую хозяйкину собачку, чтобы она ему позировала, выгоняли из дому.

Ученик перчаточника стал большим художником. Это подтверждала и маленькая картина, и в особенности большая, висевшая рядом. На ней была изображена одна лишь фигура — пригожий мальчуган в лохмотьях; он спал в переулке Порта-Росса, сидя верхом на бронзовом кабане [1]. Все зрители знали это место. Ручки ребенка лежали у кабана на голове; малыш крепко спал, и лампада пред образом мадонны ярко и эффектно освещала бледное, миловидное личико. Прекрасная картина! Она была в большой позолоченной раме; сбоку на раме висел лавровый венок, а меж зеленых листьев вилась черная лента и свисал длинный траурный флер.

Молодой художник как раз в те дни скончался.

---

[1] Бронзовый кабан — это копия, античный подлинник сделан из мрамора и стоит у входа в галерею дворца Уффици.

СОЛОВЕЙ

В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все его подданные — китайцы. Дело было давно, конечно, но потому-то и стоит послушать эту историю, пока она совсем не забудется! В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского; он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы; к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики — они все время звенели, чтобы никто не прошел мимо, не обратив внимания на цветы. Вот как тонко было придумано! Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес; в чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой кронами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» — вырывалось у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал о соловье, а на следующую ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое: «Господи, как хорошо!»

Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники; все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав пение соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»

Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном; ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не только не забывали упомянуть о соловье, а даже считали его чудом из чудес; поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу, на берегу синего моря, прекраснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал-читал и поминутно кивал головой — ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» — стояло в книге.

— Что такое? — удивился император.— Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слыхал о ней! Вычитать такое из книг!

И он вызвал к себе первого из своих приближенных; а тот напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей ниже рангом осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только: «Пф!» — а это ведь ровно ничего не означает.

— Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица, по имени соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства! — сказал император.— Почему же мне ни разу не доложили о ней?

— Я даже и не слыхал о ней! — отвечал первый приближенный.— Она никогда не была представлена ко двору!

— Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером! — сказал император.— Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю!

— И слыхом не слыхивал о такой птице! — повторил первый приближенный.— Но я разыщу ее!

Легко сказать! А где ее разыщешь?

Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречных, к кому он ни обращался с расспросами, и не слыхал о соловье. Тогда первый приближенный побежал назад к императору и доложил, что соловья скорее всего выдумали книжные сочинители.

— Ваше величество не должны верить всему, что пишут в книгах: все это сказки, так сказать, черная магия!..

— Но ведь эта книга прислана мне самим могущественным императором Японии, и в ней не может быть неправды! Я хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня же вечером! Я объявляю ему мое высочайшее благоволение! Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу всех придворных бить после ужина палками по животу!

— Тзинг-пе! — сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам; с ним бегала и добрая половина придворных,— никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает.

Наконец на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала:

— Господи, соловей! Я его хорошо знаю. Как он удивительно поет! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет матушка у самого моря, и вот, когда на обратном пути я сажусь отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья! Слезы так и текут у меня из глаз, а на душе становится так радостно, словно матушка целует меня!..

— Судомоечка! — сказал первый приближенный императора.— Я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к солоьью! Он приглашен сегодня вечером ко двору!

И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей; отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, вдруг где-то замычала корова.

— О! — сказали молодые придворные.— Вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданьица! Но мы как будто слышали его и раньше!

— Это мычит корова! — сказала девочка.— Нам еще далеко до места.

В пруду заквакали лягушки.

— Чудесно! — сказал придворный бонза.— Теперь я слышу! Точь-в-точь наши колокольчики в молельне!

— Нет, это лягушки! — сказала опять девочка.— Но теперь, я думаю, мы скоро услышим и его!

И вот запел соловей.

— Вот это соловей! — сказала девочка.— Слушайте, слушайте! А вот и он сам! — И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.

— Неужели! — сказал первый приближенный императора.— Никак не воображал себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ!

— Соловушка! — громко закричала девочка.— Наш милостивый император желает послушать тебя!

— Очень рад! — ответил соловей и запел так, что просто чудо.

— Словно стеклянные колокольчики звенят! — сказал первый приближенный.— Глядите, как трепещет это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слыхали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

— Спеть ли мне императору еще? — спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император.

— Несравненный соловушка! — сказал первый приближенный императора.— На меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением!

— Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу! — сказал соловей, но, узнав, что император желает, чтобы он явился во дворец, охотно согласился туда отправиться.

При дворе шли приготовления к празднику. Пол и стены дворца ведь были фарфоровые, и в них отражались тысячи золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса. Посреди

огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе; позволили стоять в дверях и девочке-судомойке,— теперь ведь она получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой.

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатились по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще; пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награжден и без того.

— Я видел на глазах императора слезы — какой еще награды желать мне! В слезах императора дивная сила! Видит бог — я награжден с избытком!

И опять зазвучал его чудный, сладкий голос.

— Очаровательное кокетство! — сказали придворные дамы,— они в этом знали толк,— и набрали в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать,— они думали, что тоже будут заливаться, как соловей. Даже слуги и служанки объявили, что очень довольны, а это ведь много значит: известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, соловей положительно имел успех.

Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять в саду два раза в день и раз ночью в сопровождении двенадцати слуг; каждый держал его за привязанную к его лапке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки!

Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил: «соло», а другой подхватывал: «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга.

Одиннадцать сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса.

Раз императору доставили большой пакет с надписью: «Соловей».

— Ну, вот еще новая книга о нашей знаменитой птице! — сказал император.

Но то была не книга, а затейливая штучка: в ящике лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу — и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шей-

ке у птицы была ленточка с надписью: «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского».

— Какая прелесть! — сказали все придворные, и явившегося с птицей посланца императора японского сейчас же утвердили в звании «чрезвычайного императорского поставщика соловьев».

— Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный — как заведенная шарманка.

— Это не его вина! — сказал придворный капельмейстер.— Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе.

Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и блестел драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император сказал, что пусть теперь споет живой соловей. Но куда же он девался?

Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес.

— Что же это, однако, такое! — огорчился император, а придворные назвали соловья неблагодарной тварью.

— Лучшая-то птица у нас все-таки осталась! — сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в тридцать четвертый раз.

Никто, однако, не успел еще выучить эту мелодию наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей не только опереньем и бриллиантами, но и по внутренним своим достоинствам.

— Что касается живого соловья, высокий повелитель мой и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно он вздумает петь, у искусственного же все известно наперед! Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве, можно разобрать его и показать его внутреннее устройство — все это плод человеческого ума, расположение и действие валиков, и только!

— И я того же мнения! — сказал каждый из присутствовавших, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу.

— Надо и народу послушать ее! — сказал император.

Народ послушал и был очень доволен, как будто вдосталь напился чаю,— это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в

один голос восклицали: «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

— Недурно и даже похоже, но все-таки не то! Чего-то недостает в его пении, а чего — мы и сами не знаем!

Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства.

Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь «императорского ночного столика первым певцом с левой стороны»,— император считал более важною именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье двадцать пять томов, ученых-переученых и полных самых мудреных китайских слов.

Придворные, однако, говорили, что читали и поняли все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу.

Так прошел целый год; император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья, но именно поэтому пение его им так и нравилось: они сами могли теперь подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-клюк!» Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть!

Но раз вечером искусственная птица только распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее что-то зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла.

Император вскочил и послал за придворным медиком, но что же мог тот поделать! Призвали часовщика, и он после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно: зубчики поистерлись, а поставить новые так, чтобы пение звучало по-прежнему, верно, будет нельзя. Вот так беда! Только раз в год позволили теперь заводить птицу. И это было очень грустно, но капельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было.

Прошло еще пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего старого повелителя.

— Пф! — отвечал приближенный и покачивал головой.

Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепном ложе; все придворные уже считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Слуги бегали взад и вперед, перебрасываясь новостями, а служанки проводили приятные часы в болтовне за чашкой чая. По всем залам и коридорам были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе, под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижный и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц.

Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела Смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую — богато расшитое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные лица: одни гадкие, другие милые. Это выползали злые и добрые дела императора, потому что Смерть сидела у него на груди.

— Помнишь это? — шептали они по очереди.— Помнишь это? — и рассказывали ему так много, что на лбу у него выступил холодный пот.

— Я не знал,— твердил император.— Музыку сюда, музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать, что они говорят.

Но они все продолжали, а Смерть, как китаец, кивала на их речи головой.

— Музыку сюда, музыку! — кричал император.— Пой хоть ты, милая, славная, золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но птица молчала — некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо.

Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки бледнели, кровь быстрее приливала к сердцу императора; сама Смерть заслушалась соловья и все повторяла: «Пой, пой еще, соловушка!»

— А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А богато расшитое знамя? А корону? — спрашивал соловей у Смерти.

И Смерть отдавала одну драгоценность за другою, а соловей все пел. Вот он запел наконец о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами

живых, оплакивающих усопших... Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свилась в белый холодный туман и вылетела в окно.

— Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! — сказал император.— Я помню тебя! Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала самую Смерть! Чем мне вознаградить тебя?

— Ты уже вознаградил меня раз и навсегда! — сказал соловей.— Я видел слезы на твоих глазах в первый раз, как пел перед тобою,— этого я не забуду никогда! Слезы — вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым! Я буду баюкать тебя своею песней!

И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном.

Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему; все думали, что он умер, один соловей сидел у окна и пел.

— Ты должен остаться у меня навсегда! — сказал император.— Ты будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги!

— Не надо! — сказал соловей.— Она принесла столько пользы, сколько могла! Пусть она остается у тебя по-прежнему! Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе; моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону, и все же корона окружена каким-то особым священным обаянием! Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне одно!..

— Все! — сказал император и встал во всем своем царственном величии; он успел уже надеть на себя свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

— Об одном прошу тебя — не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше!

И соловей улетел.

Слуги пошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им:

— Здравствуйте!

ГАДКИЙ УТЕНОК

Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски — он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом! На солнечном припеке раскинулась старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой; от самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение, ее мало навещали: другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали. «Пи! пи!» — послышалось из них: яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики.

— Живо! живо! — закрякала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха; мать не мешала им — зеленый свет полезен для глаз.

— Как мир велик! — сказали утята.

Еще бы! Тут было куда просторнее, чем в скорлупе.

— А вы думаете, что тут и весь мир? — сказала мать.— Нет! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника, но там я отроду не бывала!.. Ну, все, что ли, вы тут? — И она встала.— Ах нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уже надоело.

И она уселась опять.

— Ну, как дела? — заглянула к ней старая утка.

— Да вот, еще одно яйцо остается! — сказала молодая утка.— Сижу, сижу, а все толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца! А он-то, негодный, и не навестил меня ни разу!

— Постой-ка, я взгляну на яйцо! — сказала старая утка.— Может статься, это индюшачье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывела индюшат! Они ведь страсть как боятся воды; уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду — не идут, да и все! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшачье! Брось-ка его да ступай учи других плавать!

— Посижу уж еще! — сказала молодая утка.— Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко.

— Как угодно! — сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещала скорлупа и самого большого яйца. «Пи! пи-и!» — и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его.

— Ужасно велик! — сказала она.— И совсем непохож на остальных! Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! — и утка очутилась в воде.

— За мной! Живо! — позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо глядеть. Лапки у всех работали без устали, и некрасивый серый утенок не отставал от других.

— Какой же это индюшонок? — сказала утка.— Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурен, если посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчас введу вас в общество — мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.

— Вот как идут дела на белом свете! — сказала утка и облизнула язычком клюв,— ей тоже хотелось отведать угриной головки.— Ну, ну, шевелите лапками! — сказала она утятам.— Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!

Утята так и сделали; но другие утки оглядывали их и громко говорили:

— Ну вот, еще целая орава! Точно нас мало было! А этот-то какой безобразный! Его уж мы не потерпим!

И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.

— Оставьте его! — сказала утка-мать.— Он ведь вам ничего не сделал!

— Это верно, но он такой большой и странный! — отвечала забияка.— Ему надо задать хорошую трепку!

— Славные у тебя детки! — сказала старая утка с красным лоскутком на лапке.— Все очень милы, кроме вот этого... Этот не удался! Хорошо бы его переделать!

— Никак нельзя, ваша милость! — ответила утка-мать.— Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать — лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался.— И она провела носиком по перышкам большого утенка.— Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна. Я думаю, он возмужает и пробьет себе дорогу!

— Остальные утята очень-очень милы! — повторила старая утка.— Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне.

Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все — и утки и куры.

— Он больно велик! — говорили все, а индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и пресердито залопотал; гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным, чтобы сделаться посмешищем для всего птичьего двора!

Так прошел первый день, затем стало еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему:

— Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!

А мать прибавляла:

— Глаза бы мои на тебя не глядели!

Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою.

Не выдержал утенок, перебежал двор и — через изгородь! Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов.

«Они испугались меня, такой я безобразный!» — подумал утенок и пустился наутек, сам не зная куда. Бежал-бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь.

Утром утки вылетели из гнезда и увидали нового товарища.

— Ты кто такой? — спросили они, а утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел.

— Ты пребезобразный! — сказали дикие утки.— Но нам до этого нет дела, только не думай породниться с нами!

Бедняжка! Где уж ему было думать об этом! Лишь бы позволили ему посидеть в камышах да попить болотной водицы.

Два дня провел он в болоте, на третий день явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо.

— Слушай, дружище! — сказали они.— Ты такой урод, что, право, нравишься нам! Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить: «Рап, рап!» Ты такой урод, что, чего доброго, будешь иметь у них большой успех!

«Пиф! паф!» — раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми; вода окрасилась кровью. «Пиф! паф!» — раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники оцепили болото со всех сторон; некоторые залезли на нависшие над болотом ветви. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки; камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок от страха хотел было спрятать голову под крыло, как глядь — перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила зубы и — шлеп, шлеп — побежала дальше.

— Слава богу! — перевел дух утенок.— Слава богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня!

И он притаился в камышах; над головою его то и дело пролетали дробинки, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться.

К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, потому и держалась. Ветер так и подхватывал утенка,— того и гляди, унесет! — приходилось упираться в землю хвостом!

Надвигался ураган; что было делать бедняжке? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво; можно было свободно проскользнуть через эту щель. Так он и сделал.

В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком; он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие, коротенькие ножки, и ее прозвали Коротконожкой; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром пришельца заметили; кот начал мурлыкать, а курица клохтать.

— Что там? — спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.

— Вот так находка! — сказала старушка.— Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем!

И утенка приняли на испытание, но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и весь свет!» Они считали самих себя половиной всего света, притом — лучшею его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.

— Умеешь ты нести яйца? — спросила она утенка.

— Нет!

— Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

— Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?

— Нет!

— Так и не суйся с своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.

— Да что с тобой?! — спросила она.— Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет! Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет!

— Ах, плавать по воде так приятно! — сказал утенок.— А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой!

— Хорошо наслаждение! — сказала курица.— Ты совсем рехнулся? Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять! О себе самой я уж не говорю! Спроси, наконец, у нашей старушки хозяйки, умнее ее нет никого на свете! По-твоему, и ей хочется плавать или нырять?

— Вы меня не понимаете! — сказал утенок.

— Если уж мы не понимаем, так кто тебя поймет! Что ж, ты хочешь быть умнее кота и хозяйки, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-ка лучше создателя за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя — так всегда узнаются истинные друзья! Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать да пускать искры!

— Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! — сказал утенок.

— Скатертью дорога! — отвечала курица.

И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за уродство.

Настала осень; листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер подхватывал и кружил их; наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли град и снег, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде! Плохо приходилось бедному утенку.

Раз вечером, когда солнце так красиво садилось, из-за кустов поднялась целая стая чудных, больших птиц: утенок сроду не видел таких красавцев: белые как снег, с длинными, гибкими шеями! То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными, большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте; ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них; он рад был бы и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный гадкий утенок!

А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем, но с каждою ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз.

Рано утром мимо проходил крестьянин, увидал примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели.

Но вот дети вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком — молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками; утенок между тем влетел в кадку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож! Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной, утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежевыпавший снег и долго-долго лежал там почти без чувств.

Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришла весна.

Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету; душистая сирень склонила свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом.

Ах, как тут было хорошо, как пахло весною! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть.

«Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше пусть они меня убьют, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»

И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.

— Убейте меня! — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение, но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а — лебедем!

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!

Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий,— он лучше мог оценить свое счастье и все окружавшее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладили клювами.

В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый меньшой из них закричал:

— Новый, новый!

И все остальные подхватили:

— Да, новый, новый! — хлопали в ладоши и приплясывали от радости; потом побежали за отцом и матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех. Такой молоденький, прелестный!

И старые лебеди склонили перед ним головы.

А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не возгордился — доброе сердце не знает гордости,— он помнил то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекрас-

нейший между прекрасными птицами! Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви, солнышко светило так славно... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

— Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенком!

ЕЛЬ

В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом росли подруги постарше — и ели и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что ходили в лес по землянику и малину; набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили:

— Вот славная елочка! Хорошенькая, маленькая!

Таких речей деревцо и слушать не хотело.

Прошел год — и у елочки прибавилось одно коленце, прошел еще год — прибавилось еще одно: так по числу коленцев и можно узнать, сколько лет ели.

— Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! — вздыхала елочка.— Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, а когда дул бы ветер, я так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробегал заяц и иногда даже перепрыгивал через елочку — вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревцо подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом — что может быть лучше этого!» — думалось елочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка всякий раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

«Пастушка и трубочист»

«Старый дом»

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревцо спросило у них:

— Не знаете ли вы, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?

Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал:

— Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными, высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они!

— Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать! — ответил аист и улетел.

— Радуйся своей юности! — говорили елочке солнечные лучи.— Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам!

И ветер целовал дерево, роса проливала над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.

Около рождества срубили несколько совсем молоденьких елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось скорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

— Куда? — спросила ель.— Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?

— Мы знаем! Мы знаем! — прочирикали воробьи.— Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их поставили посреди теплой комнаты и украсили чудеснейшими вещами — золочеными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей!

— А потом?..— спросила ель, дрожа всеми ветвями.— А потом?.. Что было с ними потом?

— А больше мы ничего не видали! Но это было бесподобно!

— Может быть, и я пойду такою же блестящею дорогой! — радовалась ель.— Это получше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло рождество! Теперь и я стала такою же высокою и раскидистою, как те, что были срублены прошлый год! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла убранная всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня!.. Только что именно бу-

дет? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

— Радуйся нам! — сказали ей воздух и солнечный свет.— Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревцо!» Подошло наконец и рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла,— она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг — елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревцо пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

— Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную, великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот далеров — так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую кадку с песком, обвернули кадку зеленою материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сластями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, выросли золоченые яблоки и орехи и закачались куклы — ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек — красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели — большую звезду из сусального золота. Ну, просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!

— Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки! — сказали все.

«Ах! — подумала елка.— Хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я врасту в эту кадку и буду стоять тут такою нарядной и зиму и лето?»

Да, как бы не так! От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева примерно то же, что для нас головная боль.

Но вот зажглись свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка пребольно обожглась.

— Ай-ай! — закричали барышни и поспешно затушили огонь.

Больше елка и вздрогнуть не смела. И напугалась же она! Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее... Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они хотят свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были сорваны.

«Что же это они делают? — думала елка.— Что это значит?»

Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви затрещали! Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и подтащили к елке маленького, толстенького человека.

Он уселся под деревом и сказал:

— Вот мы и в лесу! Да и елка кстати послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу?

— Про Иведе-Аведе! — закричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! — кричали другие.

Поднялся крик и шум; одна елка стояла смирно и думала: «А я? А мне что делать?»

Она уж сделала свое дело!

И толстенький человек рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали:

— Еще, еще! — Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка,— лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» — думала елка; она вполне верила всему, что сейчас

слышала,— рассказывал ведь такой почтенный человек. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и я стану принцессой!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: ее опять украсят свечками и игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу! — думала она.— Я хочу как следует насладиться своим великолепием! И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может, и про Иведе-Аведе». И деревцо смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Поутру явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать!» — подумала елка, но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? — думала елка.— Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» Она прислонилась к стене и все думала, думала... Времени на это было довольно: проходили дни и ночи — никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! — думала елка.— Земля затвердела и покрылась снегом; нельзя, значит, снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело! Кругом снег, а по снегу зайчики скачут! Хорошо было... Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

— Пи-пи! — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще один, такой же маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями.

— Ужасно холодно здесь! — сказали мышата.— А то совсем бы хорошо было! Правда, старая елка?

— Я вовсе не старая! — отвечала ель.— Есть много деревьев постарше меня!

— Откуда ты и что ты знаешь? — спросили мышата; они были ужасно любопытны.— Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

— Нет, такого места я не знаю! — сказало дерево.— Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички!

И она рассказала им о своей юности; мышата никогда не слыхали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:

— Как ты много видела! Как ты была счастлива!

— Счастлива? — сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала.— Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была убрана пряниками и свечками.

— О! — сказали мышата.— Как же ты была счастлива, старая елка!

— Я совсем еще не стара! — возразила елка.— Я взята из лесу только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

— Как ты чудесно рассказываешь! — сказали мышата и на следующую ночь привели с собой еще четырех, чтобы и они послушали рассказы елки. А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

— Но они же вернутся! Вернутся! Ведь и Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса! Может быть, и я сделаюсь принцессой!

Тут дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него,— она казалась ему теперь настоящей принцессой.

— Кто это Клумпе-Думпе? — спросили мышата, и ель рассказала им всю сказку; она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Им сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат, но теперь и они перестали уже так восхищаться ею, как прежде.

— Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы.

— Только! — отвечала ель.— Я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни; тогда-то я, впрочем, еще не сознавала этого!

— В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки? Про кладовую?

— Нет! — ответило дерево.

— Так счастливо оставаться! — сказали крысы и ушли.

Мышата тоже разбежались, и ель вздохнула:

— А ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! И этому настал конец... Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось!

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Вытащили

ящики, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» — подумала елка.

Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца — ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали:

— Квир-вир-вит! Мой муж вернулся!

Но это не относилось к ели.

— Теперь я заживу! — радовалась она и расправляла свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, в крапиве и сорной траве; на верхушке его все еще сияла золотая звезда.

Во дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг нарядной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал ее.

— Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой елке! — крикнул он и наступил на ее ветви; ветви захрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак. Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе...

— Все прошло, прошло! — сказала бедная елка.— И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь... все прошло, прошло!

Пришел слуга и изрубил елку в куски,— вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!». А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!.. Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли во дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Все на свете имеет свой конец!

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Сказка в семи рассказах

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ,
ГДЕ РЕЧЬ ИДЕТ О ЗЕРКАЛЕ И ЕГО ОСКОЛКАХ

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-презлющий; попросту говоря, дьявол. Как-то раз он был в особенно хорошем расположении духа: он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же плохое и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие лужайки выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами, или казалось, что они стоят кверху ногами, а животов у них вовсе нет! Лица искажались до того, что нельзя было и узнать их; случись же у кого веснушка или родинка, она расплывалась во все лицо. Дьявола все это ужасно потешало. Если человеку приходила добрая, благочестивая мысль, то она отражалась в зеркале невообразимой гримасой, так что тролль не мог не хохотать, радуясь своей выдумке. Все ученики тролля — у него была своя школа — рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде.

— Теперь только,— говорили они,— можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете!

И вот они бегали с зеркалом повсюду; скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим творцом. Чем выше поднимались они, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало от гримас; они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы его осколков наделали, однако, еще больше бед, чем самое зеркало. Некоторые из них были не больше песчинки, они разлетались по белу свету, попадали, случалось, людям в глаза и так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все навыворот или замечать в каждой вещи одни лишь дурные стороны,— ведь каждый осколок сохранял свойство, которым отличалось самое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего: сердце превращалось в кусок льда. Были между этими осколками и большие, такие, что их можно вставить в оконные рамы, но уж в эти окна не стоит смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки, только беда была, если люди надевали

их с целью смотреть на вещи более зорко и судить о них вернее! Злой тролль хохотал до колик, так приятно щекотал его успех этой выдумки. А по свету летало еще много осколков зеркала. Сейчас мы об этом услышим!

РАССКАЗ ВТОРОЙ
МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА

В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик чуть побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами кровель шло по водосточному желобу, приходившемуся как раз под окошком каждой мансарды. Стоило, таким образом, шагнуть из какого-нибудь окошка на желоб, и можно было очутиться у окна соседей.

У родителей было по большому деревянному ящику; в них росли лук, петрушка, горох и небольшие кусты роз — в каждом по одному,— осыпанные чудными цветами. Родителям пришло в голову поставить эти ящики на водосточный желоб; таким образом, от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Горох спускался из ящиков зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями; образовалось нечто вроде триумфальных ворот из зелени и цветов. Так как ящики были очень высоки и дети твердо знали, что им нельзя перевешиваться через край, родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивали они тут!

Зимою это удовольствие прекращалось, окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам — сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый, ласковый глазок,— это смотрели, каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга, а зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться на столько же вверх. На дворе порхали снежинки.

— Это роятся белые пчелки! — говорила старушка бабушка.

— А у них тоже есть королева? — спрашивал мальчик; он знал, что у настоящих пчел всегда есть королева.

— Есть! — отвечала бабушка.— Снежинки окружают ее гус-

тым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле — вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки; вот оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами!

— Видели, видели! — говорили дети и верили, что все это сущая правда.

— А Снежная королева не может войти сюда? — спросила раз девочка.

— Пусть-ка попробует! — сказал мальчик.— Я посажу ее на горячую печку, вот она и растает!

Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький, оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно-белого льда и все-таки живая! Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то, похожее на большую птицу.

На другой день был славный морозец, но затем наступила оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и детям снова можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше.

Розы цвели все лето восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах; девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей:

Розы цветут... Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа.

Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним,— им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. Что за чудное было лето, и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно!

Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками — зверями и птицами; на больших башенных часах пробило пять.

— Ах! — вскрикнул вдруг мальчик.— Мне кольнуло прямо в сердце и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею, он мигал, но в глазу ничего как будто не было.

— Должно быть, выскочило! — сказал он.

Но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала, в котором, как мы, конечно, помним, все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное разрасталось, недостатки каждой вещи сразу бросались в глаза. Бедняжка Кай! Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда! Боль в глазу и в сердце уже прошла, но самые осколки в них остались.

— О чем же ты плачешь? — спросил он Герду.— У! Какая ты сейчас безобразная! Мне совсем не больно! Фу! — закричал он вдруг.— Эту розу точит червь! А та совсем кривая! Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!

И он, толкнув ящик ногою, вырвал две розы.

— Кай, что ты делаешь? — закричала девочка, а он, увидя ее испуг, вырвал еще одну и убежал от миленькой маленькой Герды в свое окно.

Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши лишь для грудных детей; рассказывала ли что-нибудь старушка бабушка, он придирался к словам. Да если бы еще только это! А то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу! Выходило очень похоже, и это смешило людей. Скоро мальчик научился передразнивать и всех соседей — он отлично умел выставить напоказ все их странности и недостатки,— и люди говорили:

— Что за голова у этого мальчугана!

А причиной всему были осколки зеркала, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он насмехался даже над миленькой маленькой Гердой, которая любила его всем сердцем.

И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудрыми. Раз зимою, когда шел снежок, он вышел с большим зажигательным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.

— Погляди в стекло, Герда! — сказал он.

Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Чудо что такое!

— Видишь, как искусно сделано! — сказал Кай.— Это куда интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если бы они только не таяли!

Немного спустя Кай появился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо: «Мне позволили покататься на площади с другими мальчиками!» и убежал.

На площади каталось множество детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням и уезжали таким образом довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар его откуда-то прикатили большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, укутанный в белую меховую шубу и с такой же шапкой на голове. Сани объехали кругом площади два раза; Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои сани, но человек в шубе кивал ему, и он ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно ни зги. Мальчик поспешно отпустил веревку, которою зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к большим саням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал — никто не услышал его! Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, хотел прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения.

Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых куриц. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно-белая женщина — Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега.

— Славно проехались! — сказала она.— Но ты совсем замерз? Полезай ко мне в шубу!

И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу; Кай словно опустился в снежный сугроб.

— Все еще мерзнешь? — спросила она и поцеловала его в лоб.

У! Поцелуй ее был холоднее льда, пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. На миг Каю показалось, что вот-вот он умрет, но нет, напротив, стало легче, он даже совсем перестал зябнуть.

— Мои санки! Не забудь мои санки! — спохватился он.

И санки были привязаны на спину одной из белых куриц, которая и полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

— Больше я не буду целовать тебя! — сказала она.— А не то зацелую до смерти!

Кай взглянул на нее; она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда она сидела за окном и кивала ему головой; теперь она казалась ему совершенством.

Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил свой взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг Снежная королева взвилась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись вперед. Буря выла и стонала, словно распевая старинные песни; они летели над лесами и озерами, над полями и морями, под ними дули холодные ветры, выли волки, сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь,— днем он спал у ног Снежной королевы.

РАССКАЗ ТРЕТИЙ

ЦВЕТНИК ЖЕНЩИНЫ, УМЕВШЕЙ КОЛДОВАТЬ

А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто не знал этого, никто не мог о нем ничего сообщить. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито о нем слез; горько и долго плакала Герда. Наконец порешили, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни.

Но вот настала весна, выглянуло солнышко.

— Кай умер и больше не вернется! — сказала Герда.

— Не верю! — отвечал солнечный свет.

— Он умер и больше не вернется! — повторила она ласточкам.

— Не верим! — ответили они.

Под конец и сама Герда перестала этому верить.

— Надену-ка я свои новые красные башмачки — Кай ни разу еще не видал их,— сказала она однажды утром,— да пойду к реке спросить про него.

Было еще очень рано; она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна-одинешенька за город, прямо к реке.

— Правда, что ты взяла моего названого братца? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад!

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные башмачки, самую большую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу,— река как будто

не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но, пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отплыла на целый аршин и быстро понеслась по течению.

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее криков; воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега да щебетали, словно желая ее утешить:

«Мы здесь! Мы здесь!»

Лодку уносило все дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее.

Берега реки были очень красивы; повсюду виднелись чуднейшие цветы, высокие, раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но нигде не было видно ни одной человеческой души.

«Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда, повеселела, встала на нос и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с цветными стеклами в окошках и соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо.

Герда закричала им — она приняла их за живых,— но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

— Ах ты, бедная крошка! — сказала старушка.— Как это ты попала на такую большую быструю реку да забралась так далеко?

С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своею клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду.

Герда была рада-радешенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась чужой старухи.

— Ну, пойдем, да расскажи мне, кто ты и как сюда попала? — сказала старушка.

Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Гм! Гм!» Но вот девочка кончила и спросила старуху, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, верно, пройдет, так что девочке пока не о чем

горевать — пусть лучше попробует вишен да полюбуется цветами, что растут в саду: они красивее нарисованных в любой книжке с картинками и все умеют рассказывать сказки! Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ.

Окна были высоко от полу и все из разноцветных — красных, голубых и желтых — стеклышек; от этого и сама комната была освещена каким-то удивительным ярким, радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла есть их сколько душе угодно; пока же она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы у нее вились, и кудри окружали свеженькое, круглое, словно роза, личико девочки золотым сиянием.

— Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! — сказала старушка.— Вот увидишь, как ладно мы заживем с тобою!

И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше Герда забывала своего названого братца Кая,— старушка умела колдовать. Она не была злою колдуньей и колдовала только изредка, для своего удовольствия; теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде ее роз вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит.

Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. У девочки глаза разбежались: тут были цветы всех сортов, всех времен года. Что за красота, что за благоухание! Во всем свете не сыскать было книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками; девочка заснула, и ей снились такие сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть на солнышке. Так прошло много дней. Герда знала каждый цветочек в саду, но как ни много их было, ей все-таки казалось, что какого-то недостает, только какого же? Раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами; самым красивым из них была роза,— старушка забыла ее стереть. Вот что значит рассеянность!

— Как! Тут нет роз? — удивилась Герда и сейчас же побежала искать их по всему саду; она искала, искала, но так и не нашла ни одной!

Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы упали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых

кустов, и как только они смочили землю — куст мгновенно вырос из нее, такой же свежий, цветущий, как прежде. Герда обвила его ручонками, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.

— Как же я замешкалась! — сказала девочка.— Мне ведь надо искать Кая!.. Не знаете ли вы, где он? — спросила она у роз.— Верите ли вы, что он умер и не вернется больше?

— Он не умер! — сказали розы.— Мы ведь были под землею, где лежат все умершие, но Кая меж ними не было.

— Спасибо вам! — сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала: — Не знаете ли вы, где Кай?

Но каждый цветок грелся на солнышке и был поглощен только собственной своей сказкой или историей; их наслушалась Герда много, очень много, но ни один из цветов не сказал ни слова о Кае.

Что же рассказала ей огненная лилия?

— Слышишь, бьет барабан? Бум! Бум! Звуки очень однообразны: бум, бум! Прислушайся к заунывному пению женщин! Прислушайся к крику жрецов!.. В длинном красном одеянии стоит на костре индийская вдова. Пламя вот-вот охватит ее и тело ее умершего мужа, но она думает о живом — о том, кто стоит здесь же, о том, чьи взоры жгут ее сердце сильнее пламени, которое сейчас испепелит ее тело. Разве пламя костра может загасить пламя сердца?

— Ничего не понимаю! — сказала Герда.

— Это моя сказка! — отвечала огненная лилия.

Что рассказал вьюнок?

— Узкая горная тропинка ведет к гордо возвышающемуся на скале старинному рыцарскому замку. Старые кирпичные стены густо увиты плющом. Листья его цепляются за балкон, а на балконе стоит прелестная девушка; она перевесилась через перила и смотрит на дорогу. Девушка свежее розы, воздушнее колеблемого ветром цветка яблони. Как шелестит ее шелковое платье! «Неужели же он не придет?»

— Ты говоришь про Кая? — спросила Герда.

— Я рассказываю свою сказку, свои грезы! — отвечал вьюнок.

Что рассказал крошка подснежник?

— Между деревьями качается длинная доска — это качели. На доске сидят две маленькие девочки; платьица на них белые как снег, а на шляпах развеваются длинные зеленые шелковые ленты. Братишка, постарше их, стоит на качелях позади сестер, зацепившись локтями за веревки; в одной руке у него — маленькая

чашечка с мыльной водой, в другой — глиняная трубочка. Он пускает пузыри, доска качается, пузыри разлетаются по воздуху, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Вот один повис на конце трубочки и колышется от дуновения ветра. Черненькая собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапки, а передние кладет на доску, но доска взлетает кверху, собачонка падает, тявкает и сердится. Дети дразнят ее, пузыри лопаются... Доска качается, пена разлетается — вот моя песенка!

— Она, может быть, и хороша, да ты говоришь все это таким печальным тоном! И опять ни слова о Кае! Что скажут гиацинты?

— Жили-были три стройные, воздушные красавицы сестрицы. На одной платье было красное, на другой голубое, на третьей совсем белое. Рука об руку танцевали они при ясном лунном свете у тихого озера. То были не эльфы, а настоящие девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, и девушки скрылись в лесу. Вот аромат стал еще сильнее, еще слаще... По озеру плыли три гроба — они появились из лесной чащи, в них лежали красавицы сестры, а вокруг них порхали, словно живые огоньки, светляки. Спят ли девушки или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим!

— Вы навели на меня грусть! — сказала Герда.— Ваши колокольчики тоже пахнут так сильно!.. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки! Ах, неужели и Кай умер? Но розы были под землей и говорят, что его нет там!

— Динь-дан! — зазвенели колокольчики гиацинтов.— Мы звоним не по Каю! Мы и не знаем его! Мы звоним свою собственную песенку; другой мы не умеем!

И Герда пошла к золотому одуванчику, сиявшему в блестящей, зеленой траве.

— Ты, маленькое ясное солнышко! — сказала ему Герда.— Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названого братца?

Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы! И в этой песенке ни слова не говорилось о Кае!

— Ранняя весна; на маленький дворик приветливо светит ясное солнышко. Ласточки вьются возле белой стены соседнего дома. Из зеленой травки выглядывают первые желтенькие цветочки, сверкающие на солнышке, словно золотые. На двор вышла посидеть старенькая бабушка; вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и крепко целует старушку. Поцелуй девушки дороже золота,— он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в ее сердечке, золото и на небе в утренний час! Вот и все! — сказал одуванчик.

— Бедная моя бабушка! — вздохнула Герда.— Как она скучает обо мне, как горюет! Не меньше, чем горевала о Кае! Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы — у них ничего не добьешься, они знают только свои песенки!

И она подвязала юбочку повыше, чтобы удобнее было бежать, но когда хотела перепрыгнуть через нарцисс, тот хлестнул ее по ногам. Герда остановилась, посмотрела на длинный цветок и спросила:

— Может быть, ты что-нибудь знаешь?

И она наклонилась к нему, ожидая ответа.

Что же сказал нарцисс?

— Я вижу себя! Я вижу себя! О, как я благоухаю!.. Высоко-высоко в маленькой каморке, под самой крышей, стоит полуодетая танцовщица. Она то балансирует на одной ножке, то опять твердо стоит на обеих и попирает ими весь свет,— она ведь один обман зрения. Вот она льет из чайника воду на какой-то белый кусок материи, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота — лучшая красота! Белая юбочка висит на гвозде, вбитом в стену; юбка тоже выстирана водою из чайника и высушена на крыше! Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек, еще резче оттеняющий белизну платьица. Опять одна ножка взвивается в воздух! Гляди, как прямо она стоит на другой, точно цветок на своем стебельке! Я вижу себя, я вижу себя!

— Да мне мало до этого дела! — сказала Герда.— Нечего мне об этом и рассказывать!

И она побежала из сада.

Дверь была заперта лишь на задвижку; Герда дернула ржавый засов, он поддался, дверь отворилась, и девочка так, босоножкой, и пустилась бежать по дороге! Раза три обернулась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом: лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень, а в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого и не было заметно!

— Господи! Как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха! — сказала Герда и опять пустилась в путь.

Ах, как болели ее бедные, усталые ножки! Как холодно, сыро было в воздухе! Листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю; листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь белый свет!

РАССКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПРИНЦ И ПРИНЦЕССА

Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон; он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головою, и наконец заговорил:

— Кар-кар! Здрасьте!

Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька? Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично и сразу почувствовала все их значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая?

Ворон задумчиво покачал головой и сказал:

— Может быть, может быть!

— Как? Правда? — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.

— Потише, потише! — сказал ворон.— Я думаю, что это был твой Кай! Но теперь он, верно, забыл тебя со своей принцессой!

— Разве он живет у принцессы? — спросила Герда.

— А вот послушай! — сказал ворон.— Только мне ужасно трудно говорить по-вашему! Вот если бы ты понимала по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.

— Нет, этому меня не учили! — сказала Герда.— Бабушка — та понимает! Хорошо бы и мне уметь!

— Ну, ничего! — сказал ворон.— Расскажу, как сумею, хоть и плохо.

И он рассказал обо всем, что только сам знал.

— В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя! Она прочла все газеты на свете и уже позабыла все, что прочла,— вот какая умница! Раз как-то сидела она на троне,— а веселья-то в этом ведь немного, как говорят люди,— и напевала песенку: «Отчего бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле!» — подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать,— это ведь так скучно! И вот созвали барабанным боем всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали: «Вот это нам нравится! Мы и сами недавно об этом думали!» Все это истинная правда! — прибавил ворон.— У меня при дворе есть невеста, она ручная, разгуливает по дворцу,— от нее-то я и знаю все это.

Невестою его была ворона — каждый ведь ищет жену себе под стать.

— На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужья! Да, да! — повторил ворон.— Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою! Народ повалил во дворец валом, давка была страшная, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию всю в серебре, а лакеев в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подойдут к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее последние слова, а ей вовсе не этого было нужно! Право, их всех точно опаивали дурманом! А вот выйдя за ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей дворца тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам был там и видел! Женихам хотелось есть и пить, но из дворца им не выносили даже стакана воды. Правда, кто был поумнее, запасся бутербродами, но запасливые не делились с соседями, думая про себя: «Пусть себе поголодают, отощают — принцесса и не возьмет их!»

— Ну, а Кай-то, Кай? — спросила Герда.— Когда же он явился? И он пришел свататься?

— Постой! Постой! Теперь мы как раз дошли и до него! На третий день явился небольшой человечек, не в карете, не верхом, а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои; волосы у него были длинные, но одет он был бедно.

— Это Кай! — обрадовалась Герда.— Так я нашла его! — И она захлопала в ладоши.

— За спиной у него была котомка! — продолжал ворон.

— Нет, это, верно, были его саночки! — сказала Герда.— Он ушел из дома с санками!

— Очень возможно! — сказал ворон.— Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что, войдя в дворцовые ворота и увидев гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, кивнул головой и сказал: «Скучно, должно быть, стоять тут, на лестнице, я лучше войду в комнаты!» Залы все были залиты светом; вельможи расхаживали без сапог, разнося золотые блюда,— торжественнее уж нельзя было! А его сапоги так и скрипели, но он и этим не смущался.

— Это, наверно, Кай! — воскликнула Герда.— Я знаю, что на нем были новые сапоги! Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке!

— Да, они таки скрипели порядком! — продолжал ворон.— Но он смело подошел к принцессе; она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры со своими горничными, служанками горничных, камердинерами, слугами камердинеров и прислужником камердинерских слуг. Чем дальше кто стоял от принцессы и ближе к дверям, тем важнее, надменнее держал себя. На прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без страха, такой он был важный!

— Вот страх-то! — сказала Герда.— А Кай все-таки женился на принцессе?

— Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по-вороньи,— так, по крайней мере, сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже!

— Да, да, это Кай! — сказала Герда.— Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Ах, проводи же меня во дворец!

— Легко сказать,— ответил ворон,— да как это сделать? Постой, я поговорю с моею невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты надеешься, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то туда впускают таких девочек!

— Меня впустят! — сказала Герда.— Только бы Кай услышал, что я тут, сейчас бы прибежал за мною!

— Подожди меня здесь, у решетки! — сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал:

— Кар, кар! Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов и вот этот маленький хлебец. Она стащила его на кухне — там их много, а ты, верно, голодна!.. Ну, во дворец так просто тебе не попасть: ты ведь босая — гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода, и знает, где достать ключ.

И вот они пробрались в сад, пошли по длинным аллеям, усыпанным пожелтевшими осенними листьями, и когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон провел девочку в маленькую полуотворенную дверцу.

О, как билось сердечко Герды от страха и радостного нетерпения! Она точно собиралась сделать что-то дурное, а ведь она

только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да, да, он, верно, здесь! Она так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, улыбку... Как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз! А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние! Ах, она была просто вне себя от страха и радости.

Но вот они на площадке лестницы; на шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.

— Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, фрёкен! — сказала ручная ворона.— Ваша vita[1] — как это принято выражаться — также очень трогательна! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. Можно смело идти, тут мы никого не встретим!

— А мне кажется, кто-то идет за нами! — сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени: лошади с развевающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.

— Это сны! — сказала ручная ворона.— Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас — удобнее будет рассмотреть спящих! Надеюсь, однако, что, войдя в честь, вы покажете, что у вас благородное сердце!

— Есть о чем говорить! Само собою разумеется! — сказал лесной ворон.

Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой — просто оторопь брала. Наконец они дошли до спальни: потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями; с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков одеяла и увидела темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову... Ах, это был не Кай!

Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.

---

[1] Жизнь *(лат.)*.

— Ах ты, бедняжка! — сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них — только пусть они не делают этого впредь,— и захотели даже наградить их.

— Хотите быть вольными птицами? — спросила принцесса.— Или желаете занять должность придворных ворон, на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе,— они подумали о старости и сказали:

— Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде; больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручонки, подумала: «Как добры все люди и животные!» — закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на божьих ангелов и везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы! Все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась.

На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков,— она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названого братца.

Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы; у кучера, лакеев и форейторов — ей дали и форейторов — красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею,— он не мог ехать к лошадям спиною. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.

— Прощай! Прощай! — закричали принц и принцесса.

Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые три мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание! Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая, как солнце, не скрылась из виду.

РАССКАЗ ПЯТЫЙ
МАЛЕНЬКАЯ РАЗБОЙНИЦА

Вот Герда въехала в темный лес, но карета блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они не выдержали и налетели на нее с криками: «Золото! Золото!» Схватили лошадей под уздцы, убили маленьких форейторов, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.

— Ишь, какая славненькая, жирненькая. Орешками откормлена! — сказала старуха разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми, нависшими бровями.— Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?

И она вытащила острый, сверкающий нож. Вот ужас!

— Ай! — закричала она вдруг: ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее на шее и была такая необузданная и своевольная, что любо!

— Ах ты, дрянная девчонка! — закричала мать, но убить Герду не успела.

— Она будет играть со мной! — сказала маленькая разбойница.— Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постельке.

И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на месте. Разбойники захохотали:

— Ишь, как скачет со своей девчонкой!

— Я хочу сесть в карету! — закричала маленькая разбойница и настояла на своем — она была ужасно избалована и упряма.

Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:

— Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя! Ты, верно, принцесса?

— Нет! — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая.

Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала:

— Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя,— я лучше сама убью тебя!

И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку.

Вот карета остановилась; они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в глубоких трещинах; из них вылетали во́роны и воро́ны; откуда-то выскочили огромные бульдоги; вид

у них был такой свирепый, точно они хотели всех съесть, но лаять не лаяли — это было запрещено.

Посреди высоченной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь; дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход; над огнем кипел в большом котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

— Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца! — сказала Герде маленькая разбойница.

Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердочках больше сотни голубей; все они, казалось, спали, но, когда девочки подошли, слегка зашевелились.

— Все мои! — сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями.— На, поцелуй его! — крикнула она, ткнув голубя Герде прямо в лицо.— А вот тут сидят лесные плутишки! — продолжала она,— указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене, за деревянной решеткой.— Эти двое — лесные плутишки! Их надо держать взаперти, не то живо улетят! А вот и мой милый старичина бяшка! — И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике.— Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет! Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом — он смерть как этого боится!

С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.

— Разве ты спишь с ножом? — спросила ее Герда, покосившись на острый нож.

— Всегда! — отвечала маленькая разбойница.— Как знать, что может случиться! Но расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету!

Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали; другие голуби уже спали; маленькая разбойница обвила одною рукой шею Герды — в другой у нее был нож — и захрапела, но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха разбойница кувыркалась. Страшно было глядеть на это бедной девочке.

Вдруг лесные голуби проворковали:

— Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях Снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде; она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих! Курр! Курр!

— Что вы говорите? — воскликнула Герда.— Куда же полетела Снежная королева?

— Она полетела, наверно, в Лапландию,— там ведь вечный снег и лед! Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи!

— Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо! — сказал северный олень.— Там прыгаешь себе на воле по бескрайним сверкающим ледяным равнинам! Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а постоянные ее чертоги — у Северного полюса, на острове Шпицберген!

— О Кай, мой милый Кай! — вздохнула Герда.

— Лежи смирно! — сказала маленькая разбойница.— Не то я пырну тебя ножом!

Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:

— Ну, так и быть!.. А ты знаешь, где Лапландия? — спросила она затем у северного оленя.

— Кому же и знать, как не мне! — отвечал олень, и глаза его заблестели.— Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам!

— Так слушай! — сказала Герде маленькая разбойница.— Видишь, все наши ушли; дома одна мать; немного погодя она хлебнет из большой бутылки и вздремнет — тогда я кое-что сделаю для тебя!

Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и сказала:

— Здравствуй, мой маленький козлик!

А мать надавала ей по носу щелчков, так что нос у девочки покраснел и посинел, но все это делалось любя.

Потом, когда старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:

— Еще долго-долго можно было бы потешаться над тобой! Уж больно ты уморительно дергаешься, когда тебя щекочут острым ножом! Ну, да так и быть! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Ты можешь убежать в свою Лапландию, но должен за это отнести ко дворцу Снежной королевы вот эту девочку,— там ее названый братец. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила довольно громко, а у тебя всегда ушки на макушке.

Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее ради осторожности и подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть.

— Так и быть,— сказала она затем,— возьми назад свои ме-

ховые сапожки — будет ведь холодно! А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша! Но мерзнуть я тебе не дам; вот огромные матушкины рукавицы, они будут тебе до локтей! Сунь в них руки! Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей безобразной матушки!

Герда плакала от радости.

— Терпеть не могу, когда хнычут! — сказала маленькая разбойница.— Теперь тебе надо смотреть весело! Вот тебе два хлеба и окорок, чтобы не умерла с голоду!

И то и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которой был привязан олень, и сказала ему:

— Ну, живо! Да береги смотри девчонку!

Герда протянула маленькой разбойнице руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Волки выли, вороны каркали, а небо вдруг зафукало и выбросило столбы огня.

— Вот мое родное северное сияние! — сказал олень.— Гляди, как горит!

И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот Герда очутилась в Лапландии.

РАССКАЗ ШЕСТОЙ
ЛАПЛАНДКА И ФИНКА

Олень остановился у жалкой избушки; крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную — она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.

— Ах вы, бедняги! — сказала лапландка.— Долгий же вам еще предстоит путь! Придется проделать сто миль с лишком, пока доберетесь до Финмарка, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске — бумаги у меня нет,— а вы отнесете ее одной финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала несколько слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько бе-

речь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Небо опять фукало и выбрасывало столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой до Финмарка и постучался в дымовую трубу финки — у нее и дверей-то не было.

Ну и жара стояла в ее жилье! Сама финка, низенькая грязная женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды все платье, рукавицы и сапоги — иначе девочке было бы чересчур жарко,— положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть, и потом сунула треску в котел — рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазками, но не говорила ни слова.

— Ты такая мудрая женщина! — сказал олень.— Я знаю, что ты можешь связать одной ниткой все четыре ветра; когда шкипер развяжет один узел — подует попутный ветер, развяжет другой — погода разыграется, а развяжет третий и четвертый — поднимется такая буря, что поломает в щепки деревья. Не изготовишь ли ты для девочки такого питья, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела Снежную королеву!

— Силу двенадцати богатырей! — сказала финка.— Ну и совет!

С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его: на нем стояли какие-то удивительные письмена; финка начала читать их и читала до того, что ее пот прошиб.

Но олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:

— Кай в самом деле у Снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком и Снежная королева сохранит над ним свою власть.

— Но не поможешь ли ты Герде как-нибудь уничтожить эту власть?

— Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас занимать ей силу! Ее сила — в ее сердце, в ее милом, невинном детском сердечке. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подавно ей

не поможем! В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно!

С этими словами финка подсадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.

— Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! — закричала Герда, очутившись на морозе.

Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами; тут он спустил девочку, поцеловал ее в самые губы, и из глаз его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна-одинешенька на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц.

Она побежала вперед что было мочи; навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба — небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние,— нет, они бежали по земле прямо на Герду и, по мере приближения, становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие снежинки под увеличительным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, самых удивительных видов и форм и все живые. Это были передовые отряды войска Снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоголовых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенною шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Герда начала читать «Отче наш»; было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие, светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали в больших грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молитву, вокруг нее образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячи снежинок. Герда могла теперь смело идти вперед; ангелы гладили ее руки и ноги, и ей не было уже так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной королевы.

Посмотрим же, что делал в это время Кай. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она стоит перед замком.

РАССКАЗ СЕДЬМОЙ
ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ЧЕРТОГАХ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ

Стены чертогов Снежной королевы намела метель, окна и двери проделали буйные ветры. Сотни огромных, освещенных северным сиянием зал тянулись одна за другой; самая большая

простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда! Хоть бы изредка устроилась здесь медвежья вечеринка с танцами под музыку бури, в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи, или составилась партия в карты с ссорами и дракой, или, наконец, сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки лисички — нет, никогда этого не случалось! Холодно, пустынно, мертво! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед его треснул на тысячи кусков, ровных и правильных на диво. Посреди озера стоял трон Снежной королевы; на нем она восседала, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в мире.

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого,— поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его стало куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра, когда складывают фигуры из деревянных дощечек, называется она «китайскою головоломкою». Кай тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывать их — занятием первой важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала! Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось,— слова «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить.

— Теперь я полечу в теплые края! — сказала Снежная королева.— Загляну в черные котлы!

Котлами она называла кратеры огнедышащих гор — Везувия и Этны.

— Я побелю их немножко! Это полезно для лимонов и винограда!

И она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел неподвижно, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз.

В это-то время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры

улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:

— Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!

Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала; горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду, а она запела:

Розы цветут... Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа.

И Кай вдруг залился слезами и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и очень обрадовался.

— Герда! Милая моя Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? — И он оглянулся вокруг.— Как здесь холодно, пустынно!

И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость была такая, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная королева; сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зацвели розами, поцеловала его в глаза, и они заблестели, как ее глаза; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.

Снежная королева могла вернуться когда угодно,— его вольная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами.

Кай и Герда рука об руку вышли из пустынных ледяных чертогов; они шли и говорили о бабушке, о своих розах, и на пути их стихали буйные ветры, проглядывало солнышко. Когда же они дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Он привел с собой молодую оленью матку, вымя ее было полно молока; она напоила им Кая и Герду и поцеловала их прямо в губы. Затем Кай и Герда отправились сначала к финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к лапландке; та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать.

Оленья парочка тоже провожала молодых путников до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с оленями и с лапландкой.

— Счастливого пути! — крикнули им провожатые.

Вот перед ними и лес. Запели первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала

верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь — она была когда-то впряжена в золотую карету — и девушку. Это была маленькая разбойница; ей наскучило жить дома, и она захотела побывать на севере, а если там не понравится — и в других местах. Она тоже узнала Герду. Вот была радость!

— Ишь ты бродяга! — сказала она Каю.— Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света!

Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.

— Они уехали в чужие края! — отвечала молодая разбойница.

— А ворон с вороной? — спросила Герда.

— Лесной ворон умер; ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки, а ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его.

Герда и Кай рассказали ей обо всем.

— Ну, вот и сказке конец! — сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет в их город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда своей. Они шли, и на их дороге расцветали весенние цветы, зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного городка. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: так же тикали часы, так же двигалась часовая стрелка. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной королевы было забыто, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие: «Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное!»

Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма:

Розы цветут... Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа!

Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето!

ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ

Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и весь изукрашенный резьбою в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф — наследство после прабабушки — и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой — розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил зубы — такую гримасу уж никак не назовешь улыбкой! У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног! Трудно выговорить такое имя, и немногие удостаиваются подобного титула, зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну, да все-таки вырезали! Он всегда глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолоченные, платьице слегка приподнято и подколото алой розой, на голове красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну, просто прелесть! Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка; он ведь только изображал трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать вместо него принца,— все равно!

Он премило держал в руках свою лестницу; личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни, и это было немножко неправильно, следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой — так их поставили, так они и стояли; стояли, стояли, да и обручились: они были отличною парочкой, оба молоды, оба из фарфора и оба одинаково хрупки.

Тут же стояла и еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец, который кивал головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и потому кивал головою обер-унтер-генерал-адмирал-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

— Вот так муж у тебя будет! — сказал старый китаец пастушке.— Я думаю даже, что он из красного дерева! Он сделает тебя обер-унтер-генерал-адмирал-сержантшей! И у него целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потайных ящичках!

— Я не хочу в темный шкаф! — сказала пастушка.— Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен!

«Директор кукольного театра»

— Так ты будешь двенадцатой! — отвечал китаец.— Ночью, как только в старом шкафу затрещит, мы сыграем вашу свадьбу! Да, да, не будь я китайцем!

Тут он кивнул головой и заснул.

Пастушка плакала и смотрела на своего милого фарфорового трубочиста!

— Право, я попрошу тебя,— сказала она,— бежать со мной куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться!

— Твои желания — для меня закон! — ответил трубочист.— Пойдем хоть сейчас! Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом!

— Только бы нам удалось спуститься со столика! — сказала она.— Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда!

Трубочист успокаивал ее и показывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу; таким образом они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и вертели ими во все стороны, а обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног высоко подпрыгнул и закричал старому китайцу:

— Бегут! Бегут!

Беглецы испугались немножко и поскорее шмыгнули в ларчик, стоявший на полу перед окном.

Тут лежали три-четыре неполные колоды карт и кукольный театр; он был кое-как установлен в тесном ящике, и на сцене шло представление. Все дамы — и бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые — сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты, и у каждого было по две головы — сверху и снизу, как и у всех карт. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала: это была точь-в-точь их собственная история.

— Нет, я не вынесу! — сказала она трубочисту.— Уйдем отсюда!

Но, очутившись опять на полу, они увидели, что старый китаец проснулся и весь качается из стороны в сторону,— внутри его катался свинцовый шарик.

— Ай, старый китаец гонится за нами! — закричала пастушка и в отчаянии упала на свои фарфоровые коленки.

— Стой, мне пришла в голову мысль! — сказал трубочист.— Видишь вон там, в углу, большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами! Влезем в нее! Там мы будем лежать на розах и лаванде, а если китаец подойдет к нам, засыплем ему глаза солью.

— Нет, это не годится! — сказала она.— Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а в таких случаях всегда ведь сохраняются добрые отношения! Нет, нам остается только пуститься по белу свету куда глаза глядят!

— А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду? — спросил трубочист.— Подумала ли ты, как велик мир? Подумала ли о том, что нам нельзя будет вернуться назад?

— Да, да! — отвечала она.

Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал:

— Моя дорога идет через печную трубу! Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать! Мы заберемся так высоко, что нас не достанут! В самом же верху есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет!

И он повел ее к печке.

— Как тут черно! — сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью.

— Ну вот мы и в трубе! — сказал он.— Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка!

На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывая им дорогу. А они все лезли и лезли, выше да выше! Дорога была ужасная. Но трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и уселись,— они очень устали, и было от чего!

Небо, усеянное звездами, было над ними, а все домовые крыши под ними. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, что свет так велик. Она склонилась головкою к плечу трубочиста и заплакала; слезы катились ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса.

— Нет, это уж слишком! — сказала она.— Я не вынесу! Свет слишком велик! Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике! Я не успокоюсь, пока не вернусь туда! Я пошла за тобою куда глаза глядят, теперь проводи же меня обратно, если любишь меня!

Трубочист стал ее уговаривать, напоминал ей о старом китайце и об обер-унтер-генерал-адмирал-сержанте Козлоноге, но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало.

И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз; не легко это было! Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там было тихо, и они выглянули. Ах! На полу валялся старый китаец: он свалился со стола, собираясь пуститься за ними вдогонку, и разбился на три части; спина

так вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал.

— Ах, какой ужас! — воскликнула пастушка.— Старый дедушка разбился на куски, и мы всему виною! Ах, я не переживу этого!

И она заломила свои крошечные ручки.

— Его можно починить! — сказал трубочист.— Его отлично можно починить! Только не огорчайся! Ему приклеют спину, а в затылок забьют хорошую заклепку — он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много неприятностей.

— Ты думаешь? — спросила она.

И они опять вскарабкались на столик, где стояли прежде.

— Вот как далеко мы ушли! — сказал трубочист.— Стоило стараться!

— Только бы дедушку починили! — сказала пастушка.— Или это очень дорого обойдется?

И дедушку починили: приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею; он стал как новый, только кивать головой больше не мог.

— Вы что-то загордились с тех пор, как разбились! — сказал ему обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног.— А мне кажется, тут гордиться особенно нечем! Что же, отдадут ее за меня или нет?

Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца,— они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться: не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка! Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.

ШТОПАЛЬНАЯ ИГЛА

Жила-была штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.

— Вы только посмотрите, что вы взяли! — сказала она пальцам, когда они вынимали ее.— Не уроните меня! Упаду на пол — чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!

— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.

— Вот видите, я иду с целой свитой! — сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю,— кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.

— Фу, какая черная работа! — сказала штопальная игла.— Я не выдержу! Я сломаюсь!

И вправду сломалась.

— Ну вот, я же говорила,— сказала она.— Я слишком тонка!

«Теперь она никуда не годится»,— подумали пальцы, но им все-таки пришлось держать ее: кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку.

— Вот теперь я — брошка! — сказала штопальная игла.— Я знала, что буду в чести: если ты личность, из тебя всегда выйдет что-нибудь путное.

И она засмеялась про себя,— ведь никто не видал, чтобы штопальные иглы смеялись громко,— она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.

— Позвольте спросить, вы из золота? — обратилась она к соседке-булавке.— Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маленькая! Постарайтесь ее отрастить,— не всякому ведь достается сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помои.

— Отправляюсь в плаванье! — сказала штопальная игла.— Только бы мне не затеряться!

Но она затерялась.

— Я слишком тонка, я не создана для этого мира! — сказала она, лежа в уличной канаве.— Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.

И штопальная игла вытянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.

Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги...

— Ишь, как плывут! — говорила штопальная игла.— Они и понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними.— Это я тут скрываюсь! Я тут лежу! Вон плывет щепка: у нее только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся!.. Я лежу тихо, смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он бле-

стел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

— Вы, должно быть, бриллиант?

— Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

— Да, я жила в коробке у одной девицы,— рассказывала штопальная игла.— Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь занятие у них было только одно — вынимать меня и класть обратно в коробку!

— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.

— Блестели? — отвечала штопальная игла.— Нет, блеску в них не было, зато сколько высокомерия!.. Их было пять братьев, все — урожденные «пальцы»; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний — Толстяк,— впрочем, отстоял от других, он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй — Лакомка — тыкал свой нос всюду: и в сладкое и в кислое, тыкал и в солнце и в луну; он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий — Долговязый — смотрел на всех свысока. Четвертый — Златоперст — носил вокруг пояса золотое кольцо и, наконец, самый маленький — Пер-музыкант — ничего не делал и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться, и вот — я бросилась в раковину.

— А теперь мы лежим и блестим! — сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

— Он продвинулся! — вздохнула штопальная игла.— А я осталась лежать! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум.

— Я просто уверена, что родилась от солнечного луча,— так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой. Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда мое ушко, я бы услышала свои рыдания, потому что меня душат слезы! Впрочем, нет, плакать неприлично!

Однажды пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища.

Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!

— Ай! — закричал вдруг один из них; он укололся о штопальную иглу.— Смотри, какая штука!

— Я не штука, а барышня! — заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

— Вон плывет яичная скорлупа! — закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.

— Черное на белом фоне очень красиво! — сказала штопальная игла.— Теперь меня хорошо видно! Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу: я такая хрупкая!

Но она не поддалась морской болезни — выдержала.

— Когда у тебя стальной желудок, морская болезнь нипочем, и всегда надо помнить, что ты не то, что простые смертные! Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести!

— Крак! — сказала яичная скорлупа: ее переехала ломовая телега.

— Ух, как давит! — завопила штопальная игла.— Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!

Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину,— ну и пусть себе лежит!

ТЕНЬ

Вот уж где жжет солнце — так это в жарких странах! Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах — черными, как негры. Но у нас речь пойдет о просто жаркой стране; сюда приехал с севера один ученый. Он было собрался и тут бегать по городу, как у себя на родине, да скоро отучился от этого и, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит или что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера; просто сил никаких не было терпеть эту жару! Ученому, приехавшему из северной страны,— он был человек умный и молодой еще,— казалось, будто он сидит в раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье; он исхудал, и даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была на севере; жара повлияла и на нее. Оба они — и ученый и тень — оживали только с наступлением вечера.

И, право, любо было смотреть на них! Как только в комнату вносили свечи, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже часть потолка — ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы поразмяться, любовался ясным вечерним небом, в котором зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах — а в жарких странах перед каждым окном балкон — тоже виднелись люди; дышать воздухом все же необходимо — даже тем, кого солнце сделало краснокожим. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, и наверху, на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд — все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду; улицы освещались тысячами огней, люди — кто пел, кто разговаривал с соседом, по тротуарам двигалась масса гуляющих, по мостовой катились экипажи, тут пробирались, позвякивая колокольчиками, вьючные ослы, там тянулась, с пением псалмов, похоронная процессия, слышался треск хлопушек, которые уличные мальчишки бросали о мостовую, раздавался звон колоколов... Да, жизнь так и била ключом повсюду! Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым: на балконе красовались чудесные цветы; без поливки они не могли бы цвести так пышно, кто-нибудь да поливал их — стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам, но в самих комнатах было всегда темно, по крайней мере, в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно прекрасною, но ведь может статься, что ему это только так казалось: по его мнению, здесь, в жарких странах, и все было прекрасно; одна беда — солнце! Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме: там никогда не показывалось ни единой живой души; что же до музыки, то он находил ее страшно скучною.

— Словно кто сидит и долбит все одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает, дескать — «добьюсь своего»! Напрасно, однако, старается, ничего не выходит!

Раз ночью ученый проснулся; дверь на балкон стояла отворенною, и ветер распахнул портьеры; ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием; цветы горели чудными разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная, прелестная девушка, тоже, казалось, окруженная сиянием. Весь этот блеск и свет так и ударил в широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери, но девушка уже исчезла, блеск и свет — тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе пре-

спокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома неслись нежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в царство сладких грез и мечтаний!..

Все это было похоже на какое-то колдовство! Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами — не через них же постоянно ходили жильцы!

Однажды вечером ученый сидел на своем балконе; в комнате позади него горела свечка, и вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома; она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами; стоило шевельнуться ученому — шевелилась и тень,— это она умеет.

— Право, моя тень — единственное видимое существо в том доме! — сказал ученый.— Ишь как славно уселась она между цветами! А дверь-то ведь полуотворена; вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне! Да, пора бы и тебе быть полезною! — сказал он шутя и затем добавил: — Будь добра, пойди туда, пожалуйста! Ну как? Идешь? — И он кивнул своей тени головой, тень тоже ответила кивком.— Да, да, ступай! Только смотри не пропади там!

С этим словами ученый встал, тень его, сидевшая на противоположном балконе,— тоже; ученый повернулся — повернулась и тень, и если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собою портьеру.

Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты.

— Что это значит? — сказал он, выйдя на солнце.— У меня нет тени! Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась? Довольно-таки неприятная история!

И он рассердился, не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине, на севере; вернись он теперь туда и расскажи свою историю, все сказали бы, что он подражает другим, а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью, и умно сделал.

Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света своим господином; выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он и садился и выпрямлялся во весь рост — тень все не являлась. Он задумчиво хмыкнул, но и это не помогло.

Досадно было, но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро, и вот через неделю ученый, вый-

дя на солнце, заметил, к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень,— должно быть, корни-то старой остались. Через три недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уже такою большою и длинною, что хоть убавляй.

Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы, прошло много лет.

Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь.

— Войдите! — сказал он, но никто не вошел, тогда он отворил дверь сам — перед ним стоял невероятно худощавый человек; одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин.

— С кем имею честь говорить? — спросил ученый.

— Я так и думал,— сказал элегантный господин,— что вы не узнаете меня! Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем! Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да, вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше? Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете, и если надо откупиться от службы, то я готов!

При этих словах он забренчал целою связкой дорогих брелоков, висевших на цепочке для часов, а потом начал играть толстою золотою цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блестели бриллиантовыми перстнями! И золото и камни были настоящие, а не поддельные!

— Я просто в себя не могу прийти от удивления! — сказал ученый.— Что это такое?

— Да, явление не совсем обыкновенное, это правда! — сказала тень.— Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей, а я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своею дорогой, добился, как видите, полного благосостояния, да вот взгрустнулось что-то по вас, захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли — вы-то ведь умрете! — и кстати, взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохраняешь любовь к своей родине!.. Я знаю, что у вас теперь новая тень; скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово — и я заплачу.

— Нет, так это в самом деле ты?! — вскричал ученый.— Вот диво, так диво! Никогда бы я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком!

— Скажите мне, сколько я должен вам заплатить? — спросила опять тень.— Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу!

— Что за разговоры! — сказал ученый.— Какой там долг! Ты вполне свободен! Я несказанно рад твоему счастью! Садись же, старый дружище, и расскажи мне, как все это вышло и что ты увидел в том доме напротив?

— Сейчас расскажу! — сказала тень и уселась.— Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь, в городе,— где бы вы меня ни встретили,— что я был когда-то вашею тенью! Я собираюсь жениться! Я в состоянии содержать и не одну семью!

— Будь спокоен! — сказал ученый.— Никто не будет знать, кто ты, собственно, такой! Вот моя рука! Даю тебе слово! А слово ведь человек...

— Слово — тень! — докончила тень — иначе ведь она не могла выразиться.

Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья: черная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставались только донышко да поля; о брелоках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека.

— Теперь я расскажу! — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая, как собачка, лежала у его ног.

Зачем она это сделала, из высокомерия ли, или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам — неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух: ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожою.

— Знаете, кто жил в том доме? — спросила бывшая тень.— Нечто прекраснейшее в мире — сама Поэзия! Я провел там три недели, а это все равно, что прожить на свете три тысячи лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами,— уверяю вас! Я видел все и знаю все — и это сущая правда!

— Поэзия! — вскричал ученый.— Да, да! Она часто живет отшельницей в больших городах! Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то я был еще сонным! Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние! Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и...?

— И попал в переднюю! — подхватила тень.— Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак, но в отворенную дверь виднелась

целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил вконец, если бы я сейчас же вошел в комнаты, но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда!

— И что же ты там увидел? — спросил ученый.

— Все, и я расскажу вам обо всем, но... Видите ли, я не из гордости, а... ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете... я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы».

— Ах, прошу извинить меня! — сказал ученый.— Это я по старой привычке!.. Вы совершенно правы! И я постараюсь помнить это! Но расскажите же мне, что вы там видели?

— Все! — отвечала тень.— Я видел все и знаю все!

— Что же напоминали эти внутренние покои? — спросил ученый.— Свежий ли зеленый лес? Или святой храм? Или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?

— Все там было! — сказала тень.— Я, однако, не входил в самые покои, я оставался в передней, в полумраке, но там мне было отлично, я видел все, и я знаю все! Я ведь провел столько времени в передней при дворе Поэзии.

— Но что же вы видели там? Величавые шествия древних богов? Борьбу героев седой старины? Игры милых детей, лепечущих о своих чудных грезах?..

— Говорю же вам, я был там, следовательно, и видел все, что только можно было видеть! Явись вы туда, вы бы не сделались человеком, а я сделался им! Я познал там мою собственную натуру, мое природное сродство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца! При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих! Но тогда еще я не понимал своей натуры, меня озарило только в передней! Там я стал человеком, вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах; между тем я, в качестве человека, стеснялся уже показываться в своем прежнем виде: мне нужны были сапоги, приличное платье, словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище... Да, вам я признаюсь, вы ведь не напечатаете этого: я нашел себе убежище под юбкой торговки сластями! Женщина и не подозревала, что́ она скрывала! Выходил я только по вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах — это так приятно щекочет спину! Взбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, заглядывал и в залы, и на чердаки, заглядывал и туда, куда никто не мог заглянуть, видел то, чего никто не должен был видеть! И я узнал, как, в сущности, низок свет! Право,

я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не было раз навсегда принято считать это чем-то особенным! Я подметил самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей, даже у милых, бесподобных деток. Я видел то,— добавила тень,— чего никто не должен был, но что всем так хотелось увидать — тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах, меня бы читали! Но я писал прямо самим заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где ни появлялся, такой страх! Все так боялись меня и так любили! Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня — платья у меня теперь вдоволь,— монетчики чеканили для меня монету, а женщины восхищались моей красотой! И вот я стал тем, что я есть. А теперь я прощусь с вами; вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома!

С этими словами тень ушла.

— Как это все же странно! — сказал ученый.

Шли дни и годы; и тень опять явилась к ученому.

— Ну, как дела? — спросила она.

— Увы! — отвечал ученый.— Я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого нет дела. Я просто в отчаянии; меня это так огорчает!

— А вот меня нет! — сказала тень.— Поэтому я все толстею, а это самое главное! Да, не умеете вы жить на свете! Еще заболеете, пожалуй. Вам надо попутешествовать немножко. Я как раз собираюсь летом сделать небольшую поездку — хотите ехать со мной? Мне нужен спутник в дороге, так не поедете ли вы... в качестве моей тени? Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие; все издержки я, конечно, возьму на себя!

— Нет, это слишком! — рассердился ученый.

— Да ведь как взглянуть на дело! — сказала тень.— Поездка принесла бы вам большую пользу! А стоит вам согласиться быть моею тенью,— и вы поедете на всем готовом!

— Это уж из рук вон! — вскричал ученый.

— Таков свет,— сказала тень.— Таким он и останется!

И тень ушла.

Ученый чувствовал себя плохо, а горе и заботы по-прежнему преследовали его: он писал об истине, добре и красоте, а люди понимали во всем этом столько же, сколько коровы в розах. Наконец он совсем расхворался.

— Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью! — говорили ученому люди, и по его телу пробегала дрожь от мысли, приходившей ему в голову при этих словах.

— Вам следует поехать куда-нибудь на воды! — сказала тень, которая опять завернула к нему.— Ничего другого вам не остает-

ся! Я готов взять вас с собою ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, а вы опишете нашу поездку и будете приятно развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды; у меня борода не растет, как бы следовало, а это ведь своего рода болезнь,— бороду надо иметь! Ну, будьте благоразумны, принимайте мое предложение; ведь мы же поедем как товарищи.

И они поехали. Тень стала господином, а господин тенью. Они были неразлучны: и ехали, и беседовали, и ходили всегда вместе — то бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином, а ученый, по доброте сердца, даже и не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек, и раз как-то возьми да и скажи тени:

— Мы ведь теперь товарищи, да и выросли вместе — выпьем же на «ты», это будет по-приятельски!

— В ваших словах действительно много искреннего доброжелательства! — сказала тень: господином-то теперь была, собственно, она.— И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы, как человек ученый, знаете, вероятно, какими странностями отличается натура человеческая! Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги, другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне «ты». Я чувствую себя совсем подавленным, как бы низведенным до прежнего моего положения. Вы видите, что это просто болезненное чувство, а не гордость с моей стороны. Я не могу позволить вам говорить мне «ты», но сам охотно буду говорить вам «ты»; таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину.

И вот тень стала говорить своему прежнему господину «ты».

«Это, однако, из рук вон,— подумал ученый.— Я должен обращаться к нему на «вы», а он мне тыкает».

Но делать было нечего.

Наконец они прибыли на воды. На водах был большой съезд иностранцев. В числе приезжих находилась и одна красавица принцесса, которая страдала чересчур зорким взглядом, а это ведь не шутка, хоть кого испугает.

Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем непохож на всех других людей.

— Хоть и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня-то не проведешь: я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени!

Любопытство у нее разгорелось, и она, не долго думая, подошла к незнакомцу на прогулке и вступила с ним в разговор. По-

скольку она была принцесса, то без малейших церемоний сказала ему:

— Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать тени!

— А ваше королевское высочество, должно быть, уже близки к выздоровлению! — сказала тень.— Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом,— теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга! У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей — обыкновенные тени, но я вообще враг всего обыкновенного, и как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами, так я нарядил свою тень настоящим человеком и даже приставил, как видите, и к ней тень! Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою!

«Вот как! — подумала принцесса.— Так я в самом деле выздоровела? Да, эти воды — лучшие в мире! Надо признаться, что воды обладают в наше время поистине удивительною силой. Но я пока не уеду,— теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет!»

Вечером на балу принцесса танцевала с тенью. Принцесса танцевала легко, но тень еще легче; такого танцора принцесса и не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал эту страну и даже был там, но принцесса как раз в то время уезжала. Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что и потому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением. Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него, и тень это отлично заметила: принцесса так и пронизывала своего кавалера взглядами. Протанцевав же с тенью еще раз, принцесса готова была признаться ей в своей любви, но рассудок все-таки одержал верх, она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей приходилось управлять. «Умен-то он умен,— сказала она самой себе,— и это прекрасно; танцует он восхитительно, и это тоже хорошо, но обладает ли он основательными познаниями, что тоже очень важно! Надо его проэкзаменовать».

И она опять завела с ним разговор и задавала ему труднейшие вопросы, на которые и сама не смогла бы ответить.

Тень скорчила удивленную мину.

— Так вы не можете ответить мне! — сказала принцесса.

— Все это я изучал еще в детстве! — отвечала тень.— Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей, сумеет ответить вам.

— Ваша тень?! — удивилась принцесса.— Это было бы просто поразительно!

— Я, видите ли, не утверждаю,— сказала тень,— но думаю, что может,— она ведь столько лет неразлучна со мной и кое-чего наслушалась от меня! Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гордится тем, что слывет человеком, и если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с нею как с человеком! Иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует!

— Что ж, это мне нравится! — ответила принцесса и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних свойствах человеческой природы.

Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно.

«Что это должен быть за человек,— подумала принцесса,— если даже тень его так умна! Для моего народа и государства будет сущим благодеянием, если я выберу его себе в супруги. Да, я так и сделаю!»

И скоро они порешили между собою этот вопрос. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока принцесса не вернется домой, в свое государство.

— Никто, никто, даже моя собственная тень! — настаивала тень, имевшая на то свои причины.

Наконец они прибыли в страну, которою управляла принцесса, когда бывала дома.

— Послушай, дружище! — сказала тут тень ученому.— Теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого и хочу сделать кое-что и для тебя! Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мною в королевской карете и получать сто тысяч риксдалеров в год. Но за то ты должен позволить называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен и заикаться, что был когда-нибудь человеком! А раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, что я женюсь на принцессе; свадьба — сегодня вечером.

— Нет, это уж из рук вон! — вскричал ученый.— Не хочу я этого и не сделаю! Это значило бы обманывать всю страну и принцессу! Я скажу все! Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень — все, все скажу!

— Никто не поверит тебе! — сказала тень.— Ну, будь же благоразумен, не то я кликну стражу!

— Я пойду прямо к принцессе! — сказал ученый.

— Ну, я-то попаду к ней прежде тебя! — сказала тень.— А ты отправишься под арест.

Так и вышло: стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса.

— Ты дрожишь! — сказала принцесса, когда тень вошла к ней.— Что-нибудь случилось? Не захворай смотри! Ведь сегодня вечером наша свадьба!

— Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту! — сказала тень.— Подумай... Да много ли, в сущности, нужно мозгам какой-нибудь несчастной тени!.. Подумай, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет — подумай только — своею тенью!

— Какой ужас! — сказала принцесса.— Надеюсь, ее заперли?

— Разумеется, но я боюсь, что она никогда не придет в себя!

— Бедная тень! — вздохнула принцесса.— Она очень несчастна! Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с ней поскорее и без шума!

— Все-таки это жестоко! — сказала тень.— Она была мне верным слугой! — И тень притворно вздохнула.

— У тебя благородная душа! — сказала принцесса.

Вечером весь город был иллюминирован, гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба! И принцесса с тенью вышли на балкон показаться народу, который еще раз прокричал им «ура».

Ученый не слыхал этого ликования — с ним уже покончили.

СТАРЫЙ ДОМ

На одной улице стоял старый-старый дом, выстроенный еще около трехсот лет тому назад — в этом можно было легко убедиться, потому что на его карнизе, в виньетке из тюльпанов и хмеля, был вырезан год его постройки, а под ним, старинными буквами и с соблюдением старинной орфографии, целое стихотворение. Со всех наличников глядели уморительные рожи, корчившие гримасы. Верхний этаж дома значительно выступал над нижним; под самою крышей шел водосточный желоб, оканчивавшийся драконовой головою. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из живота — желоб был дырявый.

Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и прямыми, ровными стенами; по всему видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего об-

щего и даже думали: «Долго ли он будет торчать тут на позор всей улице? Из-за этого выступа нам не видно, что делается вокруг! А лестница-то, лестница-то! Широкая, будто во дворце, и высокая, словно ведет на колокольню! Железные перила напоминают вход в могильный склеп, а на дверях блестят большие медные бляхи! Просто неприлично!»

Против старого дома, на другой стороне улицы, стояли такие же новенькие, чистенькие домики и думали то же, что их собратья; но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными, сияющими глазами; ему старый дом и при солнечном и при лунном свете нравился куда больше всех остальных домов. Глядя на стену старого дома с потрескавшейся и местами пообвалившейся штукатуркою, он рисовал себе самые причудливые картины прошлого, воображал всю улицу застроенной такими же домами, с широкими лестницами, выступами и остроконечными крышами, видел перед собою солдат с алебардами и водосточные желобы в виде драконов и змиев... Да, можно таки было заглядеться на старый дом! Жил в нем один старичок, носивший короткие панталоны до колен, кафтан с большими металлическими пуговицами и парик, про который сразу можно было сказать: вот это настоящий парик! По утрам к старику приходил старый слуга, который прибирал все в доме и исполнял поручения хозяина; остальное время дня старик оставался в доме один-одинешенек. Иногда он подходил к окну взглянуть на улицу и на соседние дома; мальчик, сидевший у окна, кивал старику головой и получал в ответ такой же дружеский кивок. Так они познакомились и подружились, хоть и ни разу не говорили друг с другом,— это ничуть им не помешало!

Раз мальчик услышал, как мать сказала отцу:

— Старику живется вообще недурно, но он так одинок, бедный!

В следующее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика.

— Послушай! Снеси-ка это от меня старому господину! У меня два оловянных солдатика, вот ему один! Пусть он останется у него, ведь старый господин так одинок, бедный!

Слуга, видимо, обрадовался, кивнул головой и отнес солдатика в старый дом. Потом тот же слуга явился к мальчику спросить, не пожелает ли он сам навестить старого господина. Родители позволили, и мальчик отправился в гости.

Медные бляхи на перилах лестницы блестели ярче обыкновенного, точно их вычистили в ожидании гостя, а резные трубачи — на дверях были ведь вырезаны трубачи, выглядывавшие из

тюльпанов,— казалось, трубили изо всех сил, и щеки их раздувались сильнее, чем всегда. Они трубили: «Тра-та-та-та! Мальчик идет! Тра-та-та-та!» Двери отворились, и мальчик вошел в коридор. Все стены были увешаны старыми портретами рыцарей в латах и дам в шелковых платьях; рыцарские доспехи бряцали, а платья шуршали... Потом мальчик попал на лестницу, которая сначала шла высоко вверх, а потом опять вниз, и очутился на довольно-таки ветхой террасе с большими дырами и широкими щелями в полу, из которых выглядывали зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и даже вся стена дома были увиты зеленью, так что терраса выглядела настоящим садом, а на самом-то деле это была только терраса! Тут стояли старинные цветочные горшки в виде голов с ослиными ушами; цветы росли в них как хотели. В одном горшке так и лезла через край гвоздика: зеленые ростки ее разбегались во все стороны, и гвоздика как будто говорила: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне в воскресенье еще один цветочек! Еще один цветочек в воскресенье!»

С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиною кожей с золотым тиснением.

Да, позолота-то сотрется,
Свиная ж кожа остается! —

говорили стены.

В той же комнате стояли разукрашенные резьбою кресла с высокими спинками.

— Садись! Садись! — приглашали они, а потом жалобно скрипели.— Ох, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как старый шкаф. Ревматизм в спине! Ох!

Затем мальчик вошел в ту самую комнату, которая нависала, словно балкон, над нижним этажом. Тут сидел сам старичок хозяин.

— Спасибо за оловянного солдатика, дружок! — сказал он мальчику.— И спасибо, что сам зашел ко мне!

«Так, так» или, скорее, «кхак, кхак!» — закряхтела и заскрипела мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они мешали друг другу смотреть на мальчика.

На стене висел портрет прелестной молодой дамы с живым, веселым лицом, но причесанной и одетой по старинной моде: волосы ее были напудрены, а платье стояло колом. Она не сказала ни «так», ни «кхак», но ласково смотрела на мальчика, и он сейчас же спросил старика:

— Где вы ее достали?

— В лавке старьевщика! — отвечал тот.— Там много таких

портретов, но никому до них нет и дела: никто не знает, с кого они писаны,— все эти лица давным-давно умерли и похоронены. Вот и этой дамы нет на свете лет пятьдесят, но я знавал ее в старину.

Под картиной висел за стеклом букетик засушенных цветов; им, верно, тоже было лет под пятьдесят,— такие они были старые! Маятник больших старинных часов качался взад и вперед, стрелка двигалась, и все в комнате старело с каждою минутой, само того не замечая.

— У нас дома говорят, что ты ужасно одинок! — сказал мальчик.

— О! Меня постоянно навещают воспоминания... Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов!.. А теперь вот и ты навестил меня! Нет, мне хорошо!

И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, которых теперь уж не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, городские ремесленники с развевающимися знаменами. У портных на знаменах красовались ножницы, поддерживаемые двумя львами, у сапожников же не сапоги, а орел о двух головах — сапожники ведь делают всё парные вещи. Да, вот это была книжка так книжка!

Старичок хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. Нет, в старом доме, право, было прелесть как хорошо!

— А мне просто невмочь оставаться здесь! — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке.— Тут так пусто и печально. Нет, кто привык к семейной жизни, тому здесь не житье. Сил моих больше нет! День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше! Тут не услышишь ни приятных бесед, какие вели, бывало, между собою твои родители, ни веселой возни ребятишек, как у вас! Старый хозяин так одинок! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него кто-нибудь ласково? Бывает у него елка? Получает он подарки? Нет, никогда! Вот разве гроб он получит!.. Нет, право, я не выдержу такого житья!

— Ну, ну, полно! — сказал мальчик.— По-моему, здесь чудесно; сюда ведь заглядывают воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц!

— Что-то не видал я их, да и мне-то они незнакомые! — отвечал оловянный солдатик.— Нет, мне просто не под силу оставаться здесь!

— А надо! — сказал мальчик.

В эту минуту в комнату вошел с веселою улыбкой на лице старичок, и чего-чего он только не принес! И варенья, и яблок, и орехов! Мальчик перестал и думать об оловянном солдатике.

Веселый и довольный вернулся он домой. Дни шли за днями; мальчик по-прежнему посылал в старый дом поклоны, а оттуда получал тоже поклоны в ответ, и вот мальчик опять отправился туда в гости.

Резные трубачи опять затрубили: «Тра-та-та-та! Мальчик пришел! Тра-та-та-та!» Рыцари и дамы на портретах бряцали доспехами и шуршали шелковыми платьями, свиная кожа говорила, а старые кресла скрипели и кряхтели от ревматизма в спине: «Ох!» Словом, все было как и в первый раз,— в старом доме часы и дни шли один за другим, без всякой перемены.

— Нет, я не выдержу! — сказал оловянный солдатик.— Я уже плакал оловом! Тут слишком печально! Пусть лучше пошлют меня на войну, отрубят там руку или ногу! Все-таки хоть перемена будет! Сил моих больше нет!.. Теперь и я знаю, что это за воспоминания, которые приводят с собою знакомых лиц! Меня они тоже посетили, и, поверь, им не обрадуешься! Особенно, если они станут посещать тебя часто. Под конец я готов был спрыгнуть с сундука!.. Я видел тебя и всех твоих!.. Вы все стояли передо мною, как живые!.. Это было утром в воскресенье... Все вы, ребятишки, стояли в столовой, такие серьезные, набожно сложив руки, и пели утренний псалом... Папа и мама стояли тут же. Вдруг дверь отворилась, и вошла незваная двухгодовалая сестренка ваша Мари. А ей стоит только услышать музыку или пение — все равно какое, сейчас начинает плясать. Вот она и принялась приплясывать, но никак не могла попасть в такт — вы пели так протяжно... Она поднимала то одну ножку, то другую и вытягивала шейку, но дело не ладилось. Никто из вас даже не улыбнулся, хоть и трудно было удержаться. Я таки не удержался, засмеялся про себя, да и слетел со стола! На лбу у меня вскочила большая шишка — она и теперь еще не прошла, и поделом мне было!.. Много и еще чего вспоминается мне... Все, что я видел, слышал и пережил в вашей семье, так и всплывает у меня перед глазами! Вот каковы они, эти воспоминания, и вот что они приводят с собой!.. Скажи, вы и теперь еще поете по утрам? Расскажи мне что-нибудь про малютку Мари! А товарищ мой, оловянный солдатик, как поживает? Вот счастливец!.. Нет, нет, я просто не выдержу!..

— Ты подарен! — сказал мальчик.— И должен оставаться тут! Разве ты не понимаешь этого?

Старичок хозяин явился с ящиком, в котором было много разных диковинок: какие-то шкатулочки, флакончики и колоды старинных карт — таких больших, расписанных золотом, теперь уж не увидишь! Старичок отпер для гостя и большие ящики старинного бюро и даже клавикорды, на крышке которых был нарисован ландшафт. Инструмент издавал под рукой хозяина тихие дребез-

жащие звуки, а сам старичок напевал при этом какую-то заунывную песенку.

— Эту песню певала когда-то она! — сказал он, кивая на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели.

— Я хочу на войну! Хочу на войну! — завопил вдруг оловянный солдатик и бросился с сундука.

Куда же он девался? Искал его и сам старичок хозяин, искал и мальчик — нет нигде, да и только.

— Ну, я найду его после! — сказал старичок, но так и не нашел. Пол весь был в щелях, солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле.

Вечером мальчик вернулся домой. Время шло; наступила зима; окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на них, чтобы оттаяло хоть маленькое отверстие, в которое бы можно было взглянуть на улицу. Снег запорошил все завитушки и надписи на карнизе старого дома и завалил лестницу,— дом стоял словно нежилой. Да так оно и было: старичок, хозяин его, умер.

Вечером к старому дому подъехала колесница, на нее поставили гроб и повезли старичка за город, в фамильный склеп. Никто не шел за гробом — все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй.

Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окошка, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с длинными ушами, старые стулья и шкафы. Одно пошло сюда, другое туда; портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же, да так там и остался: никто ведь не знал этой дамы, никому и не нужен был ее портрет.

Весною стали ломать старый дом — эта жалкая развалюха уже мозолила всем глаза, и с улицы можно было заглянуть в самые комнаты с обоями из свиной кожи, висевшими клочьями; зелень на террасе разрослась еще пышнее и густо обвивала упавшие балки. Потом расчистили и место.

— Вот и отлично! — сказали соседние дома.

Вместо старого дома на улице появился новый, с большими окнами и белыми ровными стенами. Перед ним, то есть, собственно, на том самом месте, где стоял прежде старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Садик был обнесен высокой железною решеткой, и вела в него железная калитка. Все это выглядело так нарядно, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Виноградные лозы были усеяны десятками воробьев, которые чирикали напе-

ребой, но не о старом доме,— они ведь не могли его помнить; с тех пор прошло столько лет, что мальчик успел стать мужчиною. Из него вышел дельный человек — на радость родителям. Он только что женился и переехал со своею молодою женой как раз в этот новый дом с садом.

Оба они были в саду; муж смотрел, как жена сажала на клумбу какой-то приглянувшийся ей полевой цветок. Вдруг молодая женщина вскрикнула:

— Ай! Что это?

Она укололась — из мягкой, рыхлой земли торчало что-то острое. Это был — да, подумайте! — оловянный солдатик, тот самый, что пропал у старика, валялся в мусоре и наконец много-много лет пролежал в земле.

Молодая женщина обтерла солдатика сначала зеленым листком, а затем своим тонким носовым платком. Как чудесно пахло от него духами! Оловянный солдатик словно очнулся от обморока.

— Дай-ка мне посмотреть! — сказал молодой человек, засмеялся и покачал головой.— Ну, это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне одну историю из моего детства!

И он рассказал своей жене о старом доме, о хозяине его и об оловянном солдатике, которого послал бедному одинокому старичку. Словом, он рассказал все, как было в действительности, и молодая женщина даже прослезилась, слушая его.

— А может быть, это и есть тот самый оловянный солдатик! — сказала она.— Я спрячу его на память. Но ты непременно покажи мне могилу старика!

— Я и сам не знаю, где она! — отвечал он.— Да и никто не знает! Все его друзья умерли раньше него, никому не было и дела до его могилы, я же в те времена был еще совсем маленьким мальчуганом.

— Как ужасно быть таким одиноким! — сказала она.

— Ужасно быть одиноким! — сказал оловянный солдатик.— Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!

— Счастье! — повторил чей-то голос совсем рядом, но никто не расслышал его, кроме оловянного солдатика.

Оказалось, что это говорил лоскуток свиной кожи, которою когда-то были обиты комнаты старого дома. Позолота с него вся сошла, и он был похож скорее на грязный комок земли, но у него был свой взгляд на вещи, и он высказал его:

Да, позолота-то сотрется,
Свиная ж кожа остается!

Оловянный солдатик, однако, с этим не согласился.

ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ

Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году — канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать — вот какие они были большие,— и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят.

Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, а одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка!

Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем — ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала!

Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.

Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечка.

Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их,— и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.

Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засве-

тилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.

Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след.

«Кто-то умер»,— подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: «Когда падает звездочка, чья-то душа отлетает к богу».

Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую.

— Бабушка,— воскликнула девочка,— возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!

И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке,— вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко — туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха,— они вознеслись к богу.

Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щечках ее играл румянец, на губах — улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

— Девочка хотела погреться,— говорили люди.

И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.

СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО

Самый большой лист у нас, конечно, лист лопуха: наденешь его на животик — вот тебе и передник, а положишь в дождь на головку — зонтик! Такой большущий этот лопух! И он никогда не растет в одиночку, а всегда уж где один, там и много,— такое изобилие! И вся эта роскошь — кушанье для улиток! А самих улиток, белых, больших, кушали в старину важные господа; из улиток приготовлялось фрикасе, и господа, кушая его, приговаривали: «Ах, как вкусно!» Они и вправду воображали, что это ужасно вкусно. Так вот, эти большие белые улитки ели лопух, потому и стали сеять лопух.

Была одна старая барская усадьба, где уж давно не ели улиток, и они все повымерли. А лопух не вымер; он все себе рос да рос — его ничем нельзя было заглушить; все аллеи, все грядки заросли лопухом, так что и сад стал не сад, а лопушиный лес; никто бы и не догадался, что тут был прежде сад, если бы кое-где не торчали еще то яблонька, то сливовое деревцо. Вот в этом-то лопушином лесу и жила последняя пара старых-престарых улиток.

Они и сами не знали, сколько им лет, но отлично помнили, что прежде их было много, что они очень старинного иностранного рода и что весь этот лес был насажен исключительно для них и для их родичей. Старые улитки ни разу не выходили из своего леса, но знали, что где-то есть что-то, называющееся «барскою усадьбой»; там улиток варят до тех пор, пока они не почернеют, а потом кладут на серебряное блюдо. Что было дальше, они не знали. Не знали они тоже и даже представить себе не могли, что такое значит быть сваренными и лежать на серебряном блюде; знали только, что это было чудесно и, главное, аристократично! И ни майский жук, ни жаба, ни дождевой червяк — никто из тех, кого они спрашивали, ничего не мог сказать об этом: никому еще не приходилось быть сваренным и лежать на серебряном блюде!

Что же касается их самих, то улитки отлично знали, что они, старые белые улитки, самые знатные на свете, что весь лес растет только для них, а усадьба существует лишь для того, чтобы они могли быть сваренными и лежать на серебряном блюде.

Жили улитки тихо, мирно и очень счастливо. Детей у них не было, и они взяли на воспитание улитку из простых. Приемыш их ни за что не хотел расти — он был ведь обыкновенной, простой породы, но старикам, особенно улитке-мамаше, все казалось, что он заметно увеличивается, и она просила улитку-папашу, если он не видит этого так, ощупать раковину малютки! Папаша щупал и соглашался с мамашей.

Раз шел сильный дождь.

— Ишь, как барабанит по лопуху! — сказал улитка-папаша.

— И какие крупные капли! — сказала улитка-мамаша.— Вон как потекли вниз по стебелькам! Увидишь, как здесь будет сыро! Как я рада, что у нас и у сынка нашего такие прочные домики! Нет, что ни говори, а ведь нам дано больше, чем кому другому на свете! Сейчас видно, что мы первые в мире! У нас с самого рождения есть уже свои дома, для нас насажен целый лопушиный лес! А хотелось бы знать, как далеко он тянется и что там за ним?

— Ничего! — сказал улитка-папаша.— Уж лучше, чем у нас тут, и быть нигде не может; я, по крайней мере, лучшего не ищу.

— А мне,— сказала улитка-мамаша,— хотелось бы попасть в усадьбу, быть сваренной и лежать на серебряном блюде. Этого удостаивались все наши предки, и, уж поверь, в этом есть что-то возвышенное!

— Усадьба, пожалуй, давно разрушилась,— сказал улитка-папаша,— или вся заросла лопухом, так что людям и не выбраться оттуда. Да и к чему так спешить? А ты вот вечно спешишь, и сынок наш туда же за тобой. Ведь он уж третий день все ползет вверх по стебельку; просто голова кружится, как поглядишь!

— Ну, не ворчи на него! — сказала улитка-мамаша.— Он ползет осторожно. Он, наверно, будет нам утехой, а ведь нам, старикам, больше и жить не для чего. Только подумал ли ты, откуда нам взять ему жену? Что, по-твоему, там, дальше, в лопухе, не найдется кого-нибудь из нашего рода?

— Черные улитки без домов есть, конечно,— сказал улитка-папаша,— но ведь это же простонародье! Да и много они о себе думают! Можно, впрочем, поручить это дело муравьям: они вечно шныряют взад вперед, точно за делом, и, уж верно, знают, где надо искать жену для нашего сынка.

— Знаем, знаем одну красавицу из красавиц! — сказали муравьи.— Только навряд ли она подойдет вам — она ведь королева!

— Это не беда! — сказали старики.— А есть ли у нее дом?

— Даже дворец! — сказали муравьи.— Чудеснейший муравейник с семьюстами ходов!

— Благодарим покорно! — сказала улитка-мамаша.— Сыну нашему не с чего лезть в муравейник! Если у вас нет на примете никого получше, то мы поручим дело комарам: они летают и в дождь и в солнышко и знают лопушиный лес вдоль и поперек.

— У нас есть невеста для вашего сына! — сказали комары.— Шагах в ста отсюда на кустике крыжовника сидит в своем домике одна маленькая улитка. Она живет одна-одинешенька и как раз

в таком возрасте, что может выйти замуж. Всего в ста человеческих шагах отсюда!

— Так пусть она явится к нему! — сказали старики.— У него целый лопушиный лес, а у нее всего-навсего один кустик!

За улиткой-невестой послали. Она отправилась в путь и благополучно добралась до лопухов на восьмой день путешествия. Вот что значит чистота породы.

Отпраздновали свадьбу. Шесть светляков светили изо всех сил; вообще же свадьба была очень тихая: старики не любили шума. Зато улитка-мамаша сказала чудеснейшую речь. Папаша не мог, он был так растроган! И вот старики отдали молодым во владение весь лопушиный лес, сказав при этом, как они и всю жизнь свою говорили, что лучше этого леса нет ничего на свете и что, если молодые будут честно и благородно жить и плодиться, то когда-нибудь им или их детям доведется попасть в усадьбу: там их сварят дочерна и положат на серебряное блюдо!

Затем старики вползли в свои домики и больше уже не показывались,— они заснули.

А молодые улитки стали царствовать в лесу и оставили после себя большое потомство. Попасть же в усадьбу и лежать на серебряном блюде им так и не удалось! Поэтому они решили, что усадьба совсем разрушилась, а все люди на свете повымерли. Никто им не противоречил,— значит, так оно и было. И вот дождь барабанил по лопуху, чтобы позабавить улиток, а солнце сияло, чтобы зеленел их лопух, и они были счастливы, счастливы! И вся их семья была счастлива,— так-то!

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МАТЕРИ

Мать сидела у колыбели своего ребенка; как она горевала, как боялась, что он умрет! Личико его совсем побледнело, глазки были закрыты, дышал он так слабо, а по временам тяжело-тяжело переводил дух, точно вздыхал...

И сердце матери сжималось еще больнее при взгляде на маленького страдальца.

Вдруг в дверь постучали, и вошел бедный старик, закутанный во что-то вроде лошадиной попоны,— попона ведь греет, а ему того и надо было: стояла холодная зима, на дворе все было покрыто снегом и льдом, а ветер так и резал лицо.

Видя, что старик дрожит от холода, а дитя задремало на минуту, мать отошла от колыбели, чтобы налить для гостя в кружку пива и поставить его погреться в печку. Старик же в это время

подсел к колыбели и стал покачивать ребенка. Мать опустилась на стул рядом, взглянула на больного ребенка, прислушалась к его тяжелому дыханию и взяла его за ручку.

— Ведь я не лишусь его, не правда ли? — сказала она.— Господь не отнимет его у меня!

Старик — это была сама Смерть — как-то странно кивнул головою; кивок этот мог означать и «да» и «нет». Мать опустила голову, и слезы потекли по ее щекам... Скоро голова ее отяжелела,— бедная не смыкала глаз вот уже три дня и три ночи... Она забылась сном, но всего лишь на минуту; тут она опять встрепенулась и задрожала от холода.

— Что это!? — воскликнула она, озираясь вокруг: старик исчез, а с ним и дитя; старик унес его.

В углу глухо шипели старые часы; тяжелая, свинцовая гиря дошла до полу... Бум! И часы остановились.

Бедная мать выбежала из дома и стала громко звать своего ребенка.

На снегу сидела женщина в длинном черном одеянии, она сказала матери:

— Смерть посетила твой дом, и я видела, как она скрылась с твоим малюткой. Она носится быстрее ветра и никогда не возвращает, что раз взяла!

— Скажи мне только, какою дорогой она пошла! — сказала мать.— Только укажи мне путь, и я найду ее!

— Я знаю, куда она пошла, но не скажу, пока ты не споешь мне всех песенок, которые певала своему малютке! — сказала женщина в черном.— Я очень люблю их. Я уже слышала их не раз,— я ведь Ночь и видела, как ты плакала, напевая их!..

— Я спою тебе их все, все! — отвечала мать.— Но не задерживай меня теперь, мне надо догнать Смерть, найти моего ребенка!

Ночь молчала, и мать, ломая руки и заливаясь слезами, запела. Много было спето песен — еще больше пролито слез. И вот Ночь промолвила:

— Ступай направо, прямо в темный сосновый бор; туда направилась Смерть с твоим ребенком!

Дойдя до перекрестка в глубине бора, мать остановилась. Куда идти теперь? У самого перекрестка стоял голый терновый куст, без листьев, без цветов; была ведь холодная зима, и он почти весь обледенел.

— Не проходила ли тут Смерть с моим ребенком?

— Проходила! — сказал терновый куст.— Но я не скажу, куда она пошла, пока ты не отогреешь меня на своей груди, у своего сердца. Я мерзну и скоро весь обледенею.

И она крепко прижала его к своей груди. Острые шипы глубоко вонзились ей в тело, и на груди ее выступили крупные капли крови... Зато терновый куст зазеленел и весь покрылся цветами, несмотря на холод зимней ночи,— так тепло у сердца скорбящей матери! И терновый куст указал ей дорогу.

Она привела мать к большому озеру; нигде не было видно ни корабля, ни лодки. Озеро было слегка затянуто льдом; лед этот не выдержал бы ее и в то же время он не позволял ей пуститься через озеро вброд; да и глубоко было! А ей все-таки надо было переправиться через него, если она хотела найти своего ребенка. И вот мать приникла к озеру, чтобы выпить его все до дна; это невозможно для человека, но несчастная мать верила в чудо.

— Нет, из этого толку не будет! — сказало озеро.— Давай-ка лучше сговоримся! Я собираю жемчужины, а таких ясных и чистых, как твои глаза, я еще и не видывало. Если ты согласна выплакать их в меня, я перенесу тебя на тот берег, к большой теплице, где Смерть растит свои цветы и деревья: каждое растение — человеческая жизнь!

— О, чего я не отдам, чтобы только найти моего ребенка! — сказала плачущая мать, залилась слезами еще сильнее, и вот глаза ее упали на дно озера и превратились в две драгоценные жемчужины. Озеро же подхватило мать, и она одним взмахом, как на качелях, перенеслась на другой берег, где стоял огромный диковинный дом. И не разобрать было — гора ли это, обросшая кустарником и вся изрытая пещерами, или здание; бедная мать, впрочем, и вовсе не видела его,— она ведь выплакала свои глаза.

— Где же мне найти Смерть, похитившую моего ребенка? — проговорила она.

— Она еще не возвращалась! — отвечала старая садовница, присматривавшая за теплицей Смерти.— Но как ты нашла сюда дорогу, кто помог тебе?

— Господь бог! — отвечала мать.— Он сжалился надо мною, сжалься же и ты! Скажи, где мне искать моего ребенка?

— Да я ведь не знаю его! — сказала женщина.— А ты слепая! Сегодня в ночь завяло много цветов и деревьев, и Смерть скоро придет пересаживать их. Ты ведь знаешь, что у каждого человека есть свое дерево жизни или свой цветок, смотря по тому, каков он сам. С виду они совсем обыкновенные растения, но в каждом бьется сердце. Детское сердечко тоже бьется; обойди все растения — может быть, ты и узнаешь сердце своего ребенка. А что ты мне дашь, если я скажу тебе, как поступать дальше?

— Мне нечего дать тебе! — отвечала несчастная мать.— Но я готова пойти для тебя на край света!

— Ну, там мне нечего искать! — сказала женщина.— А ты вот отдай-ка мне свои длинные черные волосы. Ты сама знаешь, как они хороши, а я люблю хорошие волосы. Я дам тебе в обмен свои седые; это все же лучше, чем ничего!

— Только-то? — сказала мать.— Да я с радостью отдам тебе свои волосы!

И она отдала старухе свои прекрасные, черные волосы, получив в обмен седые.

Потом она вошла в огромную теплицу Смерти, где росли вперемежку цветы и деревья; здесь цвели под стеклянными колпаками нежные гиацинты, там росли большие, пышные пионы, тут — водяные растения, одни свежие и здоровые, другие — полузачахшие, обвитые водяными змеями, стиснутые клешнями черных раков. Были здесь и великолепные пальмы, и дубы, и платаны; росли и петрушка и душистый тмин. У каждого дерева, у каждого цветка было свое имя; каждый цветок, каждое деревцо было человеческою жизнью, а сами-то люди были разбросаны по всему свету: кто жил в Китае, кто в Гренландии, кто где. Попадались тут и большие деревья, росшие в маленьких горшках; им было страшно тесно, и горшки чуть-чуть не лопались; зато было много и маленьких, жалких цветочков, росших в черноземе и обложенных мхом, за ними, как видно, заботливо ухаживали, лелеяли их. Несчастная мать наклонялась ко всякому, даже самому маленькому, цветочку, прислушиваясь к биению его сердечка, и среди миллионов узнала сердце своего ребенка!

— Вот он! — сказала она, протягивая руку к маленькому голубому крокусу, который печально свесил головку.

— Не трогай цветка! — сказала старуха.— Но стань возле него и, когда Смерть придет — я жду ее с минуты на минуту,— не давай ей высадить его, пригрози вырвать какие-нибудь другие цветы. Этого она испугается — она ведь отвечает за них перед богом; ни один цветок не должен быть вырван без его воли.

Вдруг пахнуло леденящим холодом, и слепая мать догадалась, что явилась Смерть.

— Как ты нашла сюда дорогу? — спросила Смерть.— Как ты могла опередить меня?

— Я мать! — отвечала та.

И Смерть протянула было свою длинную руку к маленькому нежному цветочку, но мать быстро прикрыла его руками, стараясь не помять при этом ни единого лепестка. Тогда Смерть дохнула на ее руки; дыхание Смерти было холоднее северного ветра, и руки матери бессильно опустились.

— Не тебе тягаться со мною! — промолвила Смерть.

— Но бог сильнее тебя! — сказала мать.

— Я ведь только исполняю его волю! — отвечала Смерть.— Я его садовник, беру его цветы и деревья и пересаживаю их в великий райский сад, в неведомую страну, но как они там растут, что делается в том саду — об этом я не смею сказать тебе!

— Отдай мне моего ребенка! — взмолилась мать, заливаясь слезами, а потом вдруг вцепилась руками в два великолепных цветка и закричала: — Я вырву все твои цветы, я в отчаянии!

— Не трогай их! — сказала Смерть.— Ты говоришь, что ты несчастна, а сама хочешь сделать несчастною другую мать!..

— Другую мать! — повторила бедная женщина и сейчас же выпустила из рук цветы.

— Вот тебе твои глаза! — сказала Смерть.— Я выловила их из озера — они так ярко блестели там; но я и не знала, что это твои. Возьми их — они стали яснее прежнего — и взгляни вот сюда, в этот глубокий колодец! Я назову имена тех цветков, что ты хотела вырвать, и ты увидишь все их будущее, всю их земную жизнь. Посмотри же, что ты хотела уничтожить!

И мать взглянула в колодец: отрадно было видеть, каким благодеянием была для мира жизнь одного, сколько счастья и радости дарил он окружающим! Взглянула она и на жизнь другого — и увидела горе, нужду, отчаяние и бедствия!

— Обе доли — божья воля! — сказала Смерть.

— Который же из двух — цветок несчастья и который — счастья? — спросила мать.

— Этого я не скажу! — отвечала Смерть.— Но знай, что в судьбе одного из них ты видела судьбу своего собственного ребенка, все его будущее!

У матери вырвался крик ужаса.

— Какая же судьба ожидала моего ребенка? Скажи мне! Спаси невинного! Спаси мое дитя от всех этих бедствий! Лучше возьми его! Унеси его в царство божье! Забудь мои слезы, мои мольбы, все, что я говорила и делала!

— Я не пойму тебя! — сказала Смерть.— Хочешь, чтобы я отдала тебе твое дитя или чтобы унесла его в неведомую страну?

Мать заломила руки, упала на колени и взмолилась творцу:

— Не внемли мне, когда я прошу о чем-либо, несогласном с твоею всеблагою волей! Не внемли мне! Не внемли мне!

И она поникла головою...

А Смерть понесла ее ребенка в неведомую страну.

ВОРОТНИЧОК

Жил-был щеголь; у него только и было за душой, что сапожная подставка, гребенка да еще чудеснейший щегольской воротничок. Вот о воротничке-то и пойдет речь.

Воротничок уже довольно пожил на свете и стал подумывать о женитьбе. Случилось ему раз попасть в стирку вместе с чулочною подвязкой.

— Ах! — сказал воротничок.— Что за грация, что за нежность и миловидность! Никогда не видал ничего подобного! Позвольте узнать ваше имя?

— Ах, нет-нет! — отвечала подвязка.

— А где вы, собственно, изволите пребывать?

Но подвязка была очень застенчива, вопрос показался ей нескромным, и она молчала.

— Вы, вероятно, завязка? — продолжал воротничок.— Вроде тесемки, которая стягивает платье на талии? Да-да, я вижу, милая барышня, что вы служите и для красы, и для пользы.

— Пожалуйста, не заводите со мной разговоров! — сказала подвязка.— Я, кажется, не подала вам никакого повода!

— Ваша красота — достаточный повод! — сказал воротничок.

— Ах, сделайте одолжение, держитесь подальше! — вскричала подвязка.— Вы на вид настоящий мужчина!

— Как же, я ведь щеголь! — сказал воротничок.— У меня есть сапожная подставка и гребенка!

Неправда. Эти вещи принадлежали не ему, а его господину; воротничок просто хвастался.

— Подальше, подальше! — сказала подвязка.— Я не привыкла к такому обращению!

— Недотрога! — сказал воротничок.

Тут его взяли из корыта, выстирали, накрахмалили, высушили на солнце и положили на гладильную доску.

Появился горячий утюг.

— Сударыня! — сказал воротничок утюжной плитке.— Прелестная вдовушка! Я пылаю! Со мной происходит какое-то превращение! Я сгораю! Вы прожигаете меня насквозь! Ух!.. Вашу руку и сердце!

— Ах ты, рвань! — сказала утюжная плитка и гордо проехалась по воротничку. Она воображала себя локомотивом, который тащит за собой по рельсам вагоны.— Рвань! — повторила она.

Воротничок немножко пообтрепался по краям, и явились ножницы подровнять их.

— О! — воскликнул воротничок.— Вы, должно быть, первая танцовщица! Вы так чудесно вытягиваете ножки! Ничего подоб-

«Домовой у лавочника»

ного не видывал! Кто из людей может сравниться с вами? Вы бесподобны!

— Знаем! — сказали ножницы.

— Вы достойны быть графиней! — продолжал воротничок.— Я владею только барином-щеголем, сапожною подставкой и гребенкой... Ах, будь у меня графство...

— Он сватается?! — вскричали ножницы и, осердясь, с размаху так резнули воротничок, что совершенно искалечили его.

Пришлось его бросить.

— Остается присвататься к гребенке! — сказал воротничок.— Удивительно, как сохранились ваши зубки, барышня!.. А вы никогда не думали о замужестве?

— Как же! — сказала гребенка.— Я уже невеста! Выхожу за сапожную подставку!

— Невеста! — воскликнул воротничок.

Теперь ему не за кого было свататься, и он стал презирать всякое сватовство.

Время шло, и воротничок попал наконец с прочим тряпьем на бумажную фабрику. Тут собралось большое тряпичное общество; тонкие тряпки держались, как и подобает, подальше от грубых. У каждой нашлось о чем порассказать, у воротничка, конечно, больше всех: он был страшный хвастун.

— У меня было пропасть невест! — тараторил он.— Так и бегали за мной. Еще бы! Подкрахмаленный, я выглядел таким франтом! У меня даже были собственные сапожная подставка и гребенка, хотя я никогда и не пользовался ими. Посмотрели бы вы на меня, когда я лежал, бывало, на боку! Никогда не забыть мне моей первой невесты — завязки! Она была такая тонкая, нежная, мягкая! Она бросилась из-за меня в лохань! Была тоже одна вдовушка; она дошла просто до белого каления!.. Но я оставил ее, и она почернела с горя! Еще была первая танцовщица; это она ранила меня,— видите? Бедовая была! Моя собственная гребенка тоже любила меня до того, что порастеряла от тоски все свои зубы! Вообще немало у меня было разных приключений!.. Но больше всего жаль мне подвязку, то бишь — завязку, которая бросилась из-за меня в лохань. Да, много у меня кое-чего на совести!.. Пора, пора мне стать белою бумагою!

Желание его сбылось: все тряпье стало белою бумагой, а воротничок — как раз вот этим самым листом, на котором напечатана его история,— так он был наказан за свое хвастовство. И нам тоже не мешает быть осторожнее: как знать? Может быть, и нам придется в конце концов попасть в тряпье да стать белою бумагой, на которой напечатают нашу собственную историю, и вот пойдешь разносить по белу свету всю подноготную о самом себе!

БУЗИННАЯ МАТУШКА

Один маленький мальчик раз простудился; где он промочил себе ноги — никто и понять не мог: погода стояла совсем сухая. Мать раздела его, уложила в постель и велела принести чайник, чтобы заварить бузинного чая — отличное потогонное! В это самое время в комнату вошел славный, веселый старичок, живший в верхнем этаже того же дома. Он был совсем одинок, не было у него ни жены, ни деток, а он так любил детей, умел рассказывать им такие чудесные сказки и истории, что просто чудо.

— Ну, выпей свой чай, а потом, может быть, услышишь сказку! — сказала мать.

— То-то вот, если бы знать какую-нибудь новенькую! — отвечал старичок, ласково кивая головой.— Но где же это наш мальчуган промочил себе ноги?

— Да, вот где? — сказала мать.— Никто и понять не может!

— А сказка будет? — спросил мальчик.

— Сначала мне нужно знать, глубока ли водосточная канава в переулке, где ваша школа? Можешь ты мне сказать это?

— Как раз мне по голенище! — отвечал мальчик.— Но это в самом глубоком месте!

— Вот отчего у нас и мокрые ноги! — сказал старичок.— Теперь следовало бы рассказать тебе сказку, да ни одной новой не знаю!

— Вы сейчас же можете сочинить ее! — сказал мальчик.— Мама говорит, что вы на что ни взглянете, до чего ни дотронетесь, из всего у вас выходит сказка или история.

— Да, но такие сказки и истории никуда не годятся. Настоящие, те приходят сами! Придут и постучатся мне в лоб: «Вот я!»

— А скоро какая-нибудь постучится? — спросил мальчик.

Мать засмеялась, засыпала в чайник бузинного чая и заварила.

— Ну, расскажите же! Расскажите какую-нибудь сказку!

— Да, вот если бы пришла сама! Но они важные, приходят только, когда им самим вздумается! Стой,— сказал он вдруг.— Вот она! Гляди на чайник!

Мальчик посмотрел; крышка чайника начала приподыматься, и из-под нее выглянули свежие беленькие цветочки бузины, затем выросли и длинные зеленые ветви. Они росли даже из носика чайника, и скоро перед мальчиком был целый куст; ветви тянулись к самой постели и раздвигали занавески. Как славно цвела и благоухала бузина! Из зелени ее выглядывало ласковое лицо старушки, одетой в какое-то удивительное платье, зеленое, как листья бузины, и все усеянное белыми цветочками. Сразу даже не разо-

брать было — платье ли это или просто зелень и живые цветочки бузины.

— Что это за старушка? — спросил мальчик.

— Римляне и греки звали ее Дриадой! — сказал старичок.— Но для нас это слишком мудреное имя, и у нас в Новой слободке ей дали прозвище получше: Бузинная матушка. Смотри же на нее хорошенько да слушай, что я буду рассказывать!

Такой же точно большой, покрытый цветами куст рос в углу одного бедного дворика в Новой слободке. Под кустом сидели в послеобеденный час и грелись на солнышке старичок со старушкой: старый отставной матрос и его жена. Старички были богаты детьми, внуками и правнуками и скоро должны были отпраздновать свою золотую свадьбу, да только не помнили хорошенько дня и числа. Из зелени глядела на них Бузинная матушка, такая же славная и приветливая, как вот эта, над чайником, и говорила: «Я-то знаю день вашей золотой свадьбы!» Но старики были заняты разговором — они вспоминали старину — и не слышали ее.

— Да, помнишь,— сказал старый матрос,— как мы бегали и играли с тобой детьми! Вот тут, на этом самом дворе, мы сажали садик! Помнишь, втыкали в землю прутики и веточки?

— Да, да! — подхватила старушка.— Помню, помню! Мы усердно поливали эти веточки; одна из них была бузинная, пустила корни, ростки и вот как разрослась! Мы, старички, можем теперь сидеть в ее тени!

— Правда! — продолжал муж.— А вон в том углу стоял чан с водою. Там мы пускали мой кораблик, который я сам вырезал из дерева. Как он плавал! А скоро мне пришлось пуститься и в настоящее плавание!

— Да, но прежде еще мы ходили в школу и кое-чему научились! — перебила старушка.— А потом нас конфирмовали. Мы оба прослезились тогда!.. А потом взялись за руки и пошли осматривать Круглую башню, взбирались на самый верх и любовались оттуда городом и морем. После же мы отправились в Фредериксберг и смотрели, как катались по каналам в своей великолепной яхте король с королевой.

— Да, и скоро мне пришлось пуститься в настоящее плавание! Много, много лет провел я вдали от родины!

— Сколько слез я пролила! Мне уж думалось, что ты умер и лежишь на дне морском! Не раз вставала я по ночам посмотреть, вертится ли флюгер. Флюгер-то вертелся, а ты все не приезжал! Я отлично помню, как однажды, в самый ливень, во двор к нам приехал мусорщик. Я жила там в прислугах и вышла с мусорным ящиком, да остановилась в дверях. Погода-то была ужасная! В это самое время пришел почтальон и подал мне письмо от тебя. При-

шлось же этому письму погулять по белу свету! Как я схватила его!.. И сейчас же принялась читать. Я смеялась и плакала зараз... Я была так рада! В письме говорилось, что ты теперь в теплых краях, где растет кофе! Вот, должно быть, благословенная страна! Ты много еще о чем рассказывал в своем письме, и я все это словно видела перед собою. Дождь так и поливал, а я все стояла в дверях с мусорным ящиком. Вдруг кто-то обнял меня за талию...

— Да, и ты закатила ему такую звонкую пощечину, что любо!

— Ведь я же не знала, что это ты! Ты догнал свое письмо! Какой ты был бравый, красивый, да ты и теперь все такой же! Из кармана у тебя торчал желтый шелковый платок, а на голове красовалась клеенчатая шляпа. Такой щеголь! Но что за погодка стояла, и на что была похожа наша улица!

— Потом мы поженились! — продолжал старый матрос.— Помнишь? А там пошли у нас детки: первый мальчуган, потом Мари, Нильс, Петер и Ханс Кристиан!

— Как они выросли и какими стали славными людьми! Все их любят!

— Теперь уж и у их детей есть дети! — сказал старичок.— И какие крепыши наши правнуки!.. Сдается мне, что наша свадьба была как раз в эту пору.

— Как раз сегодня! — сказала Бузинная матушка и просунула голову между старичками, но те подумали, что это кивает им головой соседка. Они сидели рука в руку и любовно смотрели друг на друга. Немного погодя пришли к ним дети и внучата. Они-то отлично знали, что сегодня день золотой свадьбы стариков, и уже поздравляли их утром, но старички успели позабыть об этом, хотя отлично помнили все, что случилось много, много лет тому назад. Бузина так и благоухала, солнышко садилось и светило на прощанье старичкам прямо в лицо, разрумянивая их щеки. Младший из внуков плясал вокруг дедушки с бабушкой и радостно кричал, что сегодня вечером у них будет пир: за ужином подадут горячий картофель! Бузинная матушка кивала головой и кричала «ура» вместе со всеми.

— Да ведь это вовсе не сказка! — сказал мальчуган, когда рассказчик остановился.

— Это ты так говоришь,— отвечал старичок,— а вот спроси-ка Бузинную матушку!

— Это не сказка! — отвечала Бузинная матушка.— Но сейчас начнется и сказка! Из действительности-то и вырастают чудеснейшие сказки. Иначе бы мой благоухающий куст не вырос бы из чайника.

С этими словами она взяла мальчика на руки; ветви бузины, покрытые цветами, вдруг сдвинулись, и мальчик со старушкой

очутились словно в густой беседке, которая понеслась с ними по воздуху. Вот было хорошо! Бузинная матушка превратилась в маленькую прелестную девочку, но платьице на ней осталось то же — зеленое, все усеянное белыми цветочками. На груди девочки красовался живой бузинный цветочек, на светло-русых кудрях — целый венок из тех же цветов. Глаза у нее были большие, голубые. Ах, она была такая хорошенькая, что просто загляденье! Мальчик поцеловался с девочкой, и оба стали одного возраста, одних мыслей и чувств.

Рука об руку вышли они из беседки и очутились в саду перед домом. На зеленой лужайке стояла прислоненная к дереву тросточка отца. Для детей и тросточка была живая; стоило сесть на нее верхом, и блестящий набалдашник стал великолепной лошадиной головой с длинной развевающейся гривой; затем выросли четыре тонкие крепкие ноги, и горячий конь помчал детей вокруг лужайки.

— Теперь мы поскачем далеко-далеко! — сказал мальчик.— В барскую усадьбу, где мы были в прошлом году!

И дети скакали вокруг лужайки, а девочка — мы ведь знаем, что это была сама Бузинная матушка,— приговаривала:

— Ну, вот мы и за городом! Видишь крестьянские домики? А вон те полукруглые выступы в стене, похожие на исполинские яйца? Это ведь хлебные печи. Над домиками раскинула свои ветви бузина. Вот бродит по двору петух! Знай себе разгребает сор и выискивает корм для кур! Гляди, как он важно выступает!.. А вот мы и на высоком холме, у церкви! Какие славные развесистые дубы растут вокруг нее! Один из них наполовину вылез из земли с корнями!.. Вот мы у кузницы! Гляди, как ярко пылает огонь, как работают тяжелыми молотами полунагие люди! Искры сыплются дождем!.. Но дальше, дальше, в барскую усадьбу!

И все, что ни называла девочка, сидевшая верхом на палке позади мальчика, мелькало перед их глазами. Мальчик видел все это, а между тем они только кружились по лужайке. Потом они отправились в боковую аллею и стали там устраивать себе маленький садик. Девочка вынула из своего венка один бузинный цветочек и посадила его в землю; он пустил корни и ростки, и скоро вырос большой куст бузины, точь-в-точь как у старичков в Новой слободке, когда они были еще детьми. Мальчик с девочкой взялись за руки и тоже пошли гулять, но отправились не на Круглую башню и не в Фредериксбергский сад; нет, девочка крепко обняла мальчика, поднялась с ним на воздух, и они полетели над Данией. Весна сменялась летом, лето — осенью и осень — зимою; тысячи картин отражались в глазах и запечатлевались в сердце мальчика, а девочка все приговаривала:

— Этого ты не забудешь никогда!

А бузина благоухала так сладко, так чудно! Мальчик вдыхал и аромат роз, и запах свежих буков, но бузина пахла все сильнее,— ведь ее цветочки красовались у девочки на груди, а к ней он так часто склонялся головою.

— Как чудесно здесь весной! — сказала девочка, и они очутились в свежем, зеленом буковом лесу; у их ног цвела душистая белая буквица, из травки выглядывали прелестные бледно-розовые анемоны.— О, если бы вечно царила весна в благоухающих датских лесах!

— Как хорошо здесь летом! — сказала она, и они проносились мимо старой барской усадьбы с древним рыцарским замком; красные стены и фронтоны отражались в прудах; по ним плавали лебеди, заглядывая в темные, прохладные аллеи сада. Нивы волновались, точно море, во рвах пестрели красненькие и желтенькие полевые цветочки, по изгородям вился дикий хмель и цветущий вьюнок. А вечером высоко взошла круглая ясная луна, с лугов понесся сладкий аромат свежего сена! Это не забудется никогда!

— Как чудно здесь осенью! — снова говорила девочка, и свод небесный вдруг стал вдвое выше и синее. Леса запестрели красными, желтыми и еще зелеными листьями. Охотничьи собаки вырвались на волю! Целые стаи уток с криком полетели над курганами, где лежат старые камни, обросшие ежевикой. На темно-синем море забелели паруса, а старухи, девушки и дети чистили хмель и бросали его в большие чаны. Молодежь распевала старинные песни, а старухи рассказывали сказки про троллей и домовых. Лучше не может быть нигде!

— А как хорошо здесь зимою! — говорила она затем, и все деревья покрылись инеем; ветви их превратились в белые кораллы. Снег захрустел под ногами, точно на всех были новые сапоги, а с неба посыпались, одна за другою, падучие звездочки. В домах зажглись елки, обвешанные подарками; все люди радовались и веселились. В деревнях, в крестьянских домиках не умолкали скрипки, летели в воздух яблочные пышки. Даже самые бедные дети говорили: «Как хорошо зимою!»

Да, хорошо! Девочка показывала все это мальчику, и повсюду благоухала бузина, повсюду развевался красный флаг с белым крестом, флаг, под которым плавал старый матрос из Новой слободки. И вот мальчик стал юношею, и ему тоже пришлось отправиться в дальнее плавание в теплые края, где растет кофе. На прощанье девочка дала ему цветок с своей груди, и он спрятал его в псалтырь. Часто вспоминал он на чужбине свою родину и раскрывал книгу — всегда на том самом месте, где лежал цветочек, данный ему на память! И чем больше юноша смотрел на цветок,

тем свежее тот становился и сильнее пахнул, а юноше казалось, что до него доносится аромат датских лесов. В лепестках же цветка ему чудилось личико голубоглазой девочки; он как будто слышал ее шепот: «Как хорошо тут весною, летом, осенью и зимою!» И сотни картин проносились в его памяти.

Так прошло много лет; он состарился и сидел со своею старушкой женой под цветущим кустом бузины. Они держались за руки и говорили о былых днях и о своей золотой свадьбе, точь-в-точь как их прадед и прабабушка из Новой слободки. Голубоглазая девочка с бузинными цветочками в волосах и на груди сидела в ветвях бузины, кивала им головой и говорила: «Сегодня ваша золотая свадьба!» Потом она вынула из своего венка два цветочка, поцеловала их, и они заблестели сначала как серебряные, а потом как золотые. Когда же девочка возложила их на головы старичков, цветы превратились в короны, и муж с женой сидели под цветущим, благоухающим кустом, словно король с королевой.

И вот старик пересказал жене историю о Бузинной матушке, как сам слышал ее в детстве, и обоим казалось, что в той истории было так много похожего на историю их собственной жизни. И как раз то, что было в ней похожего, больше всего и нравилось им.

— Да, так-то! — сказала девочка, сидевшая в зелени.— Кто зовет меня Бузинной матушкой, кто Дриадой, а настоящее-то мое имя Воспоминание. Я сижу на дереве, которое все растет и растет; я помню все и умею рассказывать обо всем! Покажи-ка, цел ли еще у тебя мой цветочек?

И старик раскрыл псалтырь: бузинный цветочек лежал такой свежий, точно его сейчас только вложили туда! Воспоминание дружески кивало старичкам, а те сидели в золотых коронах, освещенные пурпурным вечерним солнцем. Глаза их закрылись и, и... да тут и сказке конец!

Мальчик лежал в постели и сам не знал, видел ли он все это во сне или только слушал сказку. Чайник стоял на столе, но из него не росла бузина, а старичок уже собирался уходить и вскоре ушел.

— Какая прелесть! — сказал мальчик.— Мама, я побывал в теплых краях!

— Верю, верю! — сказала мать.— После двух таких чашек крепкого бузинного чая не мудрено побывать в теплых краях! — И она хорошенько укутала его, чтобы он не простудился.— Ты славно поспал, пока мы со старичком сидели да спорили о том, сказка это или быль!

— А где же Бузинная матушка? — спросил мальчик.

— В чайнике! — ответила мать.— И пусть себе там остается!

ЛЕН

Лен цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже еще нежнее! Солнце ласкало его, дождь поливал, и льну это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать сначала умоет их, а потом поцелует, дети от этого хорошеют, хорошел и лен.

— Все говорят, что я уродился на славу! — сказал лен.— Говорят, что я еще вытянусь, и потом из меня выйдет отличный кусок холста! Ах, какой я счастливый! Право, я счастливее всех! Это так приятно, что и я пригожусь на что-нибудь! Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает! Ах, я так счастлив, так счастлив! Я счастливее всех!

— Да, да, да! — сказали колья изгороди.— Ты еще не знаешь света, а мы так вот знаем,— вишь, какие мы сучковатые!

И они жалобно заскрипели:

Оглянуться не успеешь,
Как уж песенке конец!

— Вовсе не конец! — сказал лен.— И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет дождик! Я чувствую, что расту и цвету! Я счастливее всех на свете!

Но вот раз явились люди, схватили лен за макушку и вырвали с корнем. Больно было! Потом его положили в воду, словно собирались утопить, а после того держали над огнем, будто хотели изжарить. Ужас что такое!

— Не вечно же нам жить в свое удовольствие! — сказал лен.— Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь!

Но льну приходилось уж очень плохо. Чего-чего только с ним не делали: и мяли, и тискали, и трепали, и чесали — да просто всего и не упомнишь! Наконец, он очутился на прялке. Жжж! Тут уж поневоле все мысли вразброд пошли!

«Я ведь так долго был несказанно счастлив! — думал он во время этих мучений.— Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю! Да, надо, надо!.. Ох!»

И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Но вот наконец из него вышел большой кусок великолепного холста. Весь лен до последнего стебелька пошел на этот кусок.

— Но ведь это же бесподобно! Вот уж не думал, не гадал-то! Как мне, однако, везет! А колья-то все твердили: «Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец!» Много они смыслили, нечего сказать! Песенке вовсе не конец! Она только теперь и начинается. Вот счастье-то! Да, если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на

свете! Какой я теперь крепкий, мягкий, белый и длинный! Это небось получше, чем просто расти или даже цвести в поле! Там никто за мною не ухаживал, воду я только и видал, что в дождик, а теперь ко мне приставили прислугу, каждое утро меня переворачивают на другой бок, каждый вечер поливают из лейки! Сама пасторша держала надо мною речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего куска! Ну, можно ли быть счастливее меня!

Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну, и досталось же ему! Его и резали, и кроили, и кололи иголками — да, да! Нельзя сказать, чтобы это было приятно! Зато из холста вышло двенадцать пар... таких принадлежностей туалета, которые не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых двенадцать пар вышло!

— Так вот когда только из меня вышло кое-что! Вот каково было мое назначение! Да ведь это же просто благодать! Теперь и я приношу пользу миру, а в этом ведь вся и суть, в этом-то вся и радость жизни! Нас двенадцать пар, но все же мы одно целое, мы — дюжина! Вот так счастье!

Прошли года, и белье износилось.

— Всему на свете бывает конец! — сказало оно.— Я бы и радо было послужить еще, но невозможное — невозможно!

И вот белье разорвали на тряпки. Они было уже думали, что им совсем пришел конец, так их принялись рубить, мять, варить, тискать... Ан, глядь — они превратились в тонкую белую бумагу!

— Нет, вот сюрприз так сюрприз! — сказала бумага.— Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать. Чего только на мне не напишут! Какое счастье!

И на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее,— так хорошо и умно они были написаны. Какое счастье, что люди смогли их прочитать!

— Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубенькими цветочками! — говорила бумага.— И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастье нести людям радость и знания! Я все еще не могу прийти в себя от счастья! Самой себе не верю! Но ведь это так! Господь бог знает, что сама я тут ни при чем, я старалась только по мере слабых сил своих не даром занимать место! И вот он ведет меня от одной радости и почести к другой! Всякий раз, как я подумаю: «Ну, вот и песенке конец»,— тут-то как раз и начинается для меня новая, еще высшая, лучшая жизнь! Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне! Так ведь и должно быть! Прежде у меня были голубенькие цветочки, теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшею мыслью! Счастливее меня нет никого на свете!

Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию, и все, что на ней было написано, перепечатали в книгу, да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большему числу людей, нежели одна та бумага, на которой были написаны рассказы: бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути.

«Да, конечно, так дело-то будет вернее! — подумала исписанная бумага.— Это мне и в голову не приходило! Я останусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую бабушку! На мне ведь все написано, слова стекали с пера прямо на меня! Я останусь, а книги будут бегать по белу свету! Вот это дело! Нет, как я счастлива, как я счастлива!

Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе и положили на полку.

— Ну, можно теперь и опочить на лаврах! — сказала бумага.— Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточиться! Теперь только я поняла как следует, что во мне есть! А познать себя самое — большой шаг вперед. Но что же будет со мной потом? Одно я знаю — что непременно двинусь вперед! Все на свете постоянно идет вперед, к совершенству.

В один прекрасный день бумагу взяли, да и сунули в плиту; ее решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную лавочку на обертку масла и сахара.

Дети обступили плиту; им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет и как потом по золе начнут перебегать и потухать одна за другою шаловливые, блестящие искорки! Точь-в-точь ребятишки бегут домой из школы! После всех выходит учитель — это последняя искра. Но иногда думают, что он уже вышел — ан нет! Он выходит еще много времени спустя после самого последнего школьника!

И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула!

— Уф! — сказала она и в ту же минуту превратилась в столб пламени, которое взвилось в воздух высоко-высоко, лен никогда не мог поднять так высоко своих голубеньких цветочных головок, и пламя сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение зарделись, и все слова и мысли обратились в пламя!

— Теперь я взовьюсь прямо к солнцу! — сказало пламя, словно тысячами голосов зараз, и взвилось в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче, воздушнее пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько когда-то было цветочков на льне. Когда пламя погасло, они еще раз проплясали по черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок. Ребятишки выбежали из школы,

за ними вышел и учитель; любо было поглядеть на них! И дети запели над мертвою золой:

Оглянуться не успеешь,
Как уж песенке конец!

Но незримые крошечные существа говорили:

— Песенка никогда не кончается — вот что самое чудесное! Мы знаем это, и потому мы счастливее всех!

Но дети не расслышали ни одного слова, а если б и расслышали,— не поняли бы. Да и не надо! Не все же знать детям!

ДИРЕКТОР КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

В числе пассажиров на пароходе находился пожилой господин с таким веселым и довольным лицом, что если не сомневаться в его искренности, то его пришлось бы признать счастливейшим человеком на свете. Да так оно и было — он сам сказал мне это. Оказался он моим земляком, датчанином, и директором странствующей труппы. Всю труппу он возил с собою в большом сундуке: это были куклы. Его природный веселый нрав прошел через горнило испытания и закалился благодаря эксперименту одного политехника. Последний превратил директора в истинного счастливца. Сразу я не понял, в чем суть; тогда он подробно рассказал мне всю историю. Вот она.

— Дело было в городе Слагельсе,— рассказывал он.— Я давал представление в зале на почтовой станции; сбор был полный, публика блестящая, но совсем зеленая, за исключением двух-трех пожилых матрон. Вдруг входит господин в черной паре, с виду студент, садится и где следует смеется, где следует аплодирует!.. Зритель не из обыкновенных! Я захотел узнать, кто он такой. Слышу — кандидат политехнических наук, командированный в провинцию просвещать народ. В восемь часов вечера представление мое кончилось, детям надо ведь ложиться спать пораньше, а мое дело заботиться об удобствах публики. В девять часов начал читать лекцию и показывать свои опыты кандидат, и теперь я превратился в слушателя. Да оно и стоило послушать и поглядеть! Правда, большая часть лекции была мне, как говорится, не по зубам, но мне стало ясно одно: если мы, люди, способны додуматься до таких вещей, то должны годиться кое на что и после того, как нас упрячут в землю. Кандидат положительно делал маленькие чудеса, но все выходило у него так просто, естественно! Во времена Моисея и пророков такой политехник прослыл бы за

одного из первых мудрецов, а в средние века его бы просто сожгли! Всю ночь я не мог заснуть; на другой день вечером я опять давал представление; кандидат снова присутствовал, и я был, что называется, в ударе. Я слышал от одного актера, что он, играя роли первых любовников, всегда имел в виду одну из зрительниц, для нее одной и играл, забывая всех остальных. Такою «зрительницей» стал для меня кандидат; для него я и играл. Представление кончилось, всю мою труппу вызывали много раз, а меня кандидат пригласил к себе распить с ним в компании бутылочку вина. Он говорил о моем театре, а я — о его науке, и думаю, что оба мы были одинаково довольны друг другом, но я в своем деле все-таки достиг большего: он-то многих из своих фокусов и сам объяснить не мог. Почему, например, железная пластинка, пропущенная сквозь спираль, намагничивается? Она словно одухотворяется, но как, чем? Вот и с людьми то же самое, думается мне: создатель пропускает их через спираль времени, на них нисходит дух, и вот вам — Наполеон, Лютер или кто-нибудь другой в этом роде. «Мир — ряд чудес,— сказал мой кандидат,— но мы так привыкли к ним, что зовем их обыденными явлениями». И он пустился в объяснения; под конец мне стало казаться, что мне как будто приподняли темя и черепная коробка моя расширилась! Я сознался, что, не уйди уже мое время, я бы сейчас же поступил в политехнический институт учиться разбирать мир по косточкам, даром что я и без того один из счастливейших людей на свете! «Один из счастливейших людей! — повторил кандидат, словно смакуя мои слова.— Так вы счастливы?» — «Да! — ответил я.— Я счастлив; меня с моей труппой принимают отлично во всех городах. Правда, есть у меня одно желание, которое иногда дразнит меня, как бесенок, и смущает мой веселый нрав... Мне бы хотелось стать директором настоящей труппы!» — «Вы хотели бы оживить своих марионеток? Желали бы, чтобы они сделались настоящими актерами, а вы директором настоящей труппы? — спросил меня кандидат.— Вы думаете, что будете тогда вполне счастливы?»

Сам он этого не думал, а я думал, и мы долго спорили, но каждый остался при своем мнении. Разговаривая, мы не переставали чокаться; вино было доброе, но не простое, что ни говори; иначе пришлось бы объяснить всю историю тем, что я попросту наклюкался! Но пьян я не был, ни-ни!.. Вдруг вижу: всю комнату точно озарило солнцем; лицо кандидата так и светится. Мне сейчас вспомнились сказания о вечно юных богах древности, разгуливавших по свету. Я сказал ему об этом, он улыбнулся, и я готов был поклясться, что передо мною сидит переодетый бог или один из сродников богов. Так оно и было; и вот желанию моему суждено было исполниться: куклы сделались живыми людьми, а я — настоящим

директором. По этому случаю мы выпили еще; потом кандидат запрятал всех моих кукол в сундук, привязал его к моей спине и пропустил меня через спираль. Я и теперь еще слышу, как я шлепнулся на пол!

В самом деле, я лежал на полу, а вся моя труппа выпрыгнула из ящика. Куклы превратились в замечательных артистов — это они сами мне сказали,— а я был их директором. Все было готово к первому представлению, но вся труппа желала поговорить со мною, публика тоже. Первая танцовщица заявила, что, если она не будет стоять на одной ножке, сборы падут; она являлась главным лицом в труппе и требовала соответственного обращения. Кукла, игравшая королев, желала, чтобы с нею и вне сцены обходились, как с королевой,— иначе она отвыкнет от своего амплуа! Выходной актер, являвшийся с письмом, воображал себя такою же артистическою величиною, как и первый любовник: нет ни малых, ни великих актеров, все одинаково важны в смысле сценического ансамбля! Трагик же требовал, чтобы вся его роль сплошь состояла из одних сильных мест: за ними ведь следуют аплодисменты и вызовы. Примадонна хотела играть только при красном бенгальском освещении — это ей шло, а голубое было не к лицу. Словом, все жужжали, точно мухи в бутылке, а в середине ее сидел я сам — я был директором! Дыхание спиралось у меня в груди, голова кружилась, я очутился в самом жалком положении, в какое только может попасть человек: меня окружала совсем новая порода людей! Я от души желал упрятать их всех опять в сундук и вовеки не бывать настоящим директором! Я и сказал им прямо, что все они, в сущности, только марионетки, а они за это избили меня до полусмерти. Очнулся я на своей постели, в своей комнате. Как я попал туда, знает, может быть, кандидат, но не я. Месяц светил прямо на пол, а на полу валялся опрокинутый сундук и вокруг него все мои куклы, малые и большие,— вся труппа! Я зевать не стал, спрыгнул с постели, побросал их всех в сундук, одних ногами вниз, других головой, захлопнул крышку и сам уселся на нее. Вот-то была картина! Можете себе представить? Я могу. «Ну-с, теперь вы останетесь там! — сказал я куклам.— А я никогда больше не пожелаю оживить вас!» На душе у меня стало так легко, я опять был счастливейшим человеком. Кандидат политехнических наук просветил меня. Я был до того счастлив, что как сидел на сундуке, так и заснул. Утром — скорее, впрочем, в полдень, я непостижимо долго спал в этот день! — я проснулся и увидал, что все еще сижу на сундуке. Теперь я был вполне счастлив: я убедился, что мое прежнее желание было просто глупостью. Я справился о кандидате, но он исчез, как исчезали греческие и римские боги. С тех пор я и считаю себя счастливей-

шим человеком. Ну, не счастливый ли я в самом деле директор? Труппа моя не рассуждает, публика тоже, а забавляется себе от всей души. И я свободно могу сам сочинять для себя пьесы. Из всех пьес я беру что хочу — самое лучшее, и никто не в претензии. Есть такие пьесы, которыми теперь директора больших театров пренебрегают, но которые лет тридцать тому назад давали полные сборы, заставляли публику проливать слезы: я даю эти пьесы на своей сцене, и малыши плачут, как, бывало, плакали их папаши и мамаши. Я даю «Иоганну Монфокон» и «Дювеке» — конечно, в сокращенном виде: малыши не любят длинной любовной канители; им бы хоть плохой конец, да скоро. Так-то изъездил я всю Данию и вдоль и поперек, знаю всех, и меня знают все. Теперь вот направляюсь в Швецию; посчастливится мне там, наживу деньжонок — сделаюсь скандинавом, а иначе — нет; говорю вам откровенно, как своему земляку!

А я, конечно, не замедлил рассказать о своей встрече вам; такая уж у меня повадка — рассказывать.

ИСТОРИЯ ГОДА

Дело было в конце января; бушевала страшная метель; снежные вихри носились по улицам и переулкам; снег залеплял окна домов, валился с крыш комьями, а ветер так и подгонял прохожих. Они бежали, летели стремглав, пока не попадали друг другу в объятия и не останавливались на минуту, крепко держась один за другого. Экипажи и лошади были точно напудрены; лакеи стояли на запятках спиною к экипажам и к ветру, а пешеходы старались держаться за ветром под прикрытием карет, едва тащившихся по глубокому снегу. Когда же наконец метель утихла и вдоль домов прочистили узенькие дорожки, прохожие беспрестанно сталкивались и останавливались друг перед другом в выжидательных позах: никому не хотелось первому шагнуть в снежный сугроб, уступая дорогу другому. Но вот, словно по безмолвному соглашению, каждый бесстрашно ступал в снег, но только одной ногой.

К вечеру метель совсем стихла; небо стало таким ясным, чистым, точно его вымели, и казалось даже как-то выше и прозрачнее, а звездочки, словно вычищенные заново, сияли и искрились голубоватыми огоньками. Мороз так и трещал, и к утру верхний слой снега настолько окреп, что воробьи прыгали по нему, не проваливаясь. Они перепархивали с сугроба на сугроб, скакали и по прочищенным тропинкам, но ни тут, ни там не попадалось ничего съедобного. Воробышки порядком иззябли.

— Пиш! — говорили они между собою.— И это Новый год!? Да он хуже старого! Не стоило и менять! Нет, мы недовольны, и не без причины!

— А люди-то, люди-то, что шуму наделали, встречая Новый год! — сказал маленький нахохлившийся воробышек.— И стреляли, и глиняные горшки о двери разбивали, ну, словом, себя не помнили от радости — и все оттого, что старому году пришел конец! Я было тоже обрадовался, думал, что вот теперь наступит тепло; не тут-то было! Морозит еще пуще прежнего! Люди, видно, сбились с толку и перепутали времена года!

— И впрямь! — подхватил третий, старый воробей с седым хохолком.— У них ведь имеется такая штука — собственного их изобретения — календарь, как они зовут ее, и вот они воображают, что все на свете должно идти по этому календарю! Как бы не так! Вот придет весна, тогда и наступит Новый год, а никак не раньше, так уж раз навсегда заведено в природе, и я придерживаюсь этого счисления.

— А когда же придет весна? — спросили другие воробьи.

— Она придет, когда прилетит первый аист. Но он не особенно-то аккуратен, и трудно рассчитать заранее, когда именно он прилетит! Впрочем, уж если вообще разузнавать об этом, то не здесь, в городе — тут никто ничего не знает толком,— а в деревне! Полетим-ка туда дожидаться весны! Туда она все-таки скорее придет!

— Все это прекрасно! — сказала воробьиха, которая давно вертелась тут же и чирикала, но в разговор не вступала.— Одно вот только: здесь, в городе, я привыкла к некоторым удобствам, а найду ли я их в деревне — не знаю! Тут есть одна человечья семья; ей пришла разумная мысль — прибить к стене три-четыре пустых горшка из-под цветов. Верхним краем они плотно прилегают к стене, дно же обращено наружу, и в нем есть маленькое отверстие, через которое я свободно влетаю и вылетаю. Там-то мы с мужем и устроили себе гнездо, оттуда повылетели и все наши птенчики. Понятное дело, люди сделали все это для собственного удовольствия, чтобы полюбоваться нами; иначе бы они и пальцем не шевельнули! Они бросают нам хлебные крошки,— тоже ради своего удовольствия,— ну, а нам-то все-таки корм! Таким образом, мы здесь до некоторой степени обеспечены, и я думаю, что мы с мужем останемся здесь! Мы тоже очень недовольны, но все-таки останемся.

— А мы полетим в деревню — поглядеть, не идет ли весна! — сказали другие и улетели.

В деревне стояла настоящая зима и было, пожалуй, еще холоднее, чем в городе. Резкий ветер носился над заснеженными полями. Крестьянин в больших теплых рукавицах ехал на санях,

похлопывая руками, чтобы выколотить из них мороз; кнут лежал у него на коленях, но исхудалые лошади бежали рысью; пар так и валил от них. Снег скрипел под полозьями, а воробьи прыгали по санным колеям и мерзли.

— Пип! Когда же придет весна? Зима тянется что-то уж больно долго!

— Больно долго! — послышалось с высокого холма, занесенного снегом, и эхом прокатилось по полям. Может статься, это и было только эхо, а может быть, и голос диковинного старика, сидевшего на холме на куче снега. Старик был бел как лунь — с белыми волосами и бородою, и одет во что-то вроде белого крестьянского тулупа. На бледном лице его так и горели большие светлые глаза.

— Что это за старик? — спросили воробьи.

— Я знаю его! — сказал старый ворон, сидевший на плетне. Он снисходительно признавал, что «все мы — мелкие пташки перед творцом», и потому благосклонно взялся разъяснить воробьям их недоумение.

— Я знаю, кто он. Это Зима, старый прошлогодний повелитель. Он вовсе не умер еще, как говорит календарь, и назначен регентом до появления молодого принца — Весны. Да, Зима еще правит у нас царством! У! Что, продрогли небось, малыши?

— Ну, не говорил ли я,— сказал самый маленький воробышек,— что календарь — пустая человечья выдумка! Он совсем не приноровлен к природе. Да и разве у людей есть какое-нибудь чутье? Уж предоставили бы они распределять времена года нам — мы потоньше, почувствительнее их созданы!

Прошла неделя, другая. Лес уже почернел, лед на озере стал походить на застывший свинец, облака... нет, какие там облака?! Сплошной туман окутал всю землю. Большие черные вороны летали стаями, но молча; все в природе словно погрузилось в тяжелый сон. Но вот по озеру скользнул солнечный луч, и лед заблестел, как расплавленное олово. Снежный покров на полях и на холмах уже потерял свой блеск, но белая фигура старика Зимы сидела еще на прежнем месте, устремив взор к югу. Он и не замечал, что снежная пелена все уходила в землю, что там и сям проглянули клочки зеленого дерна, на которых толкались кучи воробьев.

— Кви-вит! Кви-вит! Уж не весна ли?

— Весна! — прокатилось эхом над полями и лугами, пробежало по темно-бурым лесам, где стволы старых деревьев оделись уже свежим, зеленым мхом. И вот с юга показалась первая пара аистов. У каждого на спине сидело по прелестному ребенку: у одного — мальчик, у другого — девочка. Ступив на землю, дети поцеловали ее и пошли рука об руку, а по следам их расцветали прямо на снегу белые цветочки. Дети подошли к старику Зиме и прильнули

к его груди. В то же мгновение все трое, а с ними и вся местность, исчезли в облаке густого, влажного тумана. Немного погодя подул ветер и разом разогнал туман; просияло солнышко — Зима исчезла, и на троне природы сидели прелестные дети Весны.

— Вот это так Новый год! — сказали воробьи.— Теперь, надо полагать, нас вознаградят за все зимние невзгоды!

Куда ни оборачивались дети — всюду кусты и деревья покрывались зелеными почками, трава росла все выше и выше, хлеба зеленели ярче. Девочка так и сыпала на землю цветами; у нее в переднике было так много цветов, что, как она ни торопилась разбрасывать их, передник все был полнехонек. В порыве резвости девочка брызнула на яблони и персиковые деревья настоящим цветочным дождем, и деревца стали в полном цвету, даже не успев еще как следует одеться зеленью.

Девочка захлопала в ладоши, захлопал и мальчик, и вот, откуда ни возьмись, налетели, с пением и щебетанием, стаи птичек: «Весна пришла!»

Любо было посмотреть кругом! То из одной, то из другой избушки выползали за порог старые бабушки, поразмять на солнышке свои косточки и полюбоваться на желтые цветочки, золотившие луг, точь-в-точь как и в дни далекой юности старушек. Да, мир вновь помолодел, и они говорили: «Что за благодатный денек сегодня!»

Но лес все еще оставался буро-зеленым, на деревьях не было еще листьев, а одни почки; зато на лесных полянах благоухал уже молоденький дикий ясменник, цвели фиалки и анемоны. Все былинки налились живительным соком; по земле раскинулся пышный зеленый ковер, и на нем сидели девушка и юноша, держась за руки. Дети Весны пели, улыбались и все росли да росли.

Теплый дождичек накрапывал с неба, но они и не замечали его: дождевые капли смешивались со слезами радости жениха и невесты. Юная парочка поцеловалась, и в ту же минуту лес оделся зеленью. Взошло солнышко — все деревья стояли в роскошном лиственном уборе.

Рука об руку двинулись жених с невестой под этот свежий густой навес, где зелень пестрела, благодаря игре света и теней, тысячами различных оттенков. Девственно чистая, нежная листва распространяла живительный аромат, звонко и весело журчали ручейки и речки, пробираясь между бархатисто-зеленой осокой и разноцветными камушками. «Так было, есть и будет во веки веков!» — говорила вся природа. Чу! Закуковала кукушка, зазвенела песня жаворонка! Весна была в полном разгаре; только ивы все еще не снимали со своих цветочков пуховых рукавичек; такие уж они осторожные — просто скучно!

Дни шли за днями, недели за неделями, землю так и обдавало теплом; волны горячего воздуха проникали в хлебные колосья, и они стали желтеть. Белый лотос севера раскинул по зеркальной глади лесных озер свои широкие зеленые листья, и рыбки прятались под их тенью. За лесом, на солнечном припеке, в саду, защищенном от ветра стеной крестьянского домика, пышно расцветали под жгучими ласками солнечных лучей роскошные розы и росли вишневые деревья, осыпанные сочными, черными, горячими ягодами; там сидела прекрасная жена Лета, которую мы видели сначала девочкой, а потом невестой. Она смотрела на темные облака, громоздившиеся друг на друга высокими черно-синими, угрюмыми горами; они надвигались с трех сторон и наконец нависли над лесом, как окаменелое, опрокинутое вверх дном море. В лесу все затихло, словно по мановению волшебного жезла; улегся ветерок, замолкли пташки, вся природа замерла в торжественном ожидании, а по дороге и по тропинкам неслись сломя голову люди в телегах, верхом и пешком,— все спешили укрыться от грозы. Вдруг блеснул ослепительный луч света, словно солнце на миг прорвало тучи, затем вновь воцарилась тьма и прокатился глухой раскат грома. Вода хлынула с неба потоками. Тьма и свет, тишина и громовые раскаты сменяли друг друга. По молодому тростнику, с коричневыми султанами на головках, так и ходили от ветра волны за волнами; ветви деревьев совсем скрылись за частою дождевою сеткою; свет и тьма, тишина и громовые раскаты чередовались ежеминутно. Трава и колосья лежали пластом; казалось, они уже никогда не в силах будут подняться. Но вот ливень перешел в крупный, редкий дождь, выглянуло солнышко, и на былинках и листьях, как жемчужины, засверкали капли; запели птички, заплескались в воде рыбки, заплясали комары. На валуне в брызгах морской пены сидело и грелось на солнышке Лето, могучий, крепкий, мускулистый муж. С кудрей его стекали потоки воды, он выглядел таким освеженным, словно помолодевшим после холодного купанья. Помолодела, освежилась и вся природа, все вокруг цвело с небывалою пышностью, силой и красотой! Наступило лето, теплое, благодатное лето!

От густо взошедшего на поле клевера струился сладкий живительный аромат, и пчелы жужжали над местом древних собраний. Жертвенный камень, омытый дождем, ярко блестел на солнце; цепкие побеги ежевики одели его густою бахромой. К нему подлетела царица пчел со своим роем; они возложили на жертвенник плоды трудов своих — воск и мед. Никто не видал жертвоприношения, кроме самого Лета и его полной жизненных сил подруги; для них-то и были уготованы жертвенные дары природы.

Вечернее небо отливало золотом; никакой церковный купол не мог сравниться с ним; от вечерней и до утренней зари сиял месяц. На дворе стояло лето.

И дни шли за днями, недели за неделями. На полях засверкали блестящие косы и серпы, ветви яблонь согнулись под тяжестью красных и золотистых плодов. Душистый хмель висел крупными кистями. В тени орешника, осыпанного орехами, сидевшими в зеленых гнездышках, отдыхали муж с женою — Лето со своею серьезною, задумчивою подругою.

— Что за роскошь! — сказала она.— Что за благодать, куда ни поглядишь! Как хорошо, как уютно здесь, и все-таки — сама не знаю почему — я жажду... покоя, отдыха... Других слов подобрать не могу! А люди уже снова вспахивают поля! Они вечно стремятся добыть себе больше и больше!.. Вон аисты ходят по бороздам вслед за плугом... Это они, египетские птицы, принесли нас сюда! Помнишь, как мы прилетели сюда, на север, детьми?.. Мы принесли с собой цветы, солнечный свет и зеленую листву! А теперь... ветер почти всю ее оборвал, деревья побурели, потемнели и стали похожи на деревья юга; только нет на них золотых плодов, какие растут там!

— Тебе хочется видеть золото вокруг? — сказало Лето.— Любуйся! — Он махнул рукою — и леса запестрели красноватыми и золотистыми листьями. Вот было великолепие! На кустах шиповника засияли огненно-красные плоды, ветви бузины покрылись крупными темно-красными ягодами, спелые дикие каштаны сами выпадали из темно-зеленых гнезд, а в лесу снова зацвели фиалки.

Но царица года становилась все молчаливее и бледнее.

— Повеяло холодом! — говорила она.— По ночам встают сырые туманы. Я тоскую по нашей родине!

И она смотрела вслед улетавшим на юг аистам и протягивала к ним руки. Потом она заглянула в их опустевшие гнезда; в одном вырос стройный василек, в другом — желтая сурепка, словно гнезда только для того и были свиты, чтобы служить им оградою! Залетели туда и воробьи.

— Пип! А куда же девались хозяева? Ишь, подуло на них ветерком — они и прочь сейчас! Скатертью дорога!

Листья на деревьях все желтели и желтели, начался листопад, зашумели осенние ветры — настала поздняя осень. Царица года лежала на земле, усыпанной пожелтевшими листьями; кроткий взор ее был устремлен на сияющие звезды небесные; рядом с нею стоял ее муж. Вдруг поднялся вихрь и закрутил сухие листья столбом. Когда вихрь утих — царицы года уже не было; в холодном воздухе кружилась только бабочка, последняя в этом году.

Землю окутали густые туманы, подули холодные ветры, потянулись долгие темные ночи. Царь года стоял с убеленною сединой головою; но сам он не знал, что поседел,— он думал, что кудри его только запушило снегом! Зеленые поля покрылись тонкою снежною пеленою.

И вот колокола возвестили наступление сочельника.

— Рождественский звон! — сказал царь года.— Скоро народится новая царственная чета, а я обрету покой, унесусь вслед за *нею* на сияющую звезду!

В свежем, зеленом сосновом лесу, занесенном снегом, появился рождественский ангел и освятил молодые деревца, предназначенные служить символом праздника.

— Радость в жилищах людей и в зеленом лесу! — сказал престарелый царь года; в несколько недель он превратился в белого как лунь старика.— Приближается час моего отдыха! Корона и скипетр переходят к юной чете.

— И все же власть пока в твоих руках! — сказал ангел.— Власть, но не покой! Укрой снежным покровом молодые ростки! Перенеси терпеливо торжественное провозглашение нового повелителя, хотя власть еще и в твоих руках! Терпеливо перенеси забвение, хотя ты и жив еще! Час твоего успокоения придет, когда настанет весна!

— Когда же настанет весна? — спросил старик Зима.

— Когда прилетят с юга аисты!

И вот седовласый, седобородый, обледеневший, старый, согбенный, но все еще сильный и могущественный, как снежные бури и метели, сидел старик Зима на высоком холме, на куче снега, и не сводил глаз с юга, как прошлогодняя Зима. Лед трещал, снег скрипел, конькобежцы стрелой скользили по блестящему льду озер, вóроны и воро́ны чернели на белом фоне; не было ни малейшего ветерка. Среди этой тишины старик Зима сжал кулаки, и — толстый лед сковал все проливы.

Из города опять прилетели воробьи и спросили:

— Что это за старик там?

На плетне опять сидел тот же ворон или сын его — все едино — и отвечал им:

— Это Зима! Прошлогодний повелитель! Он не умер еще, как говорит календарь, а состоит регентом до прихода молодого принца — Весны!

— Когда же придет Весна? — спросили воробьи.— Может быть, для нас настанут лучшие времена, как переменится правительство? Старое никуда не годится!

А старик Зима задумчиво кивал голому черному лесу, где так ясно, отчетливо вырисовывались каждая веточка, каждый кустик.

И землю окутали облака холодных туманов; природа погрузилась в зимнюю спячку. Повелитель года грезил о днях своей юности и зрелости, и к утру все леса оделись сверкающей бахромой из инея,— это был летний сон Зимы; взошло солнышко, и бахрома осыпалась.

— Когда же придет Весна? — опять спросили воробьи.

— Весна! — раздалось эхом с снежного холма.

И вот солнышко стало пригревать все теплее и теплее, снег стаял, птички защебетали: «Весна идет!»

Высоко-высоко по поднебесью несся первый аист, за ним другой; у каждого на спине сидело по прелестному ребенку. Дети ступили на поля, поцеловали землю, поцеловали и безмолвного старика Зиму, и он, как Моисей с горы, исчез в тумане!

История года кончена.

— Все это прекрасно и совершенно верно,— заметили воробьи,— но не по календарю, а потому никуда не годится!

С КРЕПОСТНОГО ВАЛА

Осень; стоим на валу, устремив взор на волнующуюся синеву моря. Там и сям белеют паруса кораблей; вдали виднеется высокий, озаренный лучами вечернего солнца берег Швеции. Позади нас вал круто обрывается; он обсажен великолепными раскидистыми деревьями; пожелтевшие листья кружатся по ветру и засыпают землю. У подножия вала мрачное строение, обнесенное деревянным частоколом, за которым ходит часовой. Как там темно и мрачно, за этим частоколом! Но еще мрачнее в самом здании, в камерах с решетчатыми окнами. Там сидят заключенные, закоренелые преступники.

Луч заходящего солнца падает на голые стены камеры. Солнце светит и на злых и на добрых! Угрюмый, суровый заключенный злобно смотрит на этот холодный солнечный луч. Вдруг на оконную решетку садится птичка. И птичка поет для злых и для добрых! Песня ее коротка: «кви-вит!» — вот и все! Но сама птичка еще не улетает; вот она машет крылышками, чистит перышки, отряхивается и взъерошивает хохолок... Закованный в цепи преступник смотрит на нее, и злобное выражение его лица мало-помалу смягчается, какое-то новое чувство, в котором он и сам хорошенько не отдает себе отчета, наполняет его душу. Это чувство сродни солнечному лучу и аромату фиалок, которых так много растет там, на воле, весною!.. Но что это? Раздались жизнерадостные, мощные звуки охотничьих рогов. Птичка улетает, солнечный

луч потухает, и в камере опять темно; темно и в сердце преступника, но все же по этому сердцу скользнул солнечный луч, оно отозвалось на пение птички.

Не умолкайте же, чудные звуки охотничьего рога, раздавайтесь громче! В мягком вечернем воздухе такая тишь; море недвижно, словно зеркало.

ИСТИННАЯ ПРАВДА

— Ужасное происшествие! — сказала курица, проживавшая совсем на другом конце города, а не там, где случилось происшествие.— Ужасное происшествие в курятнике! Я просто боюсь теперь ночевать одна! Хорошо, что нас много на нашесте!

И она принялась рассказывать, да так, что у всех кур перышки повставали дыбом, а у петуха съежился гребешок. Да, да, истинная правда!

Но мы начнем сначала, а началось все в курятнике на другом конце города.

Солнце садилось, и все куры уже были на нашесте. Одна из них, белая коротконожка, курица во всех отношениях добропорядочная и почтенная, исправно несущая положенное число яиц, усевшись поудобнее, стала перед сном чиститься и расправлять клювом перышки. И вот одно маленькое перышко вылетело и упало на пол.

— Ишь, как полетело! — сказала курица.— Ну, ничего, чем больше я чищусь, тем делаюсь красивее!

Это она сказала просто так, в шутку,— курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей быть, как мы уже говорили, весьма и весьма почтенною курицей. С тем она и заснула.

В курятнике было темно. Куры все сидели рядом, и та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще: она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, но все же слышала их краем уха,— так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними! И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке:

— Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее!

Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками; у сов слух острый, и они не упустили ни одного слова из сказанного. Все они при этом усиленно вращали глазами, а совиха махала крыльями, точно опахалами.

— Тс-с! Не слушайте, детки! Впрочем, вы, конечно, уж слышали? Я тоже. Ах! Просто уши вянут! Одна из кур до того забы-

лась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у петуха!

— Prenez garde aux enfants! [1] — сказал сова-отец.— Детям вовсе не следует слушать подобные вещи!

— Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке сове, она такая милая особа!

И совиха полетела к соседке.

— У-гу, у-гу! — загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней.— Вы слышали? Вы слышали? У-гу! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха! Она замерзнет, замерзнет до смерти! Если уже не замерзла! У-гу!

— Кур-кур! Где, где? — ворковали голуби.

— На соседнем дворе! Это почти на моих глазах было! Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда!

— Верим, верим! — сказали голуби и заворковали сидящим внизу курам:

— Кур-кур! Одна курица, говорят, даже две, выщипали себе все перья, чтобы отличиться перед петухом! Рискованная затея! Можно ведь простудиться и умереть, да они уж и умерли!

— Кукареку! — запел петух, взлетая на забор.— Проснись.— У него самого глаза еще совсем слипались от сна, а он уж кричал: — Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету!

— Пусть, пусть! — запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи.— Пусть, пусть!

И история разнеслась — со двора во двор, из курятника в курятник и дошла наконец до того места, откуда пошла.

— Пять куриц,— рассказывалось тут,— выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху! Потом они заклевали друг друга насмерть, на позор и посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам!

Курица, которая выронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории и, как курица во всех отношениях почтенная, сказала:

— Я презираю этих кур! Но таких ведь много! О подобных вещах нельзя, однако, молчать! И я, со своей стороны, сделаю все, чтобы история эта попала в газеты! Пусть разнесется по всему свету — эти куры и весь их род стоят того!

И в газетах действительно напечатали всю историю, и это истинная правда: одному маленькому перышку куда как нетрудно превратиться в целых пять кур!

---

[1] Осторожнее, здесь дети! *(франц.)*

ВСЯК ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО!

Тому минуло уж больше ста лет.

За лесом у большого озера стояла старая барская усадьба; кругом шли глубокие рвы с водой, поросшие осокой и тростником. Возле мостика, перекинутого через ров перед главными воротами, росла старая ива, склонявшаяся ветвями к тростнику.

С дороги послышались звуки рогов и лошадиный топот, и маленькая пастушка поторопилась отогнать своих гусей с мостика в сторону. Охотники скакали во весь опор, и самой девочке пришлось поскорее прыгнуть с мостика на большой камень возле рва — не то бы ей несдобровать! Она была совсем еще ребенок, такая тоненькая и худенькая, с милым, добрым выражением лица и честными, ясными глазками. Но барину-то что за дело? На уме у него были одни грубые шутки, и вот, проносясь мимо девочки, он повернул хлыст рукояткой вперед и ткнул им пастушку прямо в грудь. Девочка чуть не упала.

— Всяк знай свое место! Твое — в грязи! — прокричал барин и захохотал. Как же! Ему ведь удалось сострить! За ним захохотали и остальные; затем все общество с криком и гиканьем понеслось по мостику; собаки так и заливались. Вот уж подлинно, что

Богатая птица шумно бьет крылами!

Богат ли был барин, однако, еще вопрос.

Бедная пастушка, теряя равновесие, ухватилась за ветку ивы и, держась за нее, повисла над тиною. Когда же господа и собаки скрылись за воротами усадьбы, она попробовала было вскарабкаться на мостик, но ветка вдруг обломилась у самого ствола, и девочка упала в тростник. Хорошо, что ее в ту же минуту схватила чья-то сильная рука. По полю проходил коробейник; он видел все и поспешил девочке на помощь.

— Всяк знай свое место! — пошутил он, передразнивая барина, и вытащил девочку на сушу. Отломанную ветку он тоже попробовал поставить на свое место, но не всегда-то ведь поговорка оправдывается! Пришлось воткнуть ветку прямо в рыхлую землю.— Расти, как сможешь, и пусть из тебя выйдет хорошая дудка для этих господ!

При этом он от души пожелал, чтобы на ней сыграли когда-нибудь для барина и всей его свиты хороший шпицрутенмарш. Затем коробейник направился в усадьбу, но не в парадную залу — куда такой мелкой сошке лезть в залы,— а в людскую. Слуги обступили его и стали рассматривать товары, а наверху, в зале, шел пир горой. Гости вздумали петь и подняли страшный рев и крик:

лучше они петь не умели! Хохот, крики и собачий вой оглашали дом; вино и старое пиво пенилось в стаканах и кружках. Любимые собаки тоже участвовали в трапезе, и то один, то другой из молодых господ целовал их прямо в морду, предварительно обтерев ее длинными, обвислыми ушами собаки. Коробейника тоже призвали в залу, но только ради потехи. Вино бросилось им в голову, а рассудок, конечно, и вон сейчас! Они налили коробейнику пива в чулок,— выпьешь, мол, и из чулка, торопись только! То-то хитро придумали! Было над чем зубоскалить! Целые стада, целые деревни вместе с крестьянами ставились на карту и проигрывались.

— Всяк знай свое место! — сказал коробейник, выбравшись из этого Содома и Гоморры, как он назвал усадьбу.— Мое место — путь-дорога, а в усадьбе мне совсем не по себе!

Маленькая пастушка ласково кивнула ему на прощанье из-за плетня.

Дни шли за днями, недели за неделями; сломанная ветка, посаженная коробейником у самого рва, не только не засохла и не пожелтела, но даже пустила свежие побеги; пастушка глядела на нее да радовалась: теперь у нее завелось как будто свое собственное дерево.

Да, ветка-то все росла и зеленела, а вот в господской усадьбе дела шли все хуже и хуже: кутежи и карты до добра не доводят.

Не прошло и шести лет, как барин пошел с сумою, а усадьбу купил богатый коробейник, тот самый, над которым господа потешались, наливая ему пива в чулок. Честность и трудолюбие хоть кого поставят на ноги, и вот коробейник сделался хозяином усадьбы, и с того же часа карты были изгнаны из нее навсегда.

— От них добра не жди! — говорил хозяин.— Выдумал их сам черт: увидал Библию, ну и давай подражать на свой лад!

Новый хозяин усадьбы женился, и на ком же? На бывшей пастушке! Она всегда отличалась добронравием, благочестием и сердечностью, а как нарядилась в новые платья, так стала ни дать ни взять красавицей барышней! Как же, однако, все это случилось? Ну, об этом больно долго рассказывать, а в наш недосужий век, известно, все торопятся! Случилось так, ну и все, а дальше-то вот пойдет самое важное.

Славно жилось в старой усадьбе; хозяйка сама вела все домашнее хозяйство, а хозяин заправлял всеми делами; благосостояние их все росло; недаром говорится, что деньга родит деньгу. Старый дом подновили, выкрасили, рвы очистили, всюду насадили плодовых деревьев, и усадьба выглядела как игрушечка. Пол в комнатах так и блестел; в большой зале собирались зимними вечерами все служанки и вместе с хозяйкой пряли шерсть и лен; по

воскресным же вечерам юстиц-советник читал им из Библии. Да, да, бывший коробейник стал юстиц-советником,— правда, только на старости лет, но и то хорошо! Были у них и дети; дети подрастали, учились, но не у всех были одинаковые способности,— так оно бывает ведь и во всех семьях.

Ветка же стала славным деревцом; оно росло на свободе, его не подстригали, не подвязывали.

— Это наше родовое дерево! — говорили старики и внушали всем детям, даже тем, которые не отличались особенными способностями, чтить и уважать его.

И вот с тех пор прошло сто лет.

Дело было уже в наше время. Озеро стало болотом, а старой усадьбы и вовсе как не бывало; виднелись только какие-то канавки с грязной водой да с камнями по краям — остатки прежних глубоких рвов. Зато старое родовое дерево красовалось по-прежнему. Вот что значит дать дереву расти на свободе! Правда, оно треснуло от самых корней до вершины, слегка покривилось от бурь, но стояло все еще крепко; из всех его трещин и щелей, куда ветер занес разные семена, тянулись к свету травы и цветы. Особенно густо росли они там, где ствол раздваивался. Тут образовался точно висячий садик: из середины дупла росли малиновый куст, мокричник и даже небольшая стройная рябинка. Старая ива отражалась в черной воде канавки, когда ветер отгонял зеленую ряску к другому краю. Мимо дерева вилась тропинка, уходившая в хлебное поле.

У самого же леса, на высоком холме, откуда открывался чудный вид на окрестность, стоял новый роскошный дом. Окна были зеркальные, такие чистые и прозрачные, что стекол словно и не было вовсе. Широкий подъезд казался настоящею беседкой из роз и плюща. Лужайка перед домом зеленела так ярко, точно каждую былинку охорашивали и утром и вечером. Залы увешаны были дорогими картинами, уставлены обитыми бархатом и шелком стульями и диванами, которые только что не катались на колесиках сами. У стен стояли столы с мраморными досками, заваленные альбомами в сафьяновых переплетах и с золотыми обрезами... Да, богатые, видно, тут жили люди! Богатые и знатные — это было семейство барона.

И все в доме было подобрано одно к одному. «Всяк знай свое место»,— говорили владельцы, и вот картины, висевшие когда-то в старой усадьбе на почетном месте, были вынесены в коридор, что вел в людскую. Все они считались старым хламом, в особенности же два старинных портрета. На одном был изображен мужчина в красном кафтане и в парике, на другом — дама с напуд-

ренными, высоко взбитыми волосами, с розою в руках. Оба были окружены венками из ветвей ивы. Портреты были во многих местах продырявлены. Маленькие барончики стреляли в них из луков, как в мишень. А на портретах-то были нарисованы сам юстиц-советник и советница, родоначальница баронской семьи.

— Ну, они вовсе не из нашего рода! — сказал один из барончиков.— Он был коробейником, а она пасла гусей! Это совсем не то, что papa и maman.

Портреты, как сказано, считались хламом, а так как «всяк знай свое место», то прабабушку и прадедушку и выставили в коридор.

Домашним учителем в семье был сын пастора. Раз как-то он отправился на прогулку с маленькими барончиками и их старшею сестрой, которая только недавно конфирмовалась. Они шли по тропинке мимо старой ивы; молодая баронесса составляла букет из полевых цветов. Правило «всяк знай свое место» соблюдалось и тут, и в результате вышел прекрасный букет. В то же время она внимательно прислушивалась к рассказам пасторского сына, а он рассказывал о чудесных силах природы, о великих исторических деятелях, о героях и героинях. Баронесса была здоровою, богато одаренною натурой, с благородною душой и сердцем, способным понять и оценить всякое живое создание.

Возле старой ивы они остановились — младшему барончику захотелось дудочку; ему не раз вырезали их из ветвей других ив, и пасторский сын отломил ветку.

— Ах, не надо! — сказала молодая баронесса, но дело было уже сделано.— Ведь это же наше знаменитое родовое дерево! Я так люблю его, хоть надо мною и смеются дома! Об этом дереве рассказывают...

И она рассказала все, что мы уже знаем о старой усадьбе и о первой встрече пастушки и коробейника, родоначальников знатного баронского рода и самой молодой баронессы.

— Славные, честные старички не гнались за дворянством! — сказала она.— У них была поговорка: «Всяк знай свое место», а им казалось, что они не будут на своем, если купят себе дворянство за деньги. Сын же их, мой дедушка, сделался бароном. Говорят, он был такой ученый и в большой чести у принцев и принцесс; его постоянно приглашали на все придворные празднества. Его у нас дома особенно любят, я же, сама не знаю почему, больше симпатизирую двум старичкам. Могу себе представить их уютную патриархальную жизнь: хозяйка сидит и прядет вместе со своими служанками, а старик хозяин читает вслух Библию!

— Да, славные, достойные были люди! — сказал пасторский сын.

Завязался разговор о дворянстве и о мещанстве, и, слушая пасторского сына, право, можно было подумать, что сам он не из мещан.

— Большое счастье принадлежать к славному роду — тогда сама кровь твоя как бы пришпоривает тебя, подгоняет делать одно хорошее. Большое счастье носить благородное родовое имя — это входной билет в лучшие семьи! Дворянство свидетельствует о благородстве крови; это чекапка на золотой монете, означающая ее достоинство. Но теперь ведь в моде, и ей следуют даже многие поэты, считать все дворянство дурным и глупым, а в людях низших классов открывать тем более высокие качества, чем ниже их место в обществе. Я другого мнения и нахожу такую точку зрения ложною. У людей высших сословий можно подметить много поразительно прекрасных черт характера. Мать моя рассказывала мне про это целую историю, и я сам могу привести их много. Мать была раз в гостях в одном знатном доме — бабушка моя, если не ошибаюсь, выкормила госпожу этого дома. Мать стояла в комнате, разговаривая со старым высокородным господином, и вдруг он увидел, что по двору ковыляет на костылях бедная старуха, которая приходила к нему по воскресеньям за милостыней. «Бедняга! — сказал он.— Ей так трудно взбираться сюда!» И прежде чем мать успела оглянуться, он был уже за дверями и спустился по лестнице. Семидесятилетний старик генерал сам спустился во двор, чтобы избавить бедную женщину от труда подниматься за милостыней! Это только мелкая черта, но она шла прямо от сердца, из глубины человеческой души, и вот на нее-то должен был указать поэт, в наше-то время и следовало бы воспеть ее! Это принесло бы пользу, умиротворило и смягчило бы сердца! Если же какое-нибудь подобие человека считает себя вправе — только потому, что на нем, как на кровной арабской лошади, имеется тавро, становиться на дыбы и ржать на улице, а входя в гостиную после мещанина, говорить: «Здесь пахнет человеком с улицы!» — то приходится признать, что в лице его дворянство пришло к разложению, стало лишь маской, вроде той, что употреблял Феспис. Над такою фигурой остается только посмеяться, хлестнуть ее хорошенько бичом сатиры!

Вот какую речь держал пасторский сын; длинновата она была, да зато он успел в это время вырезать дудку.

В баронском доме собралось большое общество, наехали гости из окрестностей и из столицы; было тут и много дам — одетых со вкусом и без вкуса. Большая зала была полна народа. Священники из окрестных приходов сбились в кучу в один угол. Можно было подумать, что люди собрались сюда на похороны, а на са-

мом-то деле — на праздник, только гости еще не разошлись как следует.

Предполагалось устроить большой концерт, и маленький барончик тоже вышел со своею дудкой, но ни он, ни даже сам рара не сумели извлечь из нее звука,— значит, она никуда не годилась!

Начались музыка и пение того рода, что больше всего нравятся самим исполнителям. Вообще же все было очень мило.

— А вы, говорят, виртуоз! — сказал один кавалер, папенькин и маменькин сынок.— Вы играете на дудке и даже сами вырезали ее. Вот это истинный гений! Помилуйте! Я вполне следую за веком; так ведь и должно! Не правда ли, вы доставите нам высокое наслаждение своею игрой?

И он протянул пасторскому сыну дудку, вырезанную из ветви старой ивы, и громко провозгласил, что домашний учитель сыграет соло на дудке.

Разумеется, над учителем только хотели посмеяться, и молодой человек отнекивался, как мог, хотя и умел играть. Но все ужасно пристали к нему, и вот он взял дудку и поднес ее ко рту.

Вот это была дудка так дудка! Она издала звук, протяжный и резкий, точно свисток паровоза, даже еще резче; он разнесся по всему двору, саду и лесу, прокатился эхом на много миль кругом, а вслед за ним пролетел бурный вихрь. Вихрь свистел: «Всяк знай свое место!» И вот рара, словно на крыльях ветра, перелетел двор и угодил прямо в пастуший шалаш, пастух же перелетел — не в залу, там ему было не место,— но в людскую, в круг разодетых лакеев, щеголявших в шелковых чулках.

Гордых лакеев чуть не хватил паралич от такой неожиданности. Как? Такое ничтожество — и вдруг смеет садиться за стол рядом с ними!

Молодая баронесса между тем была перенесена вихрем на почетное место, во главе стола, которого она была вполне достойна, а пасторский сын очутился возле нее, и вот они сидели рядом, словно жених с невестою! Старый граф, принадлежавший к одной из древнейших фамилий, не был смещен со своего почетного места,— дудка была справедлива, да ведь иначе и нельзя. Остроумный же кавалер, маменькин и папенькин сынок, полетел вверх ногами в курятник, да и не он один.

За целую милю слышен был этот звук, и вихрь успел наделать бед. Один богатый глава торгового дома, ехавший на четверке лошадей, тоже был подхвачен вихрем, вылетел из экипажа и не мог потом попасть даже на запятки, а два богатых крестьянина, из тех, что разбогатели на наших глазах, угодили прямо в тину.

Да, преопасная была дудка! Хорошо, что она дала трещину при первом же звуке, и ее спрятали в карман — «всяк знай свое место».

На другой день о происшествии не было и помину, оттого и создалась поговорка: «Спрятать дудку в карман». Все опять пришло в порядок, только два старых портрета, коробейника и пастушки, висели уже в парадной зале; вихрь перенес их туда, а один из настоящих знатоков искусства сказал, что они написаны рукой великого мастера: вот их и оставили там и даже подновили. А то прежде и не знали, что они чего-нибудь стоят,— где ж было знать это! Таким образом, они все-таки попали на почетное место: «всяк знай свое место!» И так оно в конце концов всегда и бывает,— вечность ведь длинна, куда длиннее этой истории!

ДОМОВОЙ У ЛАВОЧНИКА

Жил-был студент, самый обыкновенный студент. Он ютился на чердаке и не имел ни гроша в кармане. И жил-был лавочник, самый обыкновенный лавочник, он занимал весь первый этаж, да и дом принадлежал ему. А в доме прижился домовой. Оно и понятно: ведь каждый сочельник ему давали полную миску каши, в которой плавал большой кусок масла. Только у лавочника и получишь такое угощение! Вот домовой и оставался в лавке,— история эта весьма поучительна.

Однажды вечером студент зашел с черного хода купить себе свечей и сыра. Послать за покупками ему было некого, он и спустился в лавку сам. Он получил то, что хотел, расплатился, лавочник кивнул ему на прощание, и хозяйка кивнула — только кивнула, а ведь с другими была очень словоохотлива! Студент тоже кивнул в ответ, но вместо того, чтобы уйти, застыл посреди лавки, потому что начал читать лист бумаги, в который завернули сыр. Этот лист был вырван из старинной книги с прекрасными стихами, а портить такую книгу просто грех.

— Да у меня этих листов целая куча,— сказал лавочник.— Эту книжонку я получил от одной старухи за пригоршню кофейных зерен. Заплатите мне восемь скиллингов и забирайте все остальные.

— Спасибо,— ответил студент,— дайте мне эту книгу вместо сыра! Я обойдусь и хлебом с маслом. Нельзя допустить, чтобы такую книгу разорвали по листочкам. Вы прекрасный человек, и практичный к тому же, но в поэзии разбираетесь не лучше этой бочки!

Сказано это было невежливо, в особенности по отношению к бочке, но лавочник посмеялся, посмеялся и студент — надо же понимать шутки! Только домовой рассердился. Да как смеет студент так отзываться о лавочнике, который торгует превосходным маслом, и к тому же хозяин дома!

Наступила ночь, лавочник и все в доме, кроме студента, улеглись спать. Домовой пробрался к хозяйке и вынул у нее изо рта ее бойкий язычок — ночью во сне он ей все равно ни к чему! А если приставить его к какому-нибудь предмету, тот сразу обретет дар речи и начнет выкладывать свои мысли и чувства, затараторит не хуже лавочницы. Только пользоваться язычком приходится всем по очереди, да оно и лучше, иначе вещи болтали бы без умолку, перебивая друг друга.

Домовой приложил язычок к бочке, где хранились старые газеты, и спросил:

— Неужели это правда, что вы ничего не смыслите в поэзии?

— Да нет, в поэзии я разбираюсь,— ответила бочка.— Поэзия — это то, что помещают в газете внизу, а потом вырезают. Я думаю, во мне-то поэзии побольше, чем в студенте! А что я? Всего лишь жалкая бочка рядом с господином лавочником.

Тогда домовой приставил язычок к кофейной мельнице. Вот поднялась трескотня! А потом к банке с маслом и к ящику с деньгами, и все были того же мнения, что и бочка, а с мнением большинства нельзя не считаться.

— Ну, студент, берегись! — И домовой тихонько, на цыпочках, поднялся по кухонной лестнице на чердак. В каморке у студента горел свет. Домовой заглянул в замочную скважину и увидел, что студент сидит и читает рваную книгу из лавки. Но как светло было на чердаке! Из книги поднимался ослепительный луч и превращался в ствол могучего, высокого дерева. Оно широко раскинуло над студентом свои ветви. Каждый лист дышал свежестью, каждый цветок был прелестным девичьим лицом: блестели горячие темные глаза, улыбались голубые и ясные. Вместо плодов на ветвях висели сияющие звезды, и воздух звенел и дрожал от удивительных напевов.

Что и говорить, такой красоты крошка домовой никогда не видывал, да и вообразить себе не мог. Он привстал на цыпочки и замер, прижавшись к замочной скважине, глядел и не мог наглядеться, пока свет не погас. Студент задул лампу и лег спать. Но маленький домовой не отходил от двери, он все еще слышал тихую, нежную мелодию, будто студенту напевали ласковую колыбельную.

— Вот так чудеса! — сказал малютка домовой.— Такого я не ожидал! Не остаться ли мне у студента? — Он задумался, однако поразмыслил хорошенько и вздохнул.— Но ведь у студента нет

каши! — И домовой стал спускаться по лестнице. Да, да, пошел обратно к лавочнику!

Он вернулся вниз как раз вовремя, потому что бочка уже почти совсем истрепала хозяйкин язычок, тараторя обо всем, что переполняло одну ее половину. Она собиралась было повернуться другим боком, чтобы выложить содержимое второй половины, как тут явился домовой, взял язычок и отнес его назад в спальню, но отныне вся лавка, от кассы до щепок для растопки, прониклась таким уважением к бочке, так восхищалась ее познаниями, что, когда лавочник по вечерам читал вслух статьи из своей газеты, посвященные театру и искусству, все в лавке воображали, будто эти сведения исходят от бочки.

А маленький домовой, тот не в силах был больше спокойно слушать благонамеренные разглагольствования обитателей лавки. Каждый вечер, едва на чердаке зажигался свет, его словно магнитом тянуло наверх, он не мог усидеть на месте, поднимался по лестнице и приникал к замочной скважине. Тут его охватывал такой трепет, какой испытываем мы, стоя в бурю у ревущего моря, когда над волнами будто проносится сам господь бог. И домовой не мог сдержать слез. Он и сам не знал, отчего плачет, но слезы эти были такие светлые и сладкие! Он отдал бы все на свете, чтобы посидеть рядом со студентом под величественным деревом, но об этом и мечтать не приходилось, счастье еще, что можно глядеть в замочную скважину. Наступила осень, а он часами простаивал на чердаке, хотя в слуховое окно дул пронзительный ветер. Было холодно, очень холодно, но крошка домовой не замечал сквозняка, пока в каморке под крышей не гас свет и ветер не заглушал чудное пение. Ух! Тут он сразу начинал дрожать и тихонько пробирался вниз, в свой уютный уголок. Как там было темно и тепло! А скоро и сочельник наступит, и он получит свою кашу с большим куском масла! Да, что ни говори, лавочник — вот кто его хозяин!

Однажды ночью домовой проснулся от яростного стука в ставни, в них барабанили снаружи, ночной сторож свистел: пожар! пожар! Над улицей стояло зарево. Где же горит? У лавочника или у соседей? Где? Вот страх-то! Лавочница так растерялась, что вынула из ушей золотые серьги и спрятала их в карман — там целее будут. Лавочник бросился к ценным бумагам, а служанка — к своей шали. Каждый хотел спасти то, что ему всего дороже, и маленький домовой в два прыжка взлетел на чердак в каморку к студенту. А тот преспокойно стоял у открытого окна и глядел на пожар — горело, оказывается, во дворе у соседей. Домовой кинулся к столу, схватил чудесную книгу, спрятал ее в свой красный колпачок и обхватил его обеими руками. Самое главное сокровище дома было в безопасности! Потом он вылез на крышу, забрался на

«Суп из колбасной палочки»

печную трубу и уселся там. Огни пожара ярко освещали его, а он крепко прижимал к груди свой красный колпачок — ведь в нем было спрятано сокровище. Теперь-то он понял, кому принадлежит его сердце! Но вот пожар понемногу затих, и он одумался.

«Да,— сказал он себе,— придется разрываться между ними обоими, не могу же я покинуть лавочника, как же тогда каша?»

Он рассуждал совсем как мы, люди: ведь и мы тоже не можем пройти мимо лавочника — из-за каши.

«ЕСТЬ ЖЕ РАЗНИЦА!»

Стоял май месяц; воздух был еще довольно холодный, но все в природе — и кусты, и деревья, и поля, и луга — говорило о наступлении весны. Луга пестрели цветами; распускались цветы и на живой изгороди, а возле нее как раз красовалось олицетворение самой весны — маленькая яблонька в цвету. Особенно хороша была на ней одна ветка, молоденькая, свеженькая, вся осыпанная нежными полураспустившимися розовыми бутонами. Она сама знала, как она хороша; сознание красоты было у нее в соку. Ветка поэтому ничуть не удивилась, когда проезжавшая по дороге коляска остановилась прямо перед яблоней и молодая графиня сказала, что прелестнее этой веточки трудно и сыскать, что она живое воплощение юной красавицы весны. Веточку отломили, графиня взяла ее своими нежными пальчиками и бережно повезла домой, защищая от солнца шелковым зонтиком. Приехали в замок, веточку понесли по высоким, роскошно убранным покоям. На открытых окнах развевались белые занавеси, в блестящих, прозрачных вазах стояли букеты чудесных цветов. В одну из ваз, словно вылепленную из свежевыпавшего снега, поставили и ветку яблони, окружив ее свежими светло-зелеными буковыми ветвями. Прелесть, как красиво было!

Ветка возгордилась, и что же? Это ведь в порядке вещей!

Через комнату проходило много разного народа: каждый посетитель смел высказывать свое мнение лишь в той мере, в какой за ним самим признавали известное значение. И вот некоторые совсем ничего не говорили, некоторые же говорили чересчур много; ветка смекнула, что и между людьми, как между растениями, есть разница.

«Одни служат для красоты, другие только для пользы, а без третьих и вовсе можно обойтись»,— думала ветка.

Ее поставили как раз против открытого окна, откуда ей были видны весь сад и поле, так что она вдоволь могла наглядеться на

разные цветы и растения и подумать о разнице между ними; там было много всяких — и роскошных и простых, даже слишком простых.

— Бедные отверженные растения! — сказала ветка.— В самом деле, какая большая разница между нами! Какими несчастными должны они себя чувствовать, если только они вообще способны чувствовать, как я и мне подобные! Да, большая между нами разница! Но так и должно быть, иначе все были бы равны!

И ветка смотрела на полевые цветы с каким-то состраданием; особенно жалким казался ей один сорт цветов, которыми кишмя кишели все поля и даже канавы. Никто не собирал их в букеты,— они были слишком просты, обыкновенны; их можно было найти даже между камнями мостовой, они пробивались отовсюду, как самая последняя сорная трава. И имя-то у них было прегадкое: чертовы подойники.

— Бедное презренное растение! — сказала ветка.— Ты не виновато, что принадлежишь к такому сорту и что у тебя такое гадкое имя! Но и между растениями, как между людьми, должна быть разница!

— Разница! — отозвался солнечный луч и поцеловал цветущую ветку, но поцеловал и желтые чертовы подойники, росшие в поле; другие братья его — солнечные лучи — тоже целовали бедные цветочки наравне с самыми пышными.

Ветка яблони никогда не размышляла о бесконечной любви господа ко всему живому на земле, никогда не думала о том, сколько красоты и добра может быть скрыто в каждом божьем создании, скрыто, но не забыто. Ничего такого ей и в голову не приходило, и что же? Собственно говоря, это было в порядке вещей!

Солнечный луч, луч света, понимал дело лучше.

— Как же ты близорука, слепа! — сказал он веточке.— Какое это отверженное растение ты так жалеешь?

— Чертовы подойники! — сказала ветка.— Никогда из них не делают букетов, их топчут ногами — слишком уж их много! Семена же их летают над дорогой, как стриженая шерсть, и пристают к платью прохожих. Сорная трава, да и только! Но кому-нибудь да надо быть и сорною травой! Ах, я так благодарна судьбе, что я не из их числа!

На поле высыпала целая толпа детей. Самого младшего принесли на руках и посадили на травку посреди желтых цветов. Малютка весело смеялся, шалил, колотил по траве ножками, кувыркался, рвал желтые цветы и даже целовал их в простоте невинной детской души. Дети постарше обрывали цветы, а пустые внутри стебельки сгибали и вкладывали один конец в другой, потом делали из таких колец длинные цепочки и украшали ими

шею, плечи, талию, грудь и голову. То-то было великолепие! Самые же старшие из детей осторожно срывали уже отцветшие растения, увенчанные перистыми коронками, подносили эти воздушные шерстяные цветочки — своего рода чудо природы — ко рту и старались сдуть разом весь пушок. Кому это удастся, тот получит новое платье еще до Нового года,— так сказала бабушка.

Презренный цветок оказывался в данном случае настоящим пророком.

— Видишь? — спросил солнечный луч.— Видишь его красоту, его великое значение?

— Да, для детей! — отвечала ветка.

Приплелась на поле и старушка бабушка и стала выкапывать тупым обломком ножа корни желтых цветов. Некоторые из корней она собиралась употребить на кофе, другие — продать в аптеку на лекарство.

— Красота все же куда выше! — сказала ветка.— Только избранные войдут в царство прекрасного! Есть же разница и между растениями, как между людьми!

Солнечный луч заговорил о бесконечной любви божьей ко всякому земному созданию: все, что одарено жизнью, имеет свою часть во всем — и во времени, и в вечности!

— Ну, это только вы так думаете! — сказала ветка.

В комнату вошли люди; между ними была и молодая графиня, поставившая ветку в прозрачную, красивую вазу, сквозь которую просвечивало солнце. Графиня несла в руках цветок,— что же еще? — обернутый крупными зелеными листьями; цветок лежал в них, как в футляре, защищенный от малейшего дуновения ветра. И несла его графиня так бережно, как не несла даже нежную ветку яблони. Осторожно отогнула она зеленые листья, и из-за них выглянула воздушная корона презренного желтого цветка. Его-то графиня так осторожно сорвала и так бережно несла, чтобы ветер не сдул ни единого из тончайших перышек его пушистого шарика. Она донесла его целым и невредимым и не могла налюбоваться красотой, прозрачностью, всем своеобразным построением этого чудо-цветка, вся прелесть которого сохраняется до первого дуновения ветра.

— Посмотрите же, что за чудо создал господь бог! — сказала графиня.— Я нарисую его вместе с веткой яблони. Все любуются ею, но милостью творца и этот бедненький цветочек наделен не меньшею красотой. Как ни различны они, все же оба — дети одного царства прекрасного!

И солнечный луч поцеловал бедный цветочек, а потом поцеловал цветущую ветку, и лепестки ее как будто слегка покраснели.

ПЯТЕРО ИЗ ОДНОГО СТРУЧКА

В стручке сидело пять горошин; сами они были зеленые, стручок тоже зеленый, ну, они и думали, что и весь мир зеленый; так и должно было быть! Стручок рос, росли и горошины; они приноравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок, дождик поливал его, и он делался все чище, прозрачнее; горошинам было хорошо и уютно, светло днем и темно ночью, как и следует. Они все росли да росли и все больше думали, сидя в стручке, что пора им что-то предпринять.

— Век, что ли, сидеть нам тут? — говорили они.— Как бы нам не засохнуть от такого сидения!.. Сдается нам, есть что-то и вне нашего стручка! Уж такое у нас предчувствие!

Прошло несколько недель; горошины пожелтели, стручок тоже пожелтел.

— Весь мир желтеет! — сказали они, и кто ж бы им помешал говорить так?

Вдруг они почувствовали сильный толчок; стручок сорвала человеческая рука и сунула в карман, к другим стручкам.

— Ну, вот теперь скоро нас выпустят на волю! — сказали горошины и стали ждать.

— А хотелось бы мне знать, кто из нас пойдет дальше всех! — сказала самая маленькая.— Впрочем, скоро увидим!

— Будь что будет! — сказала самая большая.

— Крак! — стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони; маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузинной трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела.

— Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может! — закричала она, и след ее простыл.

— А я полечу прямо на солнце; вот настоящий-то стручок! Как раз по мне! — сказала другая.

Простыл и ее след.

— А мы куда придем, там и заснем! — сказали две следующие.— Но мы все же до чего-нибудь докатимся! — Они и правда покатились по полу, прежде чем попасть в бузинную трубочку, но все-таки попали в нее.— Мы дальше всех пойдем!

— Будь что будет! — сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель как раз под окошком чердачной каморки. В щели был мох и рыхлая земля, мох укрыл горошину; так она и осталась там, скрытая, но не забытая господом богом.

— Будь что будет! — говорила она.

А в каморке жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу: чистила печи, пилила дрова, словом, бралась за все, что подвернется; сил у нее было довольно, охоты работать тоже не занимать стать, но из нужды она все-таки не выбивалась! Дома оставалась у нее единственная дочка, подросток. Она была такая худенькая, тщедушная; целый год уж лежала в постели: не жила и не умирала.

— Она уйдет к сестренке! — говорила мать.— У меня ведь их две было. Тяжело было мне кормить двоих; ну, вот господь бог и поделил со мною заботу, взял одну к себе! Другую-то мне хотелось бы сохранить, да он, видно, не хочет разлучать сестер! Заберет и эту!

Но больная девочка все не умирала; терпеливо, смирно лежала она день-деньской в постели, пока мать была на работе.

Дело было весною, рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол. Больная девочка долго не отводила глаз от окна.

— Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра!

Мать подошла к окну и приотворила его.

— Ишь ты! — сказала она.— Да это горошинка пустила ростки! И как она попала сюда в щель? Ну, вот у тебя теперь будет свой садик!

Придвинув кроватку поближе к окну, чтобы девочка могла полюбоваться зеленым ростком, мать ушла на работу.

— Мама, я думаю, что поправлюсь! — сказала девочка вечером.— Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растет на солнышке? Я тоже поправлюсь, начну вставать и выйду на солнышко.

— Дай-то бог! — сказала мать, но не верила, что это сбудется.

Однако она подперла зеленый росток, подбодривший девочку, небольшою палочкой, чтобы он не сломался от ветра; потом взяла тоненькую веревочку и один конец ее прикрепила к крыше, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту веревочку побеги горошины смогут цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло: побеги заметно росли и ползли вверх по веревочке.

— Смотри-ка, да она скоро зацветет! — сказала женщина однажды утром и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная дочка ее поправится.

Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живее, по утрам сама приподнималась на постели и долго сидела, любуясь своим садиком, где росла одна-единствен-

ная горошина. А как блестели при этом ее глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час. Как счастлива она была посидеть на солнышке! Окошко было отворено, а за окном покачивался распустившийся бело-розовый цветок. Девочка высунулась в окошко и нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для нее настоящим праздником.

— Господь сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитя, да и меня тоже! — сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, как ангелу небесному.

Ну, а другие-то горошины? Та, что летела, куда хотела,— лови, дескать, кто может,— попала в водосточный желоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там, как Иона во чреве кита. Две лентяйки ушли не дальше — их тоже проглотили голуби, значит, и они принесли немалую пользу. А четвертая, что собиралась залететь на солнце, упала в канаву и пролежала несколько недель в затхлой воде, пока не разбухла.

— Как я славно раздобрела! — говорила горошина.— Право, я скоро лопну, а уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина. Я самая замечательная из всех пяти!

Канава была с нею вполне согласна.

А у окна, выходившего на крышу, стояла девочка с сияющими глазами, румяная и здоровая; она сложила руки и благодарила бога за цветочек гороха.

— А я все-таки стою за мою горошину! — сказала канава.

ХАНС ЧУРБАН

Старая история, пересказанная вновь

Была в одной деревне старая усадьба, а у старика, владельца ее, было два сына, да таких умных, что и вполовину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне; это было можно,— она сама объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре.

Оба брата готовились к испытанию целую неделю,— больше времени у них не было, да и того было довольно: знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и все номера местной газеты за три года — он одинаково хорошо мог пересказывать их и с начала и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина; значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах,— думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки,— вот какой он был искусник!

— Уж я-то добуду королевскую дочь! — говорили и тот и другой.

Отец дал каждому по прекрасному коню: тому, что знал наизусть словарь и газеты, вороного, а тому, что обладал государственным умом и вышивал подтяжки, белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче открывался, и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является третий брат,— всего-то их было трое, да третьего никто в расчет не принимал: далеко ему было до своих ученых братьев, и звали его попросту Ханс Чурбан.

— Куда это вы так разрядились? — спросил он.

— Едем ко двору «выговорить» себе королевну! Ты не слыхал разве, о чем трезвонили по всей стране?

И ему рассказали, в чем дело.

— Эге! Так и я с вами! — сказал Ханс Чурбан.

Но братья только засмеялись и уехали.

— Отец, дай мне коня! — закричал Ханс Чурбан.— Мне страсть как охота жениться! Возьмет королевна меня — ладно, а не возьмет — я сам ее возьму!

— Пустомеля! — сказал отец.— Не дам я тебе коня. Ты и говорить-то не умеешь! Вот братья твои — те молодцы!

— Коли не даешь коня, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня! — И Ханс Чурбан уселся на козла верхом, ударил его пятками под бока. Фу-ты ну-ты, как заскакал!

— Знай наших! — закричал он и запел во все горло.

А братья ехали себе потихоньку, молча; им надо было хорошенько вспомнить все красные словца, которые они собирались подпустить в разговоре с королевной,— тут ведь держи ухо востро.

— Го-го! — закричал Ханс Чурбан.— Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!

И он показал дохлую ворону.

— Чурбан и есть чурбан! — сказали те.— Куда ты ее тащишь?

— В подарок королевне!

— Вот, вот! — сказали они, расхохотались и уехали вперед.

— Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел! Такие штуки не каждый день валяются на дороге!

Братья опять обернулись.

— Вот чурбан так чурбан! — сказали они.— Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха! И его ты тоже подаришь королевне?

— И его подарю! — ответил Ханс Чурбан.

Братья засмеялись и уехали от него вперед.

— Го-го! Вот и я! — опять закричал Ханс Чурбан.— Нет, чем дальше, тем больше! Го-го!

— Ну-ка, что ты там еще нашел? — спросили братья.

— А, нет, не скажу! Вот обрадуется-то королевна!

— Тьфу! — плюнули братья.— Да ведь это грязь из канавы!

— И еще какая! — ответил Ханс Чурбан.— Жижа, в руках не удержишь, так и течет!

И он налил себе грязи полный карман.

А братья пустились от него вскачь и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шести человек, и ставили их так близко друг к другу, что им и шевельнуться было нельзя. И хорошо, что так, не то они измолотили бы друг другу спины за то только, что один стоял впереди другого.

Все остальные жители страны собрались около дворца. Многие заглядывали в самые окна,— любопытно было посмотреть, как королевна принимает женихов. Женихи входили в залу один за другим, и как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется!

— Не годится! — говорила королевна.— Вон его!

Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все, а тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь самого себя вверх ногами, у каждого окна по три писца, да еще один советник, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать на углу по два скиллинга,— просто ужас. К тому же печку так натопили, что она раскалилась докрасна.

— Какая жара здесь! — выдавил наконец из себя жених.

— Да, отцу сегодня вздумалось жарить петушков! — сказала королевна.

Жених и рот разинул, такого разговора он не ожидал и не нашелся, что ответить, а ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее.

— Э-э! — проговорил он.

— Не годится! — сказала королевна.— Вон!

Пришлось ему убраться восвояси. За ним явился к королевне другой брат.

— Ужасно жарко здесь! — начал он.

— Да, мы жарим сегодня петушков! — ответила королевна.

— Как, как, ка?..— пробормотал он, и все писцы написали: «как, как, ка?..»

— Не годится! — сказала королевна.— Вон!

Тут явился Ханс Чурбан. Он въехал на козле прямо в залу.

— Экая жарища! — сказал он.

— Да, я жарю петушков! — ответила королевна.

— Вот удача! — сказал Ханс Чурбан.— Так и мне можно будет зажарить мою ворону?

— Можно! — сказала королевна.— А у тебя есть в чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковородки!

— У меня найдется! — сказал Ханс Чурбан.— Вот посудинка, да еще с ручкой!

И он вытащил из кармана старый деревянный башмак и положил в него ворону.

— Да это целый обед! — сказала королевна.— Но где ж нам взять подливку?

— А у меня в кармане! — ответил Ханс Чурбан.— У меня ее столько, что девать некуда, хоть выливай.

И он зачерпнул из кармана пригоршню грязи.

— Вот это я люблю! — сказала королевна.— Ты скор на ответы, за словом в карман не лезешь, тебя я и возьму в мужья! Но знаешь ли ты, что все, что мы говорим, записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три писца, да еще один советник? А советник-то хуже всех — ничего не понимает!

Это все она наговорила, чтобы испугать Ханса. А писцы заржали и посадили на пол кляксы.

— Ишь, какой нашелся! — сказал Ханс Чурбан.— Вот я сейчас угощу его!

И он, не долго думая, выворотил карман и залепил советнику все лицо грязью.

— Вот это ловко! — сказала королевна.— Я бы этого не сумела сделать, но уж теперь выучусь!

Так и стал Ханс Чурбан королем, женился, надел корону и сел на трон. Мы узнали все это из газеты, которую издает муниципальный советник, а на нее не след полагаться.

ИБ И ХРИСТИНОЧКА

Неподалеку от реки Гуден по Силькеборгскому лесу проходит горный кряж, вроде большого вала. У подножия его, с западной стороны, стоял, да и теперь стоит крестьянский домик. Почва тут скудная; песок так и просвечивает сквозь редкую рожь и ячмень. История эта произошла уже много лет назад. Хозяева домика засевали маленькое поле, держали трех овец, свинью да двух волов — словом, кормились кое-как: что есть — хорошо, а нет — и не спра-

шивай! Могли бы они держать и пару лошадей, да говорили, как и другие тамошние крестьяне:

— Лошадь сама себя съедает,— коли дает что, так и берет столько же!

Иеппе Иенс летом работал в поле, а зимою прилежно резал деревянные башмаки. Был у него и помощник; парень тот умел выделывать такие башмаки, что они и крепки были, и легки, и фасонисты. Кроме башмаков, они резали и ложки, и зашибали денежки, так что Иеппе Иенса с хозяйкой нельзя было назвать бедняками.

Единственный их сынишка, семилетний Иб, глядя на отца, тоже резал какие-то щепочки, резал, конечно, себе при этом и пальцы, но наконец выточил-таки из двух обрубков что-то вроде маленьких деревянных башмачков — «в подарок Христиночке»,— сказал он. Христиночка, дочка барочника, была такая хорошенькая, нежная, словно барышня; будь у нее и платья под стать ей самой, никто бы не поверил, что она родилась в бедной хижине, крытой вереском, в пустоши Сейс. Отец ее был вдов и занимался сплавкой дров из лесу на Силькеборгские угриные тони, а иной раз и дальше, в Рандерс. Ему не на кого было оставлять шестилетнюю Христиночку, и она почти всегда разъезжала с отцом взад и вперед по реке. Если же тому приходилось плыть в Рандерс, девочка оставалась у Иеппе Иенса.

Иб и Христиночка были большими друзьями, играли вместе и ели из одной миски. Они копались в песке, ходили повсюду, а раз решились даже одни влезть на кряж и зайти в лес; там они нашли гнездо кулика и в нем яички. Вот было событие!

Иб сроду еще не видел вересковой пустоши, не случалось ему и проплывать из реки Гуден в озера; вот барочник и пригласил раз мальчика прокатиться с ними и еще накануне взял его к себе домой.

Барка отплыла ранним утром; на самом верху сложенных в поленницы дров восседали ребятишки, уплетая хлеб и малину; барочник и помощник его отталкивались шестами, течение помогало им, и барка летела стрелою по реке и озерам. Часто казалось, что выход из озера закрыт глухою стеной деревьев и тростника, но подплывали ближе, и находилась протока, хотя ивы и нависали над водою сплошною сенью, а дубы старались преградить дорогу, простирая вперед обнаженные от коры ветви,— великаны деревья словно нарочно засучили рукава, чтобы показать свои голые, жилистые руки! Старые ольхи, отмытые течением от берега, крепко цеплялись корнями за дно и казались маленькими лесными островками. По воде плавали кувшинки... Славное было путешествие! Наконец добрались и до тоней, где из шлюзов шум-

но бежала вода. Было на что посмотреть тут и Христиночке и Ибу!

В те времена здесь еще не было ни фабрики, ни города, а стоял только старый дом, в котором жили рыбаки, и народу на тонях держали немного. Местность оживляли только шум воды да крики диких уток. Доставив дрова на место, отец Христины купил большую связку угрей и битого поросенка; припасы уложили в корзинку и поставили на корме барки. Назад пришлось плыть против течения, но ветер был попутный, они поставили паруса, и барка заскользила, словно ее везла пара добрых коней.

Доплыв до того места в лесу, откуда помощнику барочника было рукой подать до дому, мужчины сошли на берег, а детям велели сидеть смирно. Да, так они и усидели! Надо же было заглянуть в корзину, где лежали угри и поросенок, вытащить поросенка и подержать его в руках. Держать, конечно, хотелось и тому и другому, и вот поросенок очутился в воде и поплыл по течению. Ужас что такое!

Иб спрыгнул на берег и побежал, но едва он сделал несколько шагов, как к нему присоединилась и Христина.

— И я с тобою! — закричала она, и дети живо очутились в кустах, откуда уже не видно было ни барки, ни реки. Пробежав еще немножко, Христиночка упала и заплакала. Иб поднял ее.

— Ну, пойдем вместе! — сказал он ей.— Дом-то ведь вон там!

То-то, что не там. Шли, шли они по сухим листьям и ветвям, которые так и хрустели под их ножонками, и вдруг раздался громкий крик, как будто звали кого-то. Дети остановились и прислушались. Тут заклекотал орел: какой неприятный звук! Детишки струхнули было, да увидели как раз перед собою заросли чуднейшей голубики. Как было устоять? И оба взапуски принялись рвать да есть горстями, вымазали себе все руки, губы и щеки! Опять послышался оклик.

— А достанется нам за поросенка! — сказала Христина.

— Пойдем лучше домой, к нам! — сказал Иб.— Это ведь здесь же, в лесу!

И они двинулись дальше, вышли на проезжую дорогу, но она не вела домой. Стемнело, жутко стало детям. В лесу стояла странная тишина; лишь изредка раздавался резкий, пугающий крик филина или другой какой-то незнакомой детям птицы... Наконец дети заплутались в кустах и расплакались. Наплакавшись, они растянулись на сухих листьях и уснули.

Солнышко было уже высоко, когда они проснулись. Дрожь пробрала их от утренней свежести, но на холме между деревьями просвечивало солнышко; надо взобраться туда, решил Иб: там они согреются и оттуда можно будет увидеть дом его родителей. Увы!

Дети находились совсем в другом конце леса, и до дому было далеко! Кое-как вскарабкались они на холм и очутились над обрывом; внизу сверкало прозрачное, светлое озеро. Рыбки так и сновали на поверхности, блестя на солнце чешуей. Такого зрелища дети и не ожидали. Вдобавок края обрыва все поросли орешником, усыпанным орехами; в некоторых гнездышках сидело даже по семи штук! Дети рвали, щелкали орехи и ели нежные ядрышки, которые уже начали поспевать. Вдруг — вот страх-то! — из кустов вышла высокая старуха с коричневым лицом и черными как смоль волосами; белки ее глаз сверкали, как у негра; за спиной у нее был узел, в руках суковатая палка. Это была цыганка. Дети не сразу разобрали, что она им говорила, а она вытащила из кармана три ореха и сказала, что это волшебные орехи — в каждом спрятаны чудеснейшие вещи!

Иб поглядел на нее; она смотрела так ласково; он собрался с духом и попросил у нее эти орехи. Она отдала и нарвала себе полный карман свежих.

Иб и Христиночка во все глаза глядели на волшебные орехи.

— Что ж, в нем карета и лошади? — спросил Иб, указывая на один.

— Да еще золотая, и лошади тоже золотые! — ответила старуха.

— Дай его мне! — сказала Христиночка.

Иб отдал, и старуха завязала орех в шейный платочек девочки.

— А в этом есть такой хорошенький платочек, как у Христины? — спросил Иб.

— Целых десять! — ответила старуха.— Да еще чудесные платья, чулочки и шляпа!

— Так дай мне и этот! — сказала Христина.

Иб отдал ей и другой, и у него остался лишь один, маленький, черненький.

— Этот оставь себе! — сказала Христина.— Он тоже хороший.

— А что в нем? — спросил Иб.

— То, что для тебя будет лучше всего! — сказала цыганка.

И Иб крепко зажал орех в руке. Цыганка пообещала детям вывести их на дорогу, и они пошли вслед за ней, но, оказалось, совсем не туда, куда надо. Из этого, однако, вовсе не следовало, что цыганка хотела украсть детей.

Но в конце концов дети все же встретили лесничего Крэна. Он знал Иба и привел детей домой, где был страшный переполох. Детей простили, хоть они заслуживали хороших розог, во-первых, за то, что упустили в воду поросенка, а во-вторых, за то, что убежали.

Христина вернулась домой в вересковую пустошь, а Иб остался в лесном домике. Первым его делом в тот же вечер было вытащить из кармана свой орешек. Он прищемил его дверью, и орех раскололся, но в нем не оказалось даже зернышка — одна черная пыль, землица, вроде нюхательного табака. Орех-то был с червоточинкой, как говорится.

— Так я и думал! — сказал Иб.— Как могло бы «то, что для меня лучше всего», уместиться в таком крошечном орешке? И Христина не получит ни платьев, ни золотой кареты!

Пришла зима, наступил и Новый год.

Минуло несколько лет. Иб начал готовиться к конфирмации и ходить к священнику, а тот жил далеко. Раз зашел к ним барочник и рассказал родителям Иба, что Христиночка поступает в услужение,— пора ей зарабатывать свой хлеб. И счастье ей как будто улыбнулось, она поступает к хорошим, богатым людям — подумайте, к самим хозяевам постоялого двора в Гернинге! Сначала она просто будет помогать хозяйке, а потом, как привыкнет к делу и конфирмуется, они оставят ее у себя насовсем.

И вот Иб распрощался с Христиной, а их давно уже прозвали женихом и невестой. Христиночка показала Ибу на прощанье те два орешка, что он когда-то дал ей в лесу, и сказала, что бережет в своем сундучке и деревянные башмачки, которые он вырезал для нее еще мальчиком. С тем они и расстались.

Иба конфирмовали, но он остался жить дома с матерью, прилежно резал зимою деревянные башмаки, а летом работал в поле; у матери не было другого помощника — отец Иба умер.

Лишь изредка, через почтальона да через рыбаков, получал он известия о Христине. Ей хорошо жилось у хозяев, и после конфирмации она прислала отцу письмо с поклонами Ибу и его матери. В письме говорилось также о чудесном платье и полдюжине сорочек, что подарили ей хозяева. Вести были, значит, хорошие.

Следующею весною в один прекрасный день в дверь домика Иба постучали, и явился барочник с Христиной. Она приехала навестить отца,— выдался случай доехать с кем-то до Тэма и обратно. Она была прехорошенькая, совсем барышня на вид и одета очень хорошо; платье сидело на ней ловко и очень шло к ней, словом — она принарядилась что надо, а Иб встретил ее в старом, будничном платье и от смущения не знал, что сказать. Он только взял ее за руку, крепко пожал, видимо, очень обрадовался, но язык у него как-то не ворочался. Зато Христиночка щебетала без умолку; мастерица была поговорить! И, здороваясь, она поцеловала Иба прямо в губы!

— Разве ты не узнаешь меня? — спрашивала она его.

А он, даже когда они остались вдвоем, сказал только:

— Право, ты словно важная дама, Христина, а я такой неотесанный! А как часто я вспоминал тебя... и доброе старое время!

И они пошли рука об руку на кряж, любовались оттуда рекою и пустошью, поросшею вереском, но Иб все не говорил ни слова, и только когда пришло время расставаться, ему стало ясно, что Христина должна стать его женой; их ведь еще в детстве звали женихом и невестою, и ему даже показалось, что они уже обручены, хотя ни один из них никогда и не обмолвился ни о чем таком ни словом.

Всего несколько часов еще оставалось им провести вместе: Христине надо было торопиться в Тэм, откуда она на следующее утро должна была выехать обратно домой. Отец с Ибом проводили ее до Тэма; ночь была такая светлая, лунная. Когда они дошли до места, Иб стал прощаться с Христиной и долго-долго не мог выпустить ее руки. Глаза его так и блестели, и он наконец заговорил. Немного он сказал, но каждое его слово шло прямо от сердца:

— Если ты еще не очень привыкла к богатой жизни, если думаешь, что могла бы поселиться у нас с матерью и выйти за меня замуж, то... мы могли бы когда-нибудь пожениться!.. Но, конечно, надо обождать немного!

— Конечно, подождем! — сказала Христина и крепко пожала ему руку, а он поцеловал ее в губы.— Я верю тебе, Иб! — продолжала она.— И думаю, что тоже люблю тебя сама, но все же надо повременить!

С тем они и расстались. Иб сказал ее отцу, что они с Христиной почти сговорились, а тот ответил, что давно ожидал этого. Они вернулись вместе к Ибу, и барочник переночевал у него, но о помолвке больше не было сказано ни слова.

Прошел год. Иб и Христина обменялись двумя письмами. «Верный — верная — до гроба», так оба они подписывались. Но раз к Ибу зашел барочник передать ему от Христины поклон и... да тут слова как будто застряли у него в горле... В конце концов дело, однако, выяснилось. Христине жилось очень хорошо, она стала такою красавицей, все ее любили и уважали, а старший сын хозяев, приезжавший навестить родителей,— он занимал в Копенгагене большое место в какой-то конторе,— полюбил ее. Ей он тоже понравился, родители, казалось, были не прочь, но Христину, видно, очень беспокоило то, что Иб так много думает о ней... «И вот она хочет отказаться от своего счастья»,— закончил барочник.

Иб не проронил сначала ни словечка, только весь побелел как полотно, затем тряхнул головою и сказал:

— Христина не должна отказываться от своего счастья!

— Так напиши ей несколько слов! — сказал отец Христины.

Иб и написал, но не сразу; мысли все что-то не ложились у него на бумагу, как ему хотелось, и он перечеркивал и рвал листок за листком. Но к утру письмо все-таки было написано. Вот оно:

«Я читал твое письмо к отцу и вижу, что тебе живется хорошо и будет еще лучше. Посоветуйся со своим сердцем, Христина, подумай хорошенько о том, что ожидает тебя, если выйдешь за меня. Большого достатка у меня ведь нет. Не думай поэтому обо мне и каково мне, а думай только о своем счастье! Я тебя не связывал никаким словом, а если ты мне и дала его мысленно, то я возвращаю тебе его. Да пошлет тебе бог всякого счастья, Христиночка! Господь же утешит и меня!

Вечно преданный друг твой
Иб».

Письмо было отправлено, и Христина получила его.

Около Мартынова дня в ближней церкви огласили помолвку Христины; в одной из церквей в Копенгагене, где жил жених, тоже. И скоро Христина с хозяйкой отправилась в столицу,— жених не мог надолго бросить свое дело. Христина должна была, по уговору, встретиться со своим отцом в местечке Фундер — оно лежало как раз на пути, да и старику было до него недалеко. Тут отец с дочерью свиделись и расстались. Барочник зашел после того к Ибу рассказать ему о свидании с дочерью; Иб выслушал его, но не проронил в ответ ни словечка. Он стал таким задумчивым, по словам его матери. Да, он много о чем думал, между прочим, и о тех трех орехах, что дала ему в детстве цыганка. Два из них он отдал Христине; то были волшебные орехи: в одном была золотая карета и лошади, в другом — чудеснейшие платья. Вот и сбылось все. Вся эта роскошь и ждет ее теперь в Копенгагене! Да, для нее все вышло, как по-писаному, а Иб нашел в своем орешке только черную пыль, землю. «То, что для тебя будет лучше всего»,— сказала ему цыганка; да, так оно и есть; теперь он понимал смысл ее слов — в черной земле, в могиле, ему и будет лучше всего!

Прошло еще несколько лет; как долго тянулись они для Иба! Старики хозяева постоялого двора умерли один за другим, и все их богатство, много тысяч риксдалеров, досталось сыну. Теперь Христина могла обзавестись даже золотою каретой, а не только чудесными платьями.

Потом целых два года о Христине не было ни слуху ни духу; наконец отец получил от нее письмо, но нерадостные оно принесло вести. Бедняжка Христина! Ни она, ни муж ее не умели

беречь денег, и богатство их как пришло, так и ушло; оно не пошло им впрок — они сами в том повинны.

Вереск в поле цвел и отцветал, много раз заносило снегом и пустошь, и горный кряж, и уютный домик Иба. Раз весною Иб шел по полю за плугом; вдруг плуг врезался во что-то твердое — кремень, как ему показалось, и из земли торчала как будто большая черная стружка. Но когда Иб взял ее в руки, он увидел, что это не дерево, а металл, блестевший в том месте, где его резануло плугом. Это было старинное, тяжелое и большое золотое запястье героической эпохи. На том месте, где теперь расстилалось вспаханное поле, возвышался когда-то древний могильный курган. И вот пахарь нашел сокровище. Иб показал запястье священнику, тот объяснил ему, какое оно дорогое, и Иб пошел к местному судье; судья дал знать о драгоценной находке в Копенгаген и посоветовал Ибу лично представить ее куда следует.

— Лучше этого земля не могла дать тебе ничего! — прибавил судья.

«Вот оно! — подумал Иб.— Так все-таки земля дала мне то, что для меня лучше всего! Значит, цыганка была права!»

Иб отправился из Орхуса морем в Копенгаген. Для него это было чуть не кругосветным плаваньем,— до сих пор он ведь плавал лишь по своей речке Гуден. И вот он добрался до Копенгагена. Ему выплатили полную стоимость находки, большую сумму: целых шестьсот риксдалеров. Несколько дней бродил Иб по чужому, огромному городу и однажды вечером, как раз накануне отъезда обратно в Орхус, заблудился, перешел какой-то мост и вместо того, чтобы идти к Западным воротам, попал в Христианову гавань. Он, впрочем, и теперь шел на запад, да только не туда, куда надо. На улице не было ни души. Вдруг из одного убогого домика вышла маленькая девочка. Иб попросил ее указать ему дорогу; она испуганно остановилась, поглядела на него, и он увидел, что она горько плачет. Иб, конечно, спросил, что с ней; девочка что-то ответила, но он не разобрал. В это время они очутились у фонаря, и свет упал девочке прямо в лицо — Иб глазам своим не поверил: перед ним стояла живая Христиночка, какою он знал ее в дни ее детства!

Иб вошел вслед за малюткой в бедный дом, поднялся по узкой, скользкой лестнице на чердак, в маленькую каморку под самой крышей. На него пахнуло тяжелым, удушливым воздухом; в каморке было совсем темно и тихо; только в углу слышались чьи-то тяжелые вздохи. Иб чиркнул спичкою. На жалкой постели лежала мать ребенка.

— Не могу ли я помочь вам? — спросил Иб.— Малютка привела меня, но я приезжий и никого здесь не знаю. Скажите же,

нет ли тут каких-нибудь соседей, которых бы можно было позвать к вам на помощь?

И он приподнял голову больной.

Это была Христина из пустоши Сейс. Много лет при Ибе не упоминали даже ее имени — это бы растревожило его, тем более что слухи о ней доходили самые неутешительные. Люди, правда, говорили, что большое наследство совсем вскружило голову мужу Христины; он отказался от места, поехал за границу, прожил там полгода, вернулся обратно и стал прожигать жизнь. Все больше и больше наклонялась телега и наконец опрокинулась вверх дном! Веселые друзья-собутыльники все сошлись на том, что этого и нужно было ожидать,— разве можно вести такую сумасшедшую жизнь? И вот однажды утром его вытащили из дворцового канала мертвым!

Дни Христины тоже были сочтены; младший ребенок ее, рожденный в нищете, уже умер, и сама она собиралась последовать за ним... Умирающая, всеми забытая, лежала она в такой жалкой каморке, какою могла еще, пожалуй, довольствоваться в дни юности, в пустоши Сейс, но не теперь, после того как успела привыкнуть к роскоши и богатству. И вот случилось, что старшая ее дочка, тоже Христиночка, терпевшая холод и голод вместе с матерью, встретила Иба!

— Я боюсь, что умру, оставлю мою бедную крошку круглой сиротой! — простонала больная.— Куда она денется?!

Больше она говорить не могла.

Иб опять зажег спичку, нашел огарок свечки, зажег его и осветил жалкую каморку.

Потом он взглянул на ребенка и вспомнил Христиночку — подругу детских лет... Да, ради той Христиночки он должен взять на себя заботы об этой, чужой для него девочке! Умирающая взглянула на него, глаза ее широко раскрылись... Узнала ли она его? Неизвестно; он не услышал от нее больше ни единого слова.

Мы опять в лесу, у реки Гуден, близ пустоши Сейс. Осень; небо серо, вереск оголился, западные ветры так и рвут с деревьев пожелтевшие листья, швыряют их в реку, разметывают по пустоши, где по-прежнему стоит домик, крытый вереском, но живут в нем уже чужие люди. А у подножия горного кряжа, в защищенном от ветра месте, за высокими деревьями, стоит старый домик, выбеленный и выкрашенный заново. Весело пылает огонек в печке, а сама комнатка озаряется солнечным сиянием: оно льется из двух детских глазок, из розового смеющегося ротика раздается щебетание жаворонка; весело, оживленно в комнате: тут живет

Христиночка. Она сидит у Иба на коленях; Иб для нее и отец и мать, настоящих же своих родителей она забыла, как давний сон. Иб теперь человек зажиточный и живет с Христиночкой припеваючи. А мать девочки покоится на кладбище для бедных в Копенгагене.

У Иба водятся деньжонки; он достал их себе из земли,— говорят про него. У Иба есть теперь и Христиночка!

«ПРОПАЩАЯ»

Городской судья стоял у открытого окна; на нем была крахмальная рубашка, в манишке красовалась дорогая булавка, выбрит он был безукоризненно — сам всегда брился. На этот раз он, впрочем, как-то порезался, и царапинка была заклеена клочком газетной бумаги.

— Эй ты, малый! — закричал он.

«Малый» был не кто иной, как прачкин сынишка; он проходил мимо, но тут остановился и почтительно снял фуражку с переломанным козырьком,— тем удобнее было совать ее в карман. Одет мальчуган был бедно, но чисто; на все дыры были аккуратно наложены заплатки; обут он был в тяжелые деревянные башмаки и стоял перед городским судьей навытяжку, словно перед самим королем.

— Ты славный мальчик! — сказал городской судья.— Почтительный мальчик! Мать, верно, полощет белье на речке, а ты тащишь ей чем подкрепиться? Вишь, торчит из кармана! Скверная привычка у твоей матери! Сколько у тебя там?

— Полкосушки,— ответил мальчик тихо, испуганно.

— Да утром ты отнес ей столько же? — продолжал городской судья.

— Нет, то вчера! — сказал мальчуган.

— Две полкосушки — вот уже и целая! Пропащая она женщина! Просто беда с этим народом! Скажи своей матери, что стыдно ей! Да гляди, сам не сделайся пьяницей! Впрочем, что и говорить: конечно, сделаешься! Бедный ребенок... Ну, ступай!

Мальчик пошел; фуражка так и осталась у него в руках, и ветер развевал его длинные белокурые волосы. Вот он прошел улицу, свернул в переулок и дошел до реки. Мать его стояла в воде и колотила вальком разложенное на деревянной скамье мокрое, тяжелое белье. Течение было сильное; мельничные шлюзы были открыты — простыню, которую женщина полоскала, так и

рвало у нее из рук, скамья тоже грозила опрокинуться, и прачка просто из сил выбивалась.

— Я чуть-чуть не уплыла сама! — сказала она.— Хорошо, что ты пришел, надо мне подкрепиться маленько. Вода холодная-прехолодная, а я вот уже шесть часов стою тут! Принес ты что-нибудь?

Мальчик вытащил бутылочку; мать приложила ее ко рту и хлебнула.

— Как славно! Сразу согреешься, точно поешь чего-нибудь горяченького, а стоит-то куда дешевле! Хлебни и ты, мальчуган! Ишь ты, какой бледный! Холодно тебе в легонькой одежонке! Осень ведь на дворе! У! Вода прехолодная! Только бы мне не захворать! Дай-ка мне еще глотнуть, да глотни и сам, только чуть-чуть! Тебе не надо привыкать к этому, бедняжка мой!

И она обошла мостки, на которых стоял мальчуган, и вышла на берег. Вода бежала с рогожки, которою она обвязалась вокруг пояса, текла с подола юбки.

— Я работаю, сколько хватает сил, кровь чуть не брызжет у меня из-под ногтей!.. Да пусть, только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик!

В это время к ним подошла бедно одетая старуха; она прихрамывала на одну ногу, и один глаз у нее был прикрыт большим локоном, отчего ее уродство было еще заметнее. Старуха была дружна с прачкой, а звали ее соседи «хромою Марен с локоном».

— Бедняжка, вот как приходится тебе работать! Стоишь по колено в холодной воде! Как тут не глотнуть разок-другой, чтобы согреться! А люди-то считают каждый твой глоток!

И она пересказала прачке слова городского судьи. Марен слышала, что он говорил мальчику, и очень рассердилась на него,— можно ли говорить так с ребенком о его же собственной матери да считать всякий ее глоток, когда сам задаешь званый обед, где вино будет литься рекою, и вино-то дорогое, крепкое! Небось сами пьют — не считают, и все-таки они не пьяницы, люди достойные, а ты вот «пропащая»!

— Так он и сказал тебе, сынок? — спросила прачка, и губы ее задрожали.— Мать твоя — пропащая! Что ж, может быть, он и прав! Но не следовало бы говорить этого ребенку!.. Да, не впервой терпеть мне от этого семейства!

— Правда, вы ведь служили еще у родителей судьи! Давненько это было, много пудов соли съедено с тех пор, не мудрено, что и пить хочется! — И Марен рассмеялась.— Сегодня у городского судьи назначен званый обед; хотели было отменить, да уж поздно, все готово. Я от дворника все это узнала. С час тому назад пришло письмо, что младший брат судьи умер в Копенгагене.

— Умер! — проговорила прачка и побледнела как смерть.

— Что с вами? — спросила Марен.— Неужто вы так близко принимаете это к сердцу? Ах да, ведь вы знавали его!

— Так он умер!.. Лучше, добрее его не было человека на свете! Не много у господа бога таких, как он! — И слезы потекли по ее щекам.— О господи, голова так и кружится! Это оттого, что я выпила всю бутылку! Не следовало бы! Мне так скверно!

И она схватилась за забор.

— Ох, да вы совсем больны, матушка! — сказала Марен.— Ну, ну, придите же в себя!.. Нет, вам и взаправду плохо! Отведу-ка я вас лучше домой!

— А белье-то!

— Ну, я уж как-нибудь справлюсь!.. Держитесь за меня! Мальчуган пусть покараулит тут, пока я вернусь и дополощу. Сущая безделица осталась!

Ноги у прачки подкашивались.

— Я слишком долго стояла в холодной воде! И с самого утра у меня не было во рту ни крошки! Лихорадка так и бьет! Господи Иисусе! Хоть бы до дому-то добраться! Бедный мой мальчик!

И она заплакала.

Мальчик тоже заплакал и остался у реки стеречь белье. Женщины продвигались вперед шаг за шагом, прачка едва тащилась, прошли переулок, улицу, но перед домом судьи больная вдруг свалилась на мостовую. Вокруг нее собралась толпа. Хромая Марен побежала во двор за помощью. Судья со своими гостями смотрел из окна.

— Это прачка! — сказал он.— Хлебнула лишнее! Пропащая женщина! Жаль только славного мальчугана, сынишку ее! А мать-то пропащая!

Прачку привели в себя, отнесли домой в ее жалкую каморку и уложили в постель. Марен приготовила для больной питье — теплое пиво с маслом и с сахаром, лучшее средство, какое она только знала, а потом отправилась дополаскивать белье. Выполоскала она его очень плохо, зато от доброго сердца; собственно говоря, она только повытаскала мокрое белье на берег и уложила в корзину.

Вечером Марен опять сидела в жалкой каморке возле прачки. Кухарка городского судьи дала ей для больной хороший кусок ветчины и немножко жареного картофеля; все это пошло самой Марен и мальчику, а больная наслаждалась одним запахом.

— Он такой питательный! — говорила она.

Мальчик улегся на ту же самую постель, на которой лежала и мать; он лег у нее в ногах, поперек кровати, и покрылся старым половиком, собранным из голубых и красных лоскутков.

Прачке стало немножко полегче; горячее пиво подкрепило ее, а запах теплого кушанья подбодрил.

— Спасибо тебе, добрая душа! — сказала она Марен.— Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все! Да он уже и спит, кажется! Взгляни, какой он славный, хорошенький с закрытыми глазками! Он и не знает, каково приходится его бедной матери, да, бог даст, и никогда не узнает!.. Я служила у советника и советницы, родителей судьи, и вот, случись, что самый младший из сыновей приехал на побывку домой; студент он был. Я в ту пору была еще молоденькою, шустрою, но честною девушкой,— вот как перед богом говорю! И студент-то был такой веселый, славный, а уж честнее, благороднее его не нашлось бы человека во всем свете! Он был хозяйский сын, а я простая служанка, но мы все-таки полюбили друг друга... честно и благородно! Поцеловаться разок-другой ведь не грех, если любишь друг друга всем сердцем. Он во всем признался матери; он так уважал и почитал ее, чуть не молился на нее! И она была такая умная, ласковая, добрая. Он уехал, но перед отъездом надел мне на палец золотое кольцо. Как уехал он, меня и призывает сама госпожа и начинает говорить со мною так серьезно и вместе с тем так ласково, как ангел небесный. Она объяснила мне, какое между мною и им расстояние по уму и образованию. «Теперь он глядит лишь на твое личико, но красота ведь пройдет, а ты не так воспитана, не так образованна, как он. Неровня вы — вот в чем вся беда! Я уважаю бедных, и в царствии небесном они, может быть, займут первые места, но тут-то, на земле, нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед,— и экипаж сломается, и вы оба вывалитесь! Я знаю, что за тебя сватался один честный, хороший работник, Эрик-перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный,— подумай же хорошенько!» Каждое ее слово резало меня, как ножом, но она говорила правду, вот это-то и мучило меня! Я поцеловала у нее руку и заплакала... Еще горше плакала я в своей каморке, лежа на постели... Один бог знает, что за ночку я провела, как я страдала и боролась с собою! Утром — это было в воскресенье — я отправилась к причастию в надежде, что бог просветит мой ум. И вот он точно послал мне свое знамение: иду из церкви, а навстречу мне Эрик. Тут уж я перестала и колебаться — и впрямь, ведь мы были парой, хоть он и был человеком зажиточным. Вот я и подошла к нему, взяла его за руку и сказала:

«Ты все еще любишь меня по-прежнему?»

«Люблю и буду любить вечно!» — отвечал он.

«А хочешь ли ты взять за себя девушку, которая уважает тебя, но не любит, хотя, может быть, и полюбит со временем?»

«Полюбит непременно!» — сказал он, и мы подали друг другу

руки. Я вернулась домой к госпоже. Золотое кольцо, что дал мне студент, я носила на груди,— я не смела надевать его на палец днем и надевала только по вечерам, когда ложилась спать. Я поцеловала кольцо так крепко, что кровь брызнула у меня из губ, потом отдала его госпоже и сказала, что на следующей неделе в церкви будет оглашение,— я выхожу за Эрика. Госпожа обняла меня и поцеловала... Она вот не говорила, что я «пропащая». Но, может статься, я в те времена, и правда, была лучше, хоть и не испытала еще столько горя! Сыграли свадьбу, и первый год дела у нас шли отлично; мы держали подмастерья и мальчика, да ты, Марен, служила у нас...

— И какою славною хозяюшкою были вы! — сказала Марен.— Оба вы с мужем были такие добрые! Век не забуду!..

— Да, ты жила у нас в хорошие годы! Детей у нас тогда еще не было... Студента я больше не видала... Ах нет, видела раз, но он-то меня не видел! Он приезжал на похороны матери. Я видела его у ее могилы. Какой он был бледный, печальный! Понятно — горевал по матери. Когда же умер его отец, он был в чужих краях и не приезжал, да и после не бывал ни разу. Он так и не женился! Кажется, он сделался адвокатом. Обо мне он и не вспоминал, и если бы даже увидел меня, не узнал бы — такою я стала безобразною. Да так оно и лучше.

Потом она стала рассказывать про тяжелые дни, когда одна беда валилась на них за другою. У них было пятьсот талеров, а на их улице продавался дом за двести; выгодно было купить его да сломать и построить на том же месте новый. Вот они и купили. Каменщики и плотники сделали смету, и вышло, что постройка будет стоить тысячу двадцать риксдалеров. Эрик имел кредит, и ему ссудили эту сумму из Копенгагена, но шкипер, который вез ее, погиб в море, а с ним и деньги.

— Тогда-то вот и родился мой милый сынок! А отец впал в тяжелую, долгую болезнь; девять месяцев пришлось мне одевать и раздевать его, как малого ребенка. Все пошло у нас прахом, задолжали мы кругом, все прожили; наконец умер и муж. Я из сил выбивалась, чтобы прокормиться с ребенком, мыла лестницы, стирала белье, и грубое и тонкое, но нужда одолевала нас все больше и больше... Так, видно, богу угодно!.. Но когда-нибудь да он сжалится надо мною, освободит меня и призрит мальчугана!

И она уснула.

Утром она чувствовала себя бодрее и решила, что может идти на работу. Но едва она ступила в холодную воду, ее затряс озноб, и силы оставили ее. Судорожно взмахнула она рукой, сделала шаг вперед и упала. Голова оказалась на земле, а ноги остались в воде;

деревянные башмаки ее с соломенною подстилкой поплыли по течению. Тут ее и нашла Марен, которая принесла ей кофе.

А от судьи пришли в это время сказать прачке, чтобы она сейчас же шла к нему; ему надо было что-то сообщить ей. Поздно! Послали было за цирюльником, чтобы пустить ей кровь, но прачка уже умерла.

— Опилась! — сказал судья.

А в письме, принесшем известие о смерти младшего брата, было сообщено и о его завещании. Выяснилось, что он отказал вдове перчаточника, служившей когда-то его родителям, шестьсот риксдалеров. Деньги эти могли быть выданы сразу или понемножку — как найдут лучшим — ей и ее сыну.

— Значит, у нее с братцем что-то было! — сказал судья.— Хорошо, что ее нет больше в живых! Теперь мальчик получит все, и я постараюсь отдать его в хорошие руки, чтобы из него вышел дельный работник.

И господь бог благословил это решение.

Судья призвал к себе мальчика и обещал позаботиться о нем, а мать, дескать, отлично сделала, что умерла,— пропащая была!

Прачку похоронили на кладбище для бедных. Марен посадила на могиле розовый куст; мальчик стоял тут же.

— Мамочка! — сказал он и заплакал.— Это правда, что она была пропащая?

— Неправда! — сказала старуха и взглянула на небо.— Я хорошо знала ее, но многое поняла только за последнюю ночь! Хорошая она была женщина! И господь бог скажет то же самое, когда примет ее в царство небесное! А люди пусть себе называют ее пропащею!

СВИНЬЯ-КОПИЛКА

Ну и игрушек было в детской! А высоко, на шкафу, стояла копилка — свинья. В спине у нее, конечно, была щель, и ее еще чуть-чуть расширили ножом, чтобы проходили и монеты покрупнее. В свинье лежали уже две серебряные монеты, да еще и много мелочи,— она была набита битком и даже не гремела больше, а уж это предел того, что может достичь такая свинья! Стояла она на шкафу и смотрела на все окружающее сверху вниз,— ей ведь ничего не стоило купить все это: брюшко у нее было тугое, ну, а такое сознание удовлетворит хоть кого.

Все окружающие помнили про это, но не говорили,— у них и так было о чем потолковать. Ящик комода стоял полуоткрытым,

и оттуда высунулась большая кукла. Она была уже немолода и с подклеенною шеей. Поглядев по сторонам, она сказала:

— Будем играть в людей,— все-таки какое-то занятие!

Поднялась возня, зашевелились даже картины на стенах, показывая, что и у них есть оборотная сторона, хотя вовсе не имели при этом в виду вступать с кем-либо в спор.

Была полночь; в окна светил месяц, предлагая всем даровое освещение. Участвовать в игре были приглашены все, даже детская коляска, хотя она из-за своей громоздкости принадлежала к низшему классу игрушек.

— Всяк хорош по-своему! — говорила она.— Не всем же быть благородными, надо кому-нибудь и дело делать, как говорится!

Свинья с деньгами одна только получила письменное приглашение: она стояла так высоко, что устное могло и не дойти до нее — думали игрушки. Она и теперь не ответила, что придет, да и не пришла! Нет, уж если хотят, чтобы она была в компании, то пусть устроят так, чтобы она видела все с своего места. Так и сделали.

Кукольный театр поставили прямо перед ней,— вся сцена была как на ладони. Начать хотели комедией, а потом предполагалось угощение: все будут пить чай и беседовать друг с другом. С беседы, впрочем, и началось. Лошадь-качалка заговорила о тренировке и о чистоте породы, детская коляска — о железных дорогах и силе пара: все это было по их части, так кому же было и говорить об этом, как не им? Комнатные часы были сильны в политике — тики-тики! Они знали, когда надо «ловить момент», но отставали, как говорили о них злые языки. Камышовая тросточка гордилась своим железным башмачком и серебряным колпачком: она была ведь обита и сверху и снизу. На диване лежали две вышитые подушки, премиленькие и преглупенькие. И вот началось представление.

Все сидели и смотрели; зрителей просили щелкать, хлопать и грохотать в знак одобрения. Но хлыстик сейчас же заявил, что не «щелкает» старухам, а только непросватанным барышням.

— А я так хлопаю всем! — сказал пистон.

«Где-нибудь да надо стоять!» — думала плевательница.

У каждого были свои мысли!

Комедия не стоила медного гроша, но сыграна была блестяще. Исполнители показывались публике только раскрашенною стороною; с оборотной на них не следовало и смотреть. Все играли отлично, правда, уже не на сцене: нитки были слишком длинны; зато актеры были виднее. Склеенная кукла так расчувствовалась, что совсем расклеилась, а свинья с деньгами ощутила в брюшке такое благодушие, что решилась сделать что-нибудь для одного из акте-

ров — например, упомянуть его в своем завещании, как достойного быть погребенным вместе с нею, когда придет время.

Все были в таком восторге, что отказались даже от чая и прямо перешли к беседе — это и называлось играть в людей, и отнюдь не в насмешку. Они ведь только играли, причем каждый думал лишь о самом себе да о том, что подумает о нем свинья с деньгами. А свинья углубилась в мысли о своем завещании и погребении: «Когда придет время...» Увы! Оно приходит всегда раньше, чем ожидают,— бац! Свинья свалилась со шкафа и разбилась вдребезги; монетки так и запрыгали по полу. Маленькие вертелись волчками, крупные солидно катились вперед. Особенно долго катилась одна — ей очень хотелось людей посмотреть и себя показать. Ну, и отправилась гулять по белу свету; отправились и все остальные, а черепки от свиньи бросили в помойное ведро. Но на шкафу на другой же день красовалась новая свинья-копилка. У нее в желудке было еще пусто, и она тоже не гремела,— значит, была похожа на старую. Для начала и этого довольно; довольно и с нас, кончим!

СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ

I. СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ

— Ну и пир задали вчера во дворце! — сказала одна пожилая мышь другой мыши, которой не довелось побывать на придворном пиршестве.— Я сидела двадцать первой от нашего старого мышиного царя, а это не так уж плохо! И чего только там не подавали к столу! Заплесневелый хлеб, кожу от окорока, сальные свечи, колбасу,— а потом все пошло по второму разу. Можно считать, что мы пообедали дважды! А какое у всех было чудесное настроение, как непринужденно велась беседа, если бы ты только знала! Обстановка была самая домашняя. Мы сгрызли все подчистую, кроме колбасных палочек — ну, знаешь, на которых колбасу жарят; о них-то и зашла потом речь, и кто-то вдруг вспомнил про суп из колбасной палочки. Оказалось, что слышать-то про этот суп слышали все, а вот попробовать его или тем более сварить не приходилось никому. И тогда был предложен замечательный тост за мышь, которая сумеет сварить суп из колбасной палочки, а значит, сможет стать начальницей приюта для бедных. Ну скажи, разве не остроумно? А старый мышиный царь поднялся со своего трона и заявил во всеуслышание, что сделает царицей ту молоденькую мышь, которая сварит самый вкусный суп из колбасной палочки. Срок он назначил — год и один день.

— Ну, что ж, срок достаточный,— сказала другая мышь.— Но как же его варить, этот самый суп, а?

Да, как его варить? Об этом спрашивали все мыши, и молодые и старые. Каждая была бы не прочь попасть в царицы, да только ни у кого не было охоты странствовать по белу свету, чтобы разузнать, как готовят этот суп. А без этого не обойтись: сидя дома, рецепта не получишь. Но ведь не всякая мышь может оставить семью и родной уголок; да и житье на чужбине не слишком сладко: там не отведаешь сырной корки, не понюхаешь кожи от окорока, иной раз придется и поголодать, а чего доброго, и кошке в лапы угодишь.

Многие кандидатки в царицы были так напуганы всеми этими соображениями, что предпочли остаться дома, и лишь четыре мыши, молодые и шустрые, но бедные, стали готовиться к отъезду. Каждая избрала себе одну из четырех сторон света — авось хоть кому-нибудь да повезет,— и каждая запаслась колбасной палочкой, чтобы не забыть по дороге о цели путешествия; к тому же палочка могла заменить дорожный посох.

В начале мая они тронулись в путь и в мае же следующего года вернулись обратно, но не все, а только три; о четвертой не было ни слуху ни духу, а назначенный срок уже близился.

— В каждой бочке меда есть ложка дегтя,— сказал мышиный царь, но все-таки велел созвать мышей со всей округи.

Собраться им было приказано в царской кухне; здесь же, отдельно от прочих, стояли рядом три мыши-путешественницы, а на место пропавшей без вести придворные поставили колбасную палочку, обвитую черным крепом. Всем присутствующим велели молчать, пока не выскажутся путешественницы и мышиный царь не объявит своего решения.

Ну, а теперь послушаем.

II. ЧТО ВИДЕЛА И ЧЕМУ НАУЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ МЫШЬ ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

— Когда я отправилась странствовать по белу свету,— начала мышка,— я, как и многие мои сверстницы, воображала, что давно уже разжевала и проглотила всю земную премудрость. Но жизнь показала мне, что я жестоко заблуждалась, и понадобился целый год и один день, чтобы постичь истину. Я отправилась на север и сначала плыла морем на большом корабле. Мне говорили, что коки должны быть изобретательны, спасаясь от нашей сестры, однако нашему коку, по-видимому, не было в этом ровно никакой нужды: корабельные трюмы ломились от корейки, солонины и прекрасной заплесневелой муки. Жилось мне восхитительно, ничего

не скажешь. Но посудите сами — могла ли я там научиться варить суп из колбасной палочки? Много дней и ночей мы всё плыли и плыли, нас качало и заливало волнами; но в конце концов корабль все-таки прибыл в далекий северный порт, и я выбралась на берег.

Ах, как все это странно: уехать из родного уголка, сесть на корабль, который вскоре тоже становится для тебя родным уголком, и вдруг очутиться за сотни миль от родины, в совершенно незнакомой стране! Меня обступили дремучие леса, еловые и березовые, и как ужасно они пахли! Невыносимо! Дикие травы издавали такой пряный запах, что я все чихала и чихала и думала про колбасу. А огромные лесные озера! Подойдешь поближе к воде — она кажется прозрачной, как хрусталь; а отойдешь подальше — и вот уже она темна, как чернила. В озерах плавали белые лебеди; они держались на воде так неподвижно, что сначала я приняла их за пену, но потом, увидев, как они летают и ходят, сразу поняла, что это птицы; они ведь из гусиного племени, по походке видно, а от родни своей не отречешься! И я поспешила отыскать свою собственную родню — лесных и полевых мышей, хотя они, сказать правду, мало что смыслят по части угощения, а я только за этим и поехала-то в чужие края. Когда здесь услышали о том, что из колбасной палочки можно сварить суп — а разговор об этом пошел по всему лесу,— всем это показалось невероятным, ну а мне-то откуда было знать, что я в ту же ночь буду посвящена в тайну супа из колбасной палочки.

Лето было в самом разгаре, и мне объяснили, что именно поэтому леса так благоухают, травы так душисты, а озера, в которых плавают белые лебеди, так прозрачны и в то же время так темны. На опушке леса, между тремя-четырьмя домиками, был установлен шест высотой с корабельную мачту. Это был майский шест — его верхушку украшали венки и ленты. Девушки и парни без устали плясали вокруг него и пели под скрипку бродячего музыканта. Когда солнце закатилось, веселье продолжалось при свете месяца, но я не принимала в нем участия — какое дело мышке до лесного бала! — я сидела в мягком мху и крепко держала свою колбасную палочку. Луна освещала лужайку, на которой росло дерево, а лужайка была покрыта мягким и нежным мхом — таким нежным, как, осмелюсь заметить, шкурка мышиного царя, только зеленого цвета, очень приятного для глаза. Вдруг, откуда ни возьмись, появились прелестные маленькие существа ростом мне по колено. Они были совсем как люди, только гораздо красивее. Человечки называли себя эльфами и были одеты в нарядные платьица из цветочных лепестков с отделкой из мушиных и комариных крылышек. Это выглядело очень мило. Я сразу же заметила, что они что-то ищут, но не могла понять, что именно.

Вот несколько эльфов подошли ко мне, и самый знатный сказал, указывая на мою колбасную палочку:

«Это как раз то, что нам нужно. Конец заострен превосходно!»

И чем дольше он смотрел на мой дорожный посох, тем больше восторгался им.

«Я, пожалуй, могу одолжить его вам на время, но не навсегда»,— сказала я.

«Ну конечно, не навсегда, только на время!» — закричали все, выхватили у меня колбасную палочку и пустились с ней, приплясывая, прямо к тому месту, где зеленел нежный мох; там ее и установили. Эльфам, видно, тоже хотелось иметь свой майский шест, а моя колбасная палочка так подошла им, как будто ее сделали на заказ. Они тут же принялись ее наряжать и убрали на славу. Вот это, скажу вам, было зрелище!

Крошечные паучки обвили шест золотыми нитями и украсили развевающимися флагами и прозрачными тканями. Ткань эта была такая тонкая и при лунном свете сияла такой ослепительной белизной, что у меня в глазах зарябило. Потом эльфы собрали с крыльев бабочек разноцветную пыльцу и посыпали ею белую ткань, и в тот же миг на ней засверкали тысячи цветов и алмазов. Теперь мою колбасную палочку и узнать было нельзя — другого такого майского шеста, наверное, в целом мире не было!

Тут, словно из-под земли, появилась несметная толпа эльфов. На них не было никакой одежды, но мне они казались еще более красивыми, чем самые нарядные из одетых. Меня тоже пригласили взглянуть на все это великолепие, но только издали, потому что я слишком велика.

Потом заиграла музыка, и какая музыка! Словно тысячи хрустальных колокольчиков наполнили воздух своим мелодичным звоном. Сначала я подумала, не лебеди ли это поют. Но потом мне почудилось, будто кукует кукушка и чирикает дрозд, а под конец — будто запел весь лес! Звучали детские голоса, звон колоколов, пение птиц, чудеснейшие мелодии — и все эти дивные звуки неслись с майского шеста эльфов. А ведь этим волшебным инструментом была всего-навсего моя колбасная палочка. Я никак не думала, что из колбасной палочки можно извлечь такие звуки, но оказалось, что все зависит от того, к кому она попадет. Я была глубоко взволнована и плакала от избытка чувств, как может плакать только маленькая мышка.

Ночь была очень короткая,— на севере в эту пору они и не бывают длиннее. На рассвете подул ветерок, зеркальная поверхность лесного озера подернулась рябью, прозрачные ткани и флаги разлетелись в разные стороны, а качающиеся гирлянды из паутины,

висячие мосты и балюстрады,— или как там они еще называются,— перекинутые с листа на листок, вдруг исчезли, словно их никогда и не было. Шесть эльфов принесли мне мою колбасную палочку и спросили, нет ли у меня какого-нибудь желания, которое они могли бы исполнить; и я тут же попросила их рассказать, как сварить суп из колбасной палочки.

«Да так, как мы это только что делали,— сказал с улыбкой самый знатный эльф.— Ты сама все видела, но вряд ли даже узнала свою колбасную палочку».

«Ах, вот о чем они говорят»,— подумала я и рассказала им все начистоту: зачем я отправилась путешествовать и чего ждут от меня на родине.

«Ну скажите,— закончила я свой рассказ,— какой будет прок мышиному царю и всему нашему великому государству от того, что я видела все эти чудеса? Ведь не могу же я вытряхнуть их из колбасной палочки и сказать: «Вот палочка, а вот и суп!» Таким блюдом не насытишься, разве что после обеда».

Тогда эльф провел своим крошечным пальчиком по лепесткам голубой фиалки, потом дотронулся до колбасной палочки и сказал:

«Смотри! Я прикасаюсь к ней, а когда ты вернешься во дворец мышиного царя, прикоснись этим своим дорожным посохом к теплой царской груди — и тотчас на посохе расцветут фиалки, хотя бы на дворе была самая лютая стужа. Значит, ты вернешься домой не с пустыми руками. А вот тебе и еще кое-что».

Но прежде чем мышка показала это «кое-что», она дотронулась палочкой до теплой груди мышиного царя — и действительно, в тот же миг на палочке вырос прелестный букет фиалок. Они так благоухали, что мышиный царь приказал нескольким мышам, стоявшим поближе к очагу, сунуть хвосты в огонь, чтобы покурить в комнате паленой шерстью; ведь мыши не любят запаха фиалок, для их тонкого обоняния он невыносим.

— А что еще дал тебе эльф? — спросил мышиный царь.

— Ах,— ответила маленькая мышка,— просто он научил меня одному фокусу.

Тут она повернула колбасную палочку — и все цветы мгновенно исчезли. Теперь мышка держала в лапке простую палочку и, как дирижер поднимая ее над головой, говорила:

—«Фиалки услаждают наше зрение, обоняние и осязание,— сказал мне эльф,— но ведь остаются еще вкус и слух».

Мышка начала дирижировать, и в тот же миг послышалась музыка, однако совсем непохожая на ту, которая звучала в лесу на празднике эльфов: эта музыка сразу напомнила всем о шумах в обыкновенной кухне. Вот это был концерт так концерт! Он на-

чался внезапно — словно ветер вдруг завыл во всех дымоходах сразу; во всех котлах и горшках вдруг закипела вода и, шипя, полилась через край, а кочерга застучала по медному котлу. Потом столь же внезапно наступила тишина: слышалось лишь глухое бормотанье чайника, такое странное, что нельзя было понять, закипает он или его только что поставили. В маленьком горшке клокотала вода, и в большом тоже,— и они клокотали, не обращая ни малейшего внимания друг на друга, словно обезумели. А мышка размахивала своей палочкой все быстрее и быстрее. Вода в котлах клокотала, шипела и пенилась, ветер дико завывал, а труба гудела: у-у-у! Мышке стало так страшно, что она даже выронила палочку.

— Вот так суп! — воскликнул мышиный царь.— А что будет на второе?

— Это все,— ответила мышка и присела.

— Ну и хватит,— решил мышиный царь.— Послушаем теперь, что скажет вторая мышь.

III. ЧТО РАССКАЗАЛА ВТОРАЯ МЫШЬ

— Я родилась в дворцовой библиотеке,— начала вторая мышь.— Мне и всему нашему семейству за всю жизнь так ни разу и не удалось побывать в столовой, а уж про кладовку и говорить нечего. Кухню я впервые увидела лишь во время моего путешествия да вот еще сейчас вижу. По правде говоря, в библиотеке нам частенько приходилось голодать, но зато мы приобрели большие познания. И когда до нас дошли слухи о царской награде за суп из колбасной палочки, моя старая бабушка разыскала одну рукопись. Сама она эту рукопись, правда, прочитать не могла, но слышала, как ее читали другие, и запомнила такую фразу: «Если ты поэт, то сумеешь сварить суп даже из колбасной палочки». Бабушка спросила меня, есть ли у меня поэтический дар. Я за собой ничего такого не знала, но бабушка заявила, что я непременно должна стать поэтессой. Тогда я спросила, что для этого нужно,— ибо стать поэтессой мне было не легче, чем сварить суп из колбасной палочки. Бабушка прослушала на своем веку множество книг и сказала, что для этого нужны три вещи: разум, фантазия и чувство.

«Добудь все это, и ты станешь поэтессой,— закончила она,— а тогда наверняка сваришь суп даже из колбасной палочки».

И вот я отправилась на запад и стала странствовать по свету, чтобы стать поэтессой.

Я знала, что во всяком деле разум — это самое важное, а фантазия и чувство имеют лишь второстепенное значение,— так что

прежде всего я решила обзавестись разумом. Но где его искать? «Иди к муравью и набирайся от него мудрости»,— сказал великий царь иудейский, об этом я слышала еще в библиотеке; и я ни разу не остановилась, пока наконец не добралась до большого муравейника. Там я притаилась и стала набираться мудрости.

Что за почтенный народ эти муравьи, и до чего же они мудрые! У них все рассчитано до мелочей. «Работать и класть яйца,— говорят муравьи,— означает жить в настоящем и заботиться о будущем»,— и они так и поступают. Все муравьи делятся на благородных и рабочих. Положение каждого в обществе определяется его номером. У царицы муравьев — номер первый, и с ее мнением обязаны соглашаться все муравьи, ибо она уже давным-давно проглотила всю земную премудрость. Для меня было очень важно узнать это. Царица говорила так много и так умно, что ее речи показались мне даже заумными. Она утверждала, например, что во всем мире нет ничего выше их муравейника, а между тем тут же, рядом с ним, стояло дерево куда более высокое; этого, конечно, никто не мог отрицать, так что приходилось просто помалкивать. Как-то раз, вечером, один муравей вскарабкался по стволу очень высоко и заблудился на этом дереве; он, правда, не добрался до верхушки, но залез выше, чем когда-либо залезал любой другой муравей. А когда он вернулся домой и стал рассказывать, что на свете есть кое-что и повыше их муравейника, то остальные муравьи сочли его слова оскорбительными для всего муравьиного рода и приговорили наглеца к намордник и долговременному одиночному заключению. Вскоре после этого на дерево залез другой муравей, совершил такое же путешествие и тоже рассказал о своем открытии, но более осторожно и как-то неопределенно; и потому, что он был весьма уважаемый муравей, к тому же из благородных, ему поверили, а когда он умер, ему поставили памятник из яичной скорлупы — в знак уважения к науке.

— Мне часто приходилось видеть,— продолжала мышка,— как муравьи переносят яйца на спине. Однажды муравей уронил яйцо, и как он ни пытался поднять его, у него ничего не получалось. Подоспели два других муравья и, не щадя сил, принялись ему помогать. Но они чуть не уронили своей собственной ноши, а когда одумались, бросили товарища в беде и убежали, потому что ведь свое добро всякому дороже чужого. Царица муравьев увидела в этом лишнее доказательство тому, что муравьи обладают не только сердцем, но и разумом. «Оба эти качества ставят нас, муравьев, выше всех разумных существ,— сказала она.— Разум, впрочем, стоит на первом месте, и я наделена им больше всех!» С эти-

ми словами царица величественно поднялась на задние лапки, и я проглотила ее; она так отличается от остальных, что ошибиться было невозможно. «Иди к муравью и набирайся у него мудрости!» — я и вобрала в себя мудрость вместе с самой царицей.

Потом я подошла поближе к большому дереву, которое росло у муравейника. Это был высокий, развесистый дуб, должно быть, очень старый. Я знала, что в нем живет женщина, которую зовут дриадой. Она рождается, живет и умирает вместе с деревом. Об этом я слышала еще в библиотеке, а теперь своими глазами увидела лесную деву. Заметив меня, дриада громко вскрикнула: как и все женщины, она очень боялась нас, мышей; но у нее были на это гораздо более веские причины, чем у других: ведь я могла перегрызть корни дерева, от которого зависела ее жизнь. Я заговорила с ней ласково и приветливо и успокоила ее, а она посадила меня на свою нежную ручку. Узнав, зачем я отправилась странствовать по свету, она предсказала мне, что, быть может, я в тот же вечер добуду одно из тех двух сокровищ, которые мне осталось найти. Дриада объяснила, что дух фантазии — ее добрый приятель, что он прекрасен, как бог любви, и подолгу отдыхает под сенью зеленых ветвей, а ветви тогда шумят над ними обоими громче обычного. Он называет ее своей любимой дриадой, говорила она, а ее дуб — своим любимым деревом. Этот узловатый, могучий, великолепный дуб пришелся ему по душе. Его корни уходят глубоко в землю, а ствол и верхушка тянутся высоко к небу, им ведомы и снежные холодные метели, и буйные ветры, и горячие лучи солнца.

«Да,— продолжала дриада,— там, на верхушке дуба, поют птицы и рассказывают о заморских странах. Только один сук на этом дубе засох, и на нем свил себе гнездо аист. Это очень красиво, и к тому же можно послушать рассказы аиста о стране пирамид. Духу фантазии все это очень нравится, а иногда я и сама рассказываю ему о жизни в лесу: о том времени, когда я была еще совсем маленькой, а деревцо мое едва поднималось над землей, так что даже крапива заслоняла от него солнце, и обо всем, что было с тех пор и по сей день, когда дуб вырос и окреп. А теперь послушай меня: спрячься под ясменник и смотри в оба. Когда явится дух фантазии, я при первом же удобном случае вырву у него из крыла перышко. А ты подбери это перо — лучшего нет ни у одного поэта! И больше тебе ничего не нужно».

— Явился дух фантазии, перо было вырвано, и я его получила,— продолжала мышка.— Мне пришлось опустить его в воду и держать там до тех пор, пока оно не размякло, а тогда я его сгрызла, хотя оно было не очень удобоваримым. Да, нелегко в наши дни стать поэтом, сначала нужно много чего переварить. Те-

«Скороходы»

перь я приобрела не только разум, но и фантазию, а с ними мне уже ничего не стоило найти и чувство в нашей собственной библиотеке. Там я слышала, как один великий человек говорил, что существуют романы, единственное назначение которых — избавлять людей от лишних слез. Это своего рода губка, всасывающая чувства. Я вспомнила несколько подобных книг. Они всегда казались мне особенно аппетитными, потому что были так зачитаны и засалены, что, наверное, впитали в себя целое море чувств.

Вернувшись на родину, я отправилась домой, в библиотеку, и сразу же взялась за большой роман — вернее, за его мякоть, или так сказать, сущность; корку же, то есть переплет, я не тронула. Когда я переварила этот роман, а потом еще один, я вдруг почувствовала, что у меня внутри что-то зашевелилось. Тогда я отъела еще кусочек от третьего романа — и стала поэтессой. Я так и сказала всем. У меня начались головные боли, колики в животе — вообще где у меня только не болело! Тогда я стала придумывать: что бы такое рассказать о колбасной палочке? И тотчас же в голове у меня завертелось великое множество всяких палочек — да, у муравьиной царицы, как видно, ум был необыкновенный! Сначала я вдруг ни с того ни с сего вспомнила про человека, который, взяв в рот волшебную палочку, становился невидимкой; потом вспомнила про палочку-выручалочку, потом про то, что «счастье не палка, в руки не возьмешь»; потом — что «всякая палка о двух концах»; наконец про все, чего я боюсь, «как собака палки», и даже про «палочную дисциплину»! Итак, все мои мысли сосредоточились на всевозможнейших палках и палочках. Если ты поэт, то сумей воспеть и простую палку! А я теперь поэтесса, и не хуже других. Отныне я смогу каждый день угощать вас рассказом о какой-нибудь палочке — это и есть мой суп!

— Послушаем третью,— сказал мышиный царь.

— Пи-и, пи-и! — послышалось за дверью, и в кухню стрелой влетела маленькая мышка, четвертая по счету,— та самая, которую все считали погибшей. Впопыхах она опрокинула колбасную палочку, обвитую черным крепом. Она бежала день и ночь, ехала по железной дороге товарным поездом, на который едва успела вскочить, и все-таки чуть не опоздала. По дороге она потеряла свою колбасную палочку, но язык сохранила, и вот теперь, вся взъерошенная, протиснулась вперед и сразу же начала говорить, словно только ее одну и ждали, только ее и хотели послушать, словно на ней одной весь мир клином сошелся. Она трещала без умолку и появилась так неожиданно, что никто не успел ее остановить вовремя, и мышке удалось выговориться до конца. Что ж, послушаем и мы.

IV. ЧТО РАССКАЗАЛА ЧЕТВЕРТАЯ МЫШЬ, КОТОРАЯ ГОВОРИЛА ПОСЛЕ ВТОРОЙ

— Я сразу же направилась в огромный город. Как он называется, я, впрочем, не помню: у меня плохая память на имена. Прямо с вокзала я вместе с конфискованными товарами была доставлена в городскую ратушу, а оттуда побежала к тюремщику. Он много рассказывал об узниках, особенно об одном из них, угодившем в тюрьму за неосторожно сказанные слова. Было состряпано громкое дело, но в общем-то оно и выеденного яйца не стоило. «Вся эта история — просто суп из колбасной палочки,— заявил тюремщик,— но за этот суп бедняге, чего доброго, придется поплатиться головой». Понятно, что я заинтересовалась узником и, улучив минутку, проскользнула к нему в камеру: ведь нет на свете такой запертой двери, под которой не нашлось бы щели для мышки. У заключенного были большие сверкающие глаза, бледное лицо и длинная борода. Лампа коптила, но стены уже привыкли к этому и чернее стать не могли. Узник царапал на стене картинки и стихи, белым по черному, но я их не разглядывала. Он, видимо, скучал, и я была для него желанной гостьей, поэтому он подманивал меня хлебными крошками, посвистывал и говорил мне ласковые слова. Должно быть, он очень мне обрадовался, и я почувствовала к нему расположение, мы быстро подружились. Он делил со мной хлеб и воду, кормил меня сыром и колбасой — словом, жилось мне там великолепно, но всего приятней мне было, что он очень полюбил меня. Он позволял мне бегать по рукам, даже залезать в рукава и карабкаться по бороде; он называл меня своим маленьким другом. И я его тоже очень полюбила, ведь истинная любовь должна быть взаимной. Я забыла, зачем отправилась странствовать по свету, забыла и свою колбасную палочку в какой-то щели,— наверное, она там лежит и по сю пору. Я решила не покидать моего нового друга: ведь уйди я от него, у бедняги не осталось бы никого на свете, а этого он бы не перенес. Впрочем, я-то осталась, да он не остался. Когда мы виделись с ним в последний раз, он казался таким печальным, дал мне двойную порцию хлеба и сырных корок и послал мне на прощанье воздушный поцелуй. Он ушел — и не вернулся. Ничего больше мне так и не удалось о нем узнать. Я вспомнила слова тюремщика: «Состряпали суп из колбасной палочки». Он сперва тоже поманил меня к себе, а потом посадил в клетку, которая вертелась, как колесо. Это просто ужас что такое! Бежишь и бежишь, а все ни с места, и все над тобой потешаются.

Но у тюремщика была прелестная маленькая внучка с золотистыми кудрями, сияющими глазками и вечно смеющимся ротиком.

— Бедная маленькая мышка,— сказала она однажды, заглянув в мою противную клетку, потом отодвинула железную задвижку — и я тут же выскочила на подоконник, а с него прыгнула в водосточный желоб. «Свободна, свободна, снова свободна!» — ликовала я и даже забыла от радости, зачем я сюда прибежала.

Однако становилось темно, надвигалась ночь. Я устроилась на ночлег в старой башне, где жили только сторож да сова. Сначала я немного опасалась их, особенно совы — она очень похожа на кошку, и, кроме того, у нее есть один большой порок: как и кошка, она ест мышей. Но ведь кто из нас не ошибается! На этот раз ошиблась и я. Сова оказалась весьма почтенной и образованной особой. Многое повидала она на своем долгом веку, знала больше, чем сторож, и почти столько же, сколько я. Ее совята принимали всякий пустяк слишком близко к сердцу. «Не варите супа из колбасной палочки,— поучала их в таких случаях старая сова,— не шумите по пустякам»,— и больше не бранила их! Она была очень нежной матерью. И я сразу же почувствовала к ней такое доверие, что даже пискнула из своей щели. Это ей очень польстило, и она обещала мне свое покровительство. Ни одному животному она отныне не позволит съесть меня, сказала она, и уж лучше сделает это сама, поближе к зиме, когда больше нечего будет есть.

Сова была очень умная. Она, например, доказала мне, что сторож не мог бы трубить, если бы у него не было рога, который висит у него на поясе. А он еще важничает и воображает, что он ничуть не хуже совы! Да что с него взять! Воду он решетом носит! Суп варит из колбасной палочки!.. Тут-то я и попросила ее сказать, как его надо варить, этот суп. И она объяснила: «Суп из колбасной палочки — это всего только поговорка; каждый понимает ее по-своему, и каждый думает, что он прав. А если толком во всем разобраться, то никакого супа-то и нет». «Как нет?» — изумилась я. Вот так новость! Да, истина не всегда приятна, но она превыше всего. То же самое сказала и старая сова. Подумала я, подумала и поняла, что если я привезу домой высшее, что только есть на свете, то есть истину, то это будет гораздо ценнее, чем какой-то там суп. И я поспешила домой, чтобы поскорее преподнести вам высшее и лучшее — истину. Мыши — народ образованный, а мышиный царь образованнее всех своих подданных. И он может сделать меня царицей во имя истины.

— Твоя истина — ложь! — вскричала мышь, которая еще не успела высказаться.— Я могу сварить этот суп сейчас! Да и сварю!

V. КАК ВАРИЛИ СУП...

— Я никуда не ездила,— сказала третья мышь.— Я осталась на родине — это разумнее всего. Незачем шататься по белу свету, когда всего можно добиться у себя дома. И я осталась! И я не водилась со всякой нечистью, чтобы научиться варить суп, не глотала муравьев и не приставала к совам. Нет, до всего я дошла сама, своим умом. Поставьте, пожалуйста, котел на плиту. Вот так! Налейте воды, да пополнее. Хорошо! Теперь разведите огонь, да пожарче. Очень хорошо! Пусть вода кипит, пусть забурлит белым ключом! Бросьте в котел колбасную палочку... Не соблаговолите ли вы теперь, ваше величество, сунуть в кипяток свой царственный хвост и слегка помешивать им суп! Чем дольше вы будете мешать, тем наваристее будет бульон,— ведь это же очень просто. И не надо никаких приправ — только сидите себе да помешивайте хвостиком! Вот так!

— А нельзя ли поручить это кому-нибудь другому? — спросил мышиный царь.

— Нет,— ответила мышка,— никак нельзя. Ведь вся сила-то в царском хвосте!

И вот вода закипела, а мышиный царь примостился возле котла и вытянул хвост,— так мыши обычно снимают сливки с молока. Но как только царский хвост обдало горячим паром, царь мигом соскочил на пол.

— Ну, быть тебе царицей! — сказал он.— А с супом давай обождем до нашей золотой свадьбы. То-то будут радоваться бедняки в нашем царстве, ожидая этого дня! Пусть же они подольше порадуются!

Сыграли свадьбу, да только многие мыши по дороге домой ворчали:

— Ну разве это суп из колбасной палочки? Это скорее суп из мышиного хвоста!

Они находили, что кое-какие подробности из рассказанного тремя мышами были переданы, в общем, не плохо, но, пожалуй, все нужно было рассказать совсем иначе. Мы бы де рассказали это так-то вот и этак.

Впрочем, это критика, а ведь критик всегда задним умом крепок.

Эта история обошла весь мир, и мнения о ней разделились; но сама она от этого ничуть не изменилась. Она верна во всех подробностях от начала и до конца, включая и колбасную палочку. Вот только благодарности за сказку лучше не жди, все равно не дождешься!

Был назначен приз, даже два, один большой, другой маленький, за быстроту — не на состязании, а вообще за быстроту бега в течение целого года.

— Я получил первый приз! — сказал заяц.— Если судьи — твои близкие друзья и родные, то решение их всегда справедливо!.. Но присудить второй приз улитке? Мне это даже обидно!

— Надо же принимать во внимание и усердие и добрую волю, как справедливо рассудили высокоуважаемые судьи, и я вполне разделяю их мнение! — заметил заборный столб, бывший свидетелем присуждения призов.— Улитке, правда, понадобилось полгода, чтобы переползти через порог, но все-таки она очень спешила и даже сломала себе второпях бедренную кость! Она душой и телом отдавалась своему делу, да еще таскала при этом на спине свой дом! Такое усердие достойно всяческого поощрения, вот она и получила второй приз.

— Могли бы, кажется, и на меня обратить внимание! — сказала ласточка.— Быстрее меня на лету, смею думать, никого нет! И где только я не побывала! Везде, везде!

— То-то вот и горе ваше,— сказал столб.— Уж больно много вы рыскаете! Вечно рветесь в чужие края, чуть здесь холодком пахнет. Вы не патриотка! Нечего на вас и внимание обращать.

— А если бы я проспала всю зиму в болоте, тогда на меня обратили бы внимание? — спросила ласточка.

— Принесите удостоверение от самой болотницы, что проспали на родине хоть полгода, и на вас сейчас же обратят внимание!

— Я-то заслуживала первого приза, а не второго! — заметила улитка.— Я ведь знаю, что заяц бегает, только когда думает, что за ним гонятся,— из трусости! А я смотрю на движение как на свою жизненную задачу и пострадала на службе! Да уж если кому следовало присудить первый приз, так это мне! Но я не люблю кричать о себе! Я это презираю!

И она плюнула.

— Я могу всех заверить, что каждый приз — по крайней мере, с моей стороны — присужден справедливо! — заявила межевая веха, одна из судей.— Я вообще держусь порядка, меры, расчета. Я уже восьмой раз имею честь участвовать в присуждении призов, но только на этот раз поставила на своем. Дело в том, что я всегда присуждаю призы по алфавиту: для первого приза беру букву с начала, для второго — с конца. Потрудитесь теперь обратить внимание на мой счет: восьмая буква с начала «з», я и подала голос за зайца, а шестнадцатая, то есть дважды восьмая, с

конца — «у», и вот я присудила второй приз улитке. В следующий раз первый приз назначу букве «и», а второй — букве «с». Главное это — порядок, всегда и во всем! Иначе не на что и опереться.

— Не будь я сам в числе судей, я бы подал голос за себя! — сказал осел.— Надо учитывать не одну быстроту, но и другие вещи, например, груз. На этот раз я, впрочем, не хотел упирать на это обстоятельство, как и на ум зайца или на ловкость, с какою он путает свои следы, спасаясь от погони.

Нет, но есть еще одно обстоятельство, на которое принято обращать внимание и которое никоим образом нельзя упускать из виду,— это красота. Я взгляпул на прелестные, хорошо отросшие уши зайца — а на них, право, залюбуешься,— и мне показалось, что я вижу самого себя в детском возрасте! Я и подал голос за зайца!

— Дз-з! — зажужжала муха.— Я не собираюсь держать речь, а хочу только сказать несколько слов. Я-то уж попроворнее любого зайца, это мне ясно! Недавно я даже раздробила одному зайчишке заднюю ногу! Я сидела на паровозе, это мое излюбленное местечко, таким образом лучше всего следить за собственною быстротой. Заяц долго бежал впереди поезда: он и не подозревал моего присутствия! Наконец ему пришлось свернуть в сторону; тут-то паровоз и переехал ему заднюю ногу — я ведь сидела на нем. Заяц остался на месте, а я помчалась дальше. Кто же победил? Полагаю — я! Но я не нуждаюсь в призе!

«А по-моему,— подумала дикая роза, вслух она ничего не сказала: это было не в ее характере, хотя и лучше было бы, если бы она высказалась,— по-моему, и первого и второго приза заслуживал солнечный луч! Он в одно мгновение пробегает бесконечное пространство, отделяющее землю от солнца, и пробуждает от сна всю природу. Поцелуи его дарят красоту — мы, розы, алеем и благоухаем от них! А высокие судьи, кажется, совсем и не заметили его! Будь я лучом, я бы отплатила им солнечным ударом... нет, это бы отняло у них последний ум, а они и без того им небогаты! Лучше промолчу! В лесу мир и тишина! Как хорошо цвести, благоухать, упиваться светом и росой и быть воспетой в сказаниях и песнях! Но солнечный луч переживет нас всех!»

— А какой первый приз? — спросил дождевой червяк; он все проспал и сейчас только явился на сходку.

— Свободный вход в огород с капустой! — ответил осел.— Я сам назначал призы! Первый приз должен был получить заяц,— я, как мыслящий и деятельный член комиссии, и обратил надлежащее внимание на потребности и нужды зайца. Теперь он обеспечен. А улитке мы предоставили право сидеть на придорожном камне и греться на солнышке да лизать мох. Кроме того, она из-

брана в главные члены нашей комиссии — как это принято называть у людей. Комиссии ведь вообще нуждаются в специалистах! И, скажу прямо, судя по такому прекрасному началу, от нашей комиссии можно ожидать многого!

ВЕТЕР РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЛЬДЕМАРЕ ДО И ЕГО ДОЧЕРЯХ

Промчался ветер над лугом — словно всколыхнулся зыбью зеленый пруд, промчался над полем — разгулялись пшеничные волны, и ни дать ни взять — море-океан. Это танцы ветра. А прислушайся к его песням! Он поет их везде по-разному: в лесу — протяжно и гулко, а в домах, куда он врывается то в чердачные окна, то в щели стен,— тоскливо и надсадно. Ты только погляди, как он гонит облака по небу, словно пес стадо овец! А теперь послушай, как он свищет в воротах, словно сторож дует в рожок! Как тревожно гудит в печной трубе, как завывает в камине! Поленья потрескивают, разлетаются во все стороны яркие искорки; отблески пламени высвечивают даже самые дальние уголки комнаты; как тепло, как уютно сидеть у огня и слушать. Слушать рассказы ветра. Он один знает куда больше историй, чем все мы, вместе взятые. Слышишь! Он начинает свой рассказ:

— Ну-у-у-у-у! В пу-у-уть! — Это его присказка.

На берегу большого Бельтского пролива расположена усадьба со старинным домом из красного гранита. Я знаю там каждый камень, я овевал их еще в те давние времена, когда из них были сложены стены замка Марска Стига. Замок превратился в руины! А камни перевезли в Борребю и построили из них дом, который стоит и поныне.

Знал я и всех знатных хозяев и хозяек усадьбы. Много их сменилось на моей памяти! Но рассказать я хочу о Вальдемаре До и его дочерях.

Какая у него была горделивая осанка, у Вальдемара До — ведь в его жилах текла кровь датских королей! Да и способен он был на большее, чем охотиться на оленей да бражничать с друзьями. На что? — спросите вы. «Поживем — увидим!» — так он сам частенько говаривал.

А видели бы вы его супругу! Как величаво она шла, словно плыла в своем парчовом платье по натертому до блеска наборному паркету. И сам дом был обставлен на славу: драгоценные гобеле-

ны, роскошная резная мебель — дворец, да и только! А серебряной да золотой посуды, что принесла с собой в приданое госпожа, и не счесть! Погреба ломились от яств да бочек с немецким пивом — лишь до поры до времени, правда! В конюшнях ржали холеные вороные кони. Что и говорить, богат был владелец Борребю — до тех дней, когда богатство и удача разом не покинули его дом.

Были у Вальдемара До и три дочери, три нежных бутона,— я еще хорошо помню, как их звали: одну — Идой, другую — Йоханной, а третью — Анной Доротеей!

Да, то были знатные и богатые господа, рожденные и выросшие в роскоши! Ну-у-у-у! В пу-у-уть! — продолжал ветер свой рассказ.

Никогда я там не видел, чтобы знатная хозяйка, как, бывало, в других усадьбах, пряла в парадной зале вместе с дочерьми и дворовыми девушками. Она играла на звонкоголосой лютне и пела, причем не одни старинные датские баллады, но и песни чужедальных стран, на незнакомых языках. Весело жилось в Борребю, немало именитых гостей там перебывало, и не только из ближних, но и из дальних мест! Играла музыка, звенели бокалы — даже я не мог заглушить этот праздничный гул. Всего было в избытке в доме надменных господ — блеска, пышности, роскоши,— всего, кроме милости божией.

Однажды майским вечером я только примчался с запада,— рассказывал ветер,— я швырял корабли на острые скалы ютландского берега, вихрем пронесся над вересковыми пустошами и зелеными лесами, просвистел над островом Фюн, раскачал воду в большом Бельтском проливе и утих, улегся лишь вблизи Борребю в роскошной кудрявой дубраве, тогда еще не срубленной.

В лесу молодые парни из окрестных хуторов собирали хворост; большими охапками выносили его на опушку, складывали в кучи, разжигали костры и вместе с девушками принимались петь, плясать и скакать вокруг огня.

Я притаился в лесу,— продолжал ветер,— и лишь тихонько дул на сучок, положенный в костер самым красивым пареньком. Сучок вспыхнул ярче всех, и паренька этого выбрали «майским королем», а он выбрал себе «майскую королеву». И такое тут началось веселье! Красный господский дом в усадьбе никогда не видывал подобного!

А тем временем шестерка лошадей мчала к усадьбе золоченую карету. В карете ехали супруга Вальдемара До и три ее дочери, три юных, нежных цветка: роза, лилия и бледный гиацинт. Сама же госпожа была подобна роскошному тюльпану, она сидела прямо, не шелохнувшись, даже кивком не отвечая ни на поклоны пар-

ней, ни на книксены девушек, которые, остановив праздничное веселье, почтительно ее приветствовали. Она словно боялась надломить свою прелестную стройную шейку!

«А вы, юные, нежные роза, лилия и бледный гиацинт,— я будто вижу их сейчас перед собою,— кто, когда настанет время, выберет вас своими королевами? — думал я.— Благородные рыцари? А может быть, и принцы?»

Ну-у-у-у! В пу-у-уть!

Карета промчалась, веселье возобновилось, хуторяне опять плясали вокруг костров. Так праздновали встречу лета в Борребю, в Тьеребю и других селениях по соседству!

А ночью, когда я только-только поднялся, знатная госпожа заснула, чтобы уже больше никогда не проснуться. Увы, рано или поздно, это, как известно, случается со всеми людьми. С минуту, не больше, простоял Вальдемар До в глубокой печали, но «под натиском вихрей судьбы дуб благородный лишь гнется, нет такой яростной силы, чтобы его надломила!» — звучало в его душе. Дочери безудержно рыдали, дворовые люди тоже не могли сдержать слез... Так унеслась в вечность прекрасная госпожа из красного дома. Унесся и я!

Ну-у-у-у! — загудел ветер,— в пу-у-уть!

Вскоре я вернулся в Борребю — я часто возвращаюсь назад. Я пролетел над островом Фюн и Бельтским проливом и успокоился на морском берегу, в той же самой курчавой дубраве. Была пора птицам вить гнезда, все они были заняты делом: и морские орлы-рыболовы, и лесные голуби, и аспидно-черные вороны, и даже черные аисты. Весна только установилась, в одних гнездах белели птичьи яйца, в других попискивали уже вылупившиеся птенцы, а стаи пернатых с громким гомоном ошалело кружились над дубами!

В лесу гулко раздавались удары топоров — люди рубили деревья. Вальдемар До решил построить большой корабль, трехпалубный — на продажу королю! Вот для чего рубили прибрежную дубраву — привычный ориентир для моряков, надежное прибежище для птиц. Сорокопуты в панике носились над дрожащими кронами деревьев — гнезда их были разорены. Морские орлы и малые лесные птахи, лишившись жилища и птенцов, метались в воздухе, исполненные злобы и страха, и испускали пронзительные вопли. Я сострадал им! А вороны да галки издевательски каркали: «Кар-р-раул! Кар-р-раул! Р-раззор! Р-раззор!»

В лесу в толпе дровосеков стоял и сам Вальдемар До и его три дочери. Все они хохотали над птичьими стонами, все, кроме

младшей Анны Доротеи. У нее дрогнуло сердце при виде несчастных птиц, и когда черед дошел до старого дуплистого дуба, на вершине которого свил гнездо черный аист, Анна Доротея, едва сдерживая слезы, попросила отца пощадить это дерево; не уничтожать малых беззащитных птенцов, с ужасом глядящих из гнезда. И дуб был оставлен в подарок черному аисту. Разве одно корявое дерево стоит девичьих слез!

И закипела работа! Мастера-корабелы взялись за дело: рубили, пилили, строили трехпалубное судно. Главный корабел был не то чтобы из знатной, но все же из благородной семьи. Такой высокий лоб и проницательные глаза могли принадлежать только умному человеку, и Вальдемар До охотно беседовал с ним, слушал его рассказы. Заслушивалась ими и пятнадцатилетняя красавица Ида — старшая дочь владельца Борребю. Молодой же корабел, строя корабль для ее отца, одновременно возводил и воздушные замки для себя, и в своих мечтах сидел там с Идою рядом, как муж с женой. Так бы тому и быть, если бы он владел не воздушными, а настоящими замками с каменными стенами, окруженными неприступными валами и глубокими рвами, густыми лесами да богатыми садами. Но при всем своем уме строитель наш был, увы, беден. Как говорится, всяк сверчок знай свой шесток. Так в пу-у-уть!

Я умчался, и он умчался,— он не решался задерживаться здесь дольше. И Ида смирилась со своей участью. А что ей еще оставалось?

В конюшнях громко ржали вороные Вальдемара До,— продолжал ветер,— поглядишь на коней — глаз не оторвешь. И гости глядели не отрывая глаз. Адмирал флота, которого сам король послал осмотреть новый корабль и сторговаться насчет цены, не уставал восхищаться выхоленными конями. Я все слышал, ведь я ворвался в ворота конюшни вслед за почтенными господами и бросил им под ноги пшеничную солому, отливавшую золотом. Золото и надеялся получить Вальдемар До за свой корабль, а адмирал в благодарность за комиссию — шестерку вороных: недаром он их так нахваливал; но хозяин красного дома не пожелал понять адмиральского намека, и сделка не состоялась. Огромный корабль так и остался стоять на пустом берегу с забитыми досками амбразурами. Эдакий Ноев ковчег на сухой земле! Ну-у-у-у! В пу-у-уть! В пу-у-уть! Горько, до слез горько было его видеть.

Зимой, когда белая пелена укутала широкое поле и голубые льдины поплыли по холодному Бельту,— рассказывал ветер,— огромные стаи черных ворон опускались на одинокий корабль и

хрипло каркали, вспоминая о загубленном лесе, о разоренных гнездах, о сонме бездомных, осиротевших птиц. И главное, ради чего? Ради этой кучи прогнивших бревен бывшего гордого корабля, так никогда и не ставшего па воду!

Какой я поднял тогда снежный буран! Какими волнами я уложил сугробы вдоль его бортов! Я дал ему вволю наслушаться завыванья и посвиста бури: пусть знает, на то он и корабль! Ну-у-у-у! В пу-у-уть!

Промчалась зима, промчится лето, как промчусь и я, то взметывая снег, то срывая лепестки цветов, то гоняя по дороге палый лист. В пу-у-уть! В пу-у-уть! Все мимо, мимо, и люди тоже.

А ведь дочери Вальдемара До были еще молоды, ах, как молоды! Ида по-прежнему цвела, точно роза, как и в те дни, когда ею любовался молодой корабел. То и дело я подлетал к ней и играл ее шелковыми светлыми локонами, когда она стояла в задумчивости под цветущей яблоней, не замечая дождя белейших лепестков, которыми я осыпал ее прелестные волосы. Ее взгляд был устремлен туда, где сквозь ветви деревьев алело заходящее солнце и золотом сверкало предвечернее небо.

Ее сестра Йоханна была подобна стройной белой лилии с гордой, чуть откинутой назад головой и такою тонкою талией, какая была у ее матери. Она часто заходила в огромную залу красного дома, где по стенам были развешаны портреты ее предков. Высокородные дамы в туалетах из бархата и шелка, в расшитых жемчугом головных уборах, покрывавших заплетенные в тугие косы волосы, глядели на нее из золоченых рам. О, как они были прекрасны! А мужчины в латах и кольчугах или в накинутых на широкие плечи плащах, подбитых беличьим мехом, с высокими стоячими воротниками голубого сукна! Мечи из вороненой стали висели у них низко, у бедер, а не на поясе. Где же, где то место, на котором будет со временем висеть и ее портрет? Ее и ее супруга. И каков он будет, этот благородный муж? Вот о чем думала Йоханна, стоя в портретной. Вот о чем шептала она одна-одинешенька. Я подслушал все это, сквозняком от окна к высоким дверям пролетая по зале.

Что до Анны Доротеи, этого бледного гиацинта, то она была еще четырнадцатилетней девочкой, молчаливой, задумчивой. Огромные голубые, как небо, глаза глядели серьезно и печально, но на лице алой бабочкой порхала детская улыбка, и я не мог ее сдуть, да, впрочем, разве я хотел этого?

Я часто гулял с Анной Доротеей в саду, по дороге, в поле; она собирала цветы и травы для своего отца, который готовил из них настойки и капли. Мало того, что Вальдемар До был горд и храбр, он был еще и образован! Он изучил много наук! Люди зна-

ли это и судачили на его счет. Огонь не угасал в его кабинете ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом. А дверь всегда была на запоре. Там работал он без сна и отдыха круглые сутки. Чтобы постичь тайны природы, нужны тишина и покой. Скоро, уже совсем скоро он выплавит, наконец, самое драгоценное вещество на свете — красное золото!

Вот почему из трубы его дома все время вздымались клубы дыма, вот почему и днем и ночью трещали дрова и пылал в камине огонь. Я сам помогал раздувать его! — рассказывал ветер.— У-у-уймись, у-у-уймись! — гудел я в трубу Вальдемару До.— Все ста-а-анет у-углем, зо-о-лой, пе-е-еплом, ты про-о-ого-о-ришь! У-уймись! У-у-уймись! Ну-у-у! В пу-у-у-уть! — Но Вальдемар До не внял моим советам.

Куда, куда исчезли из конюшни резвые кони? Где она теперь, золотая и серебряная посуда из буфета в столовой? Где коровы, пасшиеся на лугах? Куда подевалось все добро из красного дома? Все, все это он переплавил в тигле, все сгорело дотла, но золота, долгожданного золота, не выплавилось ни капли.

Опустели закрома, погреба и чердак. Ушли люди, пришли мыши. То треснет в окне стекло, то вылетит, и мне уже не надо ждать, чтобы отворилась дверь, я гуляю себе по комнатам, когда вздумается. «Дым из трубы валит, значит, обед варят». А тут из трубы валил такой жадный дым, который ничего не щадил ради красного золота!

Я завывал в воротах усадьбы, словно сторож трубил в рожок — но ведь сторожа больше не было! Я вертел во все стороны скрипучий флюгер на смотровой башне, и он хрипло стонал, словно дозорный во сне, но там не было больше дозорного! Только полчища крыс и мышей. Нищета водворилась в усадьбе. Это она накрывала теперь на стол в красном доме, это она заполняла пустые шкафы и буфеты, срывала двери с проржавевших петель да множила щели в рассохшихся оконных рамах,— то-то мне было раздолье! — рассказывал ветер.— Я гулял по дому, когда хотел, и за всеми подглядывал и все подслушивал.

От едкого дыма, ядовитого пепла, горьких забот и бессонных ночей волосы и борода хозяина Борребю стали белыми, кожа лица сморщилась и задубела, но глубоко запавшие глаза по-прежнему сверкали яростным алчным блеском в ожидании золота, вожделенного золота!

Я дул ему в лицо дымом, осыпал бороду пеплом, а он все упорствовал, но тщетно: золото не появлялось, зато появились долги. Я насвистывал свои песни в окна с разбитыми стеклами, в щели в полу, в дыры в стенах. Проникал и в сундуки его дочерей, ворошил полинявшие, побитые временем платья, которые барыш-

ни носили не снимая. Да, не такую жизнь сулили им няньки и мамки, баюкая их в колыбельках! Сладкая жизнь господ обернулась горькой жизнью бедняков. Лишь я один распевал в красном доме во весь голос! — рассказывал ветер.— Я припорашивал крышу пушистым снегом — ведь под снегом, говорят, тепло. Дров не было, ведь дубраву вырубили подчистую. Мороз свирепо трещал, а я, пролетая над высокой кровлей, дул свозь все щели, как ошалелый, носился взад-вперед по всему дому, врывался через слуховое окно,— надо же было мне как-то взбодриться!

А знатные барышни дрожали от холода в своих постелях, и даже сам Вальдемар До с головой укрылся меховым одеялом. Ни пищи, ни тепла в доме — вот оно, господское житье-бытье. Ну-у-у! В пу-у-уть! У-уймись! У-у-уймись! Но высокородный господин До не унимался!

«Зима всегда сменяется весной,— повторял он часто,— а нужда сменяется богатством. Только не заставляй себя слишком долго ждать! Именье и дом в закладе... Времени почти не осталось. Где ты, мое золото? Явись к пасхе! Явись!.. Явись!»

Я слышал, как он бормотал, обращаясь к пауку: «Учитель мой, старательный маленький ткач! Ты научил меня терпенью! Разорвут паутину, и тут же ты снова начинаешь плести свою тонкую нить, начинаешь сначала и доводишь великий свой труд до конца. И снова рвут паутину, и снова работа. И снова, и снова. Все начинать сначала... Сначала... Вот жизни закон! Вперед — награда нас ждет впереди!..»

Но вот настал и первый день пасхи. Залились, заиграли звонкие колокола, поднялось в небе красное солнышко. Вальдемар До без сна и отдыха трудился всю ночь напролет, кипятил, остужал, размешивал, возгонял. Я слышал, как он горестно и тяжко вздыхал, как исступленно молился, я видел, как он одержимо работал, страшась хоть на миг отвлечься от своих колб. Лампа, освещавшая кабинет, погасла, но он не заметил наступившей тьмы. Я легонько подул на уголья в очаге, они заалели, и слабый их отблеск осветил изможденное лицо Вальдемара До. О, как он был бледен, как глубоко запали измученные воспаленные глаза! И вдруг зрачки его расширились. Глаза засверкали... Право слово, они были просто готовы выскочить из орбит.

Гляди! Гляди в закопченную колбу. Сверкает! Видишь, сверкает! Горит, как перо жар-птицы! Блестящий тяжелый кусок. Смотри, он подносит стеклянную колбу к свету! Боже, как дрожат его руки! Слушай, как он, задыхаясь от волнения, произносит: «Золото... золото!» Видишь, как он шатается, разом обессилев? Я бы мог свалить его наземь одним дуновением, но я лишь чуточку раздуваю тлеющие угли и провожаю хозяина красного дома в

комнату, где коченеют от холода три его дочери. Одежда его, борода, всклокоченные сивые волосы — все запорошено золой. Высоко подняв руку с колбой, своим сокровищем, выпрямившись во весь рост, он шагает к ним навстречу. «Достиг! Достиг! Вот оно — золото!» — выкрикивает он хриплым голосом и протягивает дочерям вожделенный сосуд, радугой заигравший в солнечных лучах! Но... ослабевшие пальцы его вдруг разжимаются, колба падает на пол и разбивается вдребезги. Последние радужные надежды лопнули, как мыльный пузырь. Вот и все!.. Ну-у-у! В пу-у-уты! И я умчался прочь из дома алхимика.

Вернулся я в эти края лишь поздней осенью, когда дни стали совсем короткими, а густой туман повсюду развесил свои мокрые простыни и выжимал их на пунцовые ягоды и голые отсыревшие ветви деревьев, вернулся свежий и сильный, расчистил до блеклой голубизны осеннее небо, а заодно и обломал подгнившие сучки — не бог весть какая работа, но должен же ее кто-то делать. В красном доме в Борребю тоже был наведен порядок, но совсем по-другому. Туда явился враг Вальдемара До, Ове Рамель из Баснеса, с закладной на именье: отныне и земля, и красный дом, и все имущество принадлежали ему. Я как безумный принялся завывать, колотиться в разбитые окна, хлопать сорванными с петель дверьми, я дул в щели, свистел в дыры, только бы ненавистному Ове Рамелю не захотелось здесь обосноваться! У-у-у-у! Ида и младшенькая Анна Доротея плакали навзрыд, а Йоханна стояла натянутая как струна, с гордо откинутой головой, до крови прокусив свой указательный палец. Но, увы, это ничему не помогло! Ове Рамель милостиво разрешил бывшему хозяину красного дома оставаться тут до самой смерти, но слов благодарности в ответ не услышал. И я отлично помню, как величественно тряхнул головой бездомный дворянин, как выпрямился он и расправил плечи. Тут в бешенстве, с неистовой силой, обрушился я на крышу дома и на столетние липы, что росли перед ним,— затрещали стропила, и рухнул наземь здоровенный сук, совсем не тронутый гнилью. Сук упал как раз перед воротами и лежал там, словно гигантская метла, ждущая случая что-либо вымести. И вымели — старых хозяев!

Мрачный был день, горький был час, но души ушедших были тверды, и спины их не гнулись.

Они пустились в путь с пустыми руками, захватив с собой лишь только что купленную новую колбу, в которую собрали с пола жалкие остатки радужного вещества, так много сулившего им и не оправдавшего своих обещаний. Вальдемар До укрыл сосуд на своей груди и застучал палкой по дороге. Так и пошли они вчетвером, бывший владелец именья Борребю со своими тремя

дочерьми, прочь из красного дома. Я летел рядом с ним и легким дуновением охлаждал его воспаленные щеки, ласково трепал бороду и могучую седую гриву, и пел, и пел:

Ну-у-у! В пу-у-уть!

Конец! Конец былого великолепия!

Ида и Анна Доротея шли, глядя вперед, ни на шаг не отставая от отца. Лишь Йоханна, выйдя из ворот на дорогу, оглянулась. Зачем? Счастье никого не догоняет! В последний раз окинула она взглядом мощные стены красного дома, сложенные из камней замка достославного Марска Стига, и подумала о его дочерях.

Пыльной дорогой по свету бредут.
И старшие младших за ручку ведут...

Уж не знаю, вспомнила ли Йоханна эту старинную песню? И поплелись четверо изгнанников по знакомой дороге, по которой прежде катили они в золоченой карете, поплелись на дальний хутор Смидструпа, к жалкой хижине, которую Вальдемар До нанял за десять марок в год. Пустой дом, пустые стены, пустая посуда. А вороны и галки черными стаями летели над путниками и насмешливо каркали: «Кар-раул! Р-р-разор! Разор-р! Кар-р-раул!» Помните, как в тот день, когда вековые дубы Борребю валились под ударами топоров.

Вальдемар До и его дочери хорошо расслышали вороний грай, хотя я изо всех сил свистел им в уши. Стоило ли прислушиваться к злобному карканью?

И вот они вошли в свое новое жалкое жилище, а я, я помчался над топями и пустошами, над оголенными кустами и безлистыми деревьями, туда, за далекое море, в другие страны. Ну-у-у! В пу-у-уть! Как каждый год!

Ну и какая же судьба ожидала Вальдемара До и его дочерей? Послушаем, что нам расскажет ветер.

Последней из них я видел Анну Доротею, бледный гиацинт. Видел ее сгорбленной старухой — ведь миновало уже ровно пятьдесят лет. Она пережила всех своих и знала о них все.

На обширной поляне, вблизи города Виборга, стоял новый, нарядный дом пастора, сложенный из красного камня. Из его трубы к небу подымался сизый дым. Милая, тихая пасторша и ее красавицы дочери, примостившись у окна, глядели, не отрываясь, сквозь ветви терновника куда-то вдаль. На что же они глядели? На гнездо аиста, чудом державшееся на провалившейся крыше вросшей в землю хибарки. Мох да дикий чеснок росли на прогнив-

шей кровле, и не она спасала от непогоды печальный тот домишко, совсем не она, а представьте себе, большое аистиное гнездо! Ведь гнездо это чинилось из года в год: хозяйственный аист содержал в порядке свое жилище.

На этот покосившийся домишко можно было только глядеть, но, избави бог, дотронуться до него — тотчас рухнет. Даже я дул в том направлении с опаскою! — рассказывал ветер.— Только из-за гнезда аиста эта развалюха еще стояла, иначе ее давно бы сломали. Но домочадцы пастора ни за что не хотели лишать аиста насиженного места. А в этой хибарке ютилась бедная старуха: выходит, она должна благодарить египетскую птицу за эту, пусть ветхую, но все же крышу над головой, а может, это аист упорно возвращался в свое гнездо, чтобы отблагодарить старуху за то, что в давние-давние времена она упросила не разрушать гнезда его старшего брата — черного аиста, жившего в дубраве усадьбы Борребю. Ведь в те давние-давние времена жалкая старуха была прелестной девочкой — нежным бледным гиацинтом из оранжереи высокородного Вальдемара До... Анна Доротея помнила все.

«Ох-ох-о!» А ведь и люди вздыхают, словно ветер, затаившийся в болотных камышах. «Ох-ох-о!» Не гудели колокола над твоею могилой, несчастный Вальдемар До! Не пели дети ангельскими голосами, когда бренное тело бездомного хозяина Борребю опускали в землю. Все на свете имеет конец, даже несчастье... Старшая сестра Ида вышла замуж за батрака. И этого отец не мог пережить! Подумать только, муж его дочери— жалкий холоп, которого хозяин мог выпороть на конюшне! Теперь он, наверно, уже отправился к праотцам, и сестра Ида тоже... Воистину так! Воистину так! «Ох-охо! Только мне, бедной-несчастной, нету конца, нет покоя!.. О, господи, освободи меня от страданий сих!..»

Так причитала Анна Доротея в своей ветхой лачуге, уцелевшей лишь благодаря голенастой птице.

А о самой гордой и решительной из сестер я позаботился сам,— продолжал ветер.— Однажды Иоханна переоделась в мужскую одежду и нанялась матросом на корабль... Она была молчалива и с виду сурова, работала исправно, не хуже других. Только вот лазить по вантам не умела. Мне жаль ее стало, и както раз, в бурю, я сдул ее с мачты, чтобы никто не узнал, что матрос этот — женщина... Так спас я ее от позора!

И снова наступила пасха, как в тот день, когда много лет назад Вальдемар До решил, что выплавил золото в колбе. Вдруг я услышал, что под кровлей с гнездом аиста тихо поют псалом. Это была последняя песнь Анны Доротеи.

В хибарке не было окна— круглая дыра зияла в стене. Поднялось солнце, словно пылающий шар, и яркие его лучи проникли в эту дыру. Каким чудным светом озарился ветхий домик изнутри. Анна Доротея не смогла вынести этого яркого света, глаза ее закрылись, и сердце остановилось. Впрочем, солнце тут ни при чем. Просто пришло время ей умереть, и душа ее отлетела.

До самой смерти Анны Доротеи аист охранял ее кров.

Я печально завывал и над ее могилой, и над могилой ее высокородного отца. Лишь я один знаю, где они похоронены, а кроме меня — никто.

Но, как говорится: новое время — новые песни. Старая проезжая дорога в Борребю перерезана теперь оградой, за которой распахано широкое поле, по срытым могилам укладывают шпалы и рельсы — скоро тут загудит паровоз и потащит за собой вереницу вагонов. Ну-у-у! В пу-у-уть!

— Вот и все... Кончился мой рассказ про Вальдемара До и его дочерей. Ну-ка, расскажите его лучше меня, если сумеете! — сказал ветер и умчался в другую сторону.

За море, в дальние края.

РЕБЯЧЬЯ БОЛТОВНЯ

У богатого купца был детский вечер; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек образованный, даже в свое время окончил гимназию. На этом настоял его почтенный отец, который был сначала простым прасолом, но честным и трудолюбивым человеком и сумел составить себе капиталец, а сын еще приумножил его. Купец был человек умный и добрый, хоть люди говорили об этих качествах не так много, как о его богатстве.

Он вел знакомство и с аристократами крови, и с аристократами ума, как это говорится, а также с аристократами и крови и ума вместе, и, наконец, с теми, которые не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом.

Итак, у него в доме собралось большое общество, но исключительно детское; дети болтали без умолку; у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Спесь не вбили, а «вцеловали» в нее, и не родители, а слуги,— родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечно «ужасно важное».

— Я камер-юнкерская дочка! — сказала она.

Она точно так же могла бы быть лавочниковой дочкой — и то и другое одинаково не во власти самого человека. И вот она рассказывала другим детям, что в ней течет «настоящая кровь», а в ком ее нет, из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но, если в тебе нет настоящей крови, толку не выйдет.

— А уж из тех, чье имя кончается на «сен»,— прибавила она,— никогда ничего не выйдет путного. Надо упереться руками в бока, да и держаться подальше от всех этих «сен, сен»!

И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была премиленькая!

Но дочка купца обиделась: фамилия ее отца была Мадсен, а она понимала, что эта фамилия тоже кончается на «сен», и вот она гордо закинула головку и сказала:

— Зато мой папа может купить леденцов на целых сто риксдалеров и разбросать их народу! А твой может?

— Ну, а мой папа,— сказала дочка писателя,— может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит мама: ведь это он распоряжается газетой!

И девочка прегордо закинула головку — ни дать ни взять принцесса крови!

А за полуотворенною дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку; мальчуган не смел войти в комнату: куда было такому бедняку соваться к богатым и знатным детям! Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть в щелку на разряженных, веселящихся детей, и это уж было для него огромным счастьем.

«Вот бы мне быть на их месте!» — думалось ему. Вдруг он услышал болтовню девочек, а, слушая ее, можно было упасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать газету, а не то что самим издавать ее. Но хуже всего было то, что фамилия его отца, а значит, и его собственная, как раз кончалась на «сен»! Из него никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но кровь в нем все-таки была самая настоящая, как ему казалось; иначе и быть не могло.

Так вот что произошло в тот вечер!

Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.

В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось посетить его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог на-

звать этот дом своим? Ну, это легко угадать! Нет, не очень! Дом принадлежал тому бедному мальчугану, что стоял тогда за дверью. Из него все-таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» — Торвальдсен.

А те три девочки? Дети кровной, денежной и умственной знати, из них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все они были дети как дети! Из них вышли порядочные люди: задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были пустой ребячьей болтовней!

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕТУХ И ПЕТУХ-ФЛЮГЕР

Жили-были два петуха. Один — обыкновенный — день-деньской копался в навозной куче, а другой — флюгер — был приделан к коньку высокой крыши. Ну, как ты думаешь, кто из них был более знаменитым? Впрочем, что бы ты ни сказал, мы-то будем думать по-своему...

Между птичником и двором стоял деревянный забор, посередке двора была навозная куча, а посередке кучи рос огромный огурец, растение, как известно, парниковое, чем, к слову сказать, огурец этот весьма кичился.

«Парниковым огурцом нужно родиться,— размышлял он.— Но, поскольку не всем растениям дано родиться парниковыми, то, естественно, должны существовать и огородные. Вот, к примеру, куры, утки и прочая домашняя птица тоже ведь живут на свете. Или этот петух, что взлетел на забор, он же значительнее флюгера! Тот хоть и забрался вон как высоко, а даже скрипнуть на ветру не может, не то что закукарекать. И нет при нем ни кур, ни цыплят, да и занят он только самим собой, торчит на верхотуре и покрывается от времени зеленой патиной! Куда ему до нашего петуха! Вот это петух так петух! Выступает, будто пава! Танцует, да и только! А поет! Искусному трубачу так не сыграть! Фанфарный марш! Музыка! Да захоти он меня склевать целиком — я бы за честь почел: вот была бы истинно благородная смерть!..»

Ночью разразилась такая буря, что петух с курами и цыплятами забились в самую глубину курятника. Трах! Ветер повалил забор. Ба-бах! С крыши посыпались черепицы. Но петух-флюгер уцелел. Он даже не скрипнул, не повернулся на диком ветру, сидел как истукан на своем коньке, хоть и был вполне молодым петухом — его ведь совсем недавно вычеканили из меди. Сомнений нет, он был очень умен и солиден, наш петух-флюгер, потому что

появился на свет сразу взрослым. Он никогда не был цыпленком и не имел никакого дела с разными звонкоголосыми пичугами, которых презрительно называл «вульгарными балаболками». Вот голуби — другое дело, те побольше, и перья у них отливают перламутром, они даже напоминают флюгеры с виду. Но они такие жирные и глупые, просто ужас! Одно у них занятие — поплотнее набить свои зобы. Пошлые твари! Правда, перелетные птицы иногда садились на крышу и рассказывали петуху-флюгеру о заморских странах, о дальних перелетах, о пиратских нападениях пернатых разбойников... Попачалу это было ново и любопытно, но вскоре надоело. Нельзя же в самом деле все время слушать одно и то же! Скучища смертная! В конце концов опостылели ему и перелетные птицы, и вообще все на свете. Все суета сует, все скука и пошлость!

— Мир выродился,— частенько повторял петух-флюгер.— Ерунда всегда остается ерундой!..

Он был, как говорится, разочарованным петухом-флюгером и, конечно же, привел бы в восторг парниковый огурец, если бы тот познакомился с ним, но у огурца только и света в окошке было, что обыкновенный петух, который, к слову сказать, как раз зашел его навестить.

Один поваленный забор напоминал о пролетевшей ночью ужасной буре.

— Ну-с, как вам понравилось мое ночное «кукареку»? Перекричал я гром? А? — спросил, шагая вразвалку, как кавалерист, обыкновенный петух у своих кур и цыплят, которые поднимались вслед за ним на навозную кучу. Что и говорить, хвастун он был, никакой деликатности в разговоре.

— Эй ты, овощное растение из семейства тыквенных! — сказал петух огурцу, который так изумился научным познаниям своего кумира, что не почувствовал, что его клюют.

«Истинно благородная смерть!»

А тут со всех сторон набежали куры, цыплята,— куры ведь как овцы, куда одна, туда и другие,— и принялись кудахтать и пищать, восторгаясь обыкновенным петухом и гордясь, что они с ним в родстве.

— Кукареку! — заорал вдруг петух.— Вот я сейчас как закукарекую на весь мировой птичий двор, и все цыплята тотчас же вырастут в куриц!

Какое тут поднялось кудахтанье и писк! А петух вконец расхвастался:

— Я даже могу сам снести яйцо! И знаете, кто вылупится из этого яйца? Василиск! Ни одно живое существо не может вынести его взгляда. Люди издавна рассказывали об этом друг дру-

гу, а теперь я рассказал вам, и вы знаете, что сокрыто во мне, потому что я из петухов петух!

И он захлопал крыльями, затряс гребешком и закукарекал так, что у всех кур и цыплят зазвенело в ушах и мурашки пробежали по спине. О, как они были горды, что их петух — из петухов петух! И они принялись кудахтать и пищать так громко, что даже петуху-флюгеру стало понятно, о чем идет внизу разговор, но он даже не пошевелился.

«Чушь и ерунда, ерунда и чушь! — говорил он сам себе.— Никогда обыкновенному петуху не снести яйца! А вот лично я и не желаю нести яйца! Мне б только захотеть, и я враз спес бы яйцо, начиненное ветром. Но разве весь мир стоит такого яйца? Все суета сует и всяческая суета! Мне и сидеть-то здесь опротивело!»

Крак! Надломился прутик, к которому был приделан петух-флюгер, и он загремел вниз, но не пришиб обыкновенного петуха, хотя и страстно хотел этого. Впрочем, это уже с куриных слов.

Мораль?

Пожалуйста: «Лучше уж петь петухом, чем, разочаровавшись во всем на свете, надломиться и загреметь вниз».

НАВОЗНЫЙ ЖУК

Лошадь императора удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

За что?

Она была чудо как красива: с тонкими ногами, умными глазами и шелковистою гривою, ниспадавшей на ее шею длинною мантией. Она носила своего господина в пороховом дыму, под градом пуль, слышала их свист и жужжание и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Защищаясь от них, она одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и самую жизнь его, что подороже золотой короны. Вот за что она и удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

А навозный жук тут как тут.

— Сперва великие мира сего, потом уж малые! — сказал он.— Хотя и не в величине, собственно, тут дело! — И он протянул свои тощие ножки.

— Что тебе? — спросил кузнец.

— Золотые подковы! — ответил жук.

— Ты, видно, не в своем уме! — сказал кузнец.— И ты золотых подков захотел?

— Да! — ответил жук.— Чем я хуже этой огромной скотины, за которою еще надо ухаживать? Чисть ее, корми да пои! Разве я не из императорской конюшни?

— Да вдомек ли тебе, за что лошади дают золотые подковы? — спросил кузнец.

— Вдомек? Мне вдомек, что меня хотят оскорбить! — сказал навозный жук.— Это прямая обида мне! Я не стерплю, уйду куда глаза глядят!

— Проваливай! — сказал кузнец.

— Невежа! — ответил навозный жук, выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванда.

— Правда ведь, здесь чудо как хорошо? — спросила жука жесткокрылая божья коровка, красная и в черных крапинках.— Как тут сладко пахнет, как все красиво!

— Ну, я привык к лучшему! — ответил навозный жук.— По-вашему, тут прекрасно?! Даже ни одной навозной кучи!..

И он отправился дальше, под сень большого левкоя. По стеблю ползла гусеница.

— Как хорош божий мир! — сказала она.— Солнышко греет! Как весело, приятно! А после того как я наконец засну, или умру, как это говорится, я проснусь уже бабочкой!

— Да, да, воображай! — сказал навозный жук.— Так вот мы и полетим бабочками! Я из императорской конюшни, но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь?! Да, вот мы так сейчас улетим! — И он улетел. Не хотелось бы сердиться, да поневоле рассердишься!

Он бухнулся на большую лужайку, полежал-полежал, да и заснул.

Батюшки мои, какой припустил дождь! Навозный жук проснулся от этого шума и хотел было поскорее уползти в землю, да не тут-то было. Он барахтался, барахтался, пробовал уплыть и на спине, и на брюшке — улететь нечего было и думать, но все напрасно. Нет, право, он не выберется отсюда живым! Он и остался лежать, где лежал.

Дождь приостановился немножко; жук смахнул воду с глаз и увидал невдалеке что-то белое: это был холст, что разложили белить. Жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Конечно, это было не то, что зарыться в теплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не представлялось, и он остался тут на весь день и на всю ночь,— дождь все лил. Утром навозный жук выполз; ужасно он сердит был на климат.

На холсте сидели две лягушки, глаза их так и блестели от удовольствия.

— Славная погодка! — сказала одна.— Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние лапки зачесались: так бы вот и поплыла!

— Хотела бы я знать,— сказала другая,— нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас? Этакие дожди, сырость — чудо! Право, словно сидишь в сырой канаве! Кто не радуется такой погоде, тот не сын своего отечества!

— Вы, значит, не бывали в императорской конюшне?— спросил их навозный жук.— Там и сыро, и тепло, и пахнет чудесно! Вот к чему я привык! Там климат по мне, да его не возьмешь с собою в дорогу! Нет ли здесь, в саду, хоть парника, где бы знатные особы, вроде меня, могли найти приют и чувствовать себя как дома?

Но лягушки не поняли его или не хотели понять.

— Я никогда не спрашиваю два раза! — заявил навозный жук, повторив свой вопрос три раза и все-таки не добившись ответа.

Жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти приют. Под ним и жило несколько семейств уховерток. Им простора не требовалось — было бы общество. Уховертки необыкновенно нежные матери, и у них поэтому каждый малютка был чудом ума и красоты.

— Наш сынок помолвлен! — сказала одна мамаша.— Милая невинность! Его заветнейшая мечта — заползти в ухо к священнику. Он совсем еще дитя; помолвка удержит его от сумасбродств. Ах, какая это радость для матери!

— А наш сын,— сказала другая,— едва вылупился, а уж сейчас за шалости! Такой живчик! Ну, да надо же молодежи перебеситься! Дети — большая радость для матери! Не правда ли, господин навозный жук? — Они узнали пришельца по фигуре.

— Вы обе правы! — сказал жук, и уховертки пригласили его проползти к ним, если только он мог подлезть под черепок.

— Надо вам взглянуть и на моих малюток! — сказала третья, а потом и четвертая мамаша.— Ах, это милейшие малютки и такие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик, а от этого в их возрасте не убережешься!

И каждая мамаша рассказывала о своих детках; детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках — дергали ими навозного жука за усы.

— Чего только не выдумают эти шалунишки! — сказали мамаши, потея от умиления; но все это уже надоело навозному жуку, и он спросил, далеко ли еще до парника.

— О, далеко, далеко! Он по ту сторону канавы! — сказали в один голос уховертки.— Надеюсь, что ни один из моих детей не вздумает отправиться в такую даль, а то я умру!

— Ну, а я попробую добраться туда! — сказал навозный жук и ушел не прощаясь — это самый высший тон.

У канавы он встретил своих сродников, таких же навозных жуков.

— А мы тут живем! — сказали они.— У нас преуютно! Милости просим в наше злачное местечко! Вы, верно, утомились в пути?

— Да! — ответил жук.— Пока дождь лил, я все лежал на холсте, а такая чистота хоть кого уходит, не то что меня. Пришлось и на сквозняке постоять под глиняным черепком, ну и схватил ревматизм в надкрылье! Хорошо наконец очутиться среди своих!

— Вы, может быть, из парника? — спросил старший из навозных жуков.

— Подымай выше! — сказал жук.— Я из императорской конюшни; там я родился с золотыми подковами на ногах, И путешествую я по секретному поручению. Но вы не расспрашивайте меня, я все равно ничего не скажу.

И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни их же породы и хихикали, не зная, что сказать.

— Они еще не просватаны! — сказала мать, и те опять захихикали, на этот раз от смущения.

— Прекраснее барышень я не встречал даже в императорской конюшне! — сказал жук-путешественник.

— Ах, не испортьте мне моих девочек! И не заговаривайте с ними, если у вас нет серьезных намерений!.. Впрочем, они у вас, конечно, есть, и я даю вам свое благословение!

— Ура! — закричали остальные, и жук стал женихом. За помолвкою последовала и свадьба — зачем откладывать?

Следующий день прошел хорошо, второй — так себе, а на третий уже приходилось подумать о пропитании жены, а может быть, и деток.

«Вот-то поддели меня! — сказал он себе.— Так и я ж их поддену!»

Так и сделал — ушел. День нет его, ночь нет его — жена осталась вдовою. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Еще бы! Жена его теперь осталась у них на шее!

— Так пусть она опять считается барышней! — сказала мамаша.— Пусть живет у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, что бросил ее!

А он переплыл канаву на капустном листке. Утром явились двое людей, увидали жука, взяли его и принялись вертеть в руках. Оба были страсть какие ученые, особенно младший.

— «Аллах видит черного жука на черном камне черной скалы» — так ведь сказано в Коране? — спросил он и, назвав навозного жука по-латыни, сказал, к какому классу насекомых он принадлежит.

Старший ученый не советовал младшему брать жука с собою домой — не стоило, у них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливою, он взял да и вылетел из рук ученых. Теперь крылья у него высохли, и он мог отлететь довольно далеко, долетел до самой теплицы и очень удобно проскользнул в нее,— одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз.

— Ах, как славно! — сказал он.

Скоро он заснул и увидел во сне, что лошадь императора пала, а сам господин навозный жук получил ее золотые подковы, причем ему пообещали дать и еще две. То-то было приятно! Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы веерами раскинули в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце; внизу же всюду зеленела травка, пестрели цветы, огненно-красные, янтарно-желтые и белые, как свежевыпавший снег.

— Бесподобная растительность! То-то будет вкусно, когда все это сгниет! — сказал навозный жук.— Знатная кладовая! Здесь, верно, живет кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски, найти кого-нибудь, с кем можно свести знакомство. Я ведь горд и горжусь этим! — И жук пополз, думая о своем сне, о павшей лошади и о золотых подковах.

Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать...

В теплицу пришел сынишка садовника с товарищем; они увидали навозного жука и вздумали позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в теплый карман панталон. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик притиснул его рукой и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому пруду. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку вместо мачты, привязали к ней жука шерстинкой и спустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкиперы и должен был отправиться в плавание.

Пруд был большой-пребольшой; навозному жуку казалось, что он плывет по океану, и это до того его поразило, что он упал навзничь и задрыгал ножками.

Башмак относило от берега течением, но как только он отплывал чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлепал по воде и притягивал его обратно. Но вот башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они впопыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило все дальше и дальше. Какой ужас! Улететь жук не мог — он был привязан к мачте.

В гости к нему прилетела муха.

— Какая славная погода! — сказала она.— У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке! Вам тут очень хорошо.

— Болтаете, сами не знаете что! Не видите, что ли, я привязан?

— А я нет! — сказала муха и улетела.

— Вот когда я узнал свет! — сказал навозный жук.— Как он низок! Только я один порядочный! Сначала мне не дают золотых подков, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену! Едва я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка и пускает меня, связанного, в бурное море! А лошадь императора щеголяет себе в золотых подковах! Вот что меня больше всего мучит. Но на этом свете справедливости не жди! История моя очень поучительна, а что толку, если ее никто не знает? Да свет и недостоин знать ее, иначе он дал бы золотые подковы мне, когда лошадь императора протянула за ними ноги. Получи я золотые подковы, я бы стал украшением конюшни, а теперь я погиб для всех, свет лишился меня, и всему конец!

Но конец всему, видно, еще не наступил: на пруду появилась лодка, а в ней сидели несколько молодых девушек.

— Вот плывет деревянный башмак! — сказала одна.

— И бедный жук привязан крепко-накрепко! — сказала другая.

Они поравнялись с башмаком, поймали его, одна из девушек достала ножницы и осторожно обрезала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву.

— Ползи, ползи, лети, лети, коли можешь! — сказала она ему.— Свобода — великое благо!

И навозный жук полетел прямо в открытое окно какого-то большого строения, а там устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву любимой лошади императора, стоявшей в конюшне,

родной конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя.

— Ну, вот я и сижу на любимой лошади императора, как всадник! Что я говорю?! Теперь мне все ясно! Вот это мысль! И верная! «За что лошадь удостоилась золотых подков?» — спросил меня тогда кузнец. Теперь-то я понимаю! Она удостоилась их из-за меня!

И жук опять повеселел.

— Путешествие проясняет мысли! — сказал он. Солнышко светило прямо на него и светило так ярко! — Мир, в сущности, не так-то уж дурен! — продолжал рассуждать навозный жук.— Надо только уметь за себя постоять!

Да и как не быть свету хорошим, если любимая лошадь императора удостоилась золотых подков из-за того только, что на ней ездил верхом навозный жук?

— Теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали! Расскажу и обо всех прелестях заграничного путешествия и скажу, что отныне буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков.

ЧТО МУЖЕНЕК НИ СДЕЛАЕТ, ВСЕ ХОРОШО

Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше: и с историями ведь бывает то же, что со многими людьми, и они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо!

Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые крестьянские избушки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебные печи выпячивают на улицу свои толстенькие брюшки, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужа, по которой плавает утка или утята, там уж, глядишь, приткнулась и корявая ива. Возле избушки есть, конечно, и цепная собака, что лает на всех и каждого.

Вот точь-в-точь такая избушка и стояла в одной деревне, а в ней жили старички, муж с женой. Как ни скромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись,— была у них лошадь, целыми днями она щипала траву, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, ну, а уж известно, за услугу отплачивают услугой! Но

все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или променять на что-нибудь более полезное. Только на что бы такое?

— Ну, уж тебе это лучше знать, муженек! — сказала жена.— Теперь как раз ярмарка в городе, поезжай туда, да и продай лошадку или променяй с выгодой! Уж что ты сделаешь, то всегда хорошо! Поезжай с богом!

И она повязала ему на шею платок — это-то она все-таки умела делать лучше мужа, завязала его двойным узлом; очень шикарно вышло! Потом она пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его прямо в губы. И вот он поехал на лошади, которую надо было или продать, или променять в городе. Уж он-то знал, что надо делать!

Солнце так и пекло, на небе не было ни облачка! Пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу — кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная; солнцепек, и ни малейшей тени по всей дороге.

Шел тут и какой-то человек с коровой; вот уж была корова так корова, чудесная! «Верно, и молоко дает чудесное! — подумал наш крестьянин.— То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь!»

— Эй, ты там, с коровой! — крикнул он.— Поговорим-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит подороже твоей коровы! Но так и быть: мне корова нужнее! Поменяемся?

— Ладно! — ответил тот, и они поменялись.

Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси — он ведь сделал, что было нужно. Но раз уж он вздумал побывать на ярмарке, так тому и быть — хотя бы для того только, чтобы поглядеть на нее. Вот он и пошел с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу. Овца была добрая, в теле, с густою шерстью.

«Вот от такой бы я не отказался! — подумал крестьянин.— Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимою ее можно держать в избе. По правде-то, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться разве?»

Владелец овцы охотно согласился, мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидал человека с большим гусем под мышкой.

— Ишь, гусище-то у тебя какой! — сказал крестьянин.— У него и жира и пера вдоволь! А ведь любо было бы поглядеть, как он стоит на привязи у нашей лужи! И старухе моей было бы для кого собирать объедки да очистки! Она часто говорит: «Ах, кабы у нас был гусь!» Ну вот теперь есть случай добыть его... и она его получит! Хочешь меняться? Я дам тебе за гуся овцу да спасибо в придачу!

Тот не отказался, и они поменялись; крестьянин получил гуся. Между тем он дошел до городской заставы. Вот где была толкотня, всюду люди и скотина — ступить некуда! Многие шагали прямо по дну канавы и даже по картофельному полю сторожа. В поле бродила курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкою, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Она была короткохвостая, подмигивала одним глазом и вообще на вид была курица хоть куда. «Кок, кок!» — кудахтала она; что хотела она этим сказать, я не знаю, но крестьянин, увидев ее, подумал: «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее наседки священника; вот бы нам ее! Курица везде сыщет себе зернышко, почитай что сама себя прокормит! Право, хорошо было бы сменять на нее гуся».

— Хочешь меняться? — спросил он у сторожа.

— Меняться? Отчего ж! — ответил тот, и они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин курицу.

Немало дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить! А постоялый двор тут как тут. К нему он и направился, а оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях.

— Что у тебя там? — спросил крестьянин.

— Гнилые яблоки! — ответил работник.— Несу полный мешок свиньям!

— Такую-то уйму?! Вот бы поглядела моя старуха. У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли его в сундуке, пока оно не сгнило! «Все же это говорит о достатке в доме!» — твердила старуха.— Вот бы посмотрела она, какой бывает достаток! Хотел бы я порадовать ее!

— А что вы дадите за мешок? — спросил парень.

— Что дам? Да вот курицу! — И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу и — прямо к прилавку, а мешок свой прислонил к печке. Она топилась, но он и не подумал о том. В горнице было пропасть гостей: барышники, торговцы скотом и два англичанина. Они были такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники до пари. Теперь слушайте!

«Зу-сс! Зу-сс!» Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься.

— Что там такое? — спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее,— вплоть до мешка с гнилыми яблоками.

— Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься! — сказали они.— То-то крик поднимет!

— Поцелует она меня, вот и все! — сказал крестьянин.— Старуха моя скажет: «Что муженек ни сделает, все хорошо!»

— А вот посмотрим! — сказали англичане.— Ставим мерку золота! В мере сто фунтов!

— И полной мерки золота довольно! — сказал крестьянин.— А я могу поставить только полную мерку яблок да нас со старухою в придачу! Так мерка-то выйдет уж с верхом!

— Ну-ну! — сказали те и ударили по рукам.

Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили и яблоки, и тележка покатила к избушке крестьянина.

— Здравствуй, старуха!

— Здравствуй, муженек!

— Ну, я променял!

— Да ведь ты уж знаешь, что делаешь! — сказала жена, обняла его и не поглядела ни на мешок, ни на англичан.

— Я променял лошадь на корову!

— Слава богу! С молоком будем! — сказала жена.— Будем кушать и масло и сыр. Вот это мена!

— Так-то так, да я корову-то сменял на овцу!

— Да оно и лучше! — ответила жена.— Ты обо всем подумаешь! У нас и травы-то как раз на овцу! Теперь у нас будут овечье молоко и сыр, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки! А от коровы-то этого не получишь! Она линяет! Вот какой ты, право, умный!

— Я и овцу променял — на гуся!

— Как, неужели у нас в этом году будет к Мартынову дню жареный гусь, муженек?! Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня! Как ты это славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартынову дню!

— Я и гуся променял — на курицу! — сказал муж.

— На курицу! Вот это дело! Курица нанесет яиц, высидит цыплят, и обзаведемся мы целым птичником! Вот чего мне давно хотелось!

— А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок!

— Ну, так дай же мне расцеловать тебя! — сказала жена.— Спасибо тебе, муженек! Вот ты послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я и подумала: «Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее — яичницу с луком!» Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, что у них есть лук, но она ведь скупая-прескупая, хоть и строит из себя святую! Я попросила ее одолжить мне луку, а она: «Луку? Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь!» Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок!

Вот смеху-то, муженек! — И она опять поцеловала мужа прямо в губы.

— Вот это нам нравится! — вскричали англичане.— Всё хуже да хуже, а ей всё нипочем! За это и деньги отдать не жаль! — И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую мерку червонцев.

Да уж, если жена считает, что муж ее умнее всех на свете и все, что он ни сделает, хорошо,— это без награды не останется!

Так вот какая история! Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе, и ты теперь знаешь: «Что муженек ни сделает, все хорошо!»

СНЕГОВИК

— Так и хрустит во мне! Славный морозец! — сказал снеговик.— Ветер-то, ветер-то так и кусает! Просто любо! А ты что таращишься, пучеглазое? — Это он про солнце говорил, которое как раз заходило.— Впрочем, валяй! Я и не моргну! Устоим!

Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы, вместо рта красовался обломок старых граблей; значит, он был и с зубами.

На свет он появился под радостные «ура» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов.

Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная!

— Ишь, с другой стороны ползет! — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось.— Я все-таки отучил его пялить на меня глаза! Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне видно было себя!.. Ах, кабы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться! Так бы и побежал туда на лед покататься, как давеча мальчишки! Беда — не могу двинуться с места!

— Вон! Вон! — залаял старый цепной пес; он немножко охрип — ведь когда-то он был комнатною собачкой и лежал у печки.— Солнце выучит тебя двигаться! Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже! Вон! Вон! Все убрались вон!

— О чем ты толкуешь, дружище? — сказал снеговик.— Вон та пучеглазая выучит меня двигаться? — Снеговик говорил про луну.— Она сама-то удрала от меня давеча: я так пристально посмотрел на нее в упор! А теперь вон опять выползла с другой стороны!

— Много ты смыслишь! — сказал цепной пес.— Ну да, ведь тебя только что вылепили! Та, что глядит теперь, луна, а то, что

ушло, солнце; оно опять вернется завтра. Ужо оно подвинет тебя — прямо в канаву! Погода переменится! Я чую — левая нога заныла! Переменится, переменится!

— Не пойму я тебя что-то! — сказал снеговик.— А сдается, ты сулишь мне недоброе! То красноглазое, что зовут солнцем, тоже не друг мне, я уж чую!

— Вон! Вон! — пролаяла цепная собака, три раза повернулась вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать.

Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым, тягучим туманом; потом подул резкий, леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота была, когда взошло солнышко!

Деревья и кусты в саду стояли все покрытые инеем, точно лес из белых кораллов! Все ветви словно покрылись блестящими белыми цветочками! Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны; от каждой ветви как будто лилось сияние! Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила; длинные ветви ее с пушистою бахромой тихо шевелились — точь-в-точь как летом! Вот было великолепие! Встало солнышко... Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными ослепительно-белыми огоньками! Все было точно осыпано алмазною пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты!

— Что за прелесть! — сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья.

— Летом такого великолепия не увидишь! — сказала она, вся сияя от удовольствия.

— И такого молодца — тоже! — сказал молодой человек, указывая на снеговика.— Он бесподобен!

Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку, у них под ногами так и захрустело, точно они бежали по крахмалу.

— Кто такие эти двое? — спросил снеговик цепную собаку.— Ты ведь живешь тут подольше меня; знаешь ты их?

— Знаю! — сказала собака.— Она гладила меня, а он бросал косточки; таких я не кусаю.

— А что же они из себя изображают? — спросил снеговик.

— Паррочку! — сказала цепная собака.— Вот они поселятся в конуре и будут вместе глодать кости! Вон! Вон!

— Ну, а значат они что-нибудь, как вот я да ты?

— Да ведь они господа! — сказал пес.— Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет божий! Это я по тебе вижу! Вот я так богат и годами и знанием! Я всех, всех знаю

«Ветер рассказывает о Вальдемаре До
и его дочерях»

здесь! Да, я знавал времена получше!.. Не мерз тут в холоде на цепи! Вон! Вон!

— Славный морозец! — сказал снеговик.— Ну, ну, рассказывай, рассказывай! Только не греми цепью, а то меня просто коробит!

— Вон! Вон! — залаял цепной пес.— Я был щенком, крошечным хорошеньким щенком, и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ! Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками! Звали меня Милкой, Крошкой!.. Потом я подрос, велик для них стал, и меня подарили ключнице, я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда; с твоего места отлично видно. Так вот, в той каморке я и зажил как барин! Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху: меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если еще не лучше! У меня была своя подушка и еще там была печка, самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода! Я даже уползал под нее!.. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке! Вон! Вон!

— Разве уж она так хороша, печка-то? — спросил снеговик.— Похожа она на меня?

— Ничуть! Вот сказал тоже! Печка черна как уголь; у нее длинная шея и медное пузо! Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее изо рта! Рядом с нею, под нею — настоящее блаженство! Ее видно в окно, погляди!

Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом; в животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило какое-то странное желание,— в нем как будто зашевелилось что-то... Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик.

— Зачем же ты ушел от нее? — спросил снеговик пса, он чувствовал, что печка — существо женского пола.— Как ты мог уйти оттуда?

— Пришлось поневоле! — сказал цепной пес.— Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего барчука — он хотел отнять у меня кость! — «Кость за кость!» — думаю себе... А они осердились, и я оказался на цепи! Потерял голос... Слышишь, как я хриплю? Вон! Вон! Вот тебе и вся недолга!

Снеговик уж не слушал; он не сводил глаз с подвального этажа, с каморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной с самого снеговика.

— Во мне что-то так странно шевелится! — сказал он.— Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание, отчего ж бы ему и не сбыться? Это мое самое заветное, мое

единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней... Прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы пришлось разбить окно!

— Туда тебе не попасть! — сказал цепной пес.— А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец! Вон! Вон!

— Мне уж и так конец подходит, того и гляди, свалюсь!

Целый день снеговик стоял и смотрел в окно; в сумерки каморка выглядела еще приветливее: печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне! Куда им! Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя.

— Не выдержу! — сказал он.— Как мило она высовывает язык! Как это идет к ней!

Ночь была длинная, длинная, только не для снеговика; он весь погрузился в чудесные мечты,— они так и трещали в нем от мороза.

К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором, цветами; лучших снеговику нечего было и желать, но они скрыли печку! Стекла не оттаивали, и он не мог видеть печку! Мороз так и трещал, снег хрустел, снеговику радоваться бы да радоваться, так нет! Он тосковал о печке! Он был положительно болен.

— Ну, это опасная болезнь для снеговика! — сказал пес.— Я тоже страдал этим, но поправился. Вон! Вон! Будет перемена погоды!

И погода переменилась, началась оттепель.

Зазвенела капель, а снеговик таял на глазах, но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак.

В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки; на ней-то мальчишки и укрепили его.

— Ну, теперь я понимаю его тоску! — сказал цепной пес.— У него внутри была кочерга! Вот что шевелилось в нем! Теперь все прошло! Вон! Вон!

Скоро прошла и зима.

— Вон! Вон! — лаял цепной пес, а девочки на улице пели:

Цветочек лесной, поскорей распускайся!
Ты, вербочка, мягким пушком одевайся!
Кукушки, скворцы, прилетайте,
Весну нам красну воспевайте!
И мы вам подтянем: ай, лю́ли-люли́,
Деньки наши красные снова пришли!

О снеговике же и думать забыли!

НА УТИНОМ ДВОРЕ

Из Португалии — а кто говорит из Испании, но это все едино — вывезли утку; прозвали ее Португалкою; она несла яйца, потом ее зарезали, зажарили и подали на стол,— вот и вся ее история. Выводков из ее яиц тоже звали Португалками, и это кое-что значило. Наконец из всего потомства первой Португалки осталась на утином дворе только одна утка. На этот утиный двор допускались и куры с петухом, неимоверно задиравшим нос.

— Он просто оскорбляет меня своим неистовым криком! — говорила Португалка.— Но он красив — этого нельзя у него отнять, хоть и не сравнится с селезнем. Ему бы следовало быть посдержаннее, но ведь сдержанность — это целое искусство, требующее высшего образования. Этим отличаются певчие птички, что гнездятся вон там, в соседском саду на липах! Как мило они поют! В их пении есть что-то такое трогательное, португальское, как я это называю! Будь у меня такая певчая птичка, я бы заменила ей мать, была бы с нею ласкова, добра! Это уж у меня в крови, в моем португальстве.

И как раз в эту минуту к ней и свалилась с крыши певчая птичка. Она шарахнулась оттуда, спасаясь от кошки, и отделалась сломанным крылом.

— Как это похоже на кошку, на эту кровопийцу! — сказала Португалка.— Я знаю ее еще с той поры, как у меня самой были утята! И подумать, что такому созданию позволяют жить и бегать тут по крышам! Нет, уж в Португалии, я думаю, этого не увидишь!

И она принялась соболезновать бедной певчей птичке. Соболезновали и простые утки, не португальские.

— Бедная крошка! — говорили они, подходя к ней одна за другой.— Сами мы не из певчих, но в нас есть внутренний резонанс, или как это назвать иначе? Мы чувствуем, хоть и не говорим о том!

— Так я поговорю! — сказала Португалка.— И сделаю для нее кое-что! Это прямой долг каждого! — С этими словами она подошла к корыту и зашлепала по воде крыльями, так что чуть не потопила птичку под дождем брызг, но от доброго сердца.— Вот это доброе дело! — сказала Португалка.— Пусть смотрят и берут пример.

— Пип! — пискнула птичка; сломанное крылышко не давало ей встряхнуться хорошенько; но она все-таки понимала, что ее выкупали от доброго сердца.— Вы очень добры, сударыня! — прибавила она, но о повторении ду́ша не просила.

— Я никогда не думала о своей доброте! — ответила Португалка.— Но я знаю, что люблю всех моих ближних, кроме кошки! А этого уж от меня и требовать никто не вправе. Она съела у меня двух утят!.. Ну, будьте же теперь здесь как дома! Это можно! Сама

я тоже не здешняя, что вы, конечно, видите по моей осанке и оперению. А селезень мой здешний, не моей крови, но я не спесива!.. Если вас вообще кто-нибудь поймет здесь, во дворе, то, смею думать, это я!

— У нее Портулакия в зобу! — сострил один маленький простой утенок; остальные простые утки нашли это бесподобным: Портулакия звучит ведь совсем как Португалия! И они подталкивали друг друга, крякая:

— Кряк! Вот остряк! — Потом они опять заговаривали с певчею птичкой.

— Португалка — мастерица поговорить! — сказали они.— У нас нет таких громких слов в клюве, но и мы принимаем в вас не меньшее участие! И если мы ничего не делаем для вас, то не кричим об этом! По-нашему, так благороднее.

— У вас прелестный голос! — сказала одна из пожилых уток.— То-то, должно быть, приятно сознавать, что радуешь многих, как вы! Я, впрочем, мало смыслю в пении! Оттого и держу язык в клюве. Это лучше, чем болтать глупости, каких вам столько приходится выслушивать.

— Не надоедайте ей! — вмешалась Португалка.— Ей нужен отдых и уход. Хотите, я опять вас выкупаю, маленькая певунья?

— Ах нет, нет! Позвольте мне остаться сухою! — попросила та.

— А мне только водяное лечение и помогает! — продолжала Португалка.— Развлечения тоже очень полезны! Вот скоро придут в гости соседки куры: между ними есть две китаянки; они ходят в панталончиках и очень образованны. Они тоже не здешние, и это очень подымает их в моих глазах.

Куры явились; явился и петух. На этот раз он был настолько вежлив, что не грубиянил.

— Вы настоящая певчая птица! — сказал он птичке.— И делаете из своего крохотного голоска что можете. Но надо иметь свисток посильнее, чтобы слышно было, что ты мужчина!

Обе китаянки пришли от птички в восторг: она после купанья была вся взъерошенная и напомнила им китайского цыпленка.— Как она мила! — сказали они и вступили с нею в беседу. Говорили они шепотом, да еще и пришепстывали, как и полагается знатным китаянкам.

— Мы ведь вашей породы! А утки, даже сама Португалка, принадлежат к водяным птицам, как вы, вероятно, заметили. Вы нас еще не знаете, но и многие ли нас здесь знают или дают себе труд узнать? Никто, даже из кур никто, хотя мы и рождены для более высокого нашеста, нежели большинство! Ну, да пусть! Мы мирно идем своею дорогой среди других, хотя у нас и другие принципы: мы смотрим только на одно хорошее, говорим только о хо-

рошем, хотя и трудно найти его там, где нет ничего! Кроме нас двух да петуха, во всем курятнике нет даровитых и в то же время честных натур. Об утином дворе и говорить нечего. Мы предостерегаем вас, милая певунья! Не верьте вон той короткохвостой утке — она хитрая! А вот та, пестрая, с кривым узором на крыльях, страшная спорщица, никому не дает сказать последнего слова, и сама всегда не права! Та жирная утка обо всех отзывается дурно, а это противно нашей природе: уж если нельзя сказать хорошего, лучше молчать! Португалка одна отличается хоть некоторым образованием, и с нею еще можно водиться, но она тоже пристрастна и слишком много говорит о своей Португалии.

— И что эти китаянки расшептались! — удивлялись две простые утки.— На нас они наводят скуку; мы никогда с ними не разговариваем.

Вот явился и селезень. Он принял певчую птичку за воробья.

— Ну да, я не больно-то разбираюсь! — сказал он.— Все едино! Она из породы шарманок; есть они — ну и ладно.

— Пусть себе говорит, а вы не обращайте внимания! — шепнула птичке Португалка.— Он зато весьма деловитый селезень, а дела ведь главное!.. Ну, а теперь я прилягу отдохнуть. Это прямой долг по отношению к самой себе, если хочешь разжиреть и быть набальзамированною яблоками и черносливом.

И она улеглась на солнышке, подмаргивая одним глазом. Улеглась она хорошо, сама была хороша и заснула хорошо. Певчая птичка почесала сломанное крылышко и прилегла к своей покровительнице. Солнышко так славно пригревало, тут было чудесное местечко.

Соседские куры принялись рыться в земле; они, в сущности, и приходили сюда только за кормом. Потом они стали расходиться; первые ушли китаянки, за ними и остальные. Остроумный утенок сказал про Португалку, что старуха скоро впадет в «утиное детство». Другие утки закрякали от смеха. «Утиное детство!» Ах, он бесподобен! Вот остряк! И они повторяли и прежнюю его остроту: «Португалкия». Ужасно забавно было! Затем улеглись и они.

Прошел час, вдруг на двор выплеснули помои и всякие кухонные отбросы. От этого всплеска вся спящая компания проснулась и забила крыльями. Проснулась и Португалка, перевалилась на другой бок и пребольно придавила певчую птичку.

— Пип! — пискнула та.— Вы наступили на меня, сударыня.

— Не попадайтесь под ноги! — ответила Португалка.— Да не будьте такою неженкой! У меня тоже есть нервы, а я никогда не пищу!

— Не сердитесь! — сказала птичка.— Это у меня так вырвалось!

Но Португалка не слушала, бросилась на поживу и отлично пообедала. Покончив с едой, она опять улеглась. Птичка снова подошла к ней и хотела было доставить ей удовольствие своим пением:

Чу-чу-чу-чу!
Уж я не промолчу,
Я вас воспеть хочу!
Чу-чу-чу-чу!

— Теперь мне надо отдохнуть после обеда! — сказала утка.— Пора вам привыкать к здешним порядкам! Я спать хочу!

Бедная птичка совсем растерялась: она ведь хотела услужить! Когда же госпожа Португалка проснулась, птичка уж опять стояла перед нею и поднесла ей найденное зернышко. Но утка не выспалась как следует и, разумеется, была не в духе.

— Отдайте это цыпленку! — крикнула она.— Да не стойте у меня над душой!

— Да вы сердиты на меня? — спросила птичка.— Что же я сделала?

— Сделала! — повторила Португалка.— Выражение не из изящных, позвольте вам заметить!

— Вчера светило солнышко,— сказала птичка,— а сегодня так серо, темно! Мне так грустно!

— Вы не сильны во времяисчислении! — сказала Португалка.— День еще не кончился! Да не смотрите же так глупо!

— Теперь у вас точь-в-точь такие же злые глаза, как те, от которых я спаслась сюда!..

— Ах, бесстыдница! — сказала Португалка.— Вы меня приравниваете к кошке, этой хищнице? В моей крови нет ни единой злой капельки! Я приняла в вас участие и научу вас приличному обхождению!

И она откусила птичке голову; птичка упала мертвая.

— Это еще что?! — сказала Португалка.— И этого перенести не могла? Ну, так она и не жилица была на этом свете! А я была для нее матерью, это я знаю! Сердце у меня есть!

Соседский петух просунул голову на двор и закукарекал, что твой паровоз.

— Вы изводите меня своим криком! — сказала утка.— Это все вы виноваты! Она потеряла голову, да и я свою скоро потеряю!

— Не много-то места она теперь занимает! — сказал петух.

— Говорите о ней почтительнее! — сказала Португалка.— У нее был голос, она умела петь, была образованна! Она была нежная и любящая, а это столь же приличествует животным, как и так называемым людям!

Вокруг мертвой птички собрались все утки; утки вообще силь-

но чувствуют и выражают свои чувства — и зависть и жалость. Тут завидовать было нечему, так они жалели. Пришли и куры китаянки.

— Такой певчей птички у нас больше не будет! Она была почти что китаянка! — И они всхлипывали; другие куры тоже, а утки ходили с красными глазами.

— Сердце-то у нас есть! — говорили они.— Этого уж у нас не отнимут!

— Сердце! — повторила Португалка.— Да, этого-то добра у нас здесь почти столько же, сколько и в Португалии!

— Подумаем-ка лучше, чем бы набить зобы! — заметил селезень.— Это важнее всего! А если и разбилась одна шарманка, что ж? Их еще довольно осталось на свете!

МУЗА НОВОГО ВЕКА

Когда же впервые проявит себя Муза нового века, которую узрят наши правнуки, а может быть, и еще более поздние поколения? Какова будет она? О чем споет? Каких душевных струн коснется? На какую высоту подымет свой век?

Да можно ли задавать столько вопросов в наше суетливое время, когда поэзия является чуть ли не помехой, когда ясно сознают, что от большинства «бессмертных» произведений современных поэтов останется в будущем в лучшем случае что-то вроде надписей углем, встречающихся на тюремных стенах и привлекающих внимание разве некоторых случайных любопытных?

При таком положении дел поэзии поневоле приходится принимать известное участие в политике, играть хотя бы роль пыжа в борьбе партий, когда люди проливают кровь или чернила.

Это односторонний взгляд, скажут многие; поэзия не забыта и в наше время.

Нет, нет. Находятся еще люди, у которых в «ленивые понедельники» просыпается потребность в поэзии; испытывая от голода духовное урчание в соответствующих благородных частях своего организма, они посылают слугу в книжный магазин купить поэзии, самой прославленной, на целых четыре скиллинга! Некоторые же довольствуются и тою поэзией, которую могут получить в придачу к покупкам, или удовлетворяются чтением тех листков, в которые лавочники завертывают им покупки. Так выходит дешевле, а в наше суетливое время нельзя не обращать внимания на дешевизну. Итак, возникающие потребности удовлетворяются — чего же еще? А поэзия будущего, как и музыка будуще-

го,— только донкихотство, и говорить о них, все равно что говорить о путешествии с научною целью на Уран!

Время слишком дорого, чтобы тратить его на фантазии, а ведь что такое, в сущности, если рассуждать трезво, что такое поэзия? Эти звучные излияния чувств и мыслей — только игра и колебание нервов. Восторг, радость, боль, даже материальные стремления — все это, по словам ученых, только колебание нервов. Каждый из нас, в сущности, нечто вроде арфы или другого струнного инструмента.

Но кто же затрагивает эти струны? Кто заставляет их колебаться и дрожать? Дух, незримый божественный дух; это он приводит их в колебание; они звучат, и мелодия либо сливается с его голосом в один гармонический аккорд, либо образует могучий диссонанс. Так оно было, так и будет всегда в великом прогрессе человечества на пути к сознанию свободы.

Каждый век, можно даже сказать — каждое тысячелетие, находит свое высшее выражение в поэзии. Рожденная в конце одной эпохи, она выступает и царствует только в следующую.

Муза нового века родилась в наше суетливое время под грохот и стук машин. Привет ей! Она услышит или, может быть, прочтет этот привет когда-нибудь между только что упомянутыми надписями, сделанными углем.

Колыбель ее раскачивалась в пространстве, ограниченном с одной стороны крайнею точкой, которой касалась нога человека в его исследованиях Севера, а с другой — не освоенными человеком подступами к неведомому Южному полюсу. Мы не слышали скрипа ее колыбели из-за шума машин, свиста паровозов, взрывов материальных и духовных твердынь.

Она родилась на великой фабрике, представляемой ныне нашею землею, в эпоху господства пара, в эпоху неустанной работы мастера «Бескровного» и его подручных.

У нее великое любвеобильное сердце женщины; в ее душе горит священное пламя весталки и огонь страсти. Одарена она быстрым, ярким, как молния, умом, проникающим через тьму тысячелетий; в нем, как в призме, отражаются все оттенки господствовавших когда-либо людских мнений, сменявшихся согласно моде. Силу и сокровище новой Музы составляет лебединое оперение фантазии, вытканное наукой и оживленное первобытными силами природы.

Она дитя народа по отцу; полная здравого смысла, со здоровою душою, серьезными глазами и улыбкой на устах. По матери же она ведет род от знатных, академически образованных эмигрантов, хранящих память о позолоченной эпохе рококо. Муза нового века уродилась душой и телом в обоих.

На зубок ей положили в колыбель великолепные дары. В изобилии были насыпаны туда, словно лакомства, загадки природы с их разгадками; из водолазного колокола высыпали ей разные безделушки и диковинки морского дна. На пологе была отпечатана карта неба, напоминающего океан с мириадами островов — миров. Солнце рисовало ей картинки; фотография должна была доставлять игрушки.

Кормилица пела ей песни северного скальда Эйвинда и восточного певца Фирдоуси, песни миннезингеров и те песни, что выливались из глубины истинно поэтической души шаловливого Гейне. Много, даже слишком много рассказывала ей кормилица. Муза знает и наводящие ужас предания прапрабабушки Эдды, предания, в которых как бы слышится свист кровавых крыл проклятий. Она прослушала в четверть часа и всю восточную фантазию — «Тысячу и одну ночь».

Муза нового века еще дитя, но она уже выпрыгнула из колыбели; она полна стремления, но еще и сама не знает, к чему ей стремиться.

Она еще играет в своей просторной детской, наполненной сокровищами искусств и безделушками стиля рококо. Тут же и чудные мраморные изваяния греческой трагедии и римской комедии; по стенам развешаны, словно сухие травы, народные песни разных стран; стоит ей поцеловать их, и они пышно распустятся, свежие, благоухающие! Вокруг нее раздаются бессмертные созвучия Бетховена, Глюка, Моцарта и других великих мастеров. На книжной полке теснятся произведения авторов, считавшиеся в свое время бессмертными, но на ней хватило бы места и для трудов всех тех, чьи имена передаются нам по телеграфной проволоке бессмертия, но замирают вместе с передачей телеграммы.

Много, слишком много она читала; она ведь родилась в наше время, многое придется ей забыть, и она сумеет позабыть.

Она еще не думает о своей песне, которая будет жить в новом веке, как живут теперь вдохновенные творения Моисея и золотые басни Бидпая о хитростях лиса. Она еще не думает о своей миссии, о своем будущем, она играет под шум борьбы наций, сотрясающий воздух и образующий разные звуковые фигуры из гусиных перьев или ядер — руны, которые трудно разгадать.

Она носит гарибальдийскую шапочку, читает Шекспира, и у нее мелькает мысль: «А ведь его еще можно будет ставить, когда я вырасту!» Кальдерон покоится в саркофаге своих произведений; надпись на нем говорит о его славе. Хольберга же — да, Муза ведь космополитка — она переплела в один том с Мольером, Плавтом и Аристофаном, но охотнее всего она читает все-таки Мольера.

Ей незнакомо то беспокойство, которое гонит горную серну,

но и ее душа жаждет соли жизни, как горная серна — раздолья гор. В сердце ее разлит такой же покой, каким дышат сказания древних евреев, этих номадов, кочевавших в тихие звездные ночи по зеленым равнинам, и все же, когда она поет их, сердце ее бьется сильнее, чем билось оно у вдохновенного древнего воина с фессалийских гор.

Ну, а каково ее отношение к религии? Она изучила всю философскую премудрость, сломала себе в поисках «первопричины мира» один из молочных зубов, но получила взамен новый, вкусила плода познания еще в колыбели и стала так умна, что бессмертие кажется ей гениальнейшей мыслью человечества.

Когда же настанет новый век поэзии? Когда выступит его Муза? Когда мы услышим ее?

В одно прекрасное весеннее утро она примчится на паровом драконе, с шумом пронесется по туннелям, по мостам над пропастями, или по бурному морю на пыхтящем дельфине, или по воздуху на птице Рок Монгольфьера и спустится на землю, откуда и раздастся впервые ее приветствие человечеству. Откуда же? Не из земли ли Колумба, страны свободы, где туземцы стали гонимыми зверями, а африканцы — вьючными животными, страны, откуда прозвучала «Песнь о Гайавате»? Или из земли наших антиподов, золотого острова в южном море, страны контрастов, где наша ночь является днем, где в мимозовых лесах поют черные лебеди? Или из той страны, где звенит и поет нам колосс Мемнона, хотя мы и не понимаем пения сфинкса пустыни? С каменноугольного ли острова, где со времен Елизаветы господствует Шекспир? Из отчизны ли Тихо Браге, где его не оценили, или из страны сказочных приключений, Калифорнии, где возносит к небу свою главу царь лесов — Веллингтоново дерево?

Когда же заблестит звезда на челе Музы? Когда распустится цветок, на лепестках которого будет начертан символ красоты века, красоты форм, красок и благоухания?

«А какова будет программа новой Музы? — спросят сведущие депутаты от нашего времени.— Чего она хочет?»

Спросите лучше, чего она не хочет.

Она не хочет выступить тенью истекшего времени! Не хочет мастерить новые драмы из сданных в архив сценических эффектов или прикрывать убожество драматической архитектуры ослепительными лирическими драпировками! Она на наших глазах шагнет в этой области так же далеко, как далеко шагнул мраморный амфитеатр от колесницы Фесписа. Она не хочет разбивать в куски естественную человеческую речь и потом лепить из них затейливые колокольчики с вкрадчивыми звуками времен состязаний трубадуров. Она не захочет признать поэзию дворянкой, а

прозу мещанкой — она сделает и стихи и прозу равными по звучанию, полноте и силе. Не захочет она и вновь взять старых богов из могучих, как скалы, исландских саг! Те боги умерли, и у нового века нет к ним сочувствия; они чужды ему! Не захочет она и приглашать своих современников отдыхать мыслью в вертепах французских романов. Не захочет и усыплять их «обыкновенными историями»! Она хочет поднести современникам жизненный эликсир! Песнь ее и в стихах и в прозе будет сжата, ясна и богата содержанием! Биение сердца каждой национальности явится для нее лишь буквою в великой азбуке мирового развития, и она возьмет каждую букву с одинаковой любовью, составит из них слова, и они ритмично польются в гимне, который она воспоет своему веку!

Когда же наступит это время?

Для нас, еще живущих здесь, на земле, не скоро, а для улетевших вперед — очень скоро.

Скоро рухнет китайская стена; железные дороги Европы достигнут недоступных культурных архивов Азии, и два потока культуры сольются! Они зашумят, может быть, так грозно, что мы, престарелые представители современности, затрепещем, почуяв наступление рагнарока, гибель старых богов. Но нам не следовало бы забывать, что эпохи и поколения человеческие должны сменяться и исчезать, что от них остаются лишь миниатюрные отражения, заключенные в рамки слова, которые и плывут по потоку вечности, словно цветы лотоса, говоря нам, что все эти поколения таких же людей, как и мы, только одетых иначе, действительно жили. Картина жизни древних евреев предстает со страниц Библии, греков — из «Илиады» и «Одиссеи», а нашей жизни? Спроси у Музы нового века, спроси у нее во время рагнарока, когда возникнет новая, преображенная Гимле.

Вся сила пара, все открытия современности послужат для Музы рычагами! Мастер «Бескровный» и его хлопотливые подручные, которые кажутся могучими господами нашего времени,— это всего лишь слуги, черные рабы, украшающие залы, подносящие сокровища и накрывающие столы для великого празднества, на котором Муза, невинная, как дитя, восторженная, как молодая девушка, и спокойная, опытная, как матрона, высоко поднимет дивный светоч поэзии, этот бездонный сосуд — человеческое сердце, в котором горит божественный огонь.

Привет тебе, Муза поэзии нового века! Привет наш вознесется и будет услышан, как бессловесный гимн червя, перерезанного плугом. Когда настанет новая весна, плуг опять пойдет взрезывать землю и перерезывать нас, червей, ради удобрения почвы для новой богатой жатвы, нужной грядущим поколениям.

Привет тебе, Муза нового века!

МОТЫЛЕК

Мотылек вздумал жениться. Конечно, ему хотелось взять за себя хорошенький цветочек.

Он посмотрел кругом: цветочки сидели на своих стебельках тихо, скромно, как и подобает еще непросватанным барышням; но выбрать было ужасно трудно — так много их тут росло.

Мотыльку скоро надоело раздумывать, и он порхнул к полевой ромашке. Французы зовут ее маргариткой и уверяют, что она умеет ворожить. По крайней мере, влюбленные всегда прибегают к ней, обрывают лепесток за лепестком и приговаривают: «Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет?» — или нечто в этом роде; всякий ведь спрашивает по-своему. И мотылек тоже обратился к ромашке, но не стал обрывать лепестков, а перецеловал их, думая, что всегда лучше действовать лаской.

— Матушка маргаритка, полевая ромашка, мудрейшая из цветов! — сказал он.— Вы умеете ворожить! Укажите же мне мою суженую! Тогда, по крайней мере, я сразу смогу посвататься.

Но ромашка молчала — она обиделась. Она была девицей, а ее вдруг назвали матушкой — как вам это нравится?

Мотылек спросил еще раз, потом еще, ответа все не было. Ему стало скучно, и он полетел прямо свататься.

Это было раннею весной; всюду цвели подснежники и крокусы.

— Недурны! — сказал мотылек.— Миленькие подросточки! Только... зеленоваты больно!

Мотылек, как и все юноши, искал девиц постарше.

Потом он оглядел других и нашел, что анемоны горьковаты, фиалки немножко сентиментальны, тюльпаны — щеголихи, нарциссы простоваты, липовые цветы и малы, да и родни у них пропасть, яблоневые цветы, конечно, почти что розы, но уж чересчур недолговечны: ветром пахнуло, и нет их, стоит ли тут жениться? Горошек понравился ему больше всех: бело-розовый, просто кровь с молоком, нежный, изящный, да и на кухне не ударит лицом в грязь,— словом, девица хоть куда! Мотылек совсем было уж собрался посвататься, да вдруг увидал рядом стручок с увядшим цветком.

— Это... кто же? — спросил он.

— Сестрица моя! — отвечал горошек.

— Так потом и вы такая же будете?

Мотылек испугался и поскорее улетел прочь.

Через изгородь перевешивалась целая толпа каприфолий; но эти барышни с вытянутыми желтыми физиономиями были ему

совсем не по вкусу. Да, но что же было ему по вкусу? Подите узнайте!

Весна прошла, прошло и лето, настала осень, а мотылек не подвинулся со своим сватовством ни на шаг. Появились новые цветы в роскошных нарядах, но что толку? С годами сердце все больше и больше начинает тосковать о весенней свежести, об оживляющем аромате юности, а не искать же их у осенних георгин и штокроз! И мотылек полетел к кудрявой мяте.

— На ней нет никаких особых цветов, но она вся один сплошной благоухающий цвет, ее я и возьму в жены!

И он посватался.

Но мята не шелохнула листочком и только сказала:

— Дружба — и больше ничего! Мы оба стары; друзьями мы еще можем быть, но пожениться?.. Нет, что за дурачество на старости лет?

Так мотылек и остался ни с чем. Он уж чересчур много выбирал, а это не годится,— вот и остался старым холостяком.

Скоро налетела непогода с дождем и изморозью; поднялся холодный ветер; дрожь пробирала старые, скрипучие ивы. Не сладко было разгуливать по такому холоду в летнем платье. Но мотылек и не разгуливал,— ему как-то удалось залететь в комнату; там топилась печка, и было тепло, как летом. Жить бы да поживать здесь мотыльку. Но что это за жизнь?

— Мне нужны солнце, свобода и хоть маленький цветочек! — сказал мотылек, полетел и ударился об оконное стекло.

Тут его увидали, пришли от него в восторг и посадили на булавку в ящичек с прочими редкостями. Большего для него уж не могли сделать.

— Теперь и я сижу на стебельке, как цветок! — сказал мотылек.— Не особенно-то это сладко! Ну да зато это нечто вроде женитьбы: тоже не погуляешь!

И он утешался этим.

— Плохое утешение! — сказали комнатные цветы.

«Ну, комнатным цветам не очень-то верь! — думал мотылек.— Они уж чересчур близко знаются с людьми».

УЛИТКА И РОЗОВЫЙ КУСТ

Вокруг сада шла живая изгородь из орешника; за нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст; под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием — она содержала самое себя.

— Постойте, придет и мое время! — сказала она.— Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы!

— Я многого ожидаю от вас! — сказал розовый куст.— Позвольте же узнать, когда это будет?

— Время терпит! Это вы вот все торопитесь! А торопливость ослабляет впечатление!

На другой год улитка лежала чуть ли не на том же месте, на солнышке, под розовым кустом, снова покрытым бутонами. Бутоны распускались, розы цвели, отцветали, а куст выпускал все новые и новые.

Улитка наполовину выползла из раковины, вытянула рожки и опять подобрала их.

— Все то же да то же! Ни шагу вперед! Розовый куст остается при своих розах, ни на волос не подвинулся вперед!

Лето прошло, настала осень, розовый куст цвел и благоухал, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно, розовый куст пригнулся к земле, улитка уползла в землю.

Опять настала весна, снова зацвели розы, выползла и улитка.

— Теперь вы уж стары! — сказала она розовому кусту.— Пора бы вам и честь знать! Вы дали миру все, что могли дать; многое ли — это вопрос, которым мне некогда заниматься. А что вы ровно ничего не сделали для своего внутреннего развития — это ясно! Иначе из вас вышло бы кое-что другое. Что вы скажете в свое оправдание? Вы скоро ведь обратитесь в сухой хворост! Понимаете вы, что я говорю?

— Вы меня пугаете! — сказал розовый куст.— Я никогда об этом не думал!

— Да, да, вы, кажется, мало затрудняли себя думаньем! А вы пробовали когда-нибудь заняться этим вопросом, дать себе отчет: почему, собственно, вы цветете и как это происходит, почему так, а не иначе?

— Нет! — сказал розовый куст.— Я радовался жизни и цвел — я не мог иначе! Солнце так грело, воздух так освежал меня, я пил живую росу и обильный дождь, я дышал, я жил! Силы поднимались в меня из земли, вливались из воздуха, я жил полною жизнью, счастье охватывало меня, и я цвел,— в этом была моя жизнь, мое счастье, я не мог иначе!

— Да, вы таки жили не тужили, нечего сказать!

— Да! Мне было дано так много! — сказал розовый куст.— Но вам дано еще больше! Вы одна из глубокомыслящих, высокоодаренных натур!.. Вы должны удивить мир!

— Была охота! — сказала улитка.— Я знать не знаю вашего мира! Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя!

— Да, но мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучшим, что есть в нас!.. Я мог дать миру только розы!.. Но вы? Вам дано так много! А что вы дали миру? Что вы дадите ему?

— Что я дала? Что дам?! Плюю я на него! Никуда он не годится! И дела мне нет до него! Снабжайте его розами — вас только на это и хватит! Пусть себе орешник дает ему орехи, коровы и овцы — молоко, у них своя публика! Моя же — во мне самой! Я замкнусь в себе самой и — баста! Мне нет дела до мира!

И улитка заползла в свою раковину и закрылась там.

— Как это грустно! — сказал розовый куст.— А я так вот и хотел бы, да не могу замкнуться в самом себе; у меня все просится наружу, я должен цвести! Розы мои опадают и разносятся по ветру, но я видел, как одну из них положила в молитвенник мать семейства, другую приютила у себя на груди прелестная молодая девушка, третью целовали улыбающиеся губки ребенка!.. И я был так счастлив! Вот мои воспоминания; в них — моя жизнь!

И розовый куст цвел и благоухал, полный невинной радости и счастья, а улитка тупо дремала в своей раковине,— ей не было дела до мира.

Года шли за годами.

Улитка стала землей в земле, розовый куст стал землей в земле, роза воспоминания истлела в молитвеннике... Но в саду цвели новые розовые кусты, под ними ползали новые улитки; они заползали в свои домики и плевались — им не было дела до мира!

Не рассказать ли эту историю сначала? Она не меняется!

СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТКА

Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки, чистенькая, светленькая, покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!» И пошла.

Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал холодными липкими пальцами, люди постарше вертели и поворачивали в руках много раз, а молодежь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она уже целый год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась путешествовать за границу и оказалась последнею родной монеткою в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попалась ему под руку.

— Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка! — сказал он.— Ну, пусть едет со мною путешествовать! — И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками, которые все сменялись: одна уступала место другой, а наша монетка все оставалась в кошельке; это уж было некоторого рода отличием!

Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда — не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления: не много увидишь, сидя в мешке, как она! Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт; ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну и это не прошло ей даром! Она упала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать там, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол; никто не слыхал, никто не видал этого.

Утром платье опять внесли в комнату; путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу; она очутилась вместе с тремя другими монетками.

«Вот славно-то! Опять пойду гулять по свету, увижу новых людей, новые обычаи!» — подумала монетка.

— Это что за монетка? — послышалось в ту же минуту.— Это не наша монета. Фальшивая! Никуда не годится!

Тут-то и началась для монетки история, о которой она сама потом рассказывала.

— «Фальшивая! Никуда не годится!» Меня так и пронизало насквозь! — рассказывала она.— Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона и настоящей чеканки! Верно, люди ошиблись,— не могли они так отзываться обо мне! Однако они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивою, это я никуда не годилась! «Ну, я сбуду ее с рук в сумерках!» — сказал мой хозяин и сбыл-таки. Но при дневном свете меня опять принялись бранить: «Фальшивая!», «Никуда не годится!», «Надо ее поскорее сбыть с рук!»

И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо местной монеты.

— Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к чему! В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет! Как же, должно быть, ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперед нечистыми

путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело потому только, что я кажусь виновною!.. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу от того взгляда, который упадет на меня сейчас: я ведь знаю, что меня тут же отшвырнут в сторону, бросят, точно я обманщица!

Раз я попала к одной бедной женщине; она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбыть меня с рук,— никто не хотел брать меня; я была для бедняги сущим несчастьем.

«Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь! — сказала женщина.— Где мне, при моей бедности, беречь фальшивые деньги! Отдам-ка ее богатому булочнику, он-то не разорится от этого! Но все-таки нехорошо это! Сама знаю, что нехорошо!»

«Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины! — вздохнула я.— Неужели же я в самом деле так изменилась от времени?»

И женщина отправилась к богатому булочнику, но он слишком хорошо знал все монеты, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили,— он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так грустно, так грустно сознавать, что я отчеканена на горе другим! Это я-то, я, когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, добродушно-ласково поглядела на меня и сказала:

«Не хочу я никого обманывать! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая... А впрочем... Постой, мне пришло на ум — может быть, ты счастливая монетка? Право, так! Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу на шейку соседкиной девочке — пусть носит на счастье!»

И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитою, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки; малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди.

Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала,— я сейчас же догадалась! Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок.

«Счастливая монетка! — сказала она.— Посмотрим!» — И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела, потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить на счастье билетик.

Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я ведь знала, что меня обзовут фальшивою, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою. Но нет! Я избежала позора! В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что, не глядя, бросил меня в выручку, к другим монетам. Выиграл ли купленный за меня билет — не знаю, но знаю, что на другой же день меня признали фальшивою, отложили в сторону и опять отправили обманывать — все обманывать! А ведь это просто невыносимо при честном характере — его-то уж у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама больше не верила ни в себя, ни в свет. Тяжелое выдалось для меня времечко!

Но вот однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же подсунули меня, и он был так прост, что взял меня за здешнюю монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Фальшивая! Не годится!»

«Мне дали ее за настоящую! — сказал путешественник и вгляделся в меня пристальнее. Вдруг на лице его появилась улыбка: а ведь, глядя на меня, уже давно никто не улыбался.— Нет, что же это! — сказал он.— Ведь это наша родная монетка, хорошая, честная монетка с моей родины, а в ней пробили дырку и зовут ее фальшивою! Вот забавно! Надо будет сберечь тебя и взять с собою домой!»

То-то я обрадовалась! Меня опять называют хорошею, честной монеткою, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки! Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре: искры испускает сталь, а не серебро.

Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетками и не затерять; вынимали меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересною, не говоря ни слова!

И вот я попала домой! Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как в фальшивой: что за беда, если на самом деле ты не фальшивая! Да, надо иметь терпение: пройдет время, и все встанет на свои места. Уж в это я твердо верю! — заключила свой рассказ монетка.

ЕПИСКОП БЕРГЛУМСКИЙ И ЕГО СВОЯК

Вот мы добрались с вами до самого севера Ютландии, даже Дикое болото осталось позади. Слышите грозный гул? Это волны разбиваются о берег. Море ведь отсюда рукой подать, оно внизу, за дюнами. А этот высокий песчаный холм уже давно маячит у нас перед глазами, но мы все никак не достигнем его гребня, увязая в зыбучем песке. Видите наверху силуэты старинных строений? Это бывший Бёрглумский монастырь, а церковь его — вон то самое высокое здание — до сих пор действует. Мы только поздно вечером дойдем до вершины холма, но ведь сейчас пора белых ночей, погода стоит такая ясная, небо такое светлое, что сверху нам откроется чудесный вид на поля и болота, на вересковые пустоши и Ольборгский фиорд, на бескрайнее черно-синее море.

Наконец-то мы наверху! Сейчас мы минуем гумно и овин и свернем в ворота старой монастырской ограды. Смотрите, как разрослись эти столетние липы вдоль каменных стен, им здесь покойно, они никогда не знали ни ветра, ни бури, и пышная их листва прямо-таки забила собой все оконные проемы.

Теперь не спеша поднимемся по винтовой гранитной лестнице, пройдем по длинной галерее, под потемневшими от времени балками. Гулко раздаются здесь завывания ветра, и не поймешь, то ли он гуляет за стенами, то ли тут, в самой галерее... Впервые попавшему сюда становится жутковато!.. Да к тому же и эти рассказы... Но в конце концов мало ли что болтают люди, мало ли что примстится им, когда они сами напуганы до смерти и желают вас напугать?.. Вот, к примеру, говорят, что монахи, давным-давно отдавшие богу душу, неслышно бредут мимо людей по галерее в храм, где служат обедню. Звуки молитвенных песнопений сливаются с воем ветра... Подобные истории настраивают на совершенно особый лад, мысли ваши невольно обращаются к далекому прошлому, вы задумываетесь, да так глубоко, что словно сами переноситесь в те старинные, суровые времена.

Стоило разбиться здесь кораблю о прибрежные скалы, и в миг монастырский люд уже хозяйничал на берегу, истребляя всех, кого не истребило море. Белые пенистые волны не спеша слизывают с осклизлых камней алую кровь, струящуюся из раскроенных черепов несчастных. Выброшенное морем добро становится добычей епископа, а добра бывает немало. Волны выносят на берег бочонки с дорогим вином — все без разбора идет в епископские погреба, и без того доверху набитые бочками с пивом и с хмельным медом. Кухонные кладовые ломятся от колбас, окороков и битой дичи,

в монастырских прудах жиреют сазаны и красноперые караси... Воистину нет богаче и могущественней епископа Бёрглумского! Не счесть его земель и поместий. Но нет предела его алчности и тщеславию. Всё должно принадлежать ему, все должны преклоняться перед Олуфом Глобом!

Как раз в это время в своем поместье Тю скончался свояк Олуфа Глоба, тоже богач из богачей. Но, помните пословицу: «Свояк для свояка хуже лютого врага». Эту житейскую мудрость испытала на своей, как говорится, шкуре вдова усопшего. Все земли округа, кроме монастырских, принадлежали ее покойному супругу, а их единственный сын-наследник уже много лет как бродил по дальним странам. Еще мальчишкой он пристрастился к изучению чужих языков и обычаев, по своей воле покинул отчий кров, и давно от него не было ни весточки, ни привета. Уж не нашел ли он последний приют где-нибудь на чужой стороне? Возможно, он никогда и не вернется на родину, чтобы возглавить хозяйство, которым теперь управляла его мать.

— А управлять поместьем разве женского ума дело? — спросил как-то епископ и послал в окружной суд — тинг прошение о вызове несчастной вдовы в качестве ответчицы. Да ведь всё без толку, ибо она никогда не преступила ни один из законов, и право было на ее стороне.

О, епископ Олуф Бёрглумский, что у тебя на уме? О чем написал ты на чистом пергаменте, запечатал свиток большой печатью и обвязал шнурком? Что за донесение отправил ты с рыцарем, сопровождаемым оруженосцем, за тридевять земель в столицу святейшего папы?

Наступила осень, задули сильные ветры, небезопасно стало плавать на море кораблям, а вскоре ударили морозы. Пришла зима.

Дважды возвращалась зима на землю, прежде чем вернулись посланцы епископа. Они привезли из Рима папскую буллу, предававшую анафеме вдову, оскорбившую его преосвященство епископа Бёрглумского. «Пусть ляжет проклятие сие и на самое грешницу, и на все ей принадлежащее! Отныне считать ее отлученной как от святой церкви, так и от всех верующих людей. Да не обратится к ней никто с добрым словом, и не протянут ей руки помощи ни чада, ни домочадцы, ни знакомые, ни чужие, да бегут от нее все, словно от чумы и проказы! Аминь».

— Не согнешь дерево, так сломаешь! — сказал епископ, получив папскую буллу.

И все отвернулись от вдовы, но она не отвернулась от бога, почитая его своим защитником и спасителем.

Лишь одна служанка, старая дева, осталась верна своей хозяйке. Они вдвоем шли за плугом, вспахивая огромные поля.

И надо же было так случиться, что хлеб уродился на славу, хотя земля и была предана проклятью и самим папой, и епископом.

— Исчадие ада! — вскричал в гневе епископ.— Ну, погоди! Я своего добьюсь! Именем его святейшества привлеку я тебя к суду!

Тогда вдова решается на крайность: она запрягает в телегу двух своих последних быков, садится в нее вместе со своею верною служанкой и отправляется прочь из Дании, куда глаза глядят, в чужие земли, где все ей чужое: и язык, и нравы, и обычаи. Она заехала далеко от родного края, туда, где тянутся грядой высокие зеленые горы и зреет сладчайший виноград. Купцы, хотя и передвигаются обычно караванами, все же опасливо озираются со своих тяжело груженных возов, страшась нападения разбойничьих рыцарских банд, а две пожилые женщины на скрипучей телеге, запряженной парой черных быков, ничтоже сумняшеся, тащатся одни-одинешеньки по пыльной дороге, где на каждом повороте их стережет опасность, проезжают, не ведая боязни, через густые леса. Так пересекли они границу Франции. И повстречался им рыцарь в богатых доспехах, окруженный дюжиной оруженосцев. Он остановил коня и с удивлением начал разглядывать двух одиноких женщин на видавшей виды телеге. И спросил у них рыцарь, откуда они и куда держат путь. В ответ та, что помоложе, назвалась владелицей поместья Тю, что в далекой Дании, и поведала о своих злоключениях. И тут наступил конец ее невзгодам! Видно, так было угодно богу! Чужеземный рыцарь оказался не кем иным, как ее собственным сыном! Он протянул матери руки, крепко обнял ее, и она на радостях зарыдала — впервые за много лет. До этой минуты она не плакала, а только до крови кусала себе губы.

Наступила осень, задули сильные ветры, небезопасно стало плавать на море кораблям. Разбиваются корабли о прибрежные рифы, и выносят крутые волны тяжелые бочки с вином прямо в епископские подвалы. Жарится дичь на вертелах. Уютно, тепло в монастырских покоях, а на дворе трещит, лютует мороз. Вдруг разносится весть, что молодой Йенс Глоб из Тю вернулся домой вместе со своей матерью и что он, Йенс Глоб, вызывает епископа Бёрглумского на суд божий и человеческий!

— Поможет это им как мертвому припарки! — ехидничает епископ.— Не трудись понапрасну, рыцарь Йенс!

И снова наступила осень, снова задули сильные ветры, снова терпят бедствия корабли на море. Пришла еще одна зима. Летают в воздухе стаи белых мух, садятся прохожим на щеки и пребольно кусают, пока не превращаются в водяные капельки.

— Ну, и морозец нынче! — отдуваются люди, вернувшись со двора. Йенс Глоб стоит у очага в глубоком раздумье и даже не

замечает, что его плащ задымился,— огонь прожег в нем большую дыру.

— Ну, погоди, епископ! Я еще скручу тебя в бараний рог!.. Закон не в силах выволочь тебя из-под папского плаща, но уж я-то выволоку! Не будь я Йенс Глоб!

И Йенс Глоб садится за стол и пишет письмо зятю своему Олуфу Хасе Саллигскому, в котором просит зятя ранним утром в сочельник явиться для встречи с ним в Видбергскую церковь, где епископ самолично будет служить мессу, и для этого он пожалует из Бёрглума в Тю, о чем ему, Йенсу Глобу, доподлинно известно.

Луга покрылись снежной пеленой, а болота сковал прочный лед, такой прочный, что с легкостью выдерживает оседланных коней со всадниками — целую кавалькаду. Это едет в Тю епископ Бёрглумский, окруженный свитой каноников и слуг. Они скачут напрямик, кратчайшим путем, продираясь сквозь заросли хрустких камышей, в которых уныло свистит ветер. Трубач в лисьей шубе трубит что есть мочи в свою медную трубу! Как гулко разносятся звонкие рулады в ясном морозном воздухе! Как дробно цокают подковы по каленому льду замерзших болот, где летом изумрудно зеленеют луга фата-морганы! Епископская кавалькада мчится на юг, прямо к Видбергской церкви.

А ветер гудит в свой рог еще громче трубача. Задула вьюга, подняла, закружила снег с лугов, потемнело вокруг. Скачет епископ к божьему храму. И как не свирепствует буря, как не бесчинствует она, вздымая тучи снега над лугами и болотами, над скалистым фиордом и пенистым морем, неколебимо стоит на своем месте старая Видбергская церковь. Вовремя прискакал в Тю епископ Бёрглумский, точно к началу мессы, а вот Олуфу Хасе вряд ли добраться к сроку, хоть и мчится он на взмыленном коне во весь опор. Спешит он со своим отрядом на помощь к Йенсу Глобу, вызвавшему самого епископа Бёрглумского на божий суд... Наконец-то достигли они фиорда... Скоро, скоро Видбергская церковь станет местом судилища, а алтарь превратится в плаху. Дрожащее пламя свечей в тяжелых медных шандалах озарит кровавое действо. Буря, завывая, прочтет обвинение и приговор, а знойкий ветер разнесет их по лугам и болотам, вплоть до самого кипящего моря... Но как переправиться через фиорд в такую непогодь?

Уперся в море отряд Олуфа Хасе вблизи Оттесунда — нет переправы! И тогда Олуф Хасе отпускает всех своих людей, дарит им коней и оружие, приказывает возвращаться домой и низко поклониться его супруге. В одиночку решает он помериться силами с ледяными бушующими волнами, а остальные пусть засвидетельствуют, что не по его вине Йенс Глоб остался без подмоги. Но верные слуги ни за что не хотят отстать от своего господина и бес-

страшно кидаются вслед за ним в ледяную пучину. Десять смельчаков тонут, но сам Олуф Хасе и еще двое юношей выбираются на тот берег. До Видбергской церкви им еще идти четыре мили.

Вот и полночь. Наступило рождество. Буря стихла. Яркий свет льется из церковных окон, желтыми пятнами ложится на белый снег. Тишина в храме, заутреня уже отошла, чуть слышно капает воск с подсвечников на каменный пол. Распахнулись двери, и в церковь вбегает Олуф Хасе.

В притворе его встречает Йенс Глоб.

— Здравствуй! Мы с епископом помирились!

— Ну, что ж...— говорит Олуф Хасе,— значит, ни ты, ни он не выйдете отсюда живыми.

Он выхватывает меч из ножен — молнией сверкнула отточенная сталь — и, круша дерево, вонзает его в дверь, которую успел проворно захлопнуть перед ним Йенс Глоб.

— Повремени чуток, дорогой зять! Узнай сперва, каково наше примирение! Я прикончил епископа и перебил всю его свиту! Они теперь навеки безгласны, да и я не стану никому напоминать о той обиде, которую он нанес моей матушке!

Не от дрожащего пламени свечей озарен алтарь красным светом, а от лужи крови на каменном полу, в которой валяется епископ с раскроенным черепом. А вокруг него — трупы его каноников и слуг. Мертвая тишина царит в Видбергской церкви в рождественскую ночь.

На третий день праздника в Бёрглумском монастыре ударили в колокола. Тела убиенных в Видбергской церкви были выставлены на всеобщее обозрение. Много гробов стояло под балдахином, а вокруг них, в затянутых черным крепом подсвечниках, горели свечи. В парчовой ризе, с пастырским посохом в окоченевшей руке спит вечным сном полновластный владыка округа. Курится синим дымом ладан, заунывно поют монахи. В тоскливом напеве их слышатся жалоба, ненависть и проклятье. Ветер вторит их молитве и разносит ее по всей стране. Он то утихает, успокаиваясь на время, то вновь начинает горестно завывать, распевая свои старые песни. Да и теперь еще темными ночами все поет ветер о епископе Бёрглумском и его свояке. Услышав эту песнь, испуганно вздрагивает одинокий крестьянин, проезжающий по зыбкой песчаной дороге под древними монастырскими стенами. В страхе ежится от нее и бессонный монах в толстостенной келье Бёрглума. Вот почему по временам в пустой галерее, ведущей в храм, раздается какой-то странный шелест. Дверной проем там давно заложен камнями и замурован. Но не для людей с живым воображением. Таким людям и посейчас видятся широко распахнутые врата, храм, озаренный ярким дрожащим светом паникадил, блеск и богатство церков-

ной утвари, дымы ладана, застилающие роскошное убранство престола, им явственно слышится протяжный монашеский распев — отпевают убитого епископа, который покоится в гробу, что посреди храма, в парчовом облачении и с посохом в иссиня-бледной руке. На высоком челе его огнем пылает кровавая рана, ярким огнем, ибо горят в ней, не сгорая, людские грехи и дурные помыслы...

Прочь с глаз! Сгиньте и порастите травою забвения, страшные видения былых времен!

Слышите, как воет ветер? Он заглушает грохот морского наката. Разошлась, разгулялась буря. Многим и многим будет она стоить жизни! Норов моря не мягчает с веками. Ночью оно явится громокипящим жерлом, адской пастью, пожирающей все и вся, а поутру расстелется перед вами голубым бескрайним зеркалом — глядись, да и только! Таким же изменчивым было оно и в далекие годы той седой старины, с которой мы только что расстались. И, дай бог, навсегда,— вы можете спать спокойно. А вот и совсем рассвело.

Новые времена рвутся в наш дом с солнечными лучами... Ветер все воет и воет, он возвещает о кораблекрушении, точно так же, как и в стародавние годы.

Нынче ночью вблизи Лёкке, маленького рыбачьего поселка в несколько домишек, крытых красной черепицей,— поглядите, они видны из окна,— разбилось какое-то судно, оно село на риф далеко от берега. Вспыхнула сигнальная ракета, словно перекинув спасительный мост от поврежденного корабля к твердой земле. И что же — все моряки спасены! Все они нашли себе приют и ночлег в рыбачьем поселке. Утром потерпевших перевели в кельи бывшего Бёрглумского монастыря. Их там радушно встретили, обогрели, накормили, да еще и приветили на их родном языке. В трапезной гремит фортепиано, слышатся их народные песни, но не успевают замолкнуть звонкие струны инструмента, как начинают безгласно звучать иные длинные струны, по которым бегут сообщения семьям потерпевших о их благополучном спасении. Из далекой страны в далекую страну. Родные счастливы, с души потерпевших сваливается бремя тревоги, и в монастырской трапезной воцаряется веселье. Слышите старинный вальс? Потанцуем и мы, и споем песнь о нашей Дании, о «смелом первопроходце» в новое время.

Будь благословенно ты, новое время! Мы ждем тебя, как новое лето! Согрей своим теплом наши озябшие сердца! И пусть быстро промелькнут на твоем ясном небе мрачные тени воспоминаний о былых суровых, жестоких эпохах!

Жена барабанщика была в церкви и смотрела на новый алтарь, украшенный картинами и резными херувимчиками. Какие они были хорошенькие! И те, с золотым сиянием вокруг головок, что были нарисованы на холсте, и те, что были вырезаны из дерева, а потом раскрашены и вызолочены. Волоски у них на солнце отливали золотом; чудо как красиво! Но солнечные лучи были еще красивее! Как они сияли между темными деревьями, когда солнышко садилось! Какое блаженство было глядеть в лик божий! И жена барабанщика загляделась на красное солнышко, думая при этом о малютке, которого скоро принесет ей аист. Она ждала его с радостью и, глядя на красное солнышко, желала одного: чтобы блеск его отразился на ее малютке; по крайней мере, чтобы ребенок походил на одного из сияющих херувимов с алтаря!

И вот, когда она наконец действительно держала в объятиях новорожденного малютку и подняла его показать отцу, оказалось, что ребенок в самом деле был похож на херувима: волосы у него отливали золотом, на них как будто легло сияние закатившегося солнышка.

— Золотой мой мальчик, сокровище, солнышко мое! — воскликнула мать и поцеловала сияющие кудри.

В комнатке барабанщика словно загремела музыка, раздалось пение, воцарились радость, веселье, шум! Барабанщик принялся выбивать на своем барабане такую дробь, что держись! Барабан — большой пожарный барабан — так и гремел: «Рыжий! У мальчишки рыжие волосы! Слушай, что говорит барабанная кожа, а не мать! Трам-там-там!»

И весь город повторял это.

Мальчика снесли в церковь и окрестили. Ну, против имени сказать было нечего: ребенка назвали Петер. Весь город и барабан звали его рыжий барабанщиков Петер, но мать целовала золотистые волосы сына и звала его золотым мальчиком.

На глинистом откосе у дороги было выцарапано много имен.

— Слава! Она что-нибудь да значит! — сказал барабанщик и выцарапал там свое имя и имя сынка.

Прилетели ласточки, они видели в своих странствиях надписи попрочнее, вырезанные на скалах и на стенах храмов в Индостане, надписи, вещавшие о могучих, славных владыках, но они были такие древние, что никто уже не мог прочесть их, никто не мог выговорить этих бессмертных имен.

Слава! Знаменитое имя!

Ласточки устраивали себе на откосе гнезда, выкапывая в мягкой глине ямки. Дождь и непогода тоже помогали стирать выцарапанные там имена. Скоро исчезли и имена барабанщика и Петера.

— Петера имя все-таки продержалось полтора года! — сказал отец.

«Дурак!» — подумал пожарный барабан, но сказал только: — «Дур-дур-дур-дум-дум-дом!»

Рыжий барабанщиков Петер был мальчик живой, веселый. Голос у него был чудесный. Он мог петь и пел, как птица в лесу, не зная никаких мелодий,— и все-таки выходила мелодия.

— Он будет певчим! — говорила мать.— Будет петь в церкви, стоять под теми прелестными вызолоченными херувимчиками, на которых так похож!

— Рыжий кот! — говорили городские остряки. Барабан часто слышал это от соседок.

— Не ходи домой, Петер! — кричали уличные мальчишки.— А то ляжешь спать на чердаке, а в верхнем этаже загорится! Вашему пожарному барабану будет дело!

— Берегитесь-ка вы барабанных палок! — сказал Петер и, как ни был мал, храбро пошел прямо на мальчишек и ткнул кулаком в брюхо первому подвернувшемуся. Тот полетел вверх ногами; остальные — давай бог ноги!

Городской музыкант, такой важный, знатный — он был сыном придворного буфетчика,— очень полюбил Петера, часто призывал его к себе, давал в руки скрипку и учил его играть. Руки у мальчика оказались золотые; из него должно было выйти кое-что получше простого барабанщика — городской музыкант!

— Солдатом я буду,— говорил сам Петер.

Он был еще маленьким мальчуганом, и ему казалось, что лучше всего на свете — это носить мундир и саблю да маршировать под команду: раз-два, раз-два!

— Выучишься ходить под барабан! Трам-там-там! — сказал барабан.

— Хорошо, кабы он дошел до генерала! — сказал отец.— Но тогда надо войну!

— Боже упаси! — сказала мать.

— Нам-то нечего терять! — заметил отец.

— А мальчугана нашего? — возразила мать.

— Ну, а подумай, если он вернется с войны генералом!

— Без руки или без ноги! Нет, пусть лучше мой золотой мальчик останется целым!

«Трам-там-там!» — загремел пожарный барабан, загремели и все барабаны: началась война. Солдаты выступили в поход, с ними

ушел и барабанщиков Петер, рыжая макушка, золотой мальчик. Мать плакала, а отец уже видел сына знаменитым; городской же музыкант находил, что Петеру следовало не ходить на войну, а служить искусству дома.

«Рыжая макушка!» — говорили солдаты, и Петер смеялся, но если кто-нибудь говорил «лисья шкура», он закусывал губы и смотрел в сторону, пропуская эти слова мимо ушей.

Мальчик был шустрый, прямой и веселый, а «веселый нрав — лучшая походная фляжка»,— говорили его старшие товарищи.

Часто приходилось ему проводить ночи под открытым небом, мокнуть в дождь и непогоду, но веселость не покидала его, барабанные палки весело выбивали: «Трам-там-там! В поход!» Да, он и впрямь рожден был барабанщиком!

Настал день битвы. Солнце еще не вставало, но заря уже занялась; воздух был холодный, а бой шел жаркий. Стоял густой туман, но пороховой дым был еще гуще. Пули и гранаты летали над головами, попадали в головы, в тела, в руки и ноги, но солдаты всё шли вперед. То тот, то другой из них падал, пораженный в висок, побелев как мел. Но маленький барабанщик не бледнел, пули его не задевали, и он весело посматривал на полковую собаку, прыгавшую впереди так беззаботно, как будто кругом шла игра, как будто ядра были только мячиками!

«Марш! Вперед!» Эта команда была переложена на барабан, и такой команды не берут назад, но тут ее пришлось взять назад — разум приказывал! Вот и велено было бить отбой, но маленький барабанщик не понял и продолжал выбивать: «Марш! вперед!» И солдаты повиновались барабанной коже. Да, барабан потратил немало сил, но он вернул силы тем, кто собирался отступить.

Битва многим стоила жизни; гранаты рвали мясо в клочья, поджигали вороха соломы, в которые заползали раненые, чтобы лежать там забытыми много часов, может быть — всю жизнь! Но что пользы думать о таких ужасах! И все же о них думается — даже далеко от поля битвы, в мирном городке. Барабанщик с женою тоже не переставали о них думать: Петер был ведь на войне!

— И надоело же мне это хныканье! — сказал пожарный барабан.

Дело было в самый день битвы. Солнце еще не вставало, но уже рассвело. Барабанщик с женою спали,— они долго не засыпали накануне, разговаривая о сыне: он был ведь там, «в руках божьих». И вот отец увидал во сне, что война кончена, солдаты

вернулись, и у Петера на груди серебряный крест. Матери же приснилось, будто она стоит в церкви, смотрит на резных и нарисованных херувимов с золотыми кудрями и видит среди них своего милого золотого мальчика. Он стоит в белой одежде и поет так чудесно, как поют разве только ангелы! Потом он стал возноситься вместе с ними на небо, к солнцу, ласково кивая матери головою...

— Золотой мой мальчик! — вскрикнула она и проснулась.— Ну, значит, господь отозвал его к себе! — И она прислонилась головой к пологу, сложила руки и заплакала.— Где-то он покоится теперь? В огромной общей могиле? Может быть, в глубоком болоте? Никто не знает его могилы! Никто не прочтет над нею молитвы! — И из уст ее вырвалось беззвучное «Отче наш». Потом голова ее склонилась на подушку, и усталая мать задремала.

Дни проходили; жизнь текла, сны пролетали!

День клонился к вечеру; над полем сражения перекинулась радуга, упираясь одним концом в лес, другим в глубокое болото. Народ верит, что там, куда упирается конец радуги, зарыт клад, золото. Там и действительно было золото — золотой мальчик. Никто не думал о маленьком барабанщике, кроме его матери, вот почему ей и приснился такой сон.

Дни проходили; жизнь текла, сны пролетали!

Но с его головы не упало ни единого волоска, ни единого золотого волоска!

«Трам-там-там, вот и он сам!» — мог бы сказать барабан, могла бы пропеть мать, если бы она ожидала сына или увидала во сне, что он возвращается.

С песнями, с криками «ура», увенчанные свежею зеленью, возвращались солдаты домой. Война кончилась, мир был заключен. Полковая собака бежала впереди, описывая большие круги, словно ей хотелось удлинить себе дорогу втрое.

Проходили дни, проходили недели, и вот Петер вошел в комнатку родителей. Он загорел, как дикарь, но глаза и лицо его так и сияли. Мать обнимала его, целовала в губы, в глаза, в рыжие волосы. Мальчик ее опять был с нею! Он, правда, вернулся без серебряного креста на груди, как снилось отцу, но зато целым и невредимым, чего и не снилось матери. То-то было радости! И смеялись и плакали вместе. Петер даже обнял старый барабан.

— Ты все еще тут, старина! — сказал он, а отец выбил на барабане громкую, веселую дробь.

— Подумаешь, право, в доме пожар! — сказал пожарный барабан.— Макушка вся в огне, сердце в огне, золотой мальчик вернулся! Трам-там-там!

А потом? Потом что? Спроси-ка городского музыканта!

— Петер перерос барабан! Петер перерастет и меня! — говорил он, даром что был сыном придворного буфетчика! Но все, чему он выучился за целую жизнь, Петер прошел в полгода.

В сыне барабанщика было что-то такое открытое, сердечное. А глаза и волосы у него так и сияли,— этого уж никто не мог отрицать.

— Ему бы следовало красить волосы! — говорила соседка.— Вот дочери полицмейстера это отлично удалось, и она сделалась невестою!

— Да, но ведь потом волосы у нее позеленели, как тина, и ей вечно придется краситься!

— Так что ж! Средств у нее на это хватит! — отвечала соседка.— И у Петера они есть! Он вхож в самые знатные семейства, даже к самому бургомистру — обучает игре на фортепьяно барышню Лотту!

Да, играть-то он умел! Он вкладывал в игру всю свою душу, и из-под его пальцев выливались чудные мелодии, которых не было ни на одной нотной бумаге. Он играл напролет все ночи — и светлые и темные. Это было просто невыносимо, по словам соседей и барабана.

Он играл, а мысли уносили его высоко-высоко, чудные планы роились в голове... Слава!..

Дочка бургомистра Лотта сидела за фортепьяно. Изящные пальчики бегали по клавишам и ударяли прямо по струнам Петерова сердца. Оно как будто расширялось в груди, становилось таким большим-большим! И это было не раз, не два, а много раз, и вот однажды Петер схватил эти тонкие пальчики, эту прекрасную руку, поцеловал ее и заглянул в большие карие глаза девушки. Бог знает, что он сказал ей при этом! Мы можем только догадываться. Лотта покраснела до ушей, но не ответила ни слова: как раз в эту минуту в комнату вошел посторонний, сын статского советника; у него был большой, гладкий лоб, доходивший чуть ли не до самого затылка. Петер долго сидел с ними, и Лотта так умильно улыбалась ему.

Вечером, придя домой, он заговорил о чужих краях и о том кладе, который лежал для него в скрипке.

Слава!

— Трум-тум-тум! Туммелум! — сказал барабан.— Он совсем спятил! Право, в доме как будто пожар!

На другой день мать отправилась на рынок.

— Знаешь новость, Петер? — спросила она, вернувшись оттуда.— Славная новость! Дочка бургомистра Лотта помолвлена вчера вечером с сыном статского советника!

— Не может быть! — воскликнул Петер, вскакивая со стула. Но мать сказала «да», она узнала эту новость от жены цирюльника, а муж той слышал о помолвке от самого бургомистра.

Петер побледнел как мертвец и упал на стул.

— Господи боже! Что с тобой? — воскликнула мать.

— Ничего, ничего! Только оставь меня! — ответил он, а слезы так и побежали у него по щекам ручьем.

— Дитятко мое милое! Золотой мой! — сказала мать и тоже заплакала. А барабан напевал, конечно, про себя: «Вот и песенке конец!»

Но песенка не кончилась: в ней оказалось еще много строф, чудных, золотых строф!

— Ишь, ломается, из себя невесть что строит! — оговаривала соседка мать Петера.— Весь свет должен читать письма ее золотого мальчика да слушать, что пишут газеты о нем и о его скрипке. Он и денег ей высылает немало, а это ей кстати теперь — овдовела!

— Он играет перед королями и императорами! — говорил городской музыкант.— Мне этого не выпало на долю, но он мой ученик и не забывает своего старого учителя.

— Отцу когда-то снилось, что Петер вернулся с войны с серебряным крестом на груди, но на войне трудно заслужить его! Зато теперь у него командорский крест! Вот бы отец дожил! — рассказывала мать.

— Он — знаменитость! — гремел пожарный барабан.

И весь родной город повторял: сын барабанщика, рыжий Петер, бегавший мальчиком в деревянных башмаках, бывший барабанщик, музыкант, игравший на вечеринках танцы,— знаменитость!

— Он играл у нас раньше, чем в королевских дворцах! — говорила жена бургомистра.— В те времена он без ума был от нашей Лотты. Он всегда метил высоко! Но тогда это было с его стороны просто дерзостью! Муж мой так смеялся, узнав об этой глупости. Теперь наша Лотта — статская советница!

Золотые были сердце и душа у бедного мальчугана, бывшего маленького барабанщика, который заставил идти вперед и победить тех, кто уже собрался отступить.

В груди у него был золотой клад, неисчерпаемый источник звуков. Они лились со скрипки, словно она была целым органом, словно по струнам ее танцевали эльфы летней ночи. В этих звуках слышалось и пение дрозда, и полнозвучный человеческий голос. Вот почему были так очарованы его слушатели, вот почему слава его прогремела далеко за пределами его родины. Он зажигал в сердцах огонь, пламя, пожар восторга.

— И как он хорош собою! — восторгались и молодые и старые дамы. Самая пожилая из них даже завела себе альбом для локонов знаменитостей ради того только, чтобы иметь предлог выпросить прядь роскошных волос молодого скрипача.

И вот он вернулся в бедную комнатку барабанщика, разодетый, как принц, счастливый, как король! Глаза и лицо его сияли, как солнце. Мать целовала его и плакала от радости, а он обнимал ее и ласково кивал головою всей знакомой мебели — и сундуку, на котором стояли чайные чашки и цветы в стаканах, и деревянной скамье, на которой спал мальчиком. А старый барабан он вытащил, поставил посреди комнаты и сказал:

— Отец непременно выбил бы теперь на нем дробь! Так я сделаю это за него! — И он выбил на барабане такую дробь, что твой град! А барабан был так польщен этим, что кожа на нем взяла да и лопнула.

— Кулак-то у него здоровый! — заметил барабан.— Теперь у меня на всю жизнь останется воспоминание о нем! Да и мать-то, того и гляди, лопнет от радости, глядя на своего золотого мальчика!

Вот и вся история о золотом мальчике.

О ТОМ, КАК БУРЯ ПЕРЕВЕСИЛА ВЫВЕСКИ

В старину, когда дедушка был еще совсем маленьким мальчиком и разгуливал в красных штанишках, красной курточке с кушаком и шапочке с пером,— а надо вам сказать, что тогда детей именно так и одевали, ежели хотели их нарядить,— так вот, в те далекие, далекие времена все было совершенно иначе, чем теперь.

Ведь какие, бывало, торжества устраивались на улицах! Нам с вами таких уже не видать: их давным-давно упразднили, они, видите ли, вышли из моды. Но до чего же занятно теперь послушать дедушкины рассказы об этом — вы и представить себе не можете.

Что это было за великолепие, когда, скажем, сапожники меняли помещение цеха и переносили на новое место цеховую вывеску. Во главе процессии величественно колыхалось шелковое знамя с изображением большого сапога и двуглавого орла. Младшие подмастерья торжественно несли заздравный кубок и большой ларец, а на рукавах у них развевались по ветру красные и белые ленты. Старшие подмастерья держали в руках обнаженные шпаги с насаженными на острия лимонами. Музыка гремела так, что небо сотрясалось, и самым замечательным инструментом в оркестре была «птица» — так называл дедушка длинный шест, увен-

чанный полумесяцем и обвешанный всевозможными колокольчиками и бубенчиками,— настоящая турецкая музыка! Шест поднимали и раскачивали из стороны в сторону, колокольчики звенели и бренчали, а в глазах просто рябило от золота, серебра и меди, сверкавших на солнце.

Впереди всех бежал арлекин в костюме из разноцветных лоскутков: лицо у него было вымазано сажей, а колпак украшен бубенчиками — ни дать ни взять лошадь, запряженная в сани! Он размахивал палкой направо и налево, но это была палка-хлопушка: она только громко хлопала и пугала людей, а вреда от этого никому не было. Люди толпились и толкались, стараясь протиснуться одни — вперед, другие — назад; мальчишки и девчонки спотыкались и летели прямо в канаву, а пожилые кумушки отчаянно работали локтями, сердито озирались по сторонам и бранились. Всюду слышались говор и смех. Люди стояли на лестницах, высовывались из окон, а иные даже забирались на крышу. На небе ярко светило солнышко. Правда, случалось, что на процессию попрыскает небольшой дождик, но ведь дождь крестьянину не помеха: пусть хоть весь город насквозь промокнет, зато урожай будет богаче!

До чего хорошо рассказывал наш дедушка, просто заслушаешься. Ведь еще маленьким мальчиком он все это видел своими глазами. Старший цеховой подмастерье всегда залезал на помост, построенный под самой вывеской, и говорил речь — да не как-нибудь, а в стихах, словно по вдохновенью. Впрочем, тут и вправду не обходилось без вдохновенья: ведь речь он сочинял вместе с двумя друзьями, и работу они начинали с того, что осушали целую кружку пунша,—для пользы дела, конечно. Народ встречал эту речь криками «ура». Но еще громче кричали «ура» арлекину, когда он тоже вылезал на помост и передразнивал оратора. Все хохотали до упаду, а он попивал себе мед из водочных рюмок и бросал рюмки в толпу, и люди ловили их на лету. У дедушки была такая рюмочка: ее поймал какой-то штукатур и подарил ему на память. Да, вот это было веселье так веселье! А вывеска, вся в цветах и зелени, красовалась на новом месте.

— Такого праздника не забудешь, хоть до ста лет живи,— говорил дедушка.

Да он и вправду ничего не забыл, хотя каких только не перевидал празднеств и торжеств на своем веку. Много кое-чего мог он порассказать, но забавнее всего рассказывал о том, как в одном большом городе переносили вывески.

Дедушка был еще совсем маленьким, когда приехал с родителями в этот город, самый большой в стране. На улицах было полным-полно народа, и дедушка даже подумал, что здесь тоже

«Злой князь»

будут торжественно переносить вывески, которых, к слову сказать, здесь оказалось великое множество,— сотни комнат можно было бы заполнить этими картинами, если бы их вешали не снаружи, а внутри дома. На вывеске портного было изображено разное платье, и если бы он захотел, то мог бы перекроить даже самого неказистого человека в самого красивого. А на вывеске торговца табаком — хорошенькие мальчики с сигарами в зубах, эдакие озорники! Были тут вывески с маслом и селедками, были вывески с пасторскими воротниками и гробами, а сколько всюду висело объявлений и афиш — видимо-невидимо! Ходи себе целый день взад и вперед по улицам да любуйся сколько душе угодно на эти картинки; заодно узнаешь, и что за люди живут на улице,— ведь они сами вывесили свои вывески.

— К тому же,— говорил дедушка,— когда ты попал в большой город, полезно и поучительно знать, что кроется за толстыми каменными стенами домов.

И надо же было, чтобы вся эта кутерьма с вывесками приключилась как раз в тот день, когда в город приехал дедушка. Он сам рассказывал об этом, и очень складно, хоть мама и уверяла, что он морочит мне голову. Нет, на этот раз дедушка говорил всерьез.

В первую же ночь, когда он приехал в город, здесь разыгралась страшная буря, до того страшная, что такой ни в газетах никогда не описывали, ни старожилы не помнили. Ветер срывал черепицу с крыш, трещали и валились старые заборы, а одна тачка вдруг взяла да и покатилась по улице, чтобы убежать от бури. А буря бушевала все сильнее и сильнее, ветер дико завывал, ревел и стучал в ставни, стены и крыши. Вода в каналах вышла из берегов и теперь просто не знала, куда ей деваться. Буря неслась над городом, ломала и уносила трубы. А сколько старых высокомерных церковных шпилей согнулось в эту ночь — просто не сосчитать! И они так никогда и не выпрямились.

Перед домом почтенного брандмайора, который прибывал на пожар, когда от строения оставались только головешки, стояла караульная будка,— так вот, буря почему-то захотела лишить его этого скромного символа пожарной доблести и, опрокинув будку, с грохотом покатила ее по улице. Как ни странно, будка остановилась перед домом бедного плотника — того самого, который во время последнего пожара вынес из огня трех человек,— да так и осталась там стоять, но, конечно, без всякого умысла.

Вывеску цирюльника — большой медный таз — ветер забросил на подоконник дома советника юстиции. Вот это было сделано уж явно не без умысла, поговаривали соседи, ибо все-все, даже самые близкие приятельницы его жены, называли госпожу совет-

ницу «бритвой». Она была такая умная, такая умная, что знала о людях куда больше, чем они сами о себе знали.

А вывеска с нарисованной на ней вяленой треской перелетела на дверь редактора одной газеты. Подумать только, какая нелепость! Буря, как видно, забыла, что с журналистом шутки плохи: ведь в своей газете он сам себе голова, и никакой закон ему не писан.

Флюгерный петух перелетел на крышу соседнего дома, да там и остался,— с каким-то злым умыслом, конечно, говорили соседи. Бочка бондаря очутилась под вывеской «Дамские моды». Меню, висевшее у входа в кухмистерскую, ветер перенес к подъезду театра, в который редко кто захаживал. Ничего себе, забавная получилась афиша: «Суп из хрена и фаршированная капуста». Публика валом повалила в театр.

Лисья шкурка с вывески скорняка повисла на шнурке колокольчика у дверей одного молодого человека, который исправно ходил в церковь, вел себя тише воды, ниже травы, стремился к истине и всем служил примером, по словам его тетки.

Доска с надписью: «Высшее учебное заведение» — оказалась на бильярдном клубе, а на этом заведении появилась вывеска детского врача: «Здесь дети приучаются к бутылочке». И вовсе это было не остроумно, а просто невежливо! Но уж если буря захочет что-нибудь натворить, то натворит непременно, и ничего ты с ней не поделаешь.

Да, ну и выдалась же ночка! Наутро — только подумайте! — все вывески в городе поменялись местами, а кое-где получилось такое безобразие, что дедушка, уж как ни хотелось ему рассказать об этом, только помалкивал да посмеивался про себя,— я это сразу заметил,— а значит, у него уж что-нибудь да было на уме.

Каково же было жителям этого города, а особенно приезжим! Они совершенно сбились с толку и ходили как потерянные. Да иначе и быть не могло: ведь они привыкли искать дорогу по вывескам! Например, кто-нибудь хотел попасть на заседание деятелей, обсуждающих важнейшие государственные вопросы, а попадал в школу к мальчишкам, которые изо всех сил старались перекричать друг друга и только что не ходили на головах.

А были и такие, что из-за вывески вместо церкви попадали — о ужас! — в театр.

Теперь подобных бурь больше не бывает: такую только дедушке довелось повидать, и то когда он был еще мальчишкой. Да и вряд ли такая буря повторится при нас; разве что при наших внуках. А мы дадим им благой совет: «Пока буря перевешивает вывески, сидите-ка лучше дома».

ПОДСНЕЖНИК

Завывал зимний ветер, а в домике было тепло и уютно. В этом домике укрывался цветок. Он укрывался в своей луковице под землей и снегом. Потом выпал дождь. Капли пробили снежное покрывало и застучали по цветочной луковице. Они говорили о светлом наземном мире, и вслед за ними сквозь снег пробился нежный и настойчивый солнечный луч и пригрел луковицу.

— Кто там? Войдите! — сказал цветок.

— Не могу! — сказал солнечный луч.— Мне никак не отворить дверь. Подожди до лета, тогда я наберу силу.

— А когда будет лето? — спросил цветок и повторял этот вопрос всякий раз, как новый солнечный луч пробивался под землю. Но до летней поры было еще далеко, повсюду лежал снег, и каждую ночь вода подергивалась ледком.

— Как мне это надоело! — сказал цветок.— Все тело ноет! Я должен потянуться, выпрямиться и выйти на волю, я должен поклониться лету и пожелать ему доброго утра. Ах, какое это будет счастье!

Цветок встал, потянулся и приналег на свою оболочку, размякшую от теплой земли, талой воды и солнечных лучей. Он рванулся вверх, неся на зеленом стебле бледно-зеленый бутон, бережно прикрытый узкими плотными листочками, и очутился в снегу. Снег был холодный, но весь просвечивал, и пробиваться сквозь него было куда легче, а солнечные лучи были теперь совсем близко, так близко, как никогда прежде. Они звенели и пели:

— Добро пожаловать! Добро пожаловать!

И цветок поднялся из снега навстречу светлому солнечному миру.

Лучи гладили и целовали его так нежно, что он совсем раскрылся. Он стоял, белый как снег, украшенный зелеными полосочками, смущенно и радостно склонив голову.

— Прекрасный цветок! — пели солнечные лучи.— Как ты нежен и свеж! Ты первый! Ты единственный! Любимый ты наш! Ты несешь в города и селенья весть о лете, о теплом лете. Весь снег растает, улетят холодные ветры! Придет наша пора! Все зазеленеет. И у тебя появятся друзья: сирень, ракитник, а потом розы, но ты у нас первый, такой нежный, такой прозрачный!

Ему было так радостно, словно пел весь воздух, словно лучи света пронизали все его листики и стебель, и цветок стоял нежный и хрупкий и вместе с тем сильный в своей юной красе. Он стоял в бело-зеленом наряде и славил лето. Но до лета было все еще далеко, тучи закрыли солнце, и подул резкий холодный ветер.

— Рановато ты явился! — сказали Непогода и Ветер.— Мы еще покажем тебе нашу силушку! Ты еще нас узнаешь! Сидел бы лучше дома и не выскакивал на улицу щеголять нарядами. Не пришла еще твоя пора!

И снова наступили холода. Потянулись хмурые дни без единого солнечного луча. Погода стояла такая, что маленькому, слабому цветку впору было промерзнуть насквозь. Но он и сам не знал, какой он сильный: ему прибавляла сил жизнерадостность и вера в то, что лето все равно придет. Он хранил ему верность, а солнечные лучи подтверждали, что ждать стоит. И так стоял он, исполненный любви, веры и надежды, в белом наряде на белом снегу и склонял голову, когда густо падали снежные хлопья и дули ледяные ветры.

— Ты сломишься,— говорили они.— Замерзнешь, засохнешь! Что ты здесь искал? Зачем доверился солнечному лучу? Он обманул тебя. И поделом тебе, безумец. Эх ты, вестник лета!

— Безумец! — повторил цветок, когда настало морозное утро.

— Вестник лета! — обрадовались дети, которые выбежали в сад.— Полюбуйтесь, какой он славный, какой красивый, самый первый, единственный!

И от этих слов цветку сделалось так хорошо, как от теплых солнечных лучей. На радостях цветок даже не заметил, что его сорвали. Он лежал в детской руке, и детские губы целовали его, он очутился в теплой комнате, на него смотрели добрые глаза, его поставили в воду, такую бодрящую, такую живительную, что цветку почудилось, будто вдруг настало лето.

У хозяйской дочери, которая недавно конфирмовалась, был любезный дружок-подмастерье, который тоже недавно конфирмовался.

— Закружу-ка я ему голову! — сказала она; затем, взяв нежный цветок, вложила его в надушенный листок бумаги, на котором были написаны стихи, стихи о цветочке. Они начинались словами: «Подснежник говорит: «Настало лето вновь!» и кончались этими же словами, а внизу была еще такая приписка: «А я тебе скажу, что к нам пришла любовь!»

Хорошенькая барышня тоже обещала тепло и солнце. Об этом было написано в стихах, которые затем были посланы вместе с цветком по почте. Ему показалось, что он снова очутился в луковице, так сделалось вокруг темно. И подснежник отправился в путешествие: он ехал в почтовом мешке, со всех сторон на него жали и давили, и это не доставляло ему никакого удовольствия. Но всему когда-нибудь приходит конец. Закончилось и путешествие. Любезный друг распечатал и прочел письмо, да так обрадовался, что поцеловал цветочек; потом цветок вместе со стихами

был положен в шкатулку, где лежало много красивых писем, только все они были без цветов, он был первым и единственным, как его называли солнечные лучи, и было приятно думать об этом.

И уж думать об этом он мог предостаточно, он думал все лето и всю долгую зиму, а когда опять настало лето, цветок попался на глаза молодому человеку. На сей раз молодой человек нисколько ему не обрадовался: он схватил письмо и так швырнул стихи, что цветок упал на пол. Правда, цветок высох и сплющился, но из этого вовсе не следовало, что его надо было бросать на пол. Тем не менее здесь было лучше, чем в огне, где пылали стихи и письма. Что же случилось? Да лишь то, что нередко случается.

Ранней весной подснежник оказался обманщиком, возвестив о лете, но это была невинная шутка. Девушка оказалась тоже обманщицей, возвестив о любви, и это была уже злая шутка. А когда и в самом деле пришло лето, она выбрала себе другого.

Утром солнечный луч осветил маленький сплющенный подснежник, который, казалось, был нарисован на полу. Служанка, подметавшая пол, подняла его и положила в одну из книг, так как ей показалось, что он выпал оттуда, когда она обметала пыль. И цветок снова очутился среди стихов, среди стихов напечатанных, а они куда благороднее, чем рукописные, и уж, по крайней мере, стоят они дороже.

Годы шли. Книга стояла на полке; затем ее взяли, раскрыли и прочли. Это была хорошая книга: стихи и песни датского поэта Амброзиуса Стуба, они стоили того, чтобы с ними ознакомились. И человек, читавший книгу, перевернул страницу.

— Ах,— сказал он,— здесь подснежник, самый первый и безрассудный цветок! Мне кажется, его положили сюда неспроста! Бедный Амброзиус Стуб! Он сам был как слишком ранний подснежник, и поэтому на его долю выпали злые ветры, снег и холод. Он странствовал по родному острову Фюн от одного помещичьего дома к другому, словно подснежник в стакане воды, словно цветок в любовном письме, и никто не принимал всерьез самого безрассудного, наивного, чудаковатого, и притом самого первого, единственного, вечно юного датского поэта. Да, маленький подснежник, оставайся здесь как напоминание, тебя сюда вложили неспроста!

И подснежник снова очутился в книге. Ему было лестно сознавать, что лежит он в прекрасной книге песен неспроста и что юноша, воспевший его, был тоже безрассуден и тоже бросал вызов зиме. Цветок понял все это на свой лад, как и мы склонны все понимать на свой лад.

Вот и конец сказке о маленьком безрассудном подснежнике.

ЖАБА

Колодец был глубокий, поэтому веревка была длинная. Когда вытаскивали полное ведро, ворот двигался туго. Солнцу никак не удавалось отразиться в прозрачной колодезной воде, хоть и была она совсем чистая, а там, куда солнечные лучи все-таки доставали, между камнями рос зеленый мох.

Тут-то и располагалось большое семейство жаб. В колодце их считали переселенцами. Собственно говоря, первой, и при этом вверх тормашками, переселилась сюда самая старая жаба — прабабушка, она была жива и до сих пор. Зеленые лягушки, испокон веков обитавшие в колодце, отлично чувствовали себя в воде, они признали в жабе родственницу и стали называть ее семейство «дачниками, приехавшими на купанья». А дачникам пришлось здесь по душе, и они удобно обосновались «на суше»,— так называли они мокрые колодезные стены.

Бабушка лягушек однажды совершила путешествие — она попала в ведро, когда его поднимали. Но наверху оказалось слишком светло, и у нее началась резь в глазах. Счастье еще, что ей удалось вовремя выкарабкаться из ведра! Она шумно плюхнулась в воду и три дня не вставала, так у нее разболелась спина. О мире наверху она могла поведать не много, но, во всяком случае, и она сама, и все остальные знали, что колодец — это еще не весь мир. Конечно, о том, что наверху, могла бы рассказать прабабушка-жаба, но она никогда не отвечала на вопросы, и поэтому ее не спрашивали.

— Ух, и противная эта старуха толстуха! — негодовали юные лягушки.— Вот уж уродина! И дети ее будут такими же уродами, и внуки!

— Вполне возможно,— отзывалась жаба-прабабка.— Но у кого-то из них, а может быть, и у меня самой, спрятан в голове драгоценный камень.

Зеленые лягушки слушали ее, выпучив глаза, но такие речи им были не по вкусу, они скорчили гримасу и нырнули на дно. А молодые жабы гордо вытягивали задние лапки. Каждая из них воображала, что драгоценный камень именно у нее. Они старались даже не двигать головой, но в конце концов спросили старую жабу, чем, собственно, им следует гордиться и что за штука этот драгоценный камень.

— Он такой красивый и такой дорогой,— сказала старуха,— что я даже описать его не могу. А носят его, чтобы самому было приятно, а другим завидно. Но больше ни о чем не спрашивайте, я на вопросы не отвечаю.

— Ну, у меня-то драгоценного камня нет,— сказала самая маленькая жаба, такая безобразная, что дальше некуда,— да и зачем мне такая красота? А если другие завидуют, что же здесь приятного? Нет, я мечтаю совсем не об этом, мне бы хоть разок подняться к краю колодца и выглянуть наружу. Наверху, наверно, красота неописуемая!

— Сиди, где сидишь! — вмешалась старуха жаба.— Здесь ты всех знаешь и тебя все знают. Да берегись ведер, как бы тебя не раздавили! А уж коли попадешь в ведро, так скорее выскакивай. Правда, не всем удается упасть так удачно, как мне,— и кожа и кости целы.

— Квак! — сказала маленькая жаба, а это все равно, что «Ах!» по-нашему.

Ей так хотелось добраться до края колодца и выглянуть наружу! Так хотелось увидеть зелень и траву! И когда на следующее утро ведро, полное воды, на мгновение случайно задержалось возле камня, где она сидела, сердце маленькой жабы дрогнуло, она бросилась в ведро и притаилась на дне, а его подняли наверх и тут же выплеснули.

— Вот не повезло! — сказал какой-то человек, увидев жабу.— Ну и уродина! Я такой еще не видел! — И он пнул ее ногой в деревянном башмаке и чуть не искалечил. Хорошо, что жаба успела забиться в высокую крапиву. Она осмотрела каждый стебелек, поглядела наверх: солнце просвечивало сквозь крапивные листья, и они казались совсем прозрачными. Здесь, в крапиве, жаба чувствовала себя так же, как мы, люди, в большом лесу, где солнце едва пробивается сквозь листву и ветви.

— Тут гораздо красивее, чем в колодце! Здесь можно остаться на всю жизнь,— сказала маленькая жаба. Она просидела в крапиве час, просидела два.— Интересно, а что там дальше? Уж если сюда добралась, надо осмотреть все вокруг.

И она заторопилась, заковыляла и очутилась на дороге. Солнце светило ей в глаза, пыль ее припудривала, а она знай себе шлепала через дорогу.

— Вот где действительно суша. Какая красота кругом! Как хорошо! У меня даже внутри щекочет!

Скоро она доползла до канавы. Здесь голубели незабудки и цвела таволга. Вокруг канавы, словно живая изгородь, тесно росли бузина и боярышник. Белый вьюнок вился, как лиана. Сколько тут пестрело цветов! Над ними порхала бабочка. Жаба решила, что это тоже цветок — он оторвался от стебля и хочет полетать по свету. Кто-кто, а она его прекрасно понимала.

— Вот если бы и я могла двигаться так же быстро,— вздохнула жаба.— Квак! Ах! Какая красота!

Жаба провела в канаве восемь дней и восемь ночей, еды было вдоволь. А на девятый день решила: «Вперед! Вперед!»

От добра добра не ищут, что же она надеялась найти? Разве что встретить другую маленькую жабу или пару зеленых лягушек? В последнюю ночь ей показалось, что ветер принес знакомые звуки; видно, родственники были где-то поблизости.

— Жизнь прекрасна! Как хорошо вылезти из колодца, посидеть в крапиве, проползти по пыльной дороге и отдохнуть в сырой канаве! Но вперед, вперед! Надо разыскать лягушек или жаб. Без друзей не проживешь, одной природы мало!

И жаба снова пустилась странствовать.

Она перебралась через поле, допрыгала до большого пруда, окруженного камышом, и заглянула в заросли.

— Вам здесь не слишком сыро? — спросили ее лягушки.— Но мы вам очень рады. Вы кавалер или дама? Впрочем, все равно, будьте как дома.

Вечером ее пригласили на домашний концерт. Тут все было совершенно как у людей — шуму много, а голоса никуда. Ужином не угощали, зато напитки были бесплатные — целый пруд, пей на здоровье!

— Ну, я отправляюсь дальше,— заявила маленькая жаба, точно ее тянуло к лучшему.

Она видела, как мерцают звезды, большие и ясные, как сияет молодой месяц, как встает солнце и поднимается высоко в небо.

— Я все еще в колодце, только он больше прежнего. А мне надо подняться наверх. Меня так и влечет туда, места себе не нахожу!

А когда луна стала полной и круглой, бедняга подумала: «Может, это такое большое ведро? Его опустят сюда, я смогу забраться в него и подняться еще выше! А может, солнце — ведро? Вон оно какое огромное, сверкающее. Мы все в нем поместимся. Нужно следить, не пропустить случай. Ах, какой свет! Наверно, даже драгоценный камень не горит так ярко. Но камня у меня нет, и не надо — мне он ни к чему. Нет, я хочу подняться выше, ближе к блеску, к счастью! Я уже решилась, но мне как-то страшно, шутка ли сделать такой шаг! Но раз надо, так надо. Вперед, вперед, на дорогу!

И она прыгнула так далеко, как не всякая жаба сумеет, и очутилась на проселочной дороге. Кругом жили люди. Всюду были сады и огороды. Жаба остановилась отдохнуть под капустой.

— Сколько же вокруг удивительных созданий, а я и не подозревала. Ах, как велик мир и до чего в нем интересно!

Надо только не сидеть сиднем, а постараться разглядеть все как следует.

И она прыгнула в огород.

— Какая здесь зелень! Какая благодать!

— Еще бы! — сказала гусеница, сидевшая на капустном листе.— А мой лист здесь самый большой! Он закрывает полмира, но я прекрасно обхожусь и так.

— Ко-ко-ко! — услышала жаба, это приближались куры, семеня по огороду. Курица, выступавшая впереди, была дальнозоркая. Она сразу же приметила гусеницу на кудрявом капустном листе и нацелилась на нее клювом. Но гусеница свалилась на землю и давай извиваться и корчиться. Курица посмотрела на нее сначала одним глазом, потом другим: она не понимала, к чему это кривлянье.

«Это она не по доброй воле»,— подумала курица и приготовилась клюнуть еще раз. Жаба пришла в такой ужас, что прыгнула прямо на обидчицу.

— Ах вот как, да у нее тут подкрепление! — воскликнула курица.— Взгляните, какая уродина! — И она отвернулась.— Очень мне нужен этот зеленый объедок, от него только в горле першит.

Другие куры были того же мнения и удалились с огорода.

— Вот как я вывернулась! — сказала гусеница.— Хорошо, что я всегда сохраняю присутствие духа. Но самое трудное впереди — как вернуться на мой капустный лист? Где он?

Маленькая жаба подскочила к ней выразить свое участие. Она так рада, что ее уродство сослужило гусенице службу, отпугнуло врагов.

— Что вы имеете в виду? — спросила гусеница.— Я вывернулась сама, без вашей помощи. А на вас ужасно неприятно смотреть. И вообще, нельзя ли меня оставить в покое в моем собственном доме? О, я чую запах капусты! Теперь я знаю, где мой лист. Нет ничего прекраснее, чем собственный дом. Только надо забраться повыше.

«Да, да, повыше,— сказала себе жаба.— И гусенице хочется наверх, совсем как мне. Просто она не в настроении. Еще бы, ее так перепугали! Всем нам хочется повыше».— И она запрокинула голову, а жабе это нелегко.

На крыше крестьянского домика квартировали аисты. Аист-отец и аистиха-мать тараторили без умолку.

— Как высоко они живут,— удивилась жаба,— вот бы туда забраться!

А в домике жили два молодых студента. Один был поэт, другой изучал природу. Один воспевал божьи творения, которые с

радостью созерцала его душа, воспевал в коротких, чистых и звучных стихах. Другой хотел докопаться до сути каждого явления, вскрыть все связи, если понадобится. Для него вселенная была сложной арифметической задачей, он вычитал, умножал, жаждал до всего дознаться, обо всем судить с умом, восхищался тем, как мудро все устроено, и говорил обо всем разумно и с увлечением. Словом, оба студента были веселыми, славными малыми.

— Смотри-ка, отличный экземпляр жабы,— сказал естествоиспытатель,— надо бы ее заспиртовать.

— У тебя ведь уже есть две,— возразил поэт,— оставь ее, пусть наслаждается жизнью.

— До чего она безобразна, просто прелесть! — воскликнул второй.

— Вот если бы я был уверен, что у нее в голове драгоценный камень,— сказал поэт,— тогда и я согласился бы ее вскрыть.

— Драгоценный камень у жабы! — засмеялся его друг.— Недурно же ты разбираешься в естествознании.

— А разве не прекрасно это народное поверье, что в голове жабы — безобразнейшего животного — часто скрыт драгоценный камень? Возьми людей, и к ним это можно отнести. Вспомни Эзопа, Сократа!

Больше жаба ничего не услышала, да и из услышанного половину не поняла. Друзья прошли мимо, и она избежала опасности угодить в банку со спиртом.

— И они тоже говорили про драгоценный камень! — удивилась жаба.— Какое счастье, что у меня его нет, а то не миновать бы мне неприятностей.

На крыше дома затараторили еще громче. Это аист-отец читал своему семейству лекцию, а аистята, скосив глаза, смотрели на двух молодых людей в огороде.

— Человек — это самое тщеславное животное,— учил аист.— Послушайте только, как они болтают! А что толку от их трескотни? Они столько мнят о своем красноречии, о богатстве своего языка. А что это за язык? Стоит им переехать из одного места в другое, и они уже друг друга не понимают. То ли дело мы! Наше наречие для всех нас понятно, во всех уголках земли, и в Дании, и в Египте. Эх, люди! Они даже летать не умеют! Правда, теперь они стали передвигаться быстрей, придумали какую-то железную дорогу, но сколько народу на ней шею ломает! Даже мороз по клюву пробегает, как подумаешь об этом! Нет, без людей было бы куда лучше. Мы прекрасно проживем без них, были бы только лягушки да дождевые черви.

«Какая великолепная речь! — подумала маленькая жаба.— Видно, он особа выдающаяся, и как высоко он забрался! Никого

еще не видела на таком высоком месте. А как он плавает!» — воскликнула она, когда аист распростер крылья и поднялся в воздух.

А аистиха продолжала болтать, сидя в гнезде. Она рассказывала птенцам про Египет, про воды Нила, про изумительный ил, которого так много в этой чудесной стране. Для маленькой жабы все это было ново и захватывающе.

— Придется ехать в Египет,— сказала она.— Вот если бы аист взял меня с собой или кто-нибудь из его птенцов. А потом я отплачу им, послужу им в день их свадьбы. Ах, наверно, я попаду в Египет, мне ведь так везет! Как приятно испытывать такую тягу, такие стремления! Куда приятнее, чем носить в голове драгоценный камень.

А драгоценный-то камень как раз в ее голове и скрывался! Что может быть драгоценнее этого вечного стремления вперед, все дальше и дальше! Оно горело у нее в душе, озаряло ей жизнь, приносило радость.

Вот тут-то и подошел аист. Он увидел жабу в траве, спустился и схватил беднягу, да не слишком учтиво. Клюв сомкнулся, в ушах у жабы засвистел ветер. Это было пренеприятно, но ведь ее подняли вверх, ее несли в Египет! Глаза у жабы заблестели, из них брызнули искры.

— Квак — ах!

И маленькой жабы не стало. Но куда же делись искры, брызнувшие из ее глаз?

Их подхватил солнечный луч, солнечный луч унес драгоценный камень из головы жабы. Но куда?

Естествоиспытателя об этом не спрашивай, спроси лучше поэта. Он расскажет тебе настоящую сказку и про гусеницу, и про семейство аистов. Подумай только! Гусеница превратится в красивую бабочку. Аисты отправятся за моря и горы в далекую Африку, а потом снова кратчайшей дорогой вернутся в Данию, на то же место, на ту же крышу. Но все это только кажется сказкой, а на самом деле сущая правда. Спроси у естествоиспытателя, и он подтвердит. Да ты и сам это знаешь — не раз видел.

А где же драгоценный камень из головы жабы? Поищи его на солнце, попробуй разглядеть его там.

Правда, солнце светит слишком ярко, наши глаза еще не могут выдержать все великолепие, сотворенное господом богом. Но когда-нибудь мы и этому научимся. Вот это будет чудеснейшая из сказок — ведь она будет про нас.

ПРЕДКИ ПТИЧНИЦЫ ГРЕТЫ

Птичница Грета жила в новом нарядном домике, выстроенном для уток и кур на господском дворе — одна среди птиц. Стоял домик там же, где некогда высился старинный господский дом с башнями, с зубчатым фасадом, с крепостными рвами и подъемным мостом. А рядом была дремучая чаща; когда-то здесь был сад, тянувшийся до самого озера, которое теперь превратилось в болото. Над вековыми деревьями кружили и галдели несметные стаи ворон, грачей и галок; хотя по ним и палили, но их становилось не меньше, а скорее больше. Слышно их было даже в птичнике, а в птичнике сидела старая Грета, и утята лазали по ее деревянным башмакам. Птичница Грета знала каждую курицу, каждую утку с той самой поры, как они вылупились из яйца; она гордилась своими курами и утками, гордилась и нарядным домиком, выстроенным для них. В комнатке у нее было чисто и опрятно, этого требовала сама госпожа, хозяйка птичника; она часто наведывалась сюда вместе со своими важными и знатными гостями и показывала им «курино-утиную казарму», как она выражалась.

В комнатке у Греты стояли и платяной шкаф, и кресло, и даже комод, а на нем начищенная до блеска медная дощечка с единственным выгравированным на ней словом — «Груббе». А имя это и было как раз именем старинного дворянского рода, обитавшего некогда в прежнем господском доме. Медную дощечку нашли, когда здесь копали, и пономарь сказал, что она и гроша ломаного не стоит, только что память о старине. Пономарь знал все про здешние места и про старину; навычитывал он об этом из книг, да и в столе у него лежала уйма разных записей. Весьма был сведущ пономарь, но самая старая из ворон знала, пожалуй, побольше его и орала об этом повсюду на своем наречии, да ведь наречие то было воронье, а как ни учен был пономарь, а по-вороньи не понимал.

Летом, в жару, случалось, над болотом к вечеру поднимался густой туман, словно озеро разливалось до тех самых старых деревьев, над которыми летали грачи, вороны и галки. Так было еще, когда тут жил рыцарь Груббе и когда стоял старинный дом с толстыми кирпичными стенами. Собаку держали тогда на такой длинной цепи, что иной раз она выбегала и за ворота; в господские покои из башни вела мощенная камнем галерея. Окна в доме были узкие, стекла мелкие, даже в главной зале, где устраивались танцы. Правда, никто не мог припомнить, чтобы при последнем Груббе там танцевали, хотя в зале еще лежал старый барабан, без которого не бывает и музыки. Стоял здесь и резной

шкаф искусной работы, в нем хранились луковицы редкостных цветов, потому что госпожа Груббе любила садовничать: сажала деревья и разводила всякую зелень. А муж ее предпочитал ездить на охоту и стрелять волков да кабанов; и всегда его сопровождала маленькая дочка Мария. Пяти лет от роду она уже гордо восседала на лошади и бойко поглядывала вокруг большущими черными глазами. Ей нравилось разгонять плеткой собак, хотя отец предпочитал, чтобы она разгоняла крестьянских мальчишек, которые сбегались поглазеть на господ.

У крестьянина, который жил в землянке рядом с господской усадьбой, был сын Сёрен, ровесник благородной барышни; он был мастер лазать по деревьям, и Мария вечно заставляла его таскать ей птичьи гнезда. Птицы орали во всю мочь, а как-то раз одна, покрупнее, клюнула его чуть повыше глаза, кровь так и хлынула, и все испугались, как бы вместе с кровью не вытек глаз, но обошлось. Мария Груббе звала мальчика «мой Сёрен»; милость то была немалая,— пригодилось это как-то и отцу Сёрена, бедняку Йону. Однажды он в чем-то провинился и в наказание должен был ехать верхом на деревянной кобыле, стоявшей во дворе. Спиной кобыле служила одна-единственная острая узенькая дощечка, а ногами — четыре деревянные подпорки; верхом на этой кобыле и поехал Йон, а чтобы ему не слишком удобно сиделось, к ногам его привязали кирпичи. Лицо крестьянина страдальчески сморщилось, Сёрен стал плакать и умолять маленькую Марию заступиться за его отца; она велела сейчас же спустить Йона с кобылы, а когда ее не послушались, затопала ногами и так рванула своего отца за рукав, что рукав лопнул. Уж если Мария чего хотела, так хотела, и она умела добиться своего. Йона отпустили.

Тут подошла к ним госпожа Груббе, погладила дочку по головке и ласково на нее посмотрела; Мария так и не поняла — за что.

Ей больше хотелось пойти к охотничьим собакам, чем гулять с матерью, и та одна отправилась в сад и спустилась вниз, к озеру, на котором цвели водяные лилии — кувшинки и кубышки; над водой колыхались дудки камыша и белокрыльник. Госпожа Груббе залюбовалась свежестью пышных цветов.

— Какая благодать! — сказала она.

В саду росло редкое по тем временам дерево, которое она сама посадила; называлось оно кровавый бук и казалось среди других деревьев мавром — листья на нем были совсем бурые. Кровавому буку нужно было жариться на припеке, в тени он стал бы таким же зеленым, как и другие деревья, и оттого утратил бы свою необычайность. На могучих каштанах, в кустарнике, в высокой траве — всюду гнездилось великое множество птиц. Птицы будто

знали, что в саду им не опасно, что тут никто не посмеет палить по ним из ружья.

Но вот появилась маленькая Мария вместе с Сёреном — он, как мы знаем, умел лазать на деревья, разорять птичьи гнезда и доставать из них яйца и пушистых, неоперившихся птенчиков. Заметались испуганные, растревоженные птицы, и малые и большие. Запищали в траве чибисы, загалдели на высоких деревьях грачи, вороны и галки, они кричали, каркали и вопили без умолку — таким криком и поныне еще кричит весь их пернатый род.

— Что же вы делаете, дети! — ужаснулась кроткая госпожа.— Это же безбожно!

Сёрен смутился, а благородная барышня сперва опустила было глаза, но тут же угрюмо буркнула:

— Отец разрешает!

— Прочь отсюда! Прочь! — крикнули огромные черные птицы и улетели, но на другой день все-таки вернулись — ведь здесь был их дом. А тихая, кроткая госпожа недолго прожила в своем доме. Господь призвал ее к себе, и там, на небесах, она оказалась куда более дома, нежели в здешней усадьбе. Торжественно звонили колокола, когда тело ее везли в церковь, а глаза бедняков наполнились слезами — она была так добра к ним.

С тех пор, как она умерла, некому стало заботиться о ее посадках, и сад заглох.

Говорили, что господин Груббе — человек крутой, но дочка, как ни была она мала, умела укротить его нрав: рассмешит отца и добьется своего. Было ей уже двенадцать лет; рослая, сильная, она смело смотрела своими черными глазищами людям в лицо, скакала верхом, как мужчина, а стреляла из ружья, как заправский охотник.

Приехали тут в их края высокие гости, самые знатные люди в стране — молодой король и его сводный брат и верный друг Ульрик Фредерик Гюльденлёве; вздумалось им поохотиться на кабанов и погостить денек в замке господина Груббе.

За столом Гюльденлёве сидел рядом с Марией Груббе; обхватив ее голову, он наградил девочку поцелуем, словно она была ему сестрой. Она же в ответ наградила его шлепком по губам и сказала, что терпеть его не может. Все рассмеялись, будто это невесть какая приятная шутка.

Может, и в самом деле ее слова пришлись ему по вкусу, потому что пять лет спустя, когда Марии минуло семнадцать, прискакал гонец с грамотой: господин Гюльденлёве просил руки благородной барышни. То-то!

— Он самый знатный и блестящий кавалер во всем королевстве! — сказал господин Груббе.— Нечего тут ломаться.

— Не больно-то он мне нравится,— ответила Мария Груббе, но ломаться не стала и не отказала самому знатному человеку в стране, наперснику самого короля.

Серебряная утварь, шерстяная одежда и белье, столовое и постельное, были отправлены в Копенгаген морем: сама Мария доехала туда посуху за десять дней. То ли ветра попутного не было, то ли вовсе стояло безветрие, но только приданое пришло в Копенгаген лишь четыре месяца спустя, когда госпожи Гюльденлёве уже и след простыл.

— Лучше спать на грубой холстине, чем на его шелковой постели! — сказала она.— Лучше буду ходить босиком по дорогам, чем разъезжать с ним в карете!

Поздним ноябрьским вечером в город Орхус приехали две женщины: то были жена господина Гюльденлёве Мария Груббе со своею служанкой; прибыли они верхом из Вейле, а туда приплыли из Копенгагена на корабле. Они въехали в обнесенную каменными стенами усадьбу господина Груббе. Неприветливо принял беглянок рыцарь. Встретил дочку грубой бранью, но комнату для ночлега все же отвел; наутро накормил ее пивной похлебкой с черным хлебом, но застольные его речи не были вкусной похлебке под стать. Крутой нрав отца обернулся теперь против дочери, а она к этому не привыкла; Мария и сама была не из кротких и не осталась перед отцом в долгу — как аукнется, так и откликнется! Со злостью и ненавистью вспоминала она о своем супруге, о том, с кем не желала дольше жить,— для этого она слишком добродетельна и честна.

Так минул год, и радости он не принес. Случалось отцу с дочерью меж собой и злым словом перемолвиться, а это уж последнее дело. Злые слова до добра не доведут. Кто знает, чем бы все это кончилось!

— Не жить нам с тобой под одной крышей! — сказал наконец отец.— Отправляйся в нашу старую усадьбу, да гляди, держи язык за зубами, не то сплетен не оберешься.

На том они и расстались: она переехала со своей служанкой в старый дом, где родилась и выросла, где в церковном склепе покоилась тихая и кроткая госпожа, ее мать; в доме жил старый пастух — вот и вся челядь. В покоях повсюду висела паутина, черная, отяжелевшая от пыли, в саду все росло как попало, хмель и вьюнок соткали густые сети меж деревьями и кустарниками; цикута да крапива заполнили весь сад. Кровавый бук затенили густые заросли, и листья его сделались такими же зелеными, как листья других, обычных деревьев — пришел конец его красе! Гра-

чи, вороны и галки несметными стаями кружили над макушками могучих каштанов; они так каркали и галдели, будто хотели поведать друг другу великую новость:

— Вернулась та девчонка, которая заставляла разорять наши гнезда и красть яйца и птенцов! А воришка, который их доставал, лазает теперь на голое, безлистое дерево, карабкается на самую верхушку мачт, а если что не так, ему задают трепку!

Эту историю поведал уже в наши дни пономарь; он вычитал ее в забытых старых книгах и рукописях; вместе с другими преданиями в его столе хранилась и история Марии Груббе.

— Судьба то вознесет, то низвергнет, так уже повелось на этом свете,— говаривал он.— Диву даешься, слушая такие истории!

Давайте и мы послушаем о том, что сталось с Марией Груббе, да не забудем при этом и про птичницу Грету, что сидит в своем нарядном птичнике в наши дни на том месте, где в прежние дни сиживала в своей усадьбе Мария Груббе, только нрав у Марии был совсем не таков, как у птичницы Греты.

Минула зима, минули весна и лето, снова настала ветреная осенняя пора с холодными и сырыми морскими туманами. Скучно, одиноко жилось в здешней усадьбе.

Как-то взяла Мария Груббе ружье и отправилась в вересковую пустошь; она стреляла зайцев да лис, стреляла всякую птицу, какая только попадалась. На пустоши ей не раз встречался знатный дворянин Палле Дюре из усадьбы Нёрребек; он тоже бродил там с ружьем да собаками. Рослый и сильный, он всегда похвалялся своими доблестями, когда ему случалось беседовать с Марией. Он-де мерялся силами с покойным владельцем усадьбы Эгескоу, что на острове Фюн, господином Брокенхюсом, о подвигах которого и поныне идет молва. По его примеру и Палле Дюре велел подвесить у себя в воротах на железной цепи охотничий рог; въезжая верхом в усадьбу, он хватался за цепь, подтягивался вместе с лошадью и трубил в рог.

— Приезжайте сами посмотреть, госпожа Мария! — приглашал он.— Увидите, в Нёрребеке воздух свежий!

Когда она приехала к нему в усадьбу, нигде не записано, но на подсвечниках в нёрребекской церкви прежде можно было прочитать, что они пожертвованы Палле Дюре и Марией Груббе из усадьбы Нёрребек.

Палле Дюре был детина дюжий и сильный, всасывал он в себя спиртное, как губка, пил как бездонная бочка, которую никак не налить до краев, храпел, как стадо свиней, а лицо у него было красное и распаренное.

— Бесстыжий, как боров, шкодливый, точно кот,— говорила о муже госпожа Палле Дюре, дочь господина Груббе.

Жизнь с Палле ей вскоре надоела, и уж лучше от этого им не стало.

Однажды в усадьбе накрыли на стол, да только кушанья простыли: Палле Дюре охотился за лисицами, а госпожу, сколько ни искали, так и не нашли. Палле Дюре вернулся домой среди ночи. Госпожа Дюре не вернулась ни в ночь, ни наутро. Она покинула усадьбу Нёрребек, уехала, не попрощавшись.

Погода стояла ненастная, серая; дул холодный ветер, стая черных птиц с карканьем кружилась над головой Марии, но даже птицы не так были бесприютны, как она.

Сначала Мария отправилась на юг и заехала в самую Неметчину — несколько золотых перстней с самоцветами были обращены там в деньги; оттуда она направилась на восток, потом снова повернула на запад. Жила она без цели, враждуя с целым миром, даже с богом — столь жалкой и слабой стала ее душа; а вскоре таким же сделалось и ее тело; она едва волочила ноги. Чибис взметнулся со своей кочки, когда Мария, падая на землю, чуть не задавила его.

— Чюв! Чюв! Ах ты, воровка! — пискнул чибис — чибисы всегда так пищат.

Мария никогда не присваивала добра ближнего своего, но еще маленькой девочкой заставляла разорять гнезда, доставать с болотных кочек и деревьев птичьи яйца и птенчиков; об этом она теперь вспомнила.

С того места, где лежала Мария, видны были прибрежные дюны; там жили рыбаки, но она так ослабела, что добраться туда уже не могла. Большие белые береговые чайки кружились над ней и кричали так же, как дома над садом кричали, бывало, грачи, вороны и галки. Птицы подлетали к ней совсем близко, ей почудилось, что они из белых стали черными, как смола, в глазах у нее потемнело, будто наступила ночь.

Очнувшись, она почувствовала, что кто-то поднял ее и несет: она лежала на руках у рослого и сильного малого. Она взглянула на его обросшее бородой лицо, над глазом у него был шрам, который пополам рассек его бровь. Отнес он ее, такую несчастную, на шхуну, а там шкипер наградил его за доброе дело грубой бранью.

На другой день шхуна подняла паруса и ушла в море. Мария Груббе на берег не высадилась; стало быть, и она отправилась в плавание. Но ведь потом она вернулась? Вернуться-то вернулась, да вот только когда и куда?

И об этом мог бы поведать пономарь, и всю эту необычайную историю он придумал не сам, а вычитал ее из достоверного источ-

ника, из одной старой книги, которую мы с вами можем взять да прочесть.

Датский сочинитель Людвиг Хольберг, написавший столько замечательных книг и забавных комедий, в которых словно живые предстают перед нами его век и люди того времени, рассказал в своих письмах о Марии Груббе и о том, где и на каких дорогах свела его с нею судьба. Историю эту стоит послушать, а слушая ее, мы не забудем и про птичницу Грету, что сидит в своем нарядном птичнике по-прежнему веселая и всем довольная.

Шхуна подняла паруса и ушла в море, а на ней уплыла Мария Груббе; на этом мы остановились.

Минули годы и еще годы.

Настал 1711 год, в Копенгагене свирепствовала чума. Королева Дании уехала на родину в Германию, король тоже покинул свою столицу, да и все, кто мог, бежали из города. Старались выбраться из Копенгагена и студенты, даже те, кто жил на казенном коште. Наконец и последний студент, дольше всех задержавшийся в так называемой Борховской коллегии, что рядом с Регенсен, тоже собрался уехать из города. Захватив ранец, набитый больше книжками да записями, чем платьем, он в два часа ночи вышел на улицу. Сырой, промозглый туман окутал город; на улице не было ни души, а кругом на всех дворах и воротах были понаставлены кресты; в этих домах либо буйствовала чума, либо все уже перемерли. Пустынной была и более широкая, извилистая Чёдманнергаде — так тогда называлась улица, ведущая от Круглой башни к королевскому дворцу. Мимо прогромыхали большие похоронные дроги, груженные трупами; возчик щелкал кнутом, лошади неслись во весь опор. Молодой студент поднес к носу латунную коробочку, в которой лежала пропитанная спиртом губка, и глубоко вдохнул острый запах.

Из погребка в одном из переулков неслись громкое пение и дикий хохот горожан, бражничавших там ночь напролет; они старались забыть, что чума притаилась за дверью и не успеешь оглянуться, как она и тебя швырнет на дроги вместе с другими мертвецами. Студент направился к причалам возле Дворцового моста, где пришвартовалось несколько маленьких шхун; одна из них как раз выбирала якорь, торопясь отчалить от зачумленного города.

— Коли, бог даст, будем живы да дождемся попутного ветра, пойдем в Грёнсунд к Фальстеру,— сказал шкипер и спросил студента, желавшего отправиться с ними, как его зовут.

— Людвиг Хольберг! — назвался студент.

Это имя прозвучало тогда, как и всякое другое, ничем не при-

мечательное, теперь-то оно — одно из самых славных имен в Дании; а в ту пору Хольберг был молодым, никому не известным студентом.

Шхуна миновала дворец. Еще не забрезжил рассвет, как она вышла в открытое море. Налетел легкий ветерок, паруса надулись, молодой студент сел лицом навстречу свежему ветру и заснул; пожалуй, он поступил не очень-то благоразумно.

А уже на третье утро шхуна бросила якорь у Фальстера.

— Не знаете ли вы, кто за небольшую плату пустит постояльца? — спросил корабельщика Хольберг.

— Пожалуй, вам лучше всего пойти к паромщице на перевозе Буррехюс,— ответил шкипер.— Коли захотите быть пообходительней, так зовите ее матушкой Сёрен Сёренсен Мёллер. Но смотрите, не будьте слишком учтивы, а то ей и осерчать недолго. Муж-то ее взят под стражу за какое-то злодейство, паром она водит сама, и ручищи у нее здоровенные.

Студент подхватил свой ранец и отправился к сторожке паромщицы. Дверь была не заперта, ручка легко поддалась, и он вошел в комнату с каменным полом, в убранстве которой самым примечательным была постель — широкая деревенская лавка, накрытая огромным, сшитым из шкур одеялом.

Белая наседка с выводком цыплят, привязанная к лавке, опрокинула плошку с водой, и вода разлилась по полу. Ни в этой, ни в соседней комнате не было ни души, если не считать младенца в люльке. Но вот показался паром, в нем сидел человек, закутанный с ног до головы в широкий плащ с капюшоном, под которым мудрено было разобрать, мужчина это или женщина. Паром пристал к берегу.

Вскоре в комнату вошла женщина, еще видная собой, осанистая; из-под черных бровей гордо смотрели черные глаза. Это и была матушка Сёрен — паромщица; грачи, вороны и галки выкрикнули бы, впрочем, другое, более знакомое нам имя.

Глядела она угрюмо и была не очень-то щедра на слова, но все же сговорилась со студентом, что берет его в дом нахлебником до тех пор, покуда в Копенгагене не кончится мор.

Из ближнего городка в сторожку паромщицы частенько заглядывали то один, то другой честный горожанин. Заглядывали и Франц Ножовщик с Сивертом Таможенником; они выпивали в сторожке по кружке пива и толковали с молодым студентом; человек он был понятливый и, по их словам, дело свое разумел — читал по-гречески, по-латыни и знал всякие ученые премудрости.

— Чем меньше знаешь, тем легче тягаться с жизнью,— заметила как-то матушка Сёрен.

— Вам-то трудненько достается! — сказал ей однажды Хольберг, глядя, как она стирает белье в едком щелоке и сама колет дрова.

— А это уж моя забота! — сказала она.

— Вы что, с малых лет так надрываетесь?

— Неужто по рукам не видать? — сказала она, показывая ему свои маленькие, сильные руки, хотя и огрубевшие и с обгрызенными ногтями.— Попробуйте прочитайте по рукам. Читать-то вы мастер!

Под рождество поднялись сильные вьюги; мороз крепчал, и ветер дул сердито, словно собирался плеснуть в лицо людям царской водкой. Матушку Сёрен не страшила никакая погода, только, бывало, в плащ поплотней завернется да капюшон на самые брови надвинет. Уже в полдень в сторожке совсем стемнело. Подбросив в очаг хвороста и торфа, она принялась подшивать подошвы к чулкам,— сапожничать на острове было некому. Под вечер она разговорилась со студентом и вообще стала куда словоохотливее, чем было в ее обычае; речь зашла о ее муже.

— Он ненароком убил одного шкипера из Драгёра, и за это теперь ему вышел приговор — три года каторжных работ в кандалах на Хольме. Он ведь простой матрос, и поблажки ему ждать неоткуда, все будет по закону.

— Закон для всех один, и для знати тоже,— возразил Хольберг.

— Это по-вашему так! — сказала матушка Сёрен и помолчала, глядя в огонь; потом снова повела разговор.— А вы слышали о Кае Люкке? Как он приказал снести у себя одну из церквей? Так вот, когда пастор Мадс всячески поносил его за это с церковной кафедры, Люкке повелел заковать пастора в кандалы, предал суду и приговорил его своею властью к отсечению головы, которую господину Мадсу тут же и отрубили; это вам не убийство ненароком, это куда хуже, а меж тем Кай Люкке как был тогда вольной птицей, так и остался.

— По тем временам и суд! — сказал Хольберг.— Зато теперь все переменилось.

— Рассказывайте сказки дуракам! — ответила матушка Сёрен.

Она поднялась и пошла в соседнюю горницу, где лежал ее ребенок — девчонка, как она ее называла. Хозяйка прибрала там и уложила ребенка поудобней, потом постелила студенту на лавке; одеяло она отдала ему, он быстрее зябнул, чем она, хоть и родился в Норвегии.

Новогоднее утро выдалось на редкость ясное и солнечное, стоял мороз, да такой крепкий, что снег смерзся, затвердел и по

нему можно было ходить, как по ледяному насту. Колокола в городе зазвонили к обедне. Студент Хольберг завернулся в грубый шерстяной плащ и собрался в город.

Над перевозом Буррехюс, галдя и каркая, кружили грачи, вороны и галки; их громкий крик заглушал даже звон колоколов. Матушка Сёрен, выйдя из сторожки, набивала латунный котел снегом, чтобы потом растопить его на огне и приготовить питьевую воду; поглядела она на снующих над головой ее птиц и задумалась о чем-то своем.

Студент Хольберг отправился в церковь; дорога туда вела мимо дома Сиверта Таможенника, что стоял у городских ворот, и на обратном пути его пригласили отведать пивной похлебки с патокой и имбирем; речь зашла о матушке Сёрен, но Таможенник мало что знал о ней, да и немногие, верно, знали больше. Знал он только, что она не здешняя, не с Фальстера, что когда-то, видно, жила в достатке, что муж ее — простой матрос, горяч нравом, застрелил шкипера из Драгёра.

— Он и старуху свою поколачивает, а она его все равно защищает.

— Я бы такого обращения терпеть не стала,— сказала жена Таможенника.— Я ведь тоже не из простых! Мой отец был королевским чулочником.

— То-то и замужем вы за королевским чиновником,— сказал Хольберг и учтиво откланялся.

Вот подошел и вечер, а в новогодний вечер празднуется память трех восточных царей, пришедших на поклонение младенцу Иисусу. Матушка Сёрен поставила перед Хольбергом и зажгла «свечу трех царей», то есть, попросту говоря, подсвечник с тремя огарками, которые сама вылила из сала.

— Каждому мужу — по свечке,— сказал Хольберг.

— Каждому мужу? — переспросила женщина, пристально глядя на него.

— Ну да, каждому из трех мудрых восточных мужей! — пояснил Хольберг.

— Вон что! — сказала она и надолго умолкла.

Но в тот праздничный вечер студенту все же удалось вызнать у нее побольше, чем прежде.

— Вы горячо любите того, за кем замужем,— сказал Хольберг матушке Сёрен.— А вон ведь люди говорят, будто он вас, что ни день, обижает.

— А это их не касается! — ответила она.— Били бы меня в детстве так, мне бы это, может, пошло на пользу, ну а теперь мне это, видать, за грехи наказание. А сколько он мне добра сделал, про то знаю я одна,— с этими словами она выпрямилась.— Когда я

валялась больная на открытой всем ветрам пустоши и никому-то не было до меня дела, разве что грачам да воронам, которым хотелось меня заклевать, он на руках отнес меня на шхуну, и в награду досталась ему за такой улов грубая брань. Я не из хворых, вот и оправилась. У всякого свои обычаи, и у Сёрена — свои; клячу по узде не судят. С ним мне жилось куда веселей, чем с тем, кого называли самым обходительным и самым знатным из всех королевских подданных. Я ведь побывала замужем за наместником Гюльденлёве, королевским сводным братом; потом вышла за Палле Дюре. Оба друг дружку стоили, всяк по-своему, а я — по-моему! Заболталась я, зато теперь вы все знаете.

И она вышла из комнаты.

То была Мария Груббе: диковинная выпала ей планида.

Немного еще праздников трех восточных царей довелось ей увидеть; Хольберг записал, что умерла она в июне 1716 года. Но он не записал, да он и не знал про это, что, когда матушка Сёрен, как ее называли, лежала в гробу, стаи огромных черных птиц кружили над перевозом Буррехюс; они не кричали, словно понимая, что похоронам приличествует тишина. Лишь только тело матушки Сёрен предали земле, птицы исчезли, но тем же вечером в Ютландии, над старой усадьбой появились несметные стаи грачей, ворон и галок. Они галдели наперебой, словно спешили всем, всем о чем-то рассказать — то ли о нем, крестьянском мальчишке, который разорял их гнезда, таская птичьи яйца и неоперившихся пушистых птенцов, а теперь томится в железных кандалах на королевском острове Хольм, то ли о ней, благородной барышне, что кончила свою жизнь паромщицей у Грёнсунда.

— Карр, карр! Кррасота! Кррасота! — галдели они.

А когда сносили старый замок, все потомки их тоже кричали:

— Карр, карр! Кррасота! Кррасота!

— Они и сейчас выкрикивают то же самое, хотя кричать им больше не о чем,— сказал пономарь, поведав эту историю.— Дворянский род Груббе вымер, замок снесли, на месте его стоит теперь нарядный птичник с вызолоченными флюгерами, а в нем сидит старая птичница Грета. Не нарадуется она своему славному жилищу! Не попади она сюда, пришлось бы ей в богадельне век доживать.

Над нею воркуют голуби, вокруг клохчут индюки и крякают утки.

— Никто про нее ничего не знает! — говорят птицы.— Безродная она. Держат ее здесь из милости. Нет у нее ни папаши-селезня, ни мамаши-утки, нет и выводка птенцов.

И все же родня у Греты была, только сама она про нее не знала, и пономарь тоже не знал, хотя и хранил уйму разных запи-

сей в столе. Но одна из старых ворон знала про Гретиных предков и рассказывала про них. От матери своей и от бабки слышала она о матери птичницы Греты и о ее бабушке; вот ее-то и мы с вами знаем, помним, как она девочкой скакала верхом по подъемному мосту, гордо оглядываясь кругом, словно она всему миру и всем птичьим гнездам на свете хозяйка. Видели мы ее и на вересковой пустоши близ прибрежных дюн, а под конец — на перевозе Буррехюс. Внучка ее, последняя в роду, снова вернулась домой, туда, где некогда стояла старая усадьба, где кричали черные дикие птицы. Но она-то сидела среди ручных, домашних птиц, она знала их, и они знали ее. Птичнице Грете нечего было желать, она рада была и умереть, зажилась она на свете.

— *Грроб! Грроб!* — *кричали вороны.*

И птичницу Грету положили в гроб и похоронили, а где — никто не помнит, кроме старой вороны, если она еще жива.

Теперь и мы знаем историю старой усадьбы, старинного дворянского рода и всех предков птичницы Греты.

СУДЬБА РЕПЕЙНИКА

Перед богатою усадьбой был разбит чудесный сад с редкостными деревьями и цветами. Гости, наезжавшие в усадьбу, громко восхищались садом; горожане и окрестные деревенские жители нарочно приезжали сюда по воскресеньям и праздникам просить позволения осмотреть его; являлись сюда с тою же целью и ученики разных школ со своими учителями.

За решеткой сада, отделявшею его от поля, вырос репейник; он был такой большой, густой и раскидистый, что по всей справедливости заслуживал название репейного куста. Но никто не любовался на него, кроме старого осла, возившего тележку молочницы. Он вытягивал свою длинную шею и говорил репейнику:

— Как ты хорош! Так бы и съел тебя!

Но веревка была коротка, и ослу не удавалось дотянуться до репейника.

Как-то раз в саду собралось большое общество: к хозяевам приехали знатные гости из столицы, молодые люди, прелестные девушки, и между ними одна барышня издалека, из Шотландии, знатного рода и очень богатая. «Завидная невеста!» — говорили холостые молодые люди и их маменьки.

Молодежь резвилась на лужайке, играла в крокет; затем все отправились гулять по саду; каждая барышня сорвала цветок и воткнула его в петлицу одного из молодых людей. А юная шот-

ландка долго озиралась кругом, выбирала, выбирала, но так ничего и не выбрала: ни один из садовых цветков не пришелся ей по вкусу. Но вот она глянула за решетку, где рос репейник, увидала его иссиня-красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина дома сорвать ей один из них.

— Это цветок Шотландии! — сказала она.— Он красуется в шотландском гербе. Дайте мне его!

И он сорвал самый красивый цветок, уколов себе при этом пальцы, словно он рос на колючем шиповнике.

Барышня продела цветок молодому человеку в петлицу, и он был очень польщен этим, да и каждый из остальных молодых людей охотно бы отдал свой роскошный садовый цветок, чтобы только получить из ручек прекрасной шотландки хоть репейник. Но уж если был польщен хозяйский сын, то что же почувствовал сам репейник? Его как будто окропило росою, осветило солнышком.

«Однако я поважнее, чем думал! — сказал он про себя.— Место-то мое, пожалуй, в саду, а не за решеткою. Вот, право, как странно играет нами судьба! Но теперь хоть одно из моих детищ перебралось за решетку, да еще угодило в петлицу!»

И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому вновь распускавшемуся бутону. Не прошло затем и недели, как репейник услышал новость — не от людей, не от щебетуний пташек, а от самого воздуха, который воспринимает и разносит повсюду малейший звук, раздавшийся в самых глухих аллеях сада или во внутренних покоях дома, где окна и двери отворены настежь. Ветер сообщил, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки цветок репейника, удостоился наконец получить и руку и сердце красавицы. Славная вышла парочка, вполне приличная партия.

— Это я их сосватал! — решил репейник, вспоминая свой цветок, попавший в петлицу. И каждый вновь распускавшийся цветок должен был выслушивать эту историю.

— Меня, конечно, пересадят в сад! — рассуждал репейник.— Может быть, даже посадят в горшок; тесновато будет, ну, да зато почетно!

И репейник так увлекся этою мечтою, что уже с полною уверенностью говорил: «Я попаду в горшок!» — и обещал каждому своему цветочку, который появлялся вновь, что и он тоже попадет в горшок, а может быть, даже и в петлицу,— выше этого уж попасть было некуда! Но ни один из цветов не попал в горшок, не говоря уже о петлице. Они впивали в себя воздух и свет, солнечные лучи днем и капельки росы ночью, цвели, принимали визиты женихов — пчел и ос, которые искали приданого, цветочного сока, получали его и покидали цветы.

— Разбойники этакие! — говорил про них репейник.— Так бы и проколол их насквозь, да не могу!

Цветы поникали головками, блекли и увядали, но на смену им распускались новые.

— Вы являетесь как раз вовремя! — говорил им репейник.— Я с минуты на минуту жду пересадки туда, за решетку.

Невинные ромашки и мокричник слушали его с глубоким изумлением, искренне веря каждому его слову.

А старый осел, таскавший тележку молочницы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цветущий репейник, но веревка была коротка, и он никак не мог добраться до куста.

Репейник так много думал о своем родиче, шотландском репейнике, что под конец уверовал в свое происхождение из Шотландии и в то, что именно его-то родители и красовались в гербе страны. Великая то была мысль, но отчего бы такому большому репейнику и не иметь великих мыслей?

— Иной раз происходишь из такой знатной семьи, что не смеешь и догадываться о том! — сказала крапива, росшая неподалеку, у нее тоже было какое-то смутное ощущение, что при надлежащем уходе и она могла бы превратиться в кисею!

Лето прошло, прошла и осень, листья с деревьев пооблетели, цветы приобрели более яркую окраску, но почти утратили свой запах. Ученик садовника распевал в саду по ту сторону решетки:

Вверх на горку,
Вниз под горку
Времечко бежит!

Молоденькие елочки в лесу начали уже томиться предрождественскою тоской, но до рождества было еще далеко.

— А я-то все еще здесь стою! — сказал репейник.— Никому как будто и дела до меня нет, а ведь я устроил свадьбу! Они обручились, да и поженились вот уже неделю тому назад! Что ж, сам я шагу не сделаю — не могу!

Прошло еще несколько недель. На репейнике красовался уже только один цветок, последний, но большой и пышный. Вырос он почти у самых корней, ветер обдавал его холодом, краски его поблекли, и чашечка, такая большая, словно у цветка артишока, напоминала теперь высеребренный подсолнечник.

В сад вышла молодая парочка, муж с женою. Они шли вдоль садовой решетки, и молодая женщина взглянула через нее.

— А вот он, большой репейник! Все еще стоит! — воскликнула она.— Но на нем нет больше цветов!

— Нет, видишь вон блаженную тень последнего! — сказал муж, указывая на высеребренный остаток цветка.

— А он все-таки красив! — сказала она.— Надо велеть вырезать такой на рамке вокруг нашего портрета.

И молодому мужу опять пришлось перелезть через решетку и сорвать цветок репейника. Цветок уколол ему пальцы — молодой человек ведь обозвал его «блаженною тенью». И вот цветок попал в сад, в дом и даже в залу, где висел портрет молодых супругов, написанный масляными красками. В петлице у молодого был изображен цветок репейника. Поговорили и об этом цветке, и о том, который только что принесли; его решено было вырезать на рамке.

Ветер подхватил эти речи и разнес их далеко-далеко по всей окрестности.

— Чего только не приходится пережить! — сказал репейник.— Мой первенец попал в петлицу, мой последыш попадет в рамку! Куда же попаду я?

А осел стоял у дороги и косился на него:

— Подойди же ко мне, сладостный мой! Я не могу подойти к тебе — веревка коротка!

Но репейник не отвечал; он все больше и больше погружался в думы. Так он продумал вплоть до рождества и наконец расцвел мыслью:

«Коли детки пристроены хорошо, родители могут постоять и за решеткою!»

— Вот это благородная мысль! — сказал солнечный луч.— Но и вы займете почетное место!

— В горшке или в рамке? — спросил репейник.

— В сказке! — ответил луч.

Вот она, эта сказка!

САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ

Тот, кто сделает самое невероятное, возьмет за себя принцессу, а в приданое полкоролевства!

Как только объявили это, все молодые люди, да и старики за ними, принялись ломать себе головы. Все из кожи вон лезли: двое объелись, двое опились до смерти — в надежде совершить самое невероятное на свой лад, да не так взялись за дело! Уличные мальчишки всячески изворачивались, чтобы плюнуть самим себе в спину,— невероятнее этого они ничего и представить себе не могли.

Назначен был день для представления на суд всего того, что каждый считал самым невероятным. В число судей попали люди всех возрастов, от трехлетних детей до девяностолетних старцев.

Взорам судей представилась целая выставка невероятных вещей, но скоро все единогласно решили, что самою невероятною из них были большие столовые часы удивительного и внутреннего и внешнего устройства. Каждый раз, как часы били, появлялись живые картины, показывавшие, который час. Таких картин было двенадцать, и всякий раз фигуры не только двигались, но и разговаривали и пели.

— Это самое невероятное! — говорили все.

Било час — и показывался Моисей на горе и чертил на скрижали первую заповедь.

Било два — взорам представлялся райский сад; жилище Адама и Евы, двух счастливцев, утопавших в блаженстве, хоть у них и не было ничего — даже шкафа для платья; ну, да они в нем и не нуждались!

В три часа появлялись трое царей, шедших с востока на поклонение Иисусу; один из них был черен, как голенище, но не по своей вине,— это солнце так наваксило его! Все трое держали в руках драгоценные дары и благовонные курения.

В четыре показывались четыре времени года: весна с только что распустившеюся буковою ветвью, на которой сидела кукушка; лето с колосом спелой ржи, к которому прицепился кузнечик; осень с пустым гнездом аиста, означавшим, что все птицы улетели; и зима со старою вороной-сказочницей, умевшею рассказывать в уголке за печкою старые предания.

Часы били пять — выходили пять чувств: зрение — в образе оптика, слух — медника, обоняние — продавщицы фиалок и дикого ясменника, вкус — повара, а осязание, или чувствительность — распорядителя похоронной процессии в траурной мантии, спускавшейся до самых пят.

Било шесть — выскакивал игрок, подбрасывал кость кверху, она падала и показывала высшее очко — шесть.

Затем следовали семь дней недели, или семь смертных грехов; насчет этого шли разногласия, да и впрямь трудно было различить их.

После этого выходил хор монахов — восемь человек — и пел заутреню.

Било девять — и являлись девять муз; одна занималась астрономиею, другая служила в историческом архиве, а остальные посвятили себя театру.

Било десять — и опять выступал Моисей с двумя скрижалями, на которых были начертаны все десять заповедей.

Било одиннадцать — и выскакивали одиннадцать мальчиков и девочек и начинали играть в игру под названием «пробил одиннадцатый час»!

Наконец било двенадцать — и являлся ночной сторож, в шлеме, с «утреннею звездою» в руках, и пел старинную песенку ночных сторожей:

Полночь настала,
Спаситель родился!

А в то время, как он пел, вокруг расцветали розы и превращались в головки ангелочков, парящих на радужных крылышках.

Было тут что послушать, на что посмотреть! Вообще часы являлись настоящим чудом, «самым невероятным» — по общему мнению.

Художник, творец часов, был человек еще молодой, сердечный, с детски веселою душою, добрый товарищ и примерный сын, заботившийся о своих бедных родителях. Он вполне заслуживал и руки принцессы, и полкоролевства.

День присуждения награды наступил; весь город убрался по-праздничному; сама принцесса сидела на троне; подушки его набили новым волосом, но трон от этого не стал ни удобнее, ни покойнее. Судьи лукаво поглядывали на юношу, который должен был получить награду, а он стоял такой веселый, бодрый, уверенный в своем счастье,— он ведь сделал самое невероятное.

— Нет, это вот я сейчас сделаю! — закричал высокий, мускулистый парень.— Я совершу самое невероятное!

И он занес над чудесными часами тяжелый топор. Трах! — и часы были разбиты вдребезги! Колеса и пружины разлетелись по полу, все было разрушено!

— Вот вам я! — сказал силач.— Один удар, и я поразил и его творение, и вас всех! Я сделал самое невероятное!

— Разрушить такое чудо искусства! — толковали судьи.— Да, это самое невероятное!

Весь город повторил то же, и вот принцесса, а с нею и полкоролевства должны были достаться силачу,— закон остается законом, как бы он ни был невероятен.

С вала и со всех башен города оповестили о свадьбе. Сама принцесса вовсе не радовалась такому обороту дела, но была чудно хороша в подвенечном наряде. Церковь была залита огнями; венчание назначено было поздно вечером — эффектнее выходит. Знатнейшие девушки города с пением повели невесту; рыцари тоже с пением окружили жениха, а он так задирал голову, словно и знать не знал, что такое споткнуться.

Пение умолкло, настала такая тишина, что слышно было бы падение иголки на землю, и вдруг церковные двери с шумом и треском растворились, а там... Бум! Бум!.. В двери торжественно вошли чудесные часы и стали между женихом и невестою. Умершие люди не могут восстать из могилы — это мы все хорошо

знаем, но произведение искусства может возродиться, и оно возродилось: вдребезги была разбита лишь внешность, форма, но идея, одухотворявшая произведение, не погибла.

Произведение искусства вновь стояло целым и невредимым, как будто рука разрушителя и не касалась его. Часы начали бить, сначала пробили час, потом два, и так далее — до двенадцати, и картина являлась за картиною. Прежде всех явился Моисей, от чела его исходил пламень; он уронил тяжелые скрижали прямо на ноги жениха и пригвоздил его к месту.

— Поднять их снова я не могу! — сказал Моисей.— Ты обрубил мне руки. Стой же, где стоишь!

Затем явились Адам и Ева, восточные цари и четыре времени года; каждый обратился к нему со справедливым укором:

«Стыдись!»

Но он и не думал стыдиться.

Остальные фигуры и группы продолжали выступать из часов по порядку и вырастали в грозные гигантские образы; казалось, что скоро в церкви не останется места для живых людей. Когда же наконец пробило двенадцать и выступил ночной сторож в шлеме и с «утреннею звездой», в церкви произошло смятение: сторож прямо направился к жениху и хватил его своим жезлом по лбу.

— Лежи! — сказал он.— Мера за меру! Теперь и мы отомщены, и художник! Исчезнем!

И произведение искусства исчезло, но свечи в церкви превратились в большие светящиеся цветы; золотые звезды, рассыпанные по потолку, засияли; орган заиграл сам собою. И все сказали, что вот это-то и есть «самое невероятное»!

— Так не угодно ли вызвать сюда настоящего виновника торжества! — молвила принцесса.— Моим мужем и господином будет художник, творец чуда!

И он явился в церковь в сопровождении всего народа. Все радовались его счастью, не нашлось ни одного завистника. Да, вот это-то и было «самое невероятное»!

ВЕЛИКИЙ МОРСКОЙ ЗМЕЙ

Жила-была маленькая морская рыбка из хорошей семьи. Как она называлась, я не помню, если хочешь узнать, обратись к ученым. У рыбки было тысяча восемьсот братьев и сестер, и все близнецы. Ни отца, ни матери своих они не знали, с первых же дней сами о себе заботились и плавали, где хотели, а что может быть приятнее? Воды у них было предостаточно — целый океан.

О пище они тоже не беспокоились — она сама шла в рот. Каждый из близнецов мог жить по-своему, каждого ждала своя история, но пока ни один из них об этом не думал.

Сверху светило солнце, освещало рыбок, освещало весь подводный мир. Кого тут только не было! Диковинные попадались создания, и некоторые такие громадные, страшные! Им ничего не стоило разинуть хищную пасть и сразу проглотить всех тысячу восемьсот братьев и сестер. Но об этом близнецы тоже не думали, их ведь пока еще никто ни разу не глотал.

Они держались стайкой, поближе друг к другу, как сельди или макрель. И вот однажды, когда они преспокойно плавали и ни о чем не думали, сверху, расшвыряв их в разные стороны, стало опускаться со страшным шумом какое-то длинное тяжелое чудовище. Конца ему не было видно. Оно вытягивалось все дальше и дальше, и если задевало кого-нибудь из рыбок, то так расплющивало и калечило их, что они уже не могли оправиться. Все рыбы, и маленькие, и большие, и те, что плавают на поверхности, и те, что лежат на дне, в ужасе бросились врассыпную. А тяжелое грозное чудовище опускалось все глубже и глубже, становилось все длиннее и длиннее, тянулось по всему морю.

Рыбы и улитки, все, что плавает, все, что ползает, все, что просто движется по течению, сразу узнали об этом чудище, об этом бесконечном, невиданном морском угре, который, откуда ни возьмись, свалился им на голову.

Что же это была за штука? Ну, нам-то это известно! Это был длиннейший телеграфный кабель, который люди проложили по дну моря между Европой и Америкой.

Ужас, какой переполох поднялся среди мирных обитателей моря, когда кабель укладывали на дно. Летающие рыбы взвились над морской гладью одна выше другой, а морской петух пулей взлетел в воздух — на такие проделки он мастер. Другие рыбы кинулись на дно, да так спешили, что очутились там раньше кабеля и насмерть перепугали треску и камбалу, которые безмятежно плавали в глубине и поедали своих ближних.

Несколько морских огурцов со страху выплюнули свои желудки, но остались живы. Кто еще способен на подобный фокус? Омары и крабы повылезали из своих прочных панцирей — пришлось им, правда, заодно расстаться и с ногами.

Не мудрено, что в этой панике и суматохе тысячу восемьсот близнецов разметало в разные стороны, и больше они никогда не виделись, а если и встречались, то не узнавали друг друга. Только с полдюжины рыбок остались вместе, они притаились на несколько часов, но потом, когда первый страх прошел, ими овладело любопытство.

Они огляделись, посмотрели вверх, посмотрели вниз и там, в глубине, различили страшное чудовище, которое всех так напугало, и маленьких и больших. Чудовище лежало на морском дне и тянулось вдаль, насколько хватало глаза. Оно было тонкое-тонкое, но кто его знает, подумали близнецы, вдруг да оно раздуется и станет огромной махиной. Оно лежало тихо-тихо, но, может быть, это просто хитрая уловка?

— Пусть себе лежит, где лежит! Нас это не касается,— решила самая осторожная из рыбок.

А самая маленькая из них сгорала от желания узнать, что же это за штука. Чудовище спустилось сверху, значит, и узнавать о нем надо наверху, поэтому рыбешки поплыли к поверхности моря, где была тишь да гладь, ни всплеска, ни ветерка.

Там они повстречали дельфина. Этот ветрогон, морской бродяга, только и знает, что кувыркаться над водой. Однако глаза-то у него есть, и он должен был все видеть. Рыбки спросили его про чудовище. Но дельфин был занят лишь собой да своими прыжками. Он ничего не видел, ничего не знал, так что промолчал и принял гордый вид.

Тогда они поплыли к тюленю, который как раз нырнул под воду. Этот, хоть и питался мелкими рыбками, был любезнее — сейчас он был сыт. Он знал побольше дельфина.

— Много ночей пролежал я на мокрых камнях и всматривался в далекий берег. Там водятся коварные существа, на своем языке они называют себя людьми. Они преследуют нас, но чаще всего нам удается ускользнуть. Вот и морскому угрю, о котором вы спрашиваете, удалось от них вырваться. Он был у них в плену с незапамятных времен. Его держали на одном материке, а потом решили перевезти на корабле в другую далекую страну. Я видел, как трудно им было справиться с угрем, но все-таки они его одолели. Оно и понятно: он ослаб, пока жил на суше. Они складывали его кругами и кольцами, я слышал, какой стоял лязг и звон. И вдруг он вырвался из их рук и бросился в море. Они изо всех сил вцепились в него, надеясь удержать, но он все-таки ускользнул и ушел на дно, а теперь, верно, лежит там и набирается сил.

— Он какой-то тонкий! — сказали рыбки.

— Еще бы, его морили голодом,— объяснил тюлень.— Но ничего, скоро он все наверстает, снова станет могучим и грозным. Я думаю, это тот самый великий морской змей, которого так боятся люди. Они только и говорят о нем. Мне его видеть не приходилось, поэтому раньше я не верил людям, думал, что змея нет. А теперь я в него верю,— и тюлень вынырнул.

— Какой он умный! И как хорошо рассказывает! — заговори-

ли рыбки.— Мы никогда не слышали таких умных речей. Надеемся, все это правда.

— Давайте поплывем вглубь и все разузнаем,— предложила самая маленькая рыбка,— а по дороге послушаем, что другие говорят.

— Еще чего, мы и плавником не шевельнем, чтобы что-то узнать! — сказали ее братья и сестры и унеслись прочь.

— А я хочу знать! — сказала маленькая рыбка и пустилась вниз, в глубь моря. Но до места, где пряталось «длинное чудовище, упавшее сверху», было далеко. Чего только она не нагляделась, пока добралась до самого дна!

Она и не подозревала, что подводный мир так велик. Большие косяки сельди проплывали мимо, блестя и переливаясь, словно громадные серебряные лодки. За ними тянулись макрели, они были еще великолепнее. Разные рыбы мелькали вокруг. Каких только тут не было очертаний, какие расцветки, какие узоры! Медузы, словно прозрачные цветы, покачивались, колеблемые течением. Со дна поднимались гигантские морские растения, длинные водоросли и даже целые деревья, похожие на пальмы. Их листья были усыпаны блестящими раковинами.

Наконец рыбка различила внизу длинную темную полосу и направилась к ней. Оказалось, что это не рыба и не кабель, а просто борт большого затонувшего корабля. Под напором волн у него провалились обе палубы — и верхняя и нижняя. Рыбка заплыла внутрь. Вода смыла всех людей, погибших при крушении, и теперь тут лежали только двое — молодая женщина с ребенком на руках. Волны тихонько приподнимали и баюкали их, казалось, они спят. Рыбка очень испугалась — она не знала, что они никогда больше не проснутся. Водоросли, словно лианы, свешивались с борта над матерью и ребенком, заснувшими вечным сном. Здесь было так одиноко, так тихо. Рыбка поскорее поспешила прочь, туда, где воду освещали солнечные лучи, туда, где сновали рыбы. Но не успела она отплыть подальше, как встретила молодого кита, ужасно большого.

— Смотри не проглоти меня! — сказала рыбка.— Ведь я такая маленькая, меня тебе и на один зуб не хватит! А мне так нравится жить!

— Что ты здесь делаешь, на такой глубине? — удивился кит.— Ваш брат сюда не заплывает.

И рыбка рассказала ему об удивительном длинном угре, или кто он там был на самом деле, который спустился сверху и распугал даже самых храбрых морских обитателей.

— Хо-хо! — сказал кит и так втянул в себя воду, что, будь он на поверхности, он выдохнул бы ее высоким фонтаном.— Хо-

«Короли, дамы и валеты»

хо! — повторил он.— Значит, это та самая штука, что пощекотала мне спину, когда я поворачивался! А я-то думал, это корабельная мачта, еще хотел воспользоваться ею как зубочисткой! Только это чудище не здесь. Оно далеко отсюда. Поплыву-ка я, пожалуй, с тобой да разберусь, что это такое. Все равно мне делать нечего.

И они поплыли — кит впереди, а рыбка сзади. Она старалась держаться подальше, потому что, когда большой кит набирает скорость, вода вокруг так и бурлит!

Навстречу им попались акула и старая рыба-пила. Они тоже слышали про морского угря, длинного, длинного и тонкого, тонкого. Видеть они его не видели, но очень хотели посмотреть.

А потом к ним подплыл морской кот.

— И меня возьмите! — сказал он, ему тоже хотелось посмотреть.— Если этот морской змей не толще якорного каната, я перекушу его в два счета.— И морской кот разинул пасть и всем показал, что зубы у него растут в шесть рядов.— Если уж я оставляю отметины на корабельных якорях, то такую фитюльку я и подавно перегрызу!

— Вот он! — вдруг воскликнул кит.— Я его вижу! — Он воображал, что видит лучше всех.— Смотрите, смотрите, как он изгибается, как извивается. Ишь, как петляет.

Но это был вовсе не морской змей, а огромный морской угорь длиной в несколько метров. Он плыл прямо на них.

— Этого-то я знаю. Мы с ним встречались,— сказала рыба-пила.— Он шума в море не поднимает и больших рыб не трогает.

Они рассказали ему про нового угря и спросили, не хочет ли он тоже заняться расследованием.

— Неужели он длиннее меня? — спросил морской угорь.— Как бы он не наделал нам бед.

— Пусть только попробует,— сказали остальные,— вон нас сколько, мы ему покажем! — И они поплыли дальше.

Но дорогу им преградило что-то необъятное, оно было больше их всех, вместе взятых, ни дать ни взять плавучий остров, который не может удержаться наверху.

Это был древний-древний кит, голова его обросла водорослями, на спине кишмя кишела всякая тварь, а моллюсков и ракушек на нем было столько, что черные бока казались сплошь усеянными белыми пятнами.

— Поплыли с нами, старик! — предложили ему рыбы.— В море появилось какое-то чудовище, и мы его не потерпим.

— Уж лучше я буду лежать, где лежу,— ответил старый кит.— Оставьте меня в покое, не приставайте! Ох, ох! Я тяжело болен. Только одно мне и помогает — всплыть наверх да высунуть спину из воды. Тогда ко мне слетаются добрые морские птицы и

чистят меня. Это очень приятно, если только они не вонзают клюв слишком глубоко. А то бывает, они добираются до самого мяса. Вот полюбуйтесь! У меня на спине и сейчас торчит птичий скелет, целехонький. Птица запустила когти слишком глубоко и не смогла их вытащить, когда я погрузился на дно. А потом мелкие рыбешки пообщипали ее. Посмотрите только на нее и на меня. Видите, как я тяжко болен!

— Все это от мнительности,— сказал молодой кит.— Я вот никогда не болею. Рыбы вообще не болеют.

— Нет, извините,— возразил старый кит,— у угрей бывают кожные болезни, у карпов — оспа, а уж от глистов все мы мучимся.

— Чушь! — сказала акула, ей уже надоело слушать старика, да и другим тоже, у них было дело поважней.

Наконец они добрались до того места, где лежал телеграфный кабель. Он тянулся по всему морскому дну от Европы до Америки, через песчаные отмели и илистые глубины, через рифы и чащи водорослей, через целые леса кораллов. А вокруг него переплетались течения, кипели водовороты, проносились рыбы — стаи рыб, их было куда больше, чем птичьих стай в пору перелета. Повсюду в глубине бурлило и булькало, гудело и шумело. Отголоски этого гула можешь различить и ты, если прижмешь к уху большую морскую раковину.

Тут они и нашли то, что искали.

— Вон лежит это чудище,— сказали большие рыбы, и маленькая рыбка сказала то же самое. Кабель лежал перед ними, но ни начала его, ни конца не было видно.

Губки, полипы и медузы колыхались на дне, то поднимались и заслоняли кабель, то опускались и открывали его. Морские ежи, улитки и морские черви копошились вокруг, а вдоль кабеля важно расхаживали чудовищные пауки с целым полчищем паразитов на спинах. Темно-синие морские огурцы, или как там называют эту нечисть, что заглатывает пищу сразу всем туловищем, затаились и принюхивались к новому зверю, объявившемуся на дне морском. Камбала и треска поворачивались во все стороны, стараясь услышать, кто что сказал. Морская звезда, та самая, которая всегда зарывается глубоко в ил и выставляет наружу только глаза на двух стебельках, и тут таращилась изо всех сил, стараясь не прозевать, чем же кончится вся эта сумятица.

Телеграфный кабель лежал неподвижно, но в нем шла жизнь, гудели мысли, взад и вперед мчались по нему человеческие слова.

— Он только прикидывается тихим,— сказал кит,— а вдруг он развернется и ударит меня прямо в живот, ведь у меня это слабое место!

— А вот мы его сейчас проверим,— предложил полип.— У меня руки длинные, пальцы цепкие, я уже дотрагивался до него, а теперь сожму покрепче.

И он протянул свои длинные цепкие руки вниз, к кабелю, и крепко обхватил его.

— Чешуи у него нет,— заметил полип,— и кожи нет! По-моему, он не сможет родить живых детенышей.

Морской угорь подплыл к кабелю и вытянулся вдоль него во всю длину.

— Он длинней меня,— сказал он.— Но одной длины мало, надо еще кожу иметь, и живот, и гибкость.

Молодой и сильный кит опустился к самому кабелю, так глубоко он не опускался еще ни разу.

— Ты кто — рыба или растение? Или ты просто из тех, кого делают наверху и кто у нас не приживается? — спросил он.

Но телеграфный кабель не ответил — разговаривать было не по его части. По нему передавались мысли, человеческие мысли, за одну секунду они пробегали много сотен миль из одной страны в другую.

— Будешь ты отвечать или нет? А то мы тебя перегрызем! — сказала прожорливая акула, и другие большие рыбы тоже крикнули:

— Говори, или мы тебя перегрызем!

Кабель не шевелился, он думал свою думу, и это не удивительно, раз он был битком набит всевозможными сведениями.

«Ну и пусть меня перегрызут,— размышлял он,— тогда меня поднимут наверх и починят. Так уже не раз бывало с моими собратьями в других водах».

Поэтому он не стал отвечать, а продолжал заниматься своим делом — передавал телеграммы, нес государственную службу на дне морском.

Наверху солнце садилось, как принято говорить у людей, оно стало красным, как огонь, и все облака на небе запылали пламенем, одно ярче другого.

— Ну, вот нам дали красное освещение,— сказали полипы,— теперь эту штуку лучше видно, хотя, впрочем, это все равно.

— Бей его, бей! — закричал кот и оскалил зубы, все шесть рядов.

— Бей его! — закричали рыба-меч, кит и угорь.

И все бросились на кабель, морской кот впереди. Но только он собрался вцепиться зубами в чудовище, как рыба-пила в горячке полоснула его пилой по спине. Ужасное получилось недоразумение, у кота уже не хватало сил кусаться.

Ух, что тут поднялось! Вода замутилась, в головах у всех помутилось, рыбешки, рачки и ракушки полезли друг на друга и давай драться и толкаться, пожирать друг друга живьем. Только кабель лежал не шелохнувшись и делал свое дело, а это всегда самое правильное.

Наверху землю окутала темная ночь, а в море заблестели миллионы, даже целые миллиарды огоньков. Это светились малюсенькие рачки, величиной с булавочную головку. Чудеса, да и только, но так уж это устроено.

Морские жители посмотрели на кабель.

— Что же это все-таки за штука?

Да, задали им загадку.

Тут к ним приблизилась старая морская корова. Люди называют такие создания по-разному: то русалками, то водяными. У морской коровы была отвислая грудь, хвост и две маленькие ручки, чтобы грести, а на голове красовались водоросли, в которых кишели клещи, чем она очень гордилась.

— Хотите научиться уму-разуму? — спросила она.— Тогда слушайте, только я одна и могу вам все объяснить. Но за это я требую, чтобы мне и моим родственникам обеспечили безопасность на всех морских пастбищах. Я рыба, как вы, но и ползать умею, будто краб, жизнь всему научит. Здесь, в море, я самая умная. Я знаю обо всем, что копошится на дне морском, и обо всем, что делается наверху. Эта штука, над которой вы головы ломаете, свалилась сверху. А все, что сверху упало, либо уже мертво, либо умрет здесь и никакой силы не имеет. Оставьте ее, пусть себе лежит. Это все человеческие проделки.

— А мне кажется, это не совсем так,— сказала маленькая рыбка.

— Попридержи язык, макрель! — крикнула старая морская корова.

— Килька! — сказали остальные, а это было уж совсем обидно.

Потом морская корова объяснила рыбам, что этого страшного зверя, который, впрочем, до сих пор не проронил ни звука, люди забросили сюда нарочно. И она прочла небольшую лекцию о коварстве людей.

— Они хотят нас всех переловить,— сказала она.— Только ради этого и живут. Они плетут сети, закидывают крючки с наживкой, чтобы нас заманить. И эта штука просто-напросто длинная леска! Они думают, что мы поймаемся на эту удочку. Вот чудаки! Но мы не так глупы. Только не прикасайтесь к этой дурацкой леске, она сама размочалится, станет илом и грязью. Все, что сверху, всегда с подвохом и никуда не годится.

— Не годится,— согласились с мнением морской коровы все морские жители — ведь надо же иметь какое-то мнение.

Но маленькая рыбка стояла на своем:

— Может статься, что эта длинная тонкая, бесконечная змея — самая удивительная рыба в нашем море. Такое у меня предчувствие.

— Да, самая удивительная,— согласимся с нею и мы, люди, и скажем это со знанием дела и с полной убежденностью.

Ведь это и есть великий морской змей, тот самый, о котором слагали в старину песни и предания.

Он выношен и рожден человеческим гением, гений человека опустил его на дно морское, протянул с востока на запад, стал направлять по нему сообщения, что летят быстрее, чем свет солнца долетает до земли. Этот змей все растет, набирается сил, с каждым годом тянется все дальше по морям и океанам, обегает всю землю, прокладывает себе путь в бурных волнах и под тихой, зеркальной гладью, где капитану кажется, будто он плывет по воздуху,— так прозрачна вода, так хорошо видны рыбы, снующие в глубине, словно фейерверк всех цветов радуги.

Глубоко, глубоко под водой залегает этот змей, словно сказочный змей Мидгордсорм. Он опоясал землю и уже вцепился в собственный хвост. Рыбы и морские гады разбивают об него лбы, им никак не понять, что за чудо спустилось сверху: гудящий мыслями всего человечества, говорящий на всех языках мира и все же безмолвствующий, мудрый змей, вестник добра и зла, чудо из чудес мирового океана —

великий морской змей нашего времени.

САДОВНИК И ГОСПОДА

В миле от столицы, посреди старинной усадьбы, стоял красивый барский дом с массивными стенами, башенками и фронтонами. В этом доме жили муж и жена — богатые и знатные дворяне. Они, правда, приезжали сюда только летом, но это было самое любимое их поместье. Дом был красив снаружи, удобен и уютен внутри. Высеченный из камня родовой герб хозяев украшал парадный подъезд. Прекрасные розы обвивали этот герб и поднимались вверх по стене, а перед домом расстилался густой ковер зелени. Рядом с белым и красным боярышником здесь красовались редкостные цветы, которые цвели не только в оранжерее, но и под открытым небом.

Недаром у хозяев усадьбы служил хороший садовник. Цветник, фруктовый сад, огород — все это было делом его рук и радо-

вало глаз. За огородом еще сохранялись остатки старого сада, заросшего кустами букса, которые были подстрижены в виде шаров и пирамид. А дальше высились два огромных старых дерева, почти совсем высохших. Издали казалось, что внезапный порыв урагана сверху донизу облепил их голые сучья густыми комьями навоза. На самом деле это был не навоз, а птичьи гнезда.

В этих гнездах с незапамятных времен жили крикливые стаи ворон и грачей, которые устроили тут настоящий птичий городок и безраздельно царили в усадьбе. Они ведь были первыми поселенцами в здешних краях, исконными владельцами поместья, его подлинными хозяевами. Двуногих обитателей усадьбы они просто презирали, хоть и мирились волей-неволей с существованием столь низменных созданий. А те иной раз палили в птиц из ружей, и тогда стаи взъерошенных, перепуганных ворон и грачей взлетали с криком: «Карр! Карр!»

Садовник не раз говорил господам, что надо бы срубить эти деревья,— они портят вид сада; а как только их не станет, из сада улетят и крикливые птицы. Но господа и слышать не хотели о том, чтобы лишиться деревьев и птичьего гомона. В старых деревьях и в карканье птиц они видели особую прелесть — печать старины, которую хотели сохранить во что бы то ни стало.

— Деревья перешли к птицам по наследству от предков, так пусть же птицы и владеют ими, добрейший Ларсен! — говорили хозяева.

(Ларсеном звали садовника, но для нашей истории это не имеет значения.)

— Разве вам мало места, добрейший Ларсен? В вашем распоряжении цветники и теплицы, фруктовый сад и огород.

Садовник действительно мог распоряжаться цветниками, теплицами, садом и огородом, и он ухаживал за ними, возделывал и пестовал их с усердием и любовью. Господа были этим очень довольны, но не скрывали от садовника, что в других домах их часто угощают такими фруктами и показывают им такие цветы, до которых далеко их собственным цветам и фруктам. Эти слова огорчали садовника, потому что он всем сердцем желал, чтобы сад у его господ был лучший в мире, и ради этого трудился не покладая рук. Руки у него были умелые, а сердце доброе.

Однажды господа пригласили к себе садовника и сказали ему ласково и снисходительно, как и подобает господам, что вчера они были в гостях у своих знатных друзей, и те угостили их яблоками и грушами, да такими сочными, такими ароматными, что сами они, хозяева Ларсена, и все остальные гости пришли в восхищение.

— Конечно,— сказали господа,— те фрукты привезены из-за границы. Но отчего бы Ларсену не попытаться вырастить такие же в их усадьбе. Вот только смогут ли нежные плоды приспособиться к местному климату? По слухам, яблоки и груши, которые господа ели в гостях, были куплены в городе у самого крупного торговца фруктами; к нему-то господа и послали садовника, чтобы разузнать, из какой страны прибыли эти плоды, и выписать оттуда черенки.

Садовник хорошо знал этого торговца, так как по приказу господ продавал ему излишки фруктов из хозяйского сада.

И вот он поехал в город и спросил у торговца, откуда тот получил хваленые яблоки и груши.

— Из вашего собственного сада! — ответил торговец и показал Ларсену яблоки и груши, которые тот сразу узнал.

Ну и обрадовался садовник! Он поспешил к своим господам и сказал, что яблоки и груши, которые они ели в гостях,— из их собственного сада.

Господа ушам своим не верили.

— Быть не может, Ларсен! — говорили они.— Если вы хотите убедить нас, что это правда, принесите собственноручную расписку торговца фруктами.

И Ларсен принес ее господам.

— Удивительно! — воскликнули они.

Теперь каждый день к господскому столу подавали большие вазы с чудесными яблоками и грушами из их собственного сада. Целыми корзинами рассылались эти фрукты друзьям по соседству, в другие города и даже за границу. Господам это было очень приятно. Однако они никогда не упускали случая напомнить садовнику, что последние две осени погода особенно благоприятствовала фруктовым садам и у всех садоводов был хороший урожай.

Прошло немного времени. Однажды господа были приглашены на обед во дворец. На следующий день они вызвали к себе садовника и рассказали ему, что к королевскому столу подавали необыкновенно сочные и сладкие дыни из собственных королевских теплиц.

— Подите к придворному садовнику, любезный Ларсен, и попросите его дать вам семена этих необыкновенных дынь, хоть немножко.

— Но ведь королевский садовник сам получил от меня эти семена! — радостно воскликнул Ларсен.

— Если так, значит, он сумел вырастить из них превосходные дыни,— заявили господа,— дыни, поданные к столу, были одна другой лучше!

— Выходит, гордиться надо мне,— сказал Ларсен.— В нынешнем году у королевского садовника дыни не удались; и вот он увидел, какие чудесные дыни растут в саду вашей милости, отведал их и заказал несколько штук для королевского стола.

— Уж не воображаете ли вы, Ларсен, что за королевским столом подавались дыни из нашего сада?

— Ничуть в этом не сомневаюсь,— ответил Ларсен.

Он пошел к королевскому садовнику и получил у него свидетельство, в котором было сказано, что дыни, подававшиеся за обедом в королевском замке, были доставлены из сада, принадлежащего господам Ларсена.

Господа были поражены. Они рассказывали об этом случае всем и каждому и всякий раз показывали свидетельство королевского садовника. А семена дынь, как прежде черенки яблонь и груш, стали рассылать во многие страны.

Тем временем из разных мест приходили вести, что посланные черенки привились, яблони и груши приносят отменные плоды, которые названы по имени родовой господской усадьбы. Название усадьбы писали теперь на английском, немецком и французском языках.

Прежние хозяева усадьбы и мечтать об этом не могли.

— Лишь бы только садовник не возомнил о себе невесть что,— встревожились господа.

Но Ларсен думал совсем о другом: он стремился к тому, чтобы сохранить за собой славу одного из лучших садовников в стране и каждый год создавать какой-нибудь новый отличный сорт плодов или овощей. И он создавал их, но в благодарность за его труды ему часто приходилось слышать, что первые его прославившиеся фрукты — яблоки и груши — были все-таки самыми лучшими, а все остальные уже не могли с ними сравниться. Дыни, правда, очень вкусны, но все же далеко не так, как яблоки и груши. Клубника тоже хороша, но не лучше той, которую подают у других господ. А когда однажды у садовника не уродилась редиска, то господа только и говорили, что о неудачной редиске, словно позабыв обо всех других овощах и фруктах своего сада.

Можно было подумать, что господам приятно говорить: «В этом году у вас все уродилось плохо, добрейший Ларсен!» Они были просто счастливы, твердя: «Ах, как плохо все у вас уродилось нынче!»

Несколько раз в неделю садовник приносил в комнаты свежие букеты, подобранные с удивительно тонким вкусом; в этих букетах каждый цветок, сочетаясь с другими цветами, становился как будто еще прекраснее.

— У вас хороший вкус, Ларсен,— говорили господа.— Но не

забудьте, что этим даром вы обязаны не самому себе, а господу богу.

Однажды садовник принес господам большую хрустальную вазу, в которой плавал лист кувшинки, а на этом листе, опустив в воду длинный плотный стебель, покоился ярко-голубой цветок величиной с подсолнечник.

— Индийский лотос! — воскликнули господа.

В жизни они не видывали подобного цветка. Они приказали днем выставлять его на солнце, а вечером освещать искусственным светом. И каждый, кто видел этот цветок, приходил в восторг, называя его чудом. Так назвала его даже знатнейшая дама королевства — молодая принцесса. Она была умная и добрая девушка.

Господа сочли для себя честью преподнести принцессе голубой цветок, и она взяла его с собой во дворец. А они спустились в сад посмотреть, нет ли там другого такого же цветка, но не нашли того, что хотели. Тогда они позвали садовника и спросили, где он достал голубой лотос.

— Мы искали, но не нашли таких цветов ни в оранжерее, ни на клумбах в саду,— сказали они.

— Там их и нет,— улыбнулся садовник.— Этот скромный цветок растет на грядках в огороде. Но, правда, он необыкновенно красив? Он похож на голубой кактус, а на самом деле это всего лишь цветок артишока.

— Как же вы не сказали нам этого раньше? — возмутились господа.— Мы думали, что это редкий заморский цветок! Вы осрамили нас перед принцессой! Она пришла в восторг, как только взглянула на цветок, и сказала, что никогда не видела такого растения, а ведь она прекрасно разбирается в ботанике. Но теперь понятно, почему она его не узнала: науке нечего делать в огороде. И как вам могло прийти в голову, милейший Ларсен, принести в комнаты подобный цветок? Теперь над нами будут потешаться!

И прекрасный голубой цветок, сорванный на грядке, был изгнан из господских покоев, где он оказался не к месту. А господа отправились к принцессе извиниться и объяснить, что цветок был обыкновенным огородным растением, которое садовник вздумал поставить в вазу, за что и получил строгий выговор.

— Это грешно и несправедливо! — укоризненно проговорила принцесса.— Он открыл для нас цветок, о котором мы ничего не знали, показал нам красоту там, где мы и не думали ее искать! Пока артишоки в цвету, я прикажу придворному садовнику каждый день ставить их в вазу в моей комнате.

Так она и сделала.

Тогда господа объявили садовнику, что он снова может поставить в вазу свежий цветок артишока.

— В сущности, цветок и в самом деле красив,— сказали они.— Да, красив, как это ни странно! — И они даже похвалили садовника.

— Он любит, когда его хвалят,— говорили господа.— Он у нас — балованное дитя!

Как-то раз осенью поднялась буря. К ночи она так разбушевалась, что вырвала с корнем несколько могучих деревьев на опушке леса. И к большому горю господ (они так и говорили: «Какое горе!»), но к великой радости садовника, она повалила оба высоких дерева с птичьими гнездами. Слуги потом рассказывали, что к завыванию бури примешивались крики грачей и ворон, которые бились крыльями в оконные стекла.

— Ну, теперь вы, наверное, рады, Ларсен,— сказали господа.— Буря сломала деревья, и птицы улетели в лес. Ничто здесь больше не напоминает о старине; от нее не осталось и следа. Нас это глубоко огорчает!

Садовник ничего не ответил господам. Он молча лелеял мечту о том, как он возделает теперь прекрасный, солнечный участок земли, к которому прежде не смел прикоснуться, и превратит его в украшение всего сада на радость своим господам.

Вырванные бурей деревья, падая, смяли и поломали старые буксовые кусты, и садовник посадил на их месте простые полевые и лесные растения родной земли.

Ни один садовник, кроме Ларсена, не решился бы посадить в господском саду подобные растения. А Ларсен каждому отвел подходящий для него участок на солнце или в тени — как кому было нужно. Землю он возделывал с любовью, и земля щедро отблагодарила его.

Здесь поднялся уроженец шотландских пустошей — можжевельник, похожий цветом и очертаниями на итальянский кипарис. Расцвел блестящий колючий терновник, одетый зеленью и зимой и летом. А кругом пышно разросся папоротник разных видов, то напоминавший миниатюрные пальмы, то казавшийся предком нежного прекрасного растения, которое мы называем венерины волосы. Здесь цвел и репейник, который люди обычно презирают, но напрасно, потому что его свежие цветы могут служить украшением любого букета. Репейник рос на сухой почве, а ниже, на более влажном месте, зеленел лопух, тоже презираемое всеми растение, хотя его крупные, мощные листья придают ему своеобразную красоту. Королевская свеча — полевое растение с высоким стеблем и яркими цветами — тянулась ввысь, похожая на огромный многосвечный канделябр. Цвели здесь также ясменник, первоцвет, лесной ландыш, белокрыльник и нежная трехлистная кислица. Любо-дорого было смотреть на всю эту красоту!

А впереди всех, у самой проволочной ограды, расположился ряд карликовых грушевых деревьев, привезенных из Франции. Погода стояла солнечная, уход за ними был заботливый, и они вскоре стали приносить крупные, сочные плоды — такие же, как и у себя на родине.

На месте двух старых засохших деревьев садовник водрузил два длинных шеста: один из них был увенчан Даннеброгом — датским флагом, а другой шест летом и осенью был обвит душистыми побегами хмеля; зимой же к нему подвешивали кормушку, чтобы птицам небесным было чем поживиться на рождество.

— Наш Ларсен становится сентиментальным на старости лет,— пожимали плечами господа.— Но он служит нам преданно и честно.

В новогоднем номере одного столичного иллюстрированного журнала появилась гравюра, изображавшая старое поместье. На ней виден был и Даннеброг, и кормушка с рождественским угощением для птиц, а подпись гласила: «Какая это прекрасная мысль — возродить давний обычай, столь характерный для старинной усадьбы!»

— Что бы наш Ларсен ни придумал, об этом сейчас же раззвонят по всему свету! — удивлялись господа.— Прямо счастливец какой-то! Право, нам, чего доброго, придется еще гордиться тем, что он служит у нас.

Но они, разумеется, и не думали этим гордиться, ибо никогда не забывали, что они знатные господа, а значит, могут в любую минуту прогнать Ларсена, если им вздумается. Но они его не прогоняли, это были добрые люди, а таких добрых людей на белом свете очень много, к счастью для разных там Ларсенов.

Вот и вся история о садовнике и господах.

Поразмысли-ка о ней на досуге.

ЗЛОЙ КНЯЗЬ

Предание

Жил-был злой, высокомерный князь. Он только и думал о том, как бы покорить себе весь свет, на всех нагнать страх одним своим именем. И вот он шел в чужие земли с огнем и мечом; воины его топтали нивы и зажигали крестьянские дома; красные языки лизали листья на деревьях, а плоды поджаривались на обугливших ветвях. Часто бедная мать укрывалась с голеньким грудным малюткой за дымившимися стенами, но воины рыскали повсюду, находили их, и начиналась дьявольская потеха! Злые духи не мог-

ли поступать хуже. Но князю казалось, что дела шли как должно. День ото дня росло его могущество, имя его наводило ужас на всех, и удача сопровождала его во всех его деяниях. Из покоренных городов вывозил он золото и богатые сокровища, и в столице его скопились несметные богатства: нигде в свете не было ничего подобного. Он повелел строить великолепные дворцы, церкви и арки, и все, видевшие эти чудные постройки, говорили: «Какой великий князь!» Они не думали о бедствиях, в какие он поверг чужие земли, не слышали стонов и жалоб, раздававшихся в ограбленных и сожженных городах.

Сам князь смотрел на свое золото, на великолепные здания и думал, как другие: «Какой я великий князь! Но мне еще мало всего этого! Хочу большего! Ничья власть в мире не должна равняться с моею, не то что превосходить ее!»

И он пошел войной на всех своих соседей и всех покорил.

Плененных королей он велел приковывать золотыми цепями к своей колеснице всякий раз, как собирался проехаться по улицам столицы. Когда же он сидел за столом, они должны были лежать у ног его и его придворных и хватать куски хлеба, которые им бросали.

Наконец, князь повелел воздвигнуть себе на площадях и во дворцах статуи; он хотел было поставить их и в храмах, перед алтарем господа, но священники сказали: «Князь, ты велик, но бог выше тебя, мы не смеем сделать этого».

— Ладно! — сказал злой князь.— Так я покорю и бога!

И, ослепленный безумною гордостью, он приказал строить диковинный корабль, на котором можно было носиться по воздуху. Корабль был расписан разными красками и походил на павлиний хвост, усеянный тысячами глазков, но каждый глазок был ружейным дулом. Князь сел на корабль; стоило ему нажать одну пружину, из ружей вылетали тысячи пуль, а ружья сейчас же сами собой заряжались вновь. Сто могучих орлов были впряжены в корабль, и вот он взвился в воздух, к солнцу. Земля едва виднелась внизу, горы и леса казались сначала вспаханным дерном, затем нарисованными на географической карте и наконец вовсе исчезали в облачном тумане. Все выше и выше подымались орлы; тогда бог выслал одного из своих бесчисленных ангелов, но злой князь встретил его ружейным залпом. Пули отскочили от блистающих крыльев ангела, как градинки; только одна-единственная капелька крови вытекла из белоснежного крыла и упала на корабль, где сидел князь. Она глубоко въелась в дерево и надавила на дно корабля с страшною силой, словно тысячепудовая глыба свинца. Корабль полетел вниз с неимоверною быстротою; могучие крылья орлов переломились; ветер так и свистел в ушах у князя;

облака, собравшиеся из дыма от сгоревших городов, теснились вокруг и принимали чудовищные формы: огромных раков, протягивавших к князю сильные клешни, катящихся обломков скал и огнедышащих драконов. Князь лежал на дне корабля полумертвый от страха. Наконец корабль застрял в густых ветвях лесных деревьев.

— Я одолею бога! — сказал князь.— Я дал себе клятву одолеть его, и быть по сему! — И он приказал строить новые воздушные корабли; строили их семь лет. Велел он также ковать молнии из твердейшей стали, чтобы взять твердыню неба приступом, и собрал воинов со всех концов своего государства; войска покрыли пространство в несколько квадратных миль. Воины готовы были сесть на корабли, князь подошел к своему, но бог выслал на него рой комаров, один только маленький комариный рой. Насекомые жужжали вокруг князя и жалили его в лицо и руки. Он злобно выхватил меч, но рубил им лишь воздух, в комаров же попасть не удавалось. Тогда он велел принести драгоценные ковры и окутать себя ими с ног до головы, чтобы ни один комар не мог достать до него своим жалом. Приказ его был исполнен, но один комар ухитрился пробраться под самый нижний ковер, заполз в ухо князя и ужалил его. Словно огонь разлился по крови князя, яд проник в его мозг, и он сорвал с себя все ковры, разодрал на себе одежды и голый принялся метаться и прыгать перед толпой своих свирепых солдат, а те только потешались над безумным князем, который хотел победить бога и был сам побежден комариком!

ВЕН И ГЛЕН

Близ зеландского берега, напротив Хольштейнского замка, лежали когда-то два лесистых островка Вен и Глен с селами и поселками. Они и от материка лежали недалеко, и друг от друга тоже.

Но вот один островок исчез. Ночью разразилась страшная буря, море поднялось так высоко, как и не запомнили старики. Буря свирепела все больше и больше. Казалось, наступало светопреставление, разверзалась земля, колокола на колокольнях раскачивались и звонили сами собою.

В эту-то ночь остров Вен и исчез в морской глубине, и следа от него не осталось. Но часто потом в летние тихие ночи, когда море ясно и прозрачно, рыбаки, выслеживавшие угрей при свете укрепленного на носу лодки фонаря, видели (особенно более зоркие) в прозрачной глубине остров Вен, белую колокольню его церкви и высокие церковные стены.

И вот у жителей другого островка сложилось поверье, будто «Вен дожидается Глена»! Рыбаки рассказывали, что видели исчезнувший остров, слышали даже звон его колоколов, но это им только чудилось. Это, верно, пели дикие лебеди, которые часто нежатся тут на водной поверхности, их жалобные крики напоминают собой отдаленный колокольный звон.

Еще не так давно многие старики из жителей Глена хорошо помнили ту бурную ночь, помнили еще и то время, когда они детьми переезжали в часы отлива узенький пролив, отделявший их остров от Вена, как теперь переезжают пролив, отделяющий Зеландию от Глена,— вода ведь достигает только оси телеги.

«Вен дожидается Глена» — сложилось поверье, и все знали, что придет время, когда оно оправдается.

Не мудрено, что многие мальчики и девочки часто думали в бурные ночи: «А вдруг сегодня ночью Вен придет за Гленом!» В страхе принимались они читать «Отче наш», потом сладко засыпали, а наутро Глен со своими лесами, полями, приветливыми крестьянскими домиками, увитыми хмелем, оказывался на своем прежнем месте. В лесу распевали птички, резвились лани, и крот, как ни остро у него обоняние, не чуял еще запаха морской воды.

И все-таки дни острова сочтены. Мы не можем сказать наверное, сколько именно времени осталось еще существовать ему, но тем не менее дни его сочтены: в одно прекрасное утро остров исчезнет.

Может быть, ты еще вчера только был на берегу и любовался на диких лебедей, нежившихся на воде между Зеландией и Гленом, смотрел, как скользила вдоль лесистого берега лодка с распущенными парусами, сам перебирался на остров вброд — другой дороги ведь не было,— и лошади шлепали прямо по воде, которая плескалась о колеса.

Но вот ты уезжаешь оттуда, путешествовать, быть может, по белу свету и возвращаешься на родину лишь через несколько лет. Глядишь — перед тобою огромный зеленый луг, окруженный лесом; перед нарядными крестьянскими домиками благоухают стога сена. Куда же ты попал? Хольштейнский замок по-прежнему блещет своими золочеными шпилями, но он уже не на самом берегу, а далеко от него! Ты идешь по лесу, по полю, на берег моря... Где же Глен? Перед тобой нет никакого острова, одно открытое море! Неужели Вен пришел за Гленом, как говорило поверье? Когда же разыгралась эта ночная буря, когда случилось такое землетрясение, что древний Хольштейнский замок передвинуло далеко в глубь страны?

Никакой бурной ночи не было. Случилось все при свете солнца, днем. Человеческий ум устроил плотины, выкачал воду из

пролива и соединил Глен с твердою почвою. Пролив стал зеленым лугом, покрытым сочною травою, Глен крепко прирос к Зеландии. Старый замок стоит на прежнем месте. Это не Вен пришел за Гленом, а Зеландия притянула его к себе своими руками-плотинами, выкачала воду, разлучавшую ее с островом, и произнесла заклинание, соединившее их брачными узами. И остров принес с собою приданое — Зеландия обогатилась многими десятинами земли! Все это правда, об этом даже написано в газетах. Так вот поверье-то и оправдалось — остров Глен исчез.

ЗАТОНУВШИЙ МОНАСТЫРЬ

Неподалеку от Нейенкирха, среди дремучих лесов притаилась одинокая полянка с озерцом; редко кто сюда заглядывает, да и знают-то о ней немногие. В черных елях, окружающих лужайку и озеро, есть какая-то унылость, нечто, навевающее невольный трепет. Они словно окутывают таинственным покровом эти места; здесь не щебечут птицы, сюда не заглядывают солнечные лучи. Само озеро — глубины бездонной, и оттого-то еще больше сторонятся люди этих мест.

В стародавние времена стоял здесь женский монастырь с высокими башнями и с каменными статуями вдоль красных кирпичных стен.

Однажды ненастной зимней ночью набрел на монастырь нищий, больной старик; обессиленный, постучал он в ворота и стал проситься на ночлег. Но сестра привратница была женщина ленивая и жестокосердая, не хотелось ей в стужу спускаться вниз, отмыкать все замки и запоры. И она сердито крикнула старику, чтобы он шел своей дорогой и поискал ночлега в другом месте. Но странник так устал и продрог, что дальше не мог идти; он снова стал просить, жалобно плакал, но все было напрасно. Ни настоятельницу, ни остальных монахинь не тронуло его горе. Только одна-единственная из сестер, которая еще не дала монашеского обета, сжалилась, видя его слезы, и заступилась за старика. Но монашки только посмеялись над ней, поглумились над ее добротой, да так и оставили беднягу за воротами.

Тут непогода еще пуще разыгралась, а старик прикоснулся своим посохом к стене, и в мгновение ока неприступный монастырь провалился в бездну. Огонь и дым взметнулись из страшного жерла, которое тут же заполнилось водой. К утру буря стихла, и на том самом месте, где вчера еще солнце играло на золотых крестах высоких колоколен, теперь раскинулось озеро.

Добросердечная сестра послушница, которая пожалела старика, горячо, всей душой любила одного из самых знатных рыцарей тех краев, и потому монастырь казался ей темницей. Не раз ночною порою пробирался рыцарь тайком через лес к уединенному монастырю. Когда все вокруг погружалось в сон, они переговаривались через решетку на окне ее кельи, и часто, бывало, их свидания кончались лишь на заре.

Пришел он и в ту ненастную ночь. Но какой болью и тревогой наполнилось сердце рыцаря, когда не увидел он больше на прежнем месте монастыря, а лишь услышал, как ревет и клокочет вода, скрытая густыми клубами дыма. Рыцарь стал ломать руки, рыдать и так громко звать любимую, что голос его сквозь бурю разносился далеко вокруг.

— Хоть раз, один лишь раз,— вздыхал он,— приди в мои объятия!

И тут из бездны, над которой пенилось бурное озеро, раздался голос:

— Приходи завтра ночью, в одиннадцатом часу, на это самое место! На волнах ты увидишь алую, как кровь, шелковую нить, потяни за нее!

Голос смолк. В тоске и горе отправился рыцарь домой, не ведая, что уготовит ему рок. Но в назначенный час он снова пришел на берег озера и сделал все, что повелел ему голос.

Трепетной рукой схватил он алую, как кровь, нить, потянул за нее — и вот перед ним предстала его возлюбленная.

— Неисповедимый рок,— сказала она,— вверг меня, ни в чем не повинную, в бездну вместе с виноватыми, но мне дозволено всякую ночь от одиннадцати до двенадцати беседовать с тобой; преступать же этот час мне нельзя; если я хоть раз нарушу условие, ты меня больше не увидишь. И, кроме тебя, никто не должен меня видеть, не то незримая рука перережет нить моей жизни.

Долго, долго продолжались ночные свидания на берегу озера, и всякий раз рыцарь тянул за алую, как кровь, нить, и из синих вод появлялась его возлюбленная. Как счастливы были они оба этими тайными встречами и ничуть не опасались, что их застигнут врасплох в этом безлюдном, внушающем ужас месте. Но зависть и злоба выследили рыцаря, и однажды чужой человек подглядел, как влюбленные рука об руку гуляют по берегу озера. Когда на следующую ночь рыцарь приблизился к милому озеру, воды его в ясном свете месяца алели, будто кровь. Трепетной рукой схватился он за нить, но она побелела и была перерезана.

Стеная, метался рыцарь по берегу, ломал руки, звал свою любимую. Но все было тихо. Тогда безутешный юноша бросился в озеро, и волны над ним сомкнулись.

ТАЛИСМАН

Принц с принцессой праздновали еще свой медовый месяц. Счастливы они были чрезвычайно, и только одна мысль не давала им покоя: им очень хотелось знать, будут ли они так же счастливы всю свою жизнь? Поэтому и стали они мечтать о талисмане, который оградил бы их от всяческих огорчений в супружестве. А были они наслышаны об одном человеке; жил этот человек в лесу, и все уважали его за мудрость. В любой беде и во всяком затруднении мог он дать дельный совет. Отправились к этому мудрецу принц с принцессой и рассказали ему обо всем, что у них было на душе. Выслушал их мудрец и сказал:

— Ступайте странствовать по белу свету, и как встретятся вам счастливые и всем довольные муж с женой, попросите у них лоскуток исподнего, а как раздобудете такой лоскуток, носите его всегда как талисман. Это средство испытанное.

Сели принц с принцессой на коней и отправились в путь; вскоре услыхали они от людей об одном знатном рыцаре, который будто бы жил со своей женой счастливее всех других. Поехали они к нему в замок и стали сами супругов расспрашивать, правда ли они так довольны своей жизнью, как говорит про то молва.

— Все правда,— ответили те,— одно только горе: детей у нас нет!

Стало быть, здесь искать талисман было нечего, и пришлось принцу с принцессой отправиться дальше на поиски счастливых и всем довольных супругов.

И вот приехали они в город, где, по слухам, был один честный горожанин, который жил со своей женой в мире, любви да согласии. К нему-то они и пошли и точно так же спросили, правда ли он так счастлив в браке, как о том рассказывают.

— Да, уж что правда, то правда! — ответил муж.— Живем мы с женой душа в душу, вот только детей у нас многовато, а с ними много у нас и забот и горя!

Стало быть, и у него искать талисман было нечего, и принц с принцессой отправились дальше, расспрашивая повсюду, не слыхал ли кто про счастливых и довольных супругов. Но такие все не объявлялись.

Однажды, едучи полями и лугами, увидали они неподалеку от дороги пастуха, который весело играл на свирели. И видят, что к пастуху идет женщина с грудным младенцем; другого ребенка, мальчика, она ведет за руку. Как только пастух заметил женщину,

он пошел к ней навстречу, поздоровался, взял малютку и стал целовать и ласкать его. А собака пастуха, прыгая и лая от радости, подбежала к мальчику и лизнула ему ручонку. Меж тем жена пастуха достала глиняный горшок, который принесла с собой, и сказала:

— Иди-ка, отец, поешь.

Муж сел на землю и принялся за еду, но первый кусок он отдал малютке, а второй разделил с мальчиком и собакой. Все это видели и слышали принц с принцессой. Подошли они поближе и заговорили с мужем и женой:

— Уж вы-то, наверное, самые что ни на есть счастливые и довольные супруги?

— Да, уж что правда, то правда,— ответил муж.— Слава богу. На свете нет ни одного принца с принцессой счастливее нас.

— Знаете что,— сказал тогда принц,— помогите нам, вы об этом не пожалеете! Дайте нам по лоскуточку от рубашки, которую вы носите на теле!

При этих словах пастух с женой как-то чудно́ переглянулись. А пастух сказал:

— Видит бог, мы бы рады дать вам не то что по лоскутку, но и целую сорочку, будь она у нас. Но у нас и тряпки-то никакой в доме нет.

Пришлось принцу с принцессой отправиться дальше не солоно хлебавши. Под конец долгие напрасные скитания им наскучили, и они повернули домой. Когда принц с принцессой проезжали мимо хижины мудреца, они упрекнули его за то, что он дал им такой плохой совет, и рассказали про свое путешествие.

Улыбнулся на это мудрец и сказал:

— Неужто вы и вовсе понапрасну съездили? Разве не вернулись вы домой умудренные опытом?

— Да,— ответил принц,— я узнал, что счастье и довольство своей судьбой — редкий дар на этом свете!

— А я,— сказала принцесса,— поняла: чтобы быть счастливым, нужно только одно — *быть* счастливым!

Протянул тут принц принцессе руки, и поглядели они друг на друга с такой нежной любовью! Благословил их мудрец и сказал:

— В вашем собственном сердце отыскали вы истинный талисман! Храните его бережно, и тогда злой дух неудовлетворенности никогда не овладеет вами.

ОБОРВЫШ НА ТРОНЕ ФРАНЦУЗСКИХ КОРОЛЕЙ

Когда я в 1833 году был в Париже, мой друг, молодой парижанин, повел меня на выставку картин. Одна из них чрезвычайно поразила нас. Там запечатлен был момент из июльских дней, эпизод исторический, возвышенный и прекрасный. Мой провожатый описал мне его в нескольких словах.

В дни Июльской революции, а именно, в блистательный день победы, когда каждый дом был крепостью, каждое окно — бойницей, штурмовали Тюильри. В рядах осаждающих сражались даже женщины и дети; они ворвались в парадные покои и залы дворца. Оборванный подросток храбро дрался рядом со взрослыми и пал, насмерть израненный штыками. Случилось это в тронной зале, и истекающего кровью оборвыша уложили на французский трон, перевязали бархатом его раны; пурпур королевского престола обагрился кровью.

Этот момент и изобразил на своей картине художник — бледное, просветленное лицо мальчика, устремленный ввысь взор, оцепеневшее тело. Обнаженная грудь, убогое платье и роскошный пурпурный бархат производили сильное впечатление.

Быть может, этому мальчику еще в колыбели предсказали: «Ты умрешь на французском престоле!» Быть может, материнское сердце грезило тогда о снежных укреплениях под Бриенном и о том, другом мальчике, что стал потом императором Франции? Быть может, мать мечтала о такой же судьбе для своего сына? Но никогда французские короли так глубоко не волновали наши сердца, как этот умирающий мальчик в лохмотьях и царственном пурпуре.

Прошло несколько дней с тех пор, как мы видели эту картину, настали июльские торжества. Предстояло восстановление Наполеоновой статуи, одно народное увеселение должно было сменять другое; но первый день торжеств был посвящен памяти павших. В городе были воздвигнуты алтари, задернутые траурным крепом и убранные трехцветными лентами и знаменами. На улицах звучали хоралы, на домах развевались траурные полотнища и флаги. Один такой алтарь воздвигли на маленьком кладбище подле Лувра; прохожим здесь вручали букетики из желтых иммортелей, повитые черным крепом,— их возлагали на могилы. Около одной могилы на коленях стояла какая-то старушка с бледным выразительным лицом.

— Это его бабушка! — зашептали рядом со мной два француза, с молчаливым уважением глядя на старушку.

Они ушли, потом и она поднялась с колен, а мне никак было не отвести от нее взгляда. У меня из головы не шло, что старушка

и есть бабушка того самого мальчика. После я спросил одного из друзей, который тоже видел картину и сам участвовал в июльских боях, где же погребено тело мальчика.

— На площади у Лувра! — ответил он, и моя догадка превратилась в уверенность. Вечером я вновь отправился на кладбище. Нескончаемый людской поток двигался в удивительном молчании. На каждой могиле теплился голубой огонек лампадки. Глубокая тишина брала за душу. Я возложил букет на могилу, сохранив на память один цветок. Он напоминает мне о юном сердце, отданном за родину и свободу.

КОРОЛИ, ДАМЫ И ВАЛЕТЫ

Какие чудесные игрушки можно вырезать и склеить из бумаги! Однажды вырезали и склеили игрушечный замок, такой большущий, что он занял весь стол, а раскрасили его так, будто был он выстроен из красных кирпичей. У него была блестящая медная крыша, были башни и подъемный мост, вода во рву была словно зеркало, да там и лежало зеркальное стекло. На самой высокой сторожевой башне стоял вырезанный из дерева дозорный с трубой, в нее можно было трубить, но он не трубил!

Хозяином всему этому был мальчик по имени Вильям, он сам поднимал и опускал подъемный мост, заставлял маршировать по мосту оловянных солдатиков, а потом открывал замковые ворота и заглядывал в большую рыцарскую залу, а там, как в настоящих рыцарских залах, по стенам висели портреты в рамах. Только портреты эти были карты, вынутые из колоды: червонные, бубновые, трефовые и пиковые короли в короне и со скипетром, дамы в покрывалах, ниспадающих на плечи, и с цветком или веером в руке, валеты с алебардами и развевающимися на беретах перьями.

Однажды вечером мальчик, облокотившись о стол, заглянул через открытые замковые ворота в рыцарскую залу, и тут ему вдруг показалось, будто короли делают на караул скипетрами и будто в руках пиковой дамы шевельнулся золотой тюльпан, а червонная дама даже подняла свой веер. Все четыре королевы милостиво подали Вильяму знак, что он замечен. Мальчуган придвинулся ближе, чтобы лучше видеть, но пошатнулся головой на замок, и тот пошатнулся. Тогда все четыре валета — трефовый, пиковый, бубновый и червонный, выставив вперед алебарды, загородили вход в залу, чтобы он и не пытался туда проникнуть.

Малыш понял и дружески кивнул картам: дескать, не беспокойтесь. Не дождавшись ответа, он кивнул еще раз и попросил:

— Скажите что-нибудь!

Но карты не вымолвили ни слова; когда же мальчик кивнул червонному валету в третий раз, валет соскочил со своей карты и встал посредине зала.

— Как тебя зовут? — спросил он малыша.— Глаза у тебя ясные, зубы — белые, вот только руки ты мыть не любишь!

Не очень-то любезно это было с его стороны!

— Меня зовут Вильям,— ответил малыш,— а это мой замок, а ты мой валет червей!

— Я валет червонного короля и червонной королевы, а вовсе не твой! — заявил валет.— Я могу выйти из карты и из рамы, а о знатных господах и говорить не приходится. Мы могли бы странствовать по свету, но он нам надоел; куда покойней и уютней сидеть на карте и оставаться самим собой.

— Значит, вы и вправду раньше были людьми? — спросил малыш.

— Людьми мы были,— ответил червонный валет,— но не очень добрыми. Зажги мне восковую свечку, лучше всего красную, потому что это масть моя и моих господ, и тогда я расскажу нашу историю владельцу замка; ведь ты, по твоим словам, и есть владелец замка. Только смотри не перебивай меня: раз уж я говорю, то все пусть идет, как по-писаному.

Видишь, это мой король, король червей: он самый старший из всей четверки королей, потому что родился первым; родился он с золотой короной на голове и державой в руках. И тут же начал править. Его королева родилась с золотым веером; веер этот ты можешь видеть и сейчас. Жилось им с малых лет просто прекрасно, в школу они не ходили, а только развлекались целый день — строили и сносили замки, ломали оловянных солдатиков и играли в куклы; бутерброд им приносили намазанный маслом с обеих сторон и посыпанный сахарной пудрой. Да, ну и времечко было, доброе старое время, так называемый золотой век, но даже и такое им надоело. Надоело оно и мне. И тогда на смену пришел бубновый король.

Больше валет ничего не сказал; мальчик хотел послушать еще, но валет не произнес больше ни слова; и тогда малыш спросил:

— А потом что было?

Червонный валет не ответил, он стоял навытяжку и не отрываясь глядел на горящую красную восковую свечу. Малыш стал кивать ему, кивнул еще и еще раз — никакого ответа; тогда он повернулся к бубновому валету, и после третьего кивка тот тоже соскочил со своей карты, вытянулся в струнку и произнес одно лишь единственное слово:

— Свечку!

Малыш тотчас же зажег красную свечку и поставил ее перед ним: бубновый валет сделал алебардой на караул и сказал:

— Итак, явился бубновый король — король со стеклянным окошком-ромбиком на груди; и у королевы было такое же. Заглянешь в окошечко и сразу видишь, что оба супруга сделаны из того же самого теста, что и все другие люди. Это было всем так приятно, что им воздвигли памятник, который простоял целых семь лет, да он и был воздвигнут на века.

Бубновый валет снова сделал на караул и уставился на свою красную свечку.

Не дожидаясь пригласительного кивка маленького Вильяма, вперед степенно, точно аист, вышагивающий на лугу, прошествовал трефовый валет. Черный трилистник, будто птица, слетел с карты; он перелетел через голову валета, а потом снова вернулся на свое место в углу на карте. Трефовый валет, так и не попросив зажечь восковую свечку, как двое других валетов, заговорил:

— Не всем достается хлеб, намазанный маслом с обеих сторон. Такой бутерброд не достался ни моему королю, ни королеве; им пришлось ходить в школу и учиться тому, чему прежние короли не учились. И у них было стеклянное окошечко на груди, но никто туда не заглядывал, разве только для того, чтобы убедиться — не испортился ли часовой механизм, а если испортился, то выбранить их за это. Кому знать, как не мне: я служил моим господам много лет, из их воли я не выхожу. Захотят мои господа, чтобы я нынче вечером больше не говорил, я и буду молчать и сделаю на караул.

Вильям и ему зажег свечку, белую-пребелую.

«Фью!» Не успел Вильям зажечь новую свечу, как посередине рыцарской залы стоял уже валет пик, он появился мгновенно; хотя и прихрамывал, будто колченогий. Он не отдал честь; он скрипел, словно разваливался на куски; как видно, немало пришлось ему пережить. Заговорил и он.

— Каждому досталось по свечке,— сказал он,— достанется, верно, и мне, я знаю. Но если нам, валетам, зажигают по одной свечке, то нашим господам нужно зажечь в три раза больше.

А уж моим королю пик с королевой, пиковой дамой, подобает не меньше как по четыре! История их испытаний так печальна! Недаром они носят траур, а в гербе у них, да и у меня тоже,— могильный заступ! Меня даже за это в насмешку прозвали Черный Пер. Есть у меня прозвище и похуже, и выговорить-то его неудобно! — И он прошептал: — Меня называют Выгребатель нечистот. А когда-то я был первым придворным кавалером короля пик, теперь я последняя фигура в колоде игральных карт. Исто-

рию моих господ рассказывать не стану. Сам разберись в ней, как знаешь. Лихие настали времена, и хорошего ждать нечего, а кончится тем, что все мы взовьемся на красных конях выше туч.

Маленький Вильям зажег по три свечки каждому королю и каждой королеве, а пиковым королю с королевой досталось по четыре. В большой рыцарской зале стало светло-светло, словно во дворце самого богатого императора, а знатные господа кротко и царственно приветствовали мальчика! Червонная дама обмахивалась золоченым веером, в руке у пиковой дамы колыхался золотой тюльпан, да так, что казалось, будто он извергает пламя. Короли и королевы соскочили со своих карт и из рам в залу и стали танцевать менуэт, и валеты тоже. Они танцевали, озаренные пламенем. Казалось, вся зала горит; огонь трещал, из окон вырывалось пламя, языки пламени лизали стены, весь замок пылал.

Вильям испуганно отпрянул в сторону и закричал:

— Папа! Мама! Замок горит!

Посыпались искры, замок пылал и пламенел, и вдруг в огне раздалось пение:

— Теперь мы взовьемся на красных конях выше туч, как и подобает рыцарственным мужам и дамам. И валеты с нами!

Вот какой конец постиг игрушечный замок Вильяма и фигуры из колоды игральных карт. А Вильям жив до сих пор и часто моет руки.

И не он виноват, что замок сгорел.

«ЛЯГУШАЧЬЕ КВАКАНЬЕ»

Сидели лесные птицы на ветвях деревьев, а листьев там было не счесть; и все же все спелись на том, что хорошо бы им обзавестись еще одним новеньким, славным листком, совершенно необходимым, критическим, у людей таких листков столько развелось, что и половины бы хватило.

Каждая певчая птичка мечтала о такой музыкальной критике, где бы ее хвалили, а всех других бранили, если было за что. Но им никак было не спеться: кого же среди птиц выбрать в беспристрастные критики.

— И все же критик должен быть птицей,— изрекла сова; ее избрали председателем собрания, потому что она слыла мудрейшей из птиц.— Вряд ли стоит искать его на стороне, в мире других животных, разве что среди обитателей моря. Там рыбы летают в воде, словно птицы в воздухе, однако, этим, пожалуй, и ограни-

чивается фамильное сходство. Но ведь между рыбами и птицами есть еще промежуточные существа.

Тут слово взял аист и пошел щелкать клювом:

— Между рыбами и птицами существуют еще и земноводные: дети болота, лягушки — вот за них я голосую. Они неимоверно музыкальны, их хор напоминает звон церковных колоколов в лесной глуши. И меня так и тянет вдаль! — сказал аист.— Крылья чешутся, только они начнут распевать!

— И я голосую за лягушек,— присоединилась к аисту цапля,— правда, они не рыбы и не птицы, но все-таки живут в обществе рыб, а поют, как птицы.

— Ну, по музыкальной части договорились,— объявила сова,— но ведь «Листок» должен рассказывать обо всем, что есть прекрасного в лесу, стало быть, нужны сотрудники. Давайте поразмыслим об этом и поищем каждый среди своей родни.

Тут раздалась вольная и чудесная песенка жаворонка:

— Не бывать лягушке хозяйкой в «Листке», нет, я — за соловья.

— Прекратить щебетанье,— ухнула сова,— я призываю к порядку! Знаю я соловья, мы с ним — ночные птицы; всяк поет как умеет. Но выбирать в критики не следует ни его, ни меня, не то листок станет аристократическим или философским, оперно-бравурным листком, где тон будут задавать высокопоставленные лица, а наш орган должен еще защищать интересы простонародья...

Птицам никак было не спеться: будет ли «Листок» называться «Утреннее лягушачье кваканье», или «Вечернее лягушачье кваканье», или просто «Лягушачье кваканье». За последнее и проголосовали.

Теперь оставалось лишь найти дельных, или хотя бы слывущих дельными, сотрудников.

Пчела, муравей и крот обещали писать о промышленности и инженерном деле, они были доки по этой части.

Кукушку взяли в поэты-натуралисты, воспевать природу; как певчая птица она не котируется, но тем не менее в жизни простонародья играет огромную роль.

— Кукушка всегда превозносит только самое себя, она самая тщеславная из всех птиц, а так невзрачна с виду,— заметил павлин.

Тут к редактору лесного «Листка» прилетели навозные мухи.

— Предлагаем свои услуги,— зажужжали они,— мы хорошо знаем людей, человеческих редакторов, да и человеческих крити-

ков тоже; садишься на свежее мясо, откладываешь яички, а завтра, глядишь, оно уже и протухло. Пусть только понадобится редакции, и мы, по долгу службы, изничтожим любой настоящий талант! Если же представлять какую-нибудь партию, то «Листок» обретет такую большую силу, что можно будет позволить себе и наглость. А потеряем подписчика — не беда: взамен найдется десять новых. Будьте бесцеремонны, поносите всех бранными словами, выставляйте к позорному столбу, свистите, сунув пальцы в рот, как члены Союза молодежи, и вы станете силой в государстве.

— Ах ты, птица перелетная! — ругнула лягушка аиста.— Лягушонком я, правда, смотрела на него снизу вверх в почтительном трепете, а когда он разгуливал по болоту и рассказывал про Египет, мой кругозор расширялся — я узнавала о чужих диковинных странах. Теперь он меня больше не вдохновляет, все в прошлом, я поумнела, стала мыслящей, приобрела влияние, я печатаю критические статьи в «Лягушачьем кваканье». Недаром одну из букв датского алфавита называют, как и меня, «лягушка» или «квакушка». Среди людей тоже попадаются такие. Я написала об этом целый подвал в нашей газете.

ПРИМЕЧАНИЯ

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН. СКАЗКИ. ИСТОРИИ

«Нет на свете такого человека, которому бы хоть раз в жизни не улыбнулось счастье,— утверждал великий датский писатель, оптимист Ханс Кристиан Андерсен.— Только до поры до времени счастье это скрывается там, где его меньше всего ожидают найти». Так и счастье самого Андерсена притаилось, по его словам, в обыкновенном гусином пере, с помощью которого ему хотелось вначале создавать пьесы, романы, стихотворения, путевые очерки, а уже потом — сказки. Долгие годы писатель заблуждался, считая свои сказки чем-то вроде побочного занятия, а себя — драматургом, романистом, поэтом, но отнюдь не сказочником. И страдал, когда его романы (если не считать «Импровизатора», 1835) и, в особенности, пьесы (за исключением пьес-сказок «Грезы короля», 1846; «Дороже жемчуга и злата», 1849; «Оле-Лукойе», 1851) не приносили успеха. Только в конце жизни Андерсен, окончательно разочаровавшись в себе, как в драматурге и романисте, писал: «...драматические работы редко приносят мне радость... Для романов у меня нет достаточных знаний...» Трезво оценив наконец свое истинное дарование, он тогда же признался, что счастье пришло к нему в образе Музы, одарившей его «богатством сказок». Он понял, что сказки его «блестящее, лучшее в мире золото, то золото, что блестит огоньком в детских глазках, звенит смехом из детских уст и из уст их родителей». И когда Андерсен видел, что дети и взрослые довольны сказками, которые лились из-под его пера, он повторял: «Да, и в щепке порою скрывается счастье!»

Недооценивая свой талант сказочника, Андерсен тем не менее создал более ста семидесяти сказок и историй, ставших любимым чтением детей и взрослых. А его пять романов, более двадцати пьес, восемь путевых очерков и бесчисленное множество стихотворений остались лишь значительными вехами на творческом пути сказочника, потому что работа над ними помогала оттачивать его главное дарование. «Проба пера» в этих жанрах способствовала созданию оригинальной литературной сказки Андерсена, о которой выдающийся норвежский писатель Бьёрнстьерне Бьёрнсон справедливо заме-

тил, что в ней «есть и драма, и роман, и философия» датского сказочника. Именно сказки и истории принесли Андерсену большое признание, намного пережившее их автора. Сказочник умер почти сто лет тому назад, в 1875 году, а сказки его и ныне считаются эталоном величайшего мастерства. Они — своего рода лакмусовая бумажка, на которой испытывается талант того или другого современного сказочника. «Новая литературная сказка,— пишет австрийский литературовед Рихард Бамбергер,— основана не на опыте немецких романтиков, а на опыте датчанина Ханса Кристиана Андерсена, короля сказочников. Кто соразмеряет с искусством Андерсена каждую новую сказку, которую он со всей ответственностью хочет предложить юношеству, тот никогда не ошибется. Сказки Андерсена могут служить мерилом не только благодаря их литературной ценности, но и благодаря многообразию их форм». Не случайно высшая международная награда за лучшие детские книги, за лучшие сказки носит имя Андерсена. Золотой медали Ханса Кристиана Андерсена, присуждаемой с 1956 года (раз в два года) Международным Советом по книгам для детей и юношества во Флоренции, удостоены такие прекрасные сказочники наших дней, как Астрид Линдгрен и Туве Янссон, Джанни Родари и Джеймс Крюс. Они продолжают традиции своего датского предшественника, заложившего основы западноевропейской литературной сказки.

* * *

«Для нас, датчан,— сказал современный датский писатель Ханс Шерфиг,— Ханс Кристиан Андерсен является подлинно национальным, самобытным писателем, неотделимым от наших родных цветущих островов. В нашем сознании он неразрывно связан с историей Дании, ее традициями, природой, характером народа, с его своеобразной склонностью к юмору». Ханс Кристиан Андерсен, почти ровесник XIX века, свидетель его крупнейших событий, сумевший выразить чувства и мысли своих европейских и, особенно, датских современников, родился 2 апреля 1805 года в провинциальном датском городе Оденсе на острове Фюн. Сын сапожника и прачки, житель городской окраины, он рано потерял отца (1816) и с детских лет испытал горечь и унижение бедности. Мальчику пришлось трудиться в мастерской и на фабрике, учиться в школе для бедняков, бывать в больнице и в богадельне. Тогда же, вместе с симпатией к труженикам, к слабым и угнетенным, в нем пробудился интерес к фольклору. В старинном городе Оденсе, славившемся народными обычаями и празднествами, Ханс Кристиан слышал от старух-прядильщиц и знакомой служанки множество народных сказок, песен и поверий. Среди детских впечатлений Андерсена большое место занимают национальные предания и легенды, связанные с оденсейскими достопримечательностями — собором Святого Кнуда, церковью Серых Братьев, Холмом Монахинь, Колокольным омутом на озере. Еще в Оденсе мальчик пристрастился к театру, к чтению и к детски-неосознанному сочинительству,

благодаря которому многие из земляков называли его «маленький Вильям Шекспир». В Копенгагене, куда четырнадцатилетний Андерсен приехал совершенно один и всего лишь с несколькими далерами в кармане, он познакомился с жизнью низов датской столицы. Для него самого это были годы голода и холода, неудачных, но настойчивых попыток стать певцом или балетным актером. Вместе с тем этот оборванный, почти всегда голодный подросток, живший милостями расположенных к нему людей, не оставлял мечты стать поэтом. В 1822 году ему посчастливилось опубликовать сборник «Юношеские опыты», куда вошли некоторые из его ранних незрелых и подражательных пьес, новелл и стихотворений. В том же году семнадцатилетний Андерсен, не получивший до тех пор самого элементарного образования, сел на школьную скамью рядом с малышами. Пять лет, сначала в Слагельсе, затем в Хельсингёре, будущий писатель учился под началом невежественного и грубого ректора Мейслинга, корившего юношу его простым происхождением. Но, даже изнемогая под бременем зубрежки и постоянного недоброжелательства ректора, Андерсен писал романы и стихотворения в романтическом духе. Из Хельсингёра юноша рвался в Копенгаген, где была привлекавшая его литературная среда и где жили боготворимые им писатели-романтики Адам Готлиб Эленшлегер и Бернар Северин Ингеман. Вернувшись в 1827 году в Копенгаген и став в 1828 году студентом Университета, Андерсен по-прежнему влачил жалкое существование; да и в дальнейшем, когда случилось чудо и его стали печатать, нужда еще долго, вплоть до 1839 года, не оставляла поэта, так как его литературные заработки были очень скудны. В 1829 году на сцене Королевского театра в Копенгагене была поставлена пьеса Андерсена «Любовь на башне св. Николая, или Что скажет партер» и опубликован его путевой очерк «Прогулка пешком от Хольмского канала до восточной оконечности острова Амагер в 1828—1829 годах». С тех пор жизненный и творческий путь Андерсена фактически сливаются в одну колею. В этом причина того, что его биографы почти всегда освещают подробно лишь детские и юношеские годы сказочника. С 1829 года жизнь Андерсена — бесконечный творческий труд, счастье путешествий по Дании и за границу, калейдоскоп впечатлений и встречи с друзьями: в их числе — Гейне, Гюго, Дюма-отец, Шуман, Рашель, Торвальдсен и другие выдающиеся люди своего времени. Его одинокую жизнь заполняют мечты о счастье, безнадежная любовь к певице Йенни Линд и «духовные детки», как называл он свои сказки. И, наконец, к нему приходит всемирная слава; в Дании, где дольше всего не признавали талант Андерсена, 6 декабря 1867 года его избрали почетным гражданином родного города Оденсе. Умер Андерсен 4 августа 1875 года, а 8 августа были похороны. За гробом великого сказочника, сына сапожника и прачки, шли бедняки и знать, студенты и министры, иностранные послы и датский король. В стране был объявлен национальный траур.

Начало профессиональной литературной деятельности Андерсена относится к 1820-м годам, к периоду расцвета романтической литературы в Да-

нии, когда, по словам одной из его современниц, «модно было все сказочное и сверхъестественное». Андерсен, которого принято считать последователем немецких и датских романтиков, пережил в юности увлечение творчеством Тика и Шамиссо, Эленшлегера и Ингемана. Его ранние произведения носят следы явных заимствований у этих писателей. Но уже в конце 20-х — начале 30-х годов, когда ему ближе всех был Э.-Т.-А. Гофман с его сочетанием сказочного и реального, Андерсен присматривается к творчеству Бредаля, а позднее и Хейберга. Ведь в творчестве Ханса Кристиана Бредаля появляются уже к этому времени реалистические тенденции, а драматург Йохан Людвиг Хейберг начинает критиковать наиболее неистовые проявления фантастики в романтических произведениях. Позднее Андерсен открывает для себя «цветущую» русскую литературу, приходит в восторг, получив в подарок автограф Пушкина, и восхищается, прочитав «Муму» Тургенева. Последовательно преодолевая влияние писателей романтической школы, Андерсен постоянно искал свой путь, создавая оригинальные, ни с чем не сравнимые литературные авторские сказки.

В начале XIX века крупнейшие писатели Дании: Адам Эленшлегер, Бернар Северин Ингеман, Николай Фредерик Северин Грундтвиг и др.— познакомились с основными принципами иенской романтической школы, а Эленшлегер, признанный глава датского романтизма, написал в 1802 году манифест романтической школы Дании — поэму «Золотые рога», в которой высказал восхищение перед древностью, «когда на Севере царило сияние, когда небо спустилось на землю». В Дании к этому времени уже существовали внутренние социально-исторические предпосылки для возникновения романтического движения. Трудное политическое и экономическое положение страны в начале XIX века, вызванное ее участием в наполеоновских войнах, недовольство настоящим способствовали развитию национального самосознания и подъему патриотизма в стране. «Как будто народное самосознание, мирно дремавшее в течение восьмидесяти лет, пробудилось благодаря могучему удару грома»,— писал Ингеман после знаменитой битвы с английским флотом на рейде Копенгагена 2 апреля 1801 года. В тот день был нанесен страшный удар морскому и торговому могуществу Дании, а жители ее столицы проявили чудеса героизма, защищая родной город. Рост национального самосознания пробудил в самых широких кругах интерес к героическому прошлому Дании, к изучению ее истории, древностей и фольклора. Датский историк Ведель Симонсен разыскивает развалины старинных замков в датских провинциях. В 1817—1820-х годах публикуется «Библиотека саг», начинают издавать датские народные песни, а писатели Юст Маттиас Тиле и Кристиан Винтер выпускают «Датские народные предания» (1818) и «Датские народные сказки» (1823). Причем для Дании, как и для некоторых других стран, в частности, для Франции, характерно то, что многие народные предания, сказки и поверья страны были записаны фольклористами значительно позднее, нежели их использовали авторы литературных сказок, такие, как Ингеман и Андерсен. Потому что систематическое издание

народных преданий, сказок, поверий и песен Дании было предпринято крупнейшим датским фольклористом Свеном Грундтвигом лишь в 1850-х годах. В Дании, где романтизм складывался под непосредственным влиянием немецкого, широкой популярностью пользовались в начале XIX века литературные сказки Тика и Шамиссо, Гофмана и Брентано, Ахима фон Арнима и Фуке. В 1816 году Эленшлегер познакомил своих соотечественников с лучшими образцами немецкой народной и литературной сказки, издав сборник в двух томах, озаглавленный «Сказки разных писателей». Туда вошли произведения Музеуса, братьев Гримм, Клейста, Тика, Фуке и др. В творчестве самого Эленшлегера литературная сказка занимает если не главное, то весьма значительное место. На смену философской и дидактической сказке XVIII века, с ее строгим рационализмом и схематичностью образов, пришел новый вид романтической сказки, тесно связанный с фольклором. К нему обращался и Эленшлегер, мечтавший оживить в памяти датчан «древнюю, почти забытую поэзию Севера ради прославления отечества». В первых датских литературных сказках — «Сказание о Ваулюндуре» (1807) и «Сказание о Хроаре» (1816) — Эленшлегер использовал сюжеты северных саг о знаменитых героях древности. Но ввел он в эти сказки и персонажи датских народных преданий — черных эльфов и русалок. В сказках Эленшлегера, пронизанных намеками на современность, в частности, на наполеоновские войны, даровитый, трудолюбивый кузнец Ваулюндур и гуманный король Хроар противопоставляются жестоким феодалам-завоевателям.

Другого датского романтика — Ингемана — больше привлекал мир средневековья с его христиански-рыцарскими идеалами и мрачной фантастикой. Его сказки («Хелнас и Беатриса» — 1816, «Подземные духи» и «Игра не на жизнь, а на смерть» — 1817) насыщены мистическими и религиозными мотивами, взятыми из средневековых легенд, изобилуют кровавыми тайнами и убийствами. В противоположность Эленшлегеру, положительные герои Ингемана — рыцари-завоеватели, изображенные в привлекательном свете, добрые силы, обитающие в недрах земли. Им противопоставлены злые волшебники, духи, колдуны и горные ведьмы, исчадия ада в образе людей.

Уже первые литературные сказки Андерсена показывают, как далеко отошел он от своих предшественников. В конце 1820-х годов Андерсен заметил, что будет стоять «гораздо ниже Эленшлегера и далеко от Ингемана». Речь идет прежде всего о различии идейном и эстетическом. Ведь Эленшлегер справедливо писал, что Андерсену было свойственно «субъективное, оригинальное понимание сказки». Эта оригинальность понимания заключалась в особом отборе материала для сказочной обработки, в новом восприятии действительности, в своеобразной трактовке проблемы добра и зла. В отличие от Эленшлегера и Ингемана, Андерсен, который в юношеские годы был дружен с фольклористом Тиле и историком Симонсеном, постоянно обогащавшими его новыми материалами, опирался главным образом на сказки, предания и поверья, бытовавшие среди датского народа. Однако уже в первых стихотворных сказках конца 1820-х — начала 1830-х годов — «Каменный

крест на острове Мён», «Невеста морского короля», «Снежная королева», «Русалка с острова Самсё», «Хольгер-Датчанин», «Водонапазный колокол» (из путевого очерка «Прогулка пешком на остров Амагер...») — Андерсен расширил границы датской литературной сказки, введя темы современности и социальной критики. Особенно ощутимо это в ранних прозаических сказках: «Эльфы в Люнебургской роще», «Король говорит: «Это — ложь!» (из путевого очерка «Теневые картины путешествия на Гарц, в Саксонскую Швейцарию и т. д. и т. д. летом 1831 г.») и «Мертвый человек». Используя фольклорные источники, писатель рассказывает в завуалированной форме о современном ему обществе. Причем положительными героями Андерсена являются не рыцари и витязи древности, а добрые и сильные представители народа, противопоставленные злым и ничтожным коронованным особам. Андерсен обращался к произведениям фольклора не для того, чтобы сравнить прошлое с настоящим, а чтобы переосмыслить эти произведения и создать новые сказки в духе современных ему демократических тенденций.

Неудовлетворенность существующим положением вещей, стремление к лучшему, к воплощению своего этического идеала,— вот что заставило Андерсена обратиться к сказке. Только в сказке писатель мог наделять бедняков всеми жизненными благами, мог сажать на трон даровитых и умных тружеников, позволять им участвовать в управлении государством. Он мог изображать идеальных правителей, уступавших беднякам часть своих богатств и власти, а под покровом детской наивности и внешне безобидного юмора высказывать свободолюбивые и прогрессивные идеи. В своих сказках писатель под видом животных и оживших вещей бичевал аристократов и мещан, сатирически изображал светское общество. В иносказательной форме выразил он в сказках свой социальный замысел. В сказке 1860-х годов «Зеленые крошки» Андерсен отчасти ответил на вопрос, почему он обратился к жанру сказки. «Каждую вещь следует называть ее настоящим именем, и если уж это не удается в действительной жизни, то надо суметь хотя бы в сказке». При помощи особых художественных средств воплощает Андерсен в сказках свой идеал, создает в них свой, особый мир, где торжествуют справедливость, добро, любовь и человеческое достоинство.

Эти гуманистические принципы легли в основу первого сборника Андерсена «Сказки, рассказанные детям» (1835—1842). Большинство вошедших в этот сборник сказок создано на основе переосмысления и переоформления народных сюжетов и мотивов («Огниво», «Маленький Клаус и Большой Клаус», «Дикие лебеди», «Свинопас» и т. д.). В предисловии к третьему выпуску сказок 1837 года Андерсен писал о своих первых произведениях: «Я рассказал их по-своему, допуская изменения, которые считал уместными, давая фантазии освежить краски, поблекшие в старых картинах». Но даже обращаясь к иностранным — греческим, испанским, арабским и другим мотивам («Новое платье короля», «Сундук-самолет» и т. д.) или создавая новые оригинальные сюжеты («Дюймовочка», «Русалочка», «Ромашка» и др.), писатель придает им колорит датской народной жизни. Утверждая высокие нравст-

венные критерии и высмеивая отрицательных персонажей, Андерсен совершенно чужд морализации, назойливой дидактичности. Вместе с тем осуждение антидемократического социального строя, обличение общественных пороков придают сказкам Андерсена огромное морально-воспитательное значение.

Творчество Андерсена, начиная с 1830-х годов, опровергает легенду об его отрешенности от современных ему политических событий. В эти годы писатель, демократ и гуманист, мировоззрение которого складывалось под сильным влиянием идей Просвещения, приобщается к европейской общественной мысли. Июльская революция во Франции усиливает интерес Андерсена к современности. Вместе с тем понемногу выявляется и основное противоречие в его политических взглядах, противоречие между демократическими устремлениями и патриархальной верой в короля, «отца народа». Расплывчатый идеал добра, любви, человеческого достоинства и справедливости, за который Андерсен ратовал в произведениях 1820 годов, уже в начале 1830-х годов принимает более конкретные формы. В произведениях этого периода Андерсен воспевает, несмотря на присущую ему осторожность, «древо свободы», выросшее во Франции. В романах 1830-х годов «О. Т.» и «Только скрипач» писатель рисует суровую судьбу бедняка, лишения, выпадающие на его долю, скупые лучи счастья, редко озаряющие его жизнь.

Развитие художественного метода Андерсена идет в 1830-х годах по двум линиям. С одной стороны, писатель ограничивает фантастику сказок, облекает волшебные фигуры и образы в прозаические одежды, как бы «приземляет» их. С другой стороны, он чрезвычайно расширяет традиционные рамки сказочного жанра. В первом томе сборника по мере изменения традиционного мира старой волшебной сказки и ее приближения к реальной жизни возникает новый андерсеновский мир. Писатель населяет сказки событиями, происшествиями, деталями близкой ему действительности, сообщает им атмосферу жизни и быта Дании. Там упоминаются Копенгаген и его достопримечательности — Королевский сад, театр, церковь. Основные персонажи Андерсена: ремесленники — сапожники, кожевники, подмастерья; трактирщик, аптекарь, пастух, студент, советник и т. д. Особенно ярко выступает этот особый, созданный им мир в оригинальных сказках. В сказке «Цветы маленькой Иды» танцуют и устраивают балы, влюбляются, падают в обморок и умирают садовые цветы и игрушки, которым Андерсен приписывает черты характера и поступки людей. В сказке «Дюймовочка» полноправные действующие лица — животные, птицы и насекомые,— друзья и враги героини. В сказке «Русалочка» наряду с привычными героями народных сказок действуют ужи, полипы, морские змеи. «Я пресыщен жонглерскими фокусами с золотыми яблоками фантазии»,— писал Андерсен в феврале 1838 года. В конце 1830-х годов сказочный мир Андерсена все больше насыщается элементами действительности. В сказках второго тома сверхъестественные явления получают правдивое жизненное объяснение. Андерсен вводит в свои произведения и реально-бытовой комментарий, и элементы

научной фантастики. Не случайно Бьёрнстьерне Бьёрнсон писал о емкости первых сказок Андерсена, о том, что они были очень небольшими, «величиной с орех, но в них заключался целый мир». Этот особый мир, в котором действуют идеальные законы, своего рода социальную утопию Андерсен создает для того, чтобы показать, кого же он считает человеком в подлинном смысле этого слова. С середины 30-х годов в оригинальных сказках в качестве положительных героев выступают маленькие люди, чаще всего бедняки и обездоленные — носители большого человеческого достоинства («Дюймовочка»). Эта тема особенно развита в сказках «Стойкий оловянный солдатик» и «Ромашка».

Образы как положительных, так и отрицательных героев писатель создает, используя реальные, фактические особенности игрушек, цветов, растений, животных и т. д. На противоречии между естественными свойствами предметов, явлений и приписываемым им Андерсеном положением в обществе обычно основан и юмор сказок. Именно отсюда, из двойственной природы «вещных» героев сказок Андерсена, из сочетания их необыкновенной человечности с их естественными свойствами, возникает ощущение юмора и легкой иронии, которыми особенно ярко будет окрашено творчество датского сказочника в 1840-х годах.

Новым для сказочного жанра явился живой и эмоциональный язык произведений Андерсена, близкий к разговорному, и своеобразное построение сюжета. Важную роль в сказках играет автор-рассказчик с его симпатиями и антипатиями, с характерной оценочной интонацией и определенностью суждений. В некоторых сказках автор и рассказчик сливаются воедино, отождествляются, что необходимо Андерсену для придания оттенка достоверности происходящему. Порою Андерсен-рассказчик говорит от своего собственного имени.

Важным этапом на пути Андерсена-сказочника явился сборник «Новые сказки» (1843—1848), самое выдающееся его произведение 1840-х годов. Эти годы, отмеченные дальнейшим развитием конституционного движения и началом крестьянских волнений в Дании, сыграли важную роль в общественном развитии Андерсена. Очевиден возросший интерес писателя к революционным настроениям за границей, в частности, в Греции и в придунайских странах. Усиливается его критическое отношение к европейской, и особенно датской, действительности. Больше всего занимал в эти годы Андерсена вопрос об этических нормах датского общества, возмущавшего его своим мещанством и враждебностью истинным талантам. В путевом очерке «Базар поэта» (1841), куда Андерсен включил сказки и истории, явившиеся своеобразной прелюдией к сборнику «Новые сказки», писатель выступил с осуждением зла и насилия, против социальной несправедливости. Современники сказочника, да и многие исследователи его творчества, не обратили внимания на изменение названия сборника «Новые сказки». Некоторые критики объясняли это название тем, что этому произведению, предназначенному как для детей, так и для взрослых, уже не подходило прежнее

заглавие — «Сказки, рассказанные детям». А между тем несомненно, что Андерсен назвал эти сказки «новыми», потому что они значительно отличались от произведений 1830-х годов не только своими источниками и содержанием, но частично также и характером художественных средств. В сборник «Новые сказки», в отличие от сборника «Сказки, рассказанные детям», вошли в основном произведения, придуманные самим Андерсеном. Обработанных фольклорных сюжетов в его творчестве 1840-х годов гораздо меньше, чем в 1830 годах («Снежная королева» и др.). Интерес к современности, всегда присущий Андерсену, особенно характерен для сказок нового сборника, как оригинальных, так и основанных на фольклорных источниках. Писатель выходит здесь за пределы датской действительности, рисует человеческие черты, достоинства и недостатки, присущие не только его соотечественникам. Возросшая общечеловеческая моральная сила сказок, обличение Андерсеном общественных пороков, его призыв к активному вмешательству в жизнь делает эти произведения в 1840-х годах достоянием многочисленных зарубежных читателей, способствует их популярности за границей.

Обличение мещанства и аристократии («Гадкий утенок», «Счастливое семейство», «Штопальная игла», «Воротничок», «Ель», «Пастушка и трубочист», «Тень»), судьбы искусства в буржуазном обществе («Соловей», «Старый дом»), жизнь большого города («Девочка со спичками») — вот далеко не полный перечень новых современных тем в творчестве Андерсена этого периода. Обличение мещанства, ранее прозвучавшее в сказках «Свинопас» и «Оле-Лукойе», становится основной темой Андерсена в 1840-х годах. И для Дании это было делом огромной важности, если учесть отмеченный Ф. Энгельсом мещанский, филистерский характер, свойственный многим слоям датского общества того времени [1]. Но экономическая и политическая отсталость Дании, слабость демократического движения в стране привели к некоторым противоречиям в сказках Андерсена. Наряду с обличительной линией в произведениях этого периода появляются пессимистические и сентиментально-религиозные нотки («Девочка со спичками», «История одной матери» и др.).

1840-е годы — период появления таких мудрых социальных сказок Андерсена, как «Гадкий утенок», «Снежная королева» и «Тень»,— сказок, в которых своеобразная новаторская художественная манера писателя получает дальнейшее развитие. Бесконечно расширяется диапазон сказки, в нее широким потоком хлынула теперь повседневная будничная жизнь и природа. Если в первом сборнике сказок Андерсена выступают лишь отдельные персонифицированные явления природы — цветы, река и др., то в 1840-х годах писатель воссоздает датскую природу гораздо шире. В сказках оживают чудесные луга, леса и сады, необозримые лапландские просторы, плодородные поля, канавы, поросшие красными и желтыми цветами, древние курганы. «В особенности люблю я эти большие, залитые солнцем зеленые лужайки посреди леса, эти зеленые равнины, где пасутся олени и лоси...

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXI, с. 59.

Я могу часами ходить и созерцать окружающее, но эти часы, я надеюсь, не пропадают даром; точно так же, как солнечный луч влияет на пластинку дагерротипа, так влияют они на мою мысль, и рождается правдивая картина»,— писал Андерсен 23 июня 1845 года. В сказку Андерсена в 1840-х годах широко вводятся элементы национальной истории. Вместе с тем в ней все большее место занимает современность. Описание жизни народа, введение темы науки придает сказкам Андерсена большую достоверность и реалистичность. Писатель в такой мере насыщает сказку реальным жизненным материалом, что сам начинает сомневаться, остается ли она сказкой, не превращается ли в маленькую повесть или в бытовой рассказ. Отсюда — колебания Андерсена в определении того, что такое «сказка» и что такое «история», высказанные им в сказке «Бузинная матушка». С одной стороны, он ставит между ними знак равенства, так как один из героев заявляет, что любой предмет, на который упадет взор, может превратиться в сказку и из любого предмета, к которому прикасаются, можно извлечь историю. Однако от того, что героями сказки становятся реальные люди, обычные предметы, птицы и животные, сама сказка не теряет своей необычности, волшебства, фантастичности.

Важными вехами дальнейшего развития общественных и литературных взглядов Андерсена были революция 1848 года во Франции, ее отзвуки в Дании, известные в истории под названием «мартовские события», и войны, которые Дания вела со Шлезвиг-Гольштейном. Андерсен не участвовал в волнениях, происходивших в Копенгагене. Тем не менее, в последовавших за «мартовскими событиями» романе «Две баронессы» (1848), в путевом очерке «По Швеции» (1851) и в новом романе «Быть или не быть» (1857) ощутимы сложные философские раздумья и усиление общественных мотивов. В книге «По Швеции», куда Андерсен включил несколько историй, предваряющих его сборники «Истории» (1852—1855) и «Новые сказки и истории» (1868—1872), бросается в глаза возросший интерес автора к национальным преданиям. Последнее, впрочем, так же как ненависть сказочника к кровопролитию и его гимны миру, которые занимают значительное место в его историях, письмах и дневниках 1850—1860 годов, вызвано современными ему войнами.

Почему Андерсен стал называть свои произведения последнего периода уже не «сказки», а «истории»? Нельзя сказать, что сборник «Истории» представляет собой абсолютно новое явление, что в этом сборнике совершенно исчезла сказка и ее всецело заменила только история, прозаический рассказ и т. д. Отнюдь нет. Во многих отношениях этот сборник похож на предшествовавшие ему. В «Истории» вошли и переделки народных сказок («Ханс Чурбан»), и оригинальные сказки, продолжающие обличительную линию прежних сказок Андерсена («Истинная правда»). Только все они стали еще более современными и актуальными. Буржуазная ограниченность людей, видящих мир лишь со своей узкой точки зрения, как нельзя лучше проявляется в истории «Пятеро из одного стручка». По-прежнему использованы

в этом сборнике естественные свойства птиц, растений, игрушек как средство юмора, сатиры и иронии над человеческими свойствами. Только адресат стал более определенный: современный датский буржуа. Но наряду с развитием и видоизменением старых линий происходит постепенное введение нового. Расширяется тематика сказок Андерсена. Он создает ряд произведений, навеянных революцией 1848 года и борьбой за демократические свободы («Всяк знай свое место», «Пропащая»). В его сказках затрагивается тема буржуазного накопительства и власти денег, особенно актуальная для Дании того времени («Свинья-копилка», «Домовой у лавочника»). Андерсен не отказался совершенно от жанра сказки, но углубил ее философское содержание, ее «взрослый» подтекст. Андерсеновская сказка-история становится более серьезной и все чаще носит реалистический характер, автор насыщает ее и некоторым научно-познавательным материалом. Он присматривается теперь к природе не только как поэт, но и как естествоиспытатель. В этот период Андерсен тщательно изучал животный и растительный мир, сообщая, что делает «натуралистические пометки для будущих произведений, что знает теперь язык всех зверей». Совместное путешествие с биологом Йонасом Коллином-младшим, для которого писатель собирал улиток, расширило его научный кругозор и помогло с такой скрупулезностью изобразить персонажей истории «Улитка и розовый куст». В произведениях, где действуют растения, птицы, животные, появляются конкретные ботанические и зоологические подробности, но сказки и истории не теряют при этом своей поэтической прелести. В научно-популярные, научно-фантастические и философские сказки и истории включаются конкретные данные техники и науки — географии и истории («Муза нового века», «Великий морской змей»). Большим новшеством для сказок и историй Андерсена 1860—1870 годов явилось его внимание к реально существовавшим людям, оставившим след в истории Дании («Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях», «Епископ Бёрглумский и его свояк», «Предки птичницы Греты»).

Однако изменение названия нового сборника прежде всего связано с его бо́льшим, по сравнению с предыдущим, жанровым разнообразием. Когда в 1852 году появился первый выпуск сборника «Истории», сказочник сам объяснил причины появления нового заглавия: «Истории» — именно то название, которое я считаю наиболее подходящим в нашем языке для моих сказок... Народный язык подразумевает под этим заглавием и простое повествование, и наиболее смелое порождение фантазии; нянькины истории, басня и рассказ — обозначаются ребенком, крестьянином и простолюдинами словом «История». В новом сборнике, в самом деле, наблюдалось широкое жанровое различие. Наряду с картинками датской жизни, зарисовками с натуры («Истинная правда», «Есть же разница!»), большими многоплановыми новеллами («Иб и Христиночка»), социально-заостроенными, реалистическими рассказами («Пропащая», «Всяк знай свое место» и т. д.) встречались и обработки народных сюжетов и мотивов («Ханс Чурбан», «Домовой у лавоч-

ника») и подлинно андерсеновские сказки («Пятеро из одного стручка», «Свинья-копилка»).

Особенно ярко проявляется жанровое разнообразие сказки в последнем сборнике Андерсена «Новые сказки и истории». Объединив в заглавии названия двух предыдущих своих сборников «Новые сказки» и «Истории», писатель подчеркнул преемственность произведений 1860—1870 годов по отношению к сказкам и историям 1840—1850 годов. Андерсен говорил, что в течение многих лет творческой жизни «испытал свои силы во всех радиусах сказочного круга» и потому ему иногда приходили в голову идеи или мотивы, уже затронутые им раньше. Но и тогда, когда он использовал фольклорные сюжеты или мотивы, он осовременивал их, как в сказках «Скороходы», «Что муженек ни сделает, все хорошо» и «Жаба», или придавал бо́льшую философичность, как в сказке «Муза нового века», «Великий морской змей», «Вен и Глен». В этот период Андерсен признается, что разочарован счастливыми концами народных сказок. Вспомнив в истории «Тернистый путь славы» шведскую народную сказку «Стрелок Брютте», герой которой после длительных страданий достигает славы и почестей, писатель рассуждает, что в реальной жизни все бывает гораздо хуже. И пишет ряд философских сказок, в которых «волшебником» новой эпохи для него становится наука и ее достижения. Хотя Андерсена часто упрекали в «философском направлении» его сказок, ему якобы не свойственном, он утверждал, что такие философские сказки, как «Муза нового века», совершенно в его духе. И, конечно, прав был не рецензент газеты «Флювепостен», не увидевший в 1852 году ничего нового в первом выпуске сборника «Истории», а Бьёрнстьерне Бьёрнсон, который прекрасно определил сущность новых творений Андерсена в начале 1860-х годов, когда уже выкристаллизовались основные их черты. «Совершенно неправильно,— заметил норвежский писатель,— называть то, что теперь пишет Андерсен,— «сказка»... Теперь, после того как Андерсен уже не раз отходил от жанра романа, драмы, философского рассказа, лишь для того чтобы дать всем этим подавляемым росткам пробиться, как дубу сквозь утес, на другом месте, теперь у него, видит бог, и драма, и роман, и философия наличествуют в сказке. То, что это больше не сказка — само собой разумеется. Это — нечто андерсеновское и совершенно неизвестное в литературной аптеке... это нечто, не имеющее границ ни сверху, ни снизу, следовательно, безграничное и по форме... Но эта необузданность и то, что все формы и весь мир трагического, комического, лирического, эпического, песни, проповеди, шутки, все живое и безжизненное сливаются здесь воедино, как в раю, заставляет трепетать в ожидании его следующей работы».

* * *

Первыми произведениями Андерсена, переведенными на русский язык в 1844 году Р. К. Грот, были сказки «Бронзовый кабан» и отрывок из путевого очерка «Базар поэта» — «Лист», а в 1845 году роман «Импровизатор». На русский язык переводились целиком, да и то с немецкого языка, лишь отдельные сборники датского сказочника: «Повести (истории.— *Л. Б.*) Андерсена». СПб., 1859; «Новые сказки». СПб., 1869. В 1894—1895 годах появилось, впервые переведенное с датского языка, собрание сочинений Х.-К. Андерсена в 4-х томах. Это издание было осуществлено замечательными переводчиками А. В. и П. Г. Ганзен и было высоко оценено современниками. В частности, издатель И. И. Горбунов, ознакомившись с переводами супругов Ганзен, восторженно писал 31 января 1895 года: «Дорогой Петр Готфридович! Познакомившись с Андерсеном в Вашем переводе, я и товарищи мои по редакции нашли переводы Ваши превосходными, не оставляющими желать ничего лучшего. Благоухающая поэзия Андерсена впервые предстала читателям во всей своей чарующей прелести. Если бы лучшие писатели мира нашли себе таких переводчиков, то это подняло бы вкус к ним общества» (Письмо И. И. Горбунова к П. Г. Ганзену от 31 января 1895 г.; из личного архива М. П. Ганзен, стр. 1—2). Это собрание сочинений Андерсена до сих пор считается в Дании «... самой лучшей существующей антологией Андерсена» за пределами его родины (Erik Dal. H. C. Andersen — litteraturen op imod 1960. «Anderseniana», 2. reekke, bd. IV, 4, Odense, 1961, s. 409). Переводы А. В. и П. Г. Ганзен легли в основу всех дальнейших изданий Андерсена в России и в Советском Союзе, в том числе в основу наиболее полного издания сказок и историй Андерсена в двух томах, выпущенных в 1969 году Ленинградским отделением издательства «Художественная литература». В 1972 году этот двухтомник был полностью перепечатан в Кишиневе издательством «Лумина». В настоящем томе, где публикуются лишь отдельные сказки и истории Андерсена, в примечаниях дается указание на сборники и книги, откуда взяты те или иные произведения. Переводы воспроизводятся, в основном, по двухтомнику Андерсена 1969 года. Реальные примечания к отдельным сказкам и историям, заимствованные из этого издания, принадлежат переводчикам.

Первый сборник Андерсена «Сказки, рассказанные детям» («Eventyr fortalte for børn») был напечатан в 1835—1842 годах.

В 1829—1830 годах молодой Андерсен, поэт и драматург, автор отдельных прозаических и стихотворных сказок, задумал создать «цикл датских народных сказок». Но лишь в 1835—1842 годах он выпустил в свет два тома сборника «Сказки, рассказанные детям», объяснив это заглавие следующим образом: «В первом выпуске я, подобно Музеусу, но по-своему, пересказал старые сказки, слышанные мною в детстве, тон рассказчика еще слышался мне и казался самым естественным. Но я хорошо знал, что ученая критика

будет отрицать этот язык. Таким образом, чтобы настроить читателя на определенный лад, я назвал их «Сказки, рассказанные детям», хотя и считал, что они предназначены как для детей, так и для взрослых». Словом «рассказанные» Андерсен подчеркивал необычность стиля и формы этих сказок, то, что он писал их так, как рассказывал бы знакомым детям. И хотя сборник назывался «Сказки, рассказанные детям», уже третьему выпуску Андерсен предпослал обращение «Ко взрослым». Не случайно А. П. Чехов считал произведения датского сказочника подлинно художественной литературой, мерилом которой является доступность детям и взрослым. «Детям надо давать только то, что годится и для взрослых... Андерсен, «Фрегат «Паллада», Гоголь охотно читаются детьми, взрослыми тоже»,— писал А. П. Чехов. Андерсен начал работать над первыми сказками сборника в конце 1834 года, а уже 1 января 1835 года сказал, возлагая на свои творения большие надежды: «Они сделают мое имя бессмертным, я попытаюсь завоевать грядущие поколения». Однако сказки Андерсена понравились очень немногим его друзьям, среди которых были знаменитый датский физик Ханс Кристиан Эрстед и автор бытовых повестей Генриетта Ханк. Из отдельных сохранившихся материалов видно, что сказки Андерсена сразу же после выхода в свет встретили отклик в народе. «В то время как простые люди, суждению которых я придаю большое значение, оценили их выше всего, написанного мною, другие думали, что сказки эти крайне незначительны, и советовали мне больше не писать»,— вспоминал впоследствии Андерсен. Публике и критике, привыкшей к назидательным сочинениям, таким, как «Воспоминания детства отца Рейнхольда, сообщенные им своим родным детям не только ради развлечения, но также поучения и воспитания в страхе божьем ради», не хватало в произведениях Андерсена традиционных нравоучений, и писателю советовали следовать французским образцам. Общее мнение официальных литературных кругов того времени выразил редактор журнала «Даннора», усмотревший в этих своеобразных сказках лишь отсутствие морали и уважения к высоким особам. «Никто, вероятно, не станет утверждать, что чувство приличия у ребенка усилится, когда он прочитает о спящей принцессе, едущей верхом на спине собаки к солдату, который целует ее, после чего она сама, проснувшись, рассказывает об этом прекрасном происшествии, как об «удивительном сне»... или что его чувство чести возрастет, когда он прочитает о крестьянке, которая в отсутствие мужа сидит наедине с пономарем... или что его уважение к человеческой жизни углубится, если он узнает о таких событиях, как, например, убийство Большим Клаусом родной бабушки, а Маленьким Клаусом — Большого». Сказка о принцессе на горошине показалась редактору даже безответственной, «поскольку ребенок может вынести оттуда неправильное представление, что дама такого высокого происхождения всегда должна быть ужасно чувствительна». В России сказки Андерсена высоко оценил в 1858 году Н. А. Добролюбов, указавший, что они «написаны с замечательным талантом». Русский критик утверждал, что датский сказочник дает в своих творениях пример связи реализма и фан-

тастики, благодаря чему «реальные представления чрезвычайно поэтически принимают в них фантастический характер». Достоинством этих сказок Добролюбов считал отсутствие малейшего резонерства.

«О г н и в о» (стр. 21).— Сказка возникла на основе народного источника, который Андерсен знал с детства. Она известна в различных вариантах под названиями: «Дух в свече», «Чудо», «Деньги могут всему помочь», «Принцесса и двенадцать пар золоченых башмачков», «Мальчик и монах» и т. д.

Круглая башня была построена в Копенгагене астрономом Тихо Браге (1546—1601), устроившим в ней обсерваторию.

«М а л е н ь к и й К л а у с и Б о л ь ш о й К л а у с» (стр. 26).— Сказка построена на сюжете известной в Дании народной сказки о двух братьях, существующей в различных вариантах — «Большой брат и Маленький брат», «Мельница, которая толчет соль на дне морском», «Слепой Ханс» и т. д.

«П р и н ц е с с а н а г о р о ш и н е» (стр. 36).— Сказка эта несомненно датского происхождения, что утверждает и сам Андерсен. В предисловии к третьему выпуску сказок он писал: «В детстве я охотно слушал сказки и рассказы, многие из них еще и теперь живы в моей памяти; мне кажется, что самые простые из них по происхождению — датские, ни у одного иностранца я не нашел таких же точно». И далее среди подобных сказок он называл сказку «Принцесса на горошине». Если не искать буквального сходства, то и в датских народных сказках — таких, как «Пер-Сквалыга», «Женихи», «Ханс и Марен», «Скупой», «Маленькая Метте» и др., можно найти ряд прототипов сказки «Принцесса на горошине».

«Ц в е т ы м а л е н ь к о й И д ы» (стр. 36).— Это первая оригинальная сказка Андерсена. Замысел ее возник, когда он однажды рассказывал маленькой девочке Иде, дочери писателя Юста Маттиаса Тиле, о цветах в Ботаническом саду. «Несколько замечаний ребенка я запомнил и передал, когда сказка позднее была записана»,— вспоминал сказочник.

«Д ю й м о в о ч к а» (стр. 42).— Это оригинальная сказка Андерсена, в которой использованы отдельные мотивы и образы датских народных сказок. Слово «Дюймовочка» ассоциируется теперь с представлением о маленьком, но мужественном существе. Сказка неоднократно экранизировалась.

«Р у с а л о ч к а» (стр. 51).— Вместе со сказкой «Новое платье короля» она включена в третий выпуск сказок первого тома, которому предпослано обращение «Ко взрослым». Фольклорная тема любви русалки к человеку и водяного к земной девушке, затронутая Андерсеном в стихотворных сказках 1820-х годов. «Невеста морского короля» и «Русалка с озера Самсё», а также в драме 1833 г. «Агнета и водяной», интересовала писателя много лет. Андерсен говорил об этой сказке: «Она — единственная из моих работ, которая трогала меня самого в то время, как я писал ее». Образ Русалочки стал как бы символом творчества Андерсена, символом Дании. Не случайно ее изящная скульптура высится у входа в копенгагенский порт.

«Новое платье короля» (стр. 68).— Современники Андерсена предполагали, что сказка эта является сатирой на известного писателя Фредерика Палудана-Мюллера. Но об основной ее идее позволяет судить сравнение с предполагаемым источником, испанской новеллой XIV века, где повествуется о том, «что приключилось с одним королем и тремя обманщиками». Писатель сохранил основную сюжетную линию новеллы об обманутом короле, но внес несколько важных изменений, которые, по его собственным словам, должны были «придать сказке более сатирический характер». Андерсен заменил чудесное свойство платья, которое в испанском источнике разоблачало незаконнорожденных: «Каждый знал, что тот, кто не увидит платье короля,— не сын своего отца». Изменение, внесенное Андерсеном в конце, заострило смысл всей сказки. «Сказка «Новое платье короля»,— писал Андерсен,— кончается следующей фразой: «Это платье я хотел бы одеть и т. д.» Слова эти я хотел совершенно устранить, а вместо них вставил следующие, так как они придают всему повествованию более сатирический характер: «Да ведь король-то голый! — закричал вдруг какой-то маленький мальчик... а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было». Сатирический характер этой сказки был отмечен Н. А. Добролюбовым. Сказка «Новое платье короля» привлекла внимание Л. Н. Толстого, и он перевел ее в январе 1857 г. 16(28) февраля он снова вернулся к этому произведению: «Андерсена сказочка о платье. Дело литературы и слова втолковать всем так, чтоб ребенку поверили». В 1872 г. писатель переработал сказку и включил ее в свою «Азбуку». Между 9 апреля и 8 июля 1907 г., работая над «Детским кругом чтения», Л. Н. Толстой вновь обработал это произведение. Обдумывая современные ему политические события, великий русский писатель вспоминал образы этой сказки. «Люди придумывают себе признаки величия: цари, полководцы, поэты. Но это все ложь. Всякий видит насквозь, что ничего нет и царь — голый»,— писал он в 1904 г. Особенно остро прозвучали в этой связи слова Л. Н. Толстого в 1910 г.: «Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидал несправедливость своего положения. Это — сказка о царе в новом платье. Ребенком, который сказал то, что есть, что царь голый, была революция».

«Ромашка» (стр. 72).— Оригинальная сказка, вызвавшая восхищение датской писательницы Хенриетты Ханк. «Среди всех сказок самой моей любимой была и останется «Ромашка»,— писала она 27 октября 1838 г. Андерсену.

«Стойкий оловянный солдатик» (стр. 75).— Эту сказку очень любил Г. Гейне, который неоднократно читал ее вслух жене. Слова «Стойкий оловянный солдатик» стали символом несгибаемого мужества и упорства.

«Дикие лебеди» (стр. 78).— Сказка возникла на основе сюжета народной сказки «Одиннадцать лебедей» из сборника датского писателя Маттиаса Винтера «Датские народные сказки» (1823). «Прочитай сказку Маттиаса Винтера о диких лебедях,— писал Андерсен другу 5 октября 1838 г.— и скажи, хорошо или плохо она у меня обработана». Отдельные мотивы сказ-

ки Андерсена встречаются и в других датских народных сказках, записанных впоследствии Свеном Грундтвигом: «Принцы-вороны», «Немая королева», «Золотая птица», «Зеленый рыцарь» и т. д. «Дикие лебеди»! — писала 27 октября 1838 г. Хенриетта Ханк.— В этом произведении есть все, что только можно требовать от сказки, и, кроме того, еще — очаровательное поэтическое вступление. Необычайно трогательна также непоколебимая преданность сестры братьям...»

«Сундук-самолет» (стр. 90).— Сказка навеяна мотивом из «Сказок 1001 ночи». Центральная здесь сказка о спичках была первоначально задумана Андерсеном как самостоятельное произведение и только впоследствии вставлена в другой рассказ. 1 февраля 1839 г. Андерсен сообщил, что написал новую сказку «Спички», которая будет «необычайно сатирична».

«Аисты» (стр. 95).— Эта сказка, по словам Андерсена, основывается на народном поверье и детских стихах, связанных с аистами.

«Оле-Лукойе» (стр. 99).— В переводе на русский язык это означает: «Оле Закрой Глазки». Сказка построена на народном предании о фантастическом существе, усыпляющем малышей.

«Свинопас» (стр. 108).— 10 декабря 1838 г. эта сказка должна была впервые читаться известным датским артистом Фистером со сцены. В декабре 1838 г. Андерсен заявил о желании придать своему творчеству, в основном, сатирический характер и даже шутливо сообщил, что собирается стать «государственным сатириком». Одной из таких сатирических его сказок стал «Свинопас», в котором, по словам писателя, было заключено «несколько зерен старой датской народной сказки, которая в таком виде, в каком она была рассказана мне в детстве, не могла быть пересказана подобающим образом». Почти целиком воспользовавшись первой частью народной сказки «Нищий» и ее вариантами — «Гордая девушка», «Эсбен-трубочист», писатель смягчил элементы грубости и натурализма и создал своеобразную оригинальную сказку с совершенно новым окончанием.

В сборник «Три произведения» («Tre Digtninger», 1838) Андерсен включил поэму «Это сделал домовой», стихотворный рассказ «Настоящий простой солдат» и сказку «Калоши счастья».

«Калоши счастья» (стр. 112).— «Речь идет здесь,— говорил сам Андерсен об этой сказке,— о паре калош, обладающих таким свойством, что человек, одевший их, может очутиться где угодно и в каком угодно веке. Всякое, громко высказанное им желание также исполняется. Однако счастливая эта способность калош приносит только несчастье». Писатель воспользовался сюжетом народной сказки «Счастье и Разум», значительно переделав его. Сам Андерсен говорил в марте 1838 г., что сказка «Калоши счастья», «кажется, самая сатирическая из написанных мной сказок» (Тогда еще не были завершены «Свинопас», «Злой князь» и «Сундук-самолет»). Замечательный русский поэт А. Блок, очень любивший Андерсена («Я давно уже

не читаю ничего, кроме него...» — писал Блок 20 ноября 1907 г.), процитировал 21 декабря 1906 г. отрывок из сказки «Калоши счастья».

Стр. 117. Намек на *«Обыкновенные истории»* датской писательницы Гюллембург.

Стр. 118. *...одна из них была в двуцветном чепчике...* — При короле Гансе, в 1495 г., был выпущен указ, по которому женщины легкого поведения должны были носить чепчики бросающейся в глаза расцветки.

Книга Андерсена «Базар поэта» («En Digters Bazzar») была написана в 1842 году. Андерсен — автор нескольких книг путевых очерков, которые чрезвычайно важны тем, что позволяют судить об общественно-политических и литературных взглядах, о художественном кредо писателя. Даже его ранние путевые очерки, такие, как «Прогулка пешком от Хольмского канала до восточной оконечности острова Амагер в 1828—1829 гг.» (1829) и «Теневые картины путешествия на Гарц, в Саксонскую Швейцарию и т. д. летом 1831 г.» (1831), являются своеобразными творческими манифестами. В большинстве случаев Андерсен включал в свои очерки также сказки и истории, иллюстрировавшие высказанные им положения. Такого рода путевой очерк предшествовал каждому новому сборнику сказок Андерсена. Книга «Базар поэта» (1842) также является творческим манифестом писателя 1840-х годов, предваряющим его сборник «Новые сказки». Она появилась после путешествия Андерсена на Восток и в придунайские страны в 1841 году. «Что касается моего путешествия,— замечает он 20 июня 1841 года,— то я не собирался говорить о нем, но, увидев Восток, почувствовал своего рода влечение к нему. Это, вероятно, будет книга «Восточные вечера». В августе 1841 года Андерсен начал записывать некоторые «новеллы, арабески и общие размышления, навеянные путешествием. Собранные воедино, они могут дать картину того, что я видел». Вскоре появилась книга, в которой писатель рассказал о прекрасных городах, памятниках и произведениях искусства Германии и Италии, Греции и Сербии. С замечательным мастерством описал он жизнь бедной итальянской улицы. В многочисленных примечаниях к книге Андерсен пояснял достопримечательности виденных им стран. Но самое главное — то большое внимание, которое он уделяет революционным событиям, в частности, греческому восстанию против турок. Андерсен присутствовал на празднике свободы 6 апреля 1841 года в Афинах: «В тот день,— писал он,— начаялось восстание, в тот день пролилась первая турецкая кровь». Писатель считал, что в воспитании свободолюбивых стремлений современной Греции немалую роль сыграло искусство. Именно народные греческие песни с их призывом к восстанию помогли, по его мнению, внушить угнетенному народу готовность к борьбе.

Путешествуя, Андерсен знакомился с крупнейшими достижениями науки и техники, которые помогали формированию его взглядов на отношение литературы к действительности, на характер сказки и т. д. Любопытно, что путевые заметки в книге «Базар поэта» нередко перерастают в востор-

женный гимн XIX веку, веку разума и труда, созидающему замечательные ценности и превращающему жизнь в сказку: «О, какое величайшее создание человеческого разума это изобретение,— пишет он о железных дорогах.— Чувствуешь себя столь же могущественным, как волшебник прошлого! Мы запрягаем сказочную лошадку в карету, и расстояние не играет уже никакой роли; мы летим, как тучи в бурю... мы в наше время, благодаря науке и технике, так же сильны, как, по представлениям средневековья, мог быть только дьявол! благодаря нашему разуму мы встали рядом с ним, и не успел он опомниться, как перегнали его».

Восхищение Андерсена жизнью и ее «чудесами» заставляет его с полной определенностью заявить: «Любое явление природы, любые вещи, предметы, деревья, цветы, взятые из окружающей действительности, могут стать равноправными компонентами сказки». «Беру жизнь и творю из нее сказку»,— как бы говорит писатель. В Нюрнберге, в королевском дворце внимание Андерсена привлекли печи, которые с их позолоченными фигурами, с христианскими и языческими изображениями могли бы дать материал для диковинной сказки. Игрушечная лошадка маленькой турчанки также пробуждает его фантазию, и он пишет, что если бы умел говорить по-турецки, то моментально сочинил бы сказку об этой игрушке. Ветер, шумящий в листьях липы, рассказывает Андерсену о рыцаре, грабившем богачей, а волны моря и дубовая роща — легенду о Кара-Георгии, освободителе Сербии. Общественно-политические, литературно-эстетические взгляды писателя в полной мере проявились в сказках и историях, опубликованных в книге «Базар поэта» («Бронзовый кабан», «Побратимы», «Роза с могилы Гомера» и «Мои сапоги»). Смелые и гордые люди сражались и умирали за свободу в Греции. Бронзовый кабан, неподвижно застывший на одной из площадей Флоренции, переживал удивительные приключения и неудержимо мчался вперед. Соловей томно пел о своей безнадежной любви к розе, растущей на могиле Гомера. Собственные сапоги писателя, попавшие в Италию, рассуждали о высоких материях. Слова Андерсена из сказки «Бронзовый кабан» можно рассматривать как эпиграф к этим его произведениям: «Все можно запечатлеть на бумаге, а город Флоренция — это целый альбом, начни только листать его».

«Бронзовый кабан» (стр. 136).— Это первое произведение Андерсена, опубликованное в России в 1844 г. (под названием «Бронзовый вепрь» в переводе Р. К. Грот, сестры академика Я. К. Грота, известного популяризатора скандинавской литературы в нашей стране). «Прочитал... рассказец, переведенный сестрой из Андерсена. Прелестная вещь,— писал Я. К. Грот П. А. Плетневу 10 декабря 1844 г.— Этот «Бронзовый вепрь» напоминает Пушкинова «Всадника», но в другом роде».

Следующий сборник Андерсена, также из двух томов, назывался «Новые сказки» («Nya Eventyr»; 1844—1848). «Мне кажется, я был бы счастлив,

если бы оказалось правдой, что теперь я всецело посвящу себя сказке!..— писал Андерсен 20 ноября 1843 года, когда появился первый выпуск. Эпиграфом к сборнику «Новые сказки» могут служить слова Андерсена из сказки «Бузинная матушка»: «Как раз из действительности и вырастает самая удивительная сказка!» В ряде писем начала 1840-х годов писатель поясняет, какие стороны действительности его интересуют: «Я стремился проникнуть в суть сказки, обратить как можно больше внимания на богатейший источник моего творчества, которым приходилось пользоваться,— природу».

В 1840-е годы начинается, по словам Андерсена, «великое признание сказок». Однако популярность этих произведений и похвалы в их адрес отнюдь не означали, что сказки были оценены по достоинству. Правда, их актуальность отмечалась в декабре 1845 года немецкой прессой, справедливо назвавшей эти произведения — «сказки нашего времени». Социальное их значение поняли немногие из современников Андерсена. Датский критик и журналист Арон Мейер Гольдшмидт, всегда строго судивший Андерсена, один из немногих, кто нашел верные слова для характеристики его своеобразной художественной манеры, писал в 1849 году: «Он находит поэзию там, где другие едва осмеливаются искать ее, в предметах, которые считают некрасивыми, в погребе, где ель лежит в обществе крыс и мышей, в мусорном ведре, куда служанка выбросила пару старых воротничков, и т. д.» Сказки Андерсена этого периода, особенно социальные, вызвали впоследствии глубокое восхищение В. В. Стасова. «Это ли еще не поэтические создания, соответствующие живым требованиям современного человека! — писал критик.— Это ли еще не художественные образы, затрагивающие самую глубину мысли и чувства и произносящие «суд над жизнью», как того требовал Чернышевский от настоящего художественного произведения».

«Соловей» (стр. 145).— В декабре 1839 г. Андерсен задумал включить в свою книгу «Картинки-Невидимки» (1839) историю тирана-монарха, пред которым в предсмертный час, как и в стихотворении известного немецкого поэта Шубарта, предстало содеянное им в жизни зло. Однако повествование о королевских злодеяниях не было помещено ни в одном из последующих изданий сборника «Картинки-Невидимки» и только позднее с некоторыми изменениями увидело свет в сказке «Соловей». Созданию сказки в 1843 году предшествовали размышления Андерсена об искусстве, вызванные пением замечательной шведской певицы Йенни Линд (1820—1887), которую называли «шведский соловей» и которую безнадежно любил великий сказочник.

«Гадкий утенок» (стр. 153).— Это сказка в известной мере — автобиографическая. «Я думаю, что это одна из Ваших самых лучших сказок, и я считаю ее в своем роде классической...» — говорил Андерсену писатель Карстен Хаух. Слова из сказки: «Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца»,— еще при жизни писателя стали пословицей.

«Снежная королева» (стр. 167).— Сказка была частично сочинена в Максене возле Дрездена, частично — в Дании. Еще в детстве Андерсена волновал сказочный образ ледяной девы, с появлением которой он связывал смерть отца. Позднее, в 1830-х годах, в стихотворной сказке «Снежная королева» писатель нарисовал фигуру грозной повелительницы снегов и метелей, уводящей в свое королевство возлюбленного девушки, а в конце 1844 г. он снова вернулся к этому сюжету.

«Пастушка и трубочист» (стр. 192).— Сказку эту, где действуют одушевленные фарфоровые статуэтки, отдельные современники Андерсена считали созданной под влиянием сказки немецкого писателя Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Однако сам Андерсен полагал, что его сказка носит ярко выраженный национальный характер. «Рассказ датский, а картинки немецкие»,— писал он, недовольный тем, как издали эту сказку в Германии.

«Штопальная игла» (стр. 195).— Идею сказки подал Андерсену скульптор Торвальдсен. Однажды он попросил сказочника: «Ну, напишите нам теперь новую, забавную сказку! Вы ведь можете написать даже о штопальной игле». И я написал сказку «Штопальная игла»,— рассказывал писатель.

«Тень» (стр. 198).— Сказка сочинена во время летнего пребывания Андерсена в Неаполе в 1846 г., но записана только в Копенгагене в феврале 1847 г. Одним из источников сказки несомненно является народная сказка «Человек и его тень» из сборника Маттиаса Винтера «Датские народные сказки». Сказка «Тень» связана также с произведением немецкого писателя Адальберта Шамиссо «Петер Шлемиль». В произведениях Андерсена, начиная с 1820-х годов, неоднократно встречались упоминания о человеке, потерявшем свою тень. В сказке «Тень» сюжет этот используется, чтобы показать трагическую судьбу положительного героя в современном Андерсену буржуазном обществе. И сам Андерсен говорил об этой своей сказке, что она — «очень горькая, трагическая».

«Старый дом» (стр. 208).— Сказка была написана после пребывания Андерсена в Германии, где маленький сын одного из его знакомых подарил писателю игрушечного оловянного солдатика, чтобы тот «не чувствовал такого ужасного одиночества». Сказку «Старый дом» очень любил Диккенс, который писал Андерсену: «Я читал эту сказку много раз и всегда с невыразимой радостью».

«Девочка со спичками» (стр. 214).— Сказка навеяна воспоминаниями Андерсена о его матери, Анн-Мари Андерсен, которой приходилось нищенствовать в детстве. Непосредственным поводом для создания этого произведения послужила такая история. Издатель альманаха «Данске Фолькскалендер» прислал сказочнику несколько рисунков, вырезанных на дереве, и просил написать к ним рассказ. «Я выбрал,— говорил Андерсен,— картинку с изображением бедной маленькой девочки, сидящей с серными спичками в переднике и держащей пачку этих же спичек в руках».

«Счастливое семейство» (стр. 217).— Сказка написана в связи с некоторыми конкретными впечатлениями Андерсена. «В поместье Глоруп на острове Фюн, где я летом часто и подолгу живал,— рассказывал писатель,— один уголок сада с давних времен зарос большими листьями лопуха, который выращивали на корм большим белым улиткам, представляющим собой деликатес. Лопухи и улитки дали материал для сказки «Счастливое семейство», которая позднее, во время пребывания в Лондоне, была записана». В Англии, где Андерсен побывал в 1847 г., он познакомился с лондонским высшим светом, с его необычайно развитым снобизмом и чувством кастовой замкнутости. На память ему пришли глорупские улитки, и он написал сказку о всегда и всем довольных мещанах, воображающих, что весь мир существует только ради их блага.

«История одной матери» (стр. 219).— Сказка появилась, как вспоминал Андерсен, «без всякого повода; однажды я шел по улице, и у меня родилась мысль, которая получила затем дальнейшее развитие». Любопытно, что трагический конец появился в сказке позднее. В первом ее варианте история гибели ребенка изображалась, как сон, который кончался счастливым пробуждением матери. Конкретных указаний на причины появления нового, печального конца у писателя нет.

«Воротничок» (стр. 224).— 2 июля 1842 г. в дневнике Андерсена рассказывается об одном человеке, все имущество которого составляли лишь «сапожная подставка и гребенка». Этот человек внезапно разбогател и «словно в рай попал»,— писал Андерсен.

В сборник «Сказки» («Eventyr») 1850 года Андерсен включил новый вариант сказки «Калоши счастья», а также сказки «Бузинная матушка», «Колокол» и «Лен», опубликованные предварительно в журнале «Барнетс нюа вен» (1848). Три последние, по словам писателя, «как почти все последующие сказки и истории, собственного изобретения; они скрываются в мыслях, подобно семени, которому нужен только свежий ветерок, солнечный луч, капля росы, чтобы произрасти, и они становятся цветами».

«Бузинная матушка» (стр. 226). Писатель Юст Маттиас Тиле в приложении к сборнику «Датские народные предания» рассказывает, что в Дании издавна существовал культ бузины, что датчане «любили и почитали это дерево, растили его в узких проходах меж стенами домов, плетнями и каменными кладками» и что даже в XIX в. суеверное простонародье молилось богине бузины. Андерсен использовал одно из преданий, содержание которого передается следующим образом: «В бузине обитает существо, которое здесь в стране зовется бузинная матушка или бузинная королева. Она мстит за вред, причиненный дереву, и в Нюбодер рассказывают, что человек, срубивший бузину,— умер». Андерсен взял из датского предания только образ хранительницы дерева и, дополнив его некоторыми чертами из сербского фольклора, превратил бузинную матушку в сказительницу, в оли-

цетворение воспоминаний о прошлом. А. М. Горький, для которого имя Андерсена всегда ассоциировалось с требованием правды в искусстве, избрал эпиграфом к своей книге «Сказки об Италии» слова из сказки «Бузинная матушка»: «Нет сказок лучше тех, которые создает жизнь».

«Л е н» (стр. 231).— Сказка опубликована сначала в журнале «Барнетс нюа вен» в 1848 г., а в 1849 г. в газете «Федреландет». Одна из первых сказок Андерсена, имеющих, кроме художественного, большое познавательное значение.

Книга Андерсена «По Швеции» («I Sverrige») вышла в свет в 1851 году. Знаменательной была для Андерсена поездка в Швецию в 1849 году, где он побывал уже в 1837 и в 1840 годах. Вернувшись домой, писатель начал работать над своими путевыми заметками. Оформленные в книгу «По Швеции», они появились в 1851 году. «По Швеции» — также своеобразный манифест общественно-политических и литературно-эстетических взглядов писателя 1850-х годов. Андерсен отмечал, что в этой книге ярко выступают характерные особенности его Музы: описания природы, сказочный элемент, юмор и лиризм. Но уже с первых страниц наблюдается несколько иное, чем прежде, отношение писателя к природе, интересной для него теперь не только своими красотами, но и службой человеку. Пафос книги «По Швеции» в значительно возросшем внимании Андерсена ко всему, связанному с наукой и техникой, с творениями великих ученых, и прежде всего короля ботаники Карла Линнея. Воодушевляют писателя и местные легенды, а также героические сказания старины. На традиционный для Андерсена интерес к национальным легендам наслаивается пробужденное революцией 1848 года внимание к историческим преданиям и легендам, осуждающим жестокости королей и воспевающим подвиги народных героев — Энгельбрехта Энгельбрехтссона и Густава Васы. Многие современники не поняли дальнейшей эволюции взглядов писателя, проявившейся в этой книге. И только Эрстед в личной беседе сказал Андерсену, имея в виду его увлечение наукой: «Вас так часто упрекают в недостатке познаний!.. А вы, в конце концов, быть может, сделаете для науки больше всех других поэтов, вместе взятых!» После книги «По Швеции» Андерсен даже в глазах своих лучших друзей зарекомендовал себя певцом науки, любителем философии. И вот в 1850 году, как бы в ответ на их высказывания, он написал: «Кто прочитает книгу «По Швеции», увидит, как жизнь и мир теперь отражаются во мне. Но не беспокойтесь: я не оставил светлый мир поэзии, чтобы углубиться в дебри философии или начать писать научные стихи. Это — невозможно. Для меня человеческое сердце — волшебная лампа поэзии, которую я крепко сжимаю в руках... я хочу вызвать духов, которые по моему велению выстроят мне новый замок поэзии». Какой же новый замок поэзии собирается воздвигнуть Андерсен? Что, по его мнению, должно служить предметом изображения? Литература,— пишет сказочник в книге «По Швеции»,— призвана оживить, гальванизировать прошлое. Природа и действительность

также должны стать неотъемлемым содержанием творчества. Мир полон красоты, и долг поэта остановить на ней взор людей. Наиболее отчетливо Андерсен высказался в главе «Поэтическая Калифорния», подводящей итог его размышлениям. «Поэзия также имеет свою Калифорнию»,— утверждает Андерсен,— и скрыта она — в науке. В книге «По Швеции» писатель отвергает Музу романтической поэзии, он идет за Гением Науки. Андерсен снова и снова призывает поэтов изучать и воспевать действительность, но уже с помощью науки. «Какой сказочный мир может открыться под микроскопом, если направить его на наш человеческий; электромагнетизм может стать жизненной нитью в новой комедии и в романах. И сколько родится юмористических творений, если мы с нашей крошечной, как песчинка, земли, с ее маленькими высокомерными людишками, выглянем в бесконечную вселенную».

«Директор кукольного театра» (стр. 235).— Эта история — подтверждение мыслей Андерсена о значении науки для художественного творчества.

Стр. 238. *...сделаюсь скандинавом...*— то есть приверженцем идеи объединения всех трех северных государств.

Новый сборник Андерсена, созданный в 1852—1855 годах, назывался «Истории» («Historier»). В 1852 году писатель издал первый выпуск этого нового сборника. В 1853 году появился второй выпуск, а в 1855 году — иллюстрированный том, содержащий расширенное (за счет новых сказок и историй, частично опубликованных в журналах) издание первых двух выпусков. Новые произведения Андерсена не были поняты критикой. Рецензент газеты «Федреландет» писал после появления первого выпуска сборника «Истории», что в них он видит «тот же самый наивный юмор и ту же самую детски свежую фантазию». В 1855 году, пытаясь определить жанр всех этих творений Андерсена, рецензент газеты «Флювенненпостен» недоуменно заметил: «...так называемые истории, собственно говоря, больше не истории, еще менее сказки, а скорее всего лирические излияния...»

«История года» (стр. 238).— Эта история — живое свидетельство возросшего стремления Андерсена к философскому осмыслению действительности. Датский писатель Карстен Хаух написал сказочнику 13 августа 1855 г.: «Особенно захватила меня «История года»... В этой сказке вы аллегорически изобразили весенний блеск, летнюю полноту и осеннюю грусть человеческой жизни».

«Истинная правда» (стр. 246).— Сказка эта созвучна некоторым произведениям Андерсена 1840-х годов. Естественные свойства птиц, растений, игрушек и отдельных предметов используются в них как средства юмора, сатиры и иронии над определенными свойствами и чертами человеческого характера. Источник сказки — непосредственные наблюдения Андерсена.

«Всяк знай свое место» (стр. 248).— Сказка появилась в ответ на пожелание писателя Юста Маттиаса Тиле, который сказал Андерсену: «Напиши сказку о флейте, которая ставит все на свое место!» «В этих словах,— вспоминал писатель,— заключалась целая идея, и появилась выше названная сказка».

«Домовой у лавочника» (стр. 254). Сказка создана на основе датского народного предания о домовых, которое хорошо знал Андерсен. В частности, по свидетельству Гейне, Андерсен рассказывал ему во время своего пребывания в Париже летом 1833 г. о датских домовых, «которые всего охотнее едят размазню с маслом. Раз обосновавшись в доме, домовые уже не склонны уходить из него». В поздний период своего творчества Андерсен вспомнил либо это поверье о домовом, либо один из его вариантов, который он использовал в сказках «Домовой у лавочника» и «Домовой и хозяйка». В обеих сказках из фольклора заимствован внешний облик домового — маленького человечка в сером балахоне и красной шапочке.

«Есть же разница!» (стр. 257).— История эта впервые напечатана в альманахе «Данск Фолькекалендер» в 1852 г. Идея истории «Есть же разница!» возникла при посещении Андерсеном поместья Кристинелунн, где росла цветущая яблоня, которую писатель поэтически назвал «образом самой весны». «Светящееся и благоухающее дерево так запало в мою душу, что я не смог расстаться с ним, прежде чем не пересадил его в свою историю»,— рассказывал Андерсен. И добавил: «Большинство моих сказок создавалось подобным же образом. Каждый, кто будет смотреть на жизнь глазами поэта, увидит, откроет подобные же проявления красоты, которые можно иначе назвать «поэтическою игрою случая». Демократическая сказка «Есть же разница!» вызвала в 1859 г. неодобрение русского комитета духовной цензуры. Архимандрит Сергий Зиккен писал 28 октября 1859 г., что эту сказку нельзя печатать «по неестественности вымышленного рассказа, по неправильности в рассмотрении жизни природы, например, растений, людей и др., а также по недостатку ясности в изложении предмета».

«Пятеро из одного стручка» (стр. 260).— История впервые напечатана в 1853 г. в альманахе «Данск Фолькекалендер». Своеобразная интерпретация жизни и жизненных воззрений в этой истории понравилась Л. Н. Толстому, в письмах и дневниках которого встречается в 1904 г. запись: «Прекрасная сказка Андерсена о горошинах, которые видели весь мир зеленым, пока стручок был зеленым, а потом мир стал желтым...» Полная любви к людям сказка «Пятерого из одного стручка», несомненно, вдохновила и известного финского писателя Саккариаса Топелиуса, повлияв на замысел некоторых его гуманистических сказок для детей.

«Ханс Чурбан» (стр. 262).— Сказка была впервые напечатана в альманахе «Данск Фолькекалендер» в 1844 г. Андерсен творчески переработал здесь датскую народную сказку «Принцесса, которой заткнули рот» из сборника Свена Грундтвига,— подзаголовок к его произведению гласит: «Старая история, пересказанная вновь». Использование фольклорных источ-

ников было малохарактерно для Андерсена в 1840-е годы, и потому он заметил, что сказка «Ханс Чурбан» «стоит несколько особняком среди более поздних, самостоятельно придуманных сказок». Пролетарский писатель Дании Мартин Андерсен-Нексе, восхищаясь способностью сказочника Андерсена одушевлять вещи и явления природы, писал: «Ханс Чурбан обладал способностью наивных людей восторгаться своими чудесными находками, в которых умники видели просто хлам, грязь, расколотый деревянный башмак, дохлую ворону... и эта способность принесла Хансу победу».

«Иб и Христиночка» (стр. 265).— Это одна из первых крупных историй-новелл Андерсена.

«Пропащая» (стр. 274).— История впервые напечатана в 1853 г. в альманахе «Данск Фолькекалендер» и перекликается со сказкой «Девочка со спичками». В основе ее — воспоминания о рассказах матери сказочника, прачки Анн-Мари Андерсен, которой выпала трудная и жестокая судьба. «Много лет спустя,— рассказывал Андерсен,— когда другое ничтожное обстоятельство заставило меня подумать, как легко и сурово судят люди там, где доброму человеку все представляется иначе, мне живо вспомнились рассказы матери, и я написал историю «Пропащая».

«Свинья-копилка» (стр. 279).— История эта впервые напечатана в альманахе «Данск Фолькекалендер» в 1855 г.

Последний сборник Андерсена, опубликованный в 1858—1872 годах, назывался «Новые сказки и истории» («Nya Eventyr og Historier»). До 1872 года вышло три серии этого сборника — по четыре тома в двух первых сериях и по два тома в третьем и в последнем. Переводчицы произведений Андерсена в России М. В. Трубникова и Н. В. Стасова писали сказочнику в мае 1868 г.: «Русская публика любит эти «сказки и рассказы», автор которых по праву причисляется к величайшим писателям современности».

«Суп из колбасной палочки» (стр. 281).— История подсказана народной датской поговоркой. Сварить «суп из колбасной палочки» означает «сварить суп из ничего». «В наших пословицах и поговорках,— говорил сказочник,— часто заключено зерно целой истории; я высказал эту мысль и дал доказательство ее правоты, написав историю «Суп из колбасной палочки».

«Скороходы» (стр. 293).— Это своеобразная интерпретация датских народных сказок, где наградой за подвиг является рука королевской дочери и встречается мотив испытания.

«Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях» (стр. 295).— Побывав в конце 1850-х годов в старинном ютландском поместье Борребю, писатель вспомнил народное предание о золотых дел мастере Вальдемаре До (1616—1681), жившем некогда в этом поместье. Предание это было ему известно из сборника Юста Маттиаса Тиле «Датские народные предания». Историю Вальдемара До Андерсен переписывал не-

сколько раз, чтобы, по его словам, придать языку звучание мчащегося вперед шумного ветра, которого и заставил поведать это предание.

«Ребячья болтовня» (стр. 305).— История эта рассказывает о великом датском скульпторе Бертеле Торвальдсене. Тем не менее она автобиографична для самого Андерсена. Ее сюжет, как писал сказочник, «почерпнут из пережитого». Ведь и ему, как Торвальдсену, часто в детстве внушали, что из такого бедняка, как он, «ничего не выйдет!».

«Обыкновенный петух и петух-флюгер» (стр. 307).— История эта использует народное поверье, согласно которому василиск рождается из петушиного яйца.

«Навозный жук» (стр. 309).— Сказка была сочинена по совету Чарльза Диккенса.

«Что муженек ни сделает, все хорошо» (стр. 315).— Это обработка датской народной сказки, которая под названием «Гудбранд с косогора» встречается и в сборнике сказок знаменитых норвежских фольклористов Петера Кристена Асбьёрнсена и Йоргена Му. 5 декабря 1860 г. Андерсен отметил в своем дневнике: «Сидел дома весь вечер и писал старую историю о человеке, который менял лошадь на корову». Сказочник сохранил основную фабулу народного источника, придав ей ряд чисто андерсеновских черт.

«Снеговик» (стр. 319).— Сказка написана 31 декабря 1860 г. В этот день Андерсен отметил в дневнике: «Холодная и ясная погода... Снег хрустит под ногами... Сегодня я написал сказку «Снеговик».

«Муза нового века» (стр. 327).— История эта свидетельствует о большом интересе Андерсена к развитию науки и техники. Ее первое появление было восторженно встречено газетой «Дагбладет».

Стр. 331. *Гимле* — по скандинавской мифологии, самая прекрасная и светлая из небесных обителей; во время рагнарока избежит разрушения; предназначена для душ добрых и правдивых людей.

«Мотылек» (стр. 332).— Сказочная аллегория, восхитившая Бьёрнсона. «Мотылек,— писал он Андерсену 16 февраля 1862 г.,— тоже один из окрыленных вами шедевров, которым нет, однако, нужды вновь стать коконами, пережить осень и затем снова пробудиться к жизни,— они бессмертны, как они есть».

«Улитка и розовый куст» (стр. 334).— Еще в молодости, когда писатель часто подвергался несправедливым нападкам критики, он сочинил следующее стихотворение:

В саду улитка черная сидела,
На розу злясь: «Как хвалят все ее!
Как хороша! А мне какое дело?
Я вот взяла и плюнула в нее!»

Эта мысль ощутима и в сказке «Улитка и розовый куст», о которой Андерсен писал, что она возникла из пережитого. Его друг биолог Йонас Кол-

лин-младший пролил свет на историю создания этой сказки. Однажды во время путешествия он поссорился с Андерсеном и наговорил по молодости лет много лишнего. «Андерсен расплакался и ушел в свою комнату. Спустя несколько часов он вышел ко мне веселый и спокойный,— вспоминал Й. Коллин-младший,— и сказал: «Хочешь послушать сказку?» И он прочел мне сказку «Улитка и розовый куст», которую написал за этот промежуток времени. Я помню, что сказал ему в ответ на его вопрос, как мне нравится сказка: «Прелесть что такое! Вы — розовый куст, это ясно, и незачем нам спорить о том, кто улитка». «Улитка и розовый куст» стоит наравне с наилучшим из всего, что вы создали,— писал Андерсену 15 февраля 1862 г. Бьёрнсон, высоко оценивший идею этой сказки.— Я только желал бы, чтобы она заканчивалась словами: «Вот мои воспоминания; в них — моя жизнь!» Остальное только как-то затушевывает это дивное заключение». Основной замысел сказки понял Карстен Хаух. «Сказку «Улитка и розовый куст»,— писал он 30 декабря 1861 г.,— можно было бы также назвать «Критик и поэт». Эта сказка, как она ни мала, является картиной мира, как и многие Ваши сказки, заключенные в столь же тесные рамки». Когда 16 ноября 1861 г. Андерсен читал эту сказку в «Рабочем Союзе» Дании, к нему подошел какой-то человек и сказал: «Я знаю многих таких улиток». А потом добавил: «Спасибо за розы, которые Вы нам подарили!»

«Серебряная монетка» (стр. 335).— Сказка впервые была напечатана в альманахе «Данск Фолькекалендер» в 1862 г. 31 мая 1861 г. Андерсен записал в дневнике: «По дороге из Пизы во Флоренцию появилась идея истории «монетки». На борту корабля мне всучили неизвестную серебряную монетку, и никто не хотел потом взять ее. Я отдал ее привратнику в Ливорно». «...Я прочел Вашу сказку «Серебряная монетка» и много смеялся над ней; в ней много юмора, но она, по-моему, несколько растянута»,— справедливо писал Андерсену Бьёрнсон 16 февраля 1862 г.

«Епископ Бёрглумский и его свояк» (стр. 339).— История написана в конце 1850-х годов после посещения Андерсеном Бёрглумского монастыря, где он услышал предание о кровавом епископе Бёрглумском, еще раньше опубликованное Тиле. Впервые история Андерсена напечатана в газете «Иллюстрирте Тиденне» в 1861 г. Сказочник использовал здесь также материал из исторического рассказа датского писателя Тюге Беккера «Убийство епископа», опубликованного в 1852 г. в альманахе «Данск Фолькекалендер».

«Золотой мальчик» (стр. 345).— История написана под впечатлением жестоких страданий людей во время войн Дании со Шлезвиг-Гольштейном в 1848 и 1864 гг., когда Андерсен стал решительным сторонником мира. Он был глубоко убежден, что войны не нужны народам, что они направлены против простых тружеников, которым чужды идеи завоевателей. Письма сказочника того времени полны гуманистического протеста против войн, в них постоянно встречается пожелание: «Пусть голубь мира летает над странами». Эти взгляды Андерсена получили отражение в его творчестве

1860—1870-х годов, в сказках «Блуждающие огоньки в городе» и «Золотой мальчик».

«О том, как буря перевесила вывески» (стр. 351).— История создана на основе впечатлений, вынесенных Андерсеном из времен его детства. Будущий писатель очень любил народные праздники и обычаи, которыми славился его родной город Оденсе. Наиболее отчетливо запомнился ему праздник, когда ремесленники меняли помещение цеха и переносили на новое место цеховую вывеску. И вот, вспомнив детство в родном городе, писатель создал острую и злободневную сказку «О том, как буря перевесила вывески».

«Подснежник» (стр. 355).— История впервые появилась в альманахе «Данск Фолькекалендер» в 1863 г. Сказка «Подснежник» — поэтический результат натуралистических занятий Андерсена, тщательно изучавшего в 1850—1860-е годы природу и ее явления. Подсказана его другом Древсеном.

«Жаба» (стр. 358).— Сказка начата Андерсеном во время его путешествия в Португалию в 1866 г. 12 июля 1866 г. он писал оттуда, что набросал эскиз сказки «Бриллиант в голове жабы». 21 октября 1866 г. он заметил, что сегодня, наверное, закончит сказку, «которую выносил в своей голове, хотя она никакой не алмаз». Речь шла о сказке «Жаба». Путешествуя по Португалии, Андерсен увидел в одном из колодцев уродливую жабу. Подойдя ближе, он обратил внимание на ее «умные глаза». И вскоре родилась оригинальная философская сказка «Жаба», которая была позднее переписана в Дании, и сказке, по словам писателя, был придан датский колорит.

«Предки птичницы Греты» (стр. 364).— История написана на основе предания, взятого из сборника Тиле, о жестоком самодуре-помещике Эрике Груббе, и рассказа о знатной датской дворянке Марии Груббе, ставшей в конце жизни паромщицей на острове Фальстер. Сведения о Марии Гдуббе Андерсен почерпнул из «Исторических замет» датского драматурга Людвига Хольберга (1684—1754). В 1711 г. во время чумы, свирепствовавшей в Копенгагене, Хольберг жил на Фальстере, где встретился с паромщицей, матушкой Сёрен Сёренсен Мёллер, урожденной Марией Груббе, которая поведала ему историю своей жизни. 28 июля 1869 г. Андерсен писал об этой вещи: «Основные ее мотивы — совершенно исторические, хотя еще и не трактовавшиеся ни одним писателем». В 1876 г. датский писатель Йенс Петер Якобсен создал исторический роман по мотивам Хольберга и Андерсена «Фру Мария Груббе».

Стр. 371. *Франц Ножовщик* и *Сиверт Таможенник* — персонажи одной из пьес Л. Хольберга.

«Судьба репейника» (стр. 375).— История эта, как писал Андерсен,— «появилась без всякого повода, если не считать того, что в поле поместья Баснэс я увидел такой великолепный экземпляр репейника, что должен был перенести его в свое творчество».

«Самое невероятное» (стр. 378).— История впервые напечатана в журнале «Ню Данск Монедскрифт» с подзаголовком «Сказка». В октябре

1871 г. Андерсен писал, что история эта возникла «из пережитого», имея в виду свои страдания по поводу вновь пролитой во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. крови. Некоторые современники считали эту историю одной из лучших у Андерсена. «Гениальной» назвал ее датский композитор Хартманн.

«Великий морской змей» (стр. 381).— История написана для американских читателей, но впервые опубликована в Дании, в газете «Иллюстрирте Тиденне» 17 декабря 1871 г. (с подзаголовком «Современная сказка»). Поводом для создания этой истории послужила прокладка телеграфного кабеля между Европой и Америкой. «Современные открытия и движения дают богатый материал для творчества, а тем, что у меня открылись на это глаза, я обязан Х.-К. Эрстеду»,— писал Андерсен. Работая над сказкой, писатель перечитал книгу «Море с его животным и растительным миром».

Стр. 389. *Мидгордсорм* — в скандинавской мифологии огромный змей, живущий в море, окружающем обиталище людей Мидгорд. Он такой длинный, что может обвиться вокруг земли и укусить себя за хвост.

«Садовник и господа» (стр. 389).— История была впервые прочитана Андерсеном в обществе 29 января 1872 г. «И она, по-моему,— писал сказочник,— выросла из нашего времени и утвердилась именно как таковая. Она принадлежит к тем сказкам и историям, которые при чтении или постановке их на сцене завоевали широкую публику».

Первое Собрание сочинений Андерсена (Samlade Skrifter) печаталось с 1853 по 1868 год. Оно начало выходить 7 октября 1853 года и было первоначально закончено 19 июля 1855 на 21-22 томах. В 1857—1868 годах это собрание сочинений было продолжено 23—28 томами. В тома 25—28 (1868) Андерсен включил ряд сказок и историй, которые прежде не входили в его сборники сказок и историй.

«Злой князь» (стр. 395).— Сказка написана в 1830 г. по заказу органа датского «Общества свободы печати» — газеты «Фолькебладет» и опубликована в журнале «Салон» в 1840 г. (с подзаголовком «Народная сказка»). Сюжет этой сказки не прослеживается в сборниках преданий Юста Маттиаса Тиле и в собраниях сказок и преданий Свена Грундтвига. Тем не менее, по словам Андерсена,— это «старое предание, на основе которого я создал одну из самых ранних моих сказок». Но в старое предание писатель вложил современное содержание. Его постоянно занимала мысль об ужасах войны, и еще в начале 1830-х годов в стихотворении «Почтальон» он рассказывал, как в город пришли враги, а вместе с ними горе и нужда. В годы фашистской оккупации Дании (1940—1945) многие соотечественники Андерсена обращались к сказке «Злой князь», так как видели в образе злого князя сходство с Гитлером. Эта сказка, по словам датского критика Свена Ларсена, «стала рассказом о судьбе, постигшей злого князя нашего времени, того, кто огнем и мечом прокладывал себе путь, того, чьи солдаты опустошали одну страну за другой, того, чьего имени все боялись». Датский

артист Якоб Текьсер читал во время оккупации эту сказку публично. Оккупационные власти запретили издавать и читать со сцены это произведение, и Текьсер был вынужден бежать в Швецию. Тогда в 1945 г. сказку «Злой князь» напечатали в подпольной типографии родного города Андерсена Оденсе. «Удивительный рассказ, он был написан трезво и словно основан на том опыте, которому снова и снова учит нас история: никто безнаказанно не правит силой,— писал в предисловии к изданию 1945 г. С. Ларсен.— Это сказка, которую читали и понимали в годы войны, ибо она укрепляла нас в той вере, которая была исконно нашей».

«В е н и Г л е н» (стр. 397).— Сказка первоначально опубликована в еженедельной газете «Фигаро» в 1867 г. и в том же году включена в путевой этюд «По Дании». Конкретный повод создания сказки — встреча Андерсена в поместье Хольстейнборг в январе 1867 г. с инженерами, которые «привязали» остров Глен к материку.

Сказки и истории разных лет, не публиковавшиеся ранее, были впервые изданы вместе в 1943—1945 годах (за исключением историй «Картошка» и «Оборвыш на троне французских королей», напечатанных в сборнике «Андерсениана» за 1952 и 1953 гг.) в собрании сказок и историй писателя, изданных в Оденсе. Позднее все эти сказки и истории, включая и историю «Картошка», вошли в V том нового собрания сказок и историй Андерсена, опубликованного в Копенгагене (I—V, 1963—1967) известными андерсеноведами Эриком Далем и Эрлингом Нильсеном. Не все эти произведения равноценны по своему идейному содержанию и художественному своеобразию. Но все они, несомненно, представляют большой историко-литературный интерес, так как в какой-то мере отражают эволюцию творчества Андерсена в 1820—1860-е годы, его путь от подражательной сказки с преобладанием элементов таинственного и сверхъестественного к оригинальным современным, зачастую сатирическим произведениям. Эти сказки и истории важны также для понимания общественно-политических взглядов Андерсена. История «Оборвыш на троне французских королей» и «Короли, дамы и валеты» — свидетельство его интереса к Июльской революции во Франции и к революции 1848 г. История «Талисман» была напечатана в газете «Данске Фолькебладет», органе «Общества свободы печати», членом которого был Андерсен, что говорит об его участии в оппозиционном движении в Дании 1830-х годов. Один из вариантов сказки «Короли, дамы и валеты» был опубликован впервые на русском языке в переводе А. Дейча в журнале «Огонек» в 1927 г., но не был включен ни в один из последующих сборников Андерсена на русском языке до 1969 г. В 1957 г. в журнале «Ленинградский альманах» были впервые опубликованы истории «Картошка» (под названием «Картофель») и «Оборвыш на троне французских королей» (под названием «Маленький бедняк на троне Франции»). В 1959 г. в № 12 журнала «Дон» были впервые напечатаны истории «Короли, дамы и валеты» и «Лягушачье кваканье».

«Затонувший монастырь» (стр. 399).— Сказка впервые напечатана в газете «Ню реперториум фор морскабслеснинг» от 19 октября 1871 г. (с подзаголовком «По немецким народным легендам Готтшалка»).

«Талисман» (стр. 401).— История появилась впервые в газете «Данск Фолькебладет» от 4 ноября 1836 г.

«Оборвыш на троне французских королей» (стр. 402).— История написана в 1835 г., впервые напечатана как эскиз (незавершенного) романа об Июльской революции в 1836 г. в журнале «Ирис», затем в 1952 г. в сборнике «Андерсениана», а в 1953 г. в газете «Ланд ог Фольк». В основе ее — рассказ о судьбе маленького парижского гамена, услышанный Андерсеном в Париже в 1833 г. Писатель воспроизвел эту историю в новой редакции в сборнике «Картинки-Невидимки» (1839).

Стр. 403. *Под Бриенном* — в военной школе в Бриенне учился Наполеон.

«Короли, дамы и валеты» (стр. 404).— Написана в июне 1868 г., впервые опубликована в «Рождественском сборнике» 1909 г., а затем в газете «Берлингстиденне» 20 декабря 1925 г. «Я как вода; все волнует меня, все отражается во мне. По всей вероятности, это — признак моей поэтической природы»,— заметил как-то Андерсен. Он создал ряд сказок, навеянных революцией 1848 г. Среди них сказка «Короли, дамы и валеты»; 27 ноября 1868 г. Андерсен рассказал: «Позавчера ко мне явилась с кратким визитом моя Муза и поведала о королях, дамах и валетах. Это — настоящая детская сказка». Некоторые критики считали, что Андерсен не печатал сказку при жизни из цензурных соображений. Хотя сам писатель не придерживался подобной точки зрения. Напротив, в июле 1868 г. он собирался напечатать эту сказку в американском журнале, однако сомневался, «доставит ли она удовольствие американским детям». И все же выражал надежду, что доставит. Когда же один из современников Андерсена счел, что у этой сказки антироялистская тенденция, у сказочника, по его словам, испортилось настроение. Он заявил: «сказке придали значение, о котором я и не помышлял».

«Лягушачье квакапье» (стр. 407).— Сатира на буржуазные газеты и критиков. Написана 6 февраля 1869 г.; первоначально появилась в газете «Берлингстиденне» 4 апреля 1926 г.

Л. Брауде

СОДЕРЖАНИЕ

К. Паустовский. Великий сказочник 5

СКАЗКИ. ИСТОРИИ

Огниво. *Перевод А. Ганзен* 21
Маленький Клаус и Большой Клаус. *Перевод А. Ганзен* . . 26
Принцесса на горошине. *Перевод А. Ганзен* 36
Цветы маленькой Иды. *Перевод А. Ганзен* 36
Дюймовочка. *Перевод А. Ганзен* 42
Русалочка. *Перевод А. Ганзен* 51
Новое платье короля. *Перевод А. Ганзен* 68
Ромашка. *Перевод А. Ганзен* 72
Стойкий оловянный солдатик. *Перевод А. Ганзен* 75
Дикие лебеди. *Перевод А. Ганзен* 78
Сундук-самолет. *Перевод А. Ганзен* 90
Аисты. *Перевод А. Ганзен* 95
Оле-Лукойе. *Перевод А. Ганзен* 99
Свинопас. *Перевод А. Ганзен* 108
Калоши счастья. *Перевод К. Телятникова* 112
Бронзовый кабан. *Перевод П. Карпа* 136
Соловей. *Перевод А. Ганзен* 145
Гадкий утенок. *Перевод А. Ганзен* 153
Ель. *Перевод А. Ганзен* 160
Снежная королева. *Перевод А. Ганзен* 167
Пастушка и трубочист. *Перевод А. Ганзен* 192
Штопальная игла. *Перевод А. Ганзен* 195
Тень. *Перевод А. Ганзен* 198

Старый дом. *Перевод А. Ганзен* 208
Девочка со спичками. *Перевод Ю. Яхниной* 215
Счастливое семейство. *Перевод А. Ганзен* 217
История одной матери. *Перевод А. Ганзен* 219
Воротничок. *Перевод А. Ганзен* 224
Бузинная матушка. *Перевод А. Ганзен* 226
Лен. *Перевод А. Ганзен* 232
Директор кукольного театра. *Перевод А. Ганзен* 235
История года. *Перевод А. Ганзен* 238
С крепостного вала. *Перевод А. Ганзен* 245
Истинная правда. *Перевод А. Ганзен* 246
Всяк знай свое место. *Перевод А. Ганзен* 248
Домовой у лавочника. *Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой* 254
«Есть же разница!» *Перевод А. Ганзен* 257
Пятеро из одного стручка. *Перевод А. Ганзен* 260
Ханс Чурбан. *Перевод А. Ганзен* 262
Иб и Христиночка. *Перевод А. Ганзен* 265
«Пропащая». *Перевод А. Ганзен* 274
Свинья-копилка. *Перевод А. Ганзен* 279
Суп из колбасной палочки. *Перевод К. Телятникова* . . . 281
Скороходы. *Перевод А. Ганзен* 293
Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях. *Перевод Л. Лунгиной* 295
Ребячья болтовня. *Перевод А. Ганзен* 305
Обыкновенный петух и петух-флюгер. *Перевод Л. Лунгиной* 307
Навозный жук. *Перевод А. Ганзен* 309
Что муженек ни сделает, все хорошо. *Перевод А. Ганзен* . 315
Снеговик. *Перевод А. Ганзен* 319
На утином дворе. *Перевод А. Ганзен* 323
Муза нового века. *Перевод А. Ганзен* 327
Мотылек. *Перевод А. Ганзен* 332
Улитка и розовый куст. *Перевод А. Ганзен* 333
Серебряная монетка. *Перевод А. Ганзен* 335
Епископ Бёрглумский и его свояк. *Перевод Л. Лунгиной* . . 339
Золотой мальчик. *Перевод А. Ганзен* 345
О том, как буря перевесила вывески. *Перевод К. Телятникова* 351
Подснежник. *Перевод Г. Мирошниковой* 355
Жаба. *Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой* 358
Предки птичницы Греты. *Перевод Л. Брауде* 364
Судьба репейника. *Перевод А. Ганзен* 375
Самое невероятное. *Перевод А. Ганзен* 378
Великий морской змей. *Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой* 381

Садовник и господа. *Перевод Ю. Яхниной* 389
Злой князь. *Перевод А. Ганзен* 395
Вен и Глен. *Перевод А. Ганзен* 397
Затонувший монастырь. *Перевод Л. Брауде* 399
Талисман. *Перевод Л. Брауде* 401
Оборвыш на троне французских королей. *Перевод Л. Брауде* 403
Короли, дамы и валеты. *Перевод Л. Брауде* 404
«Лягушачье кваканье». *Перевод Л. Брауде* 407

Примечания *Л. Брауде* 411

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 66

Ханс Кристиан Андерсен
СКАЗКИ. ИСТОРИИ

*

Редактор С. Шлапоберская

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
В. Кулагина

Корректоры Р. Пунга
и А. Юрьева

*

Сдано в набор 3/III 1973 г. Подписано к печати 26/VII 1973 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 28,0 печ. л. 28,38 уч.-изд. л. + 1 вкл. + 7 нак. =29,40. 26,12 усл. печ. л. Тираж 303 000 экз. Цена 1 р. 78 к. Заказ № 177.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28.